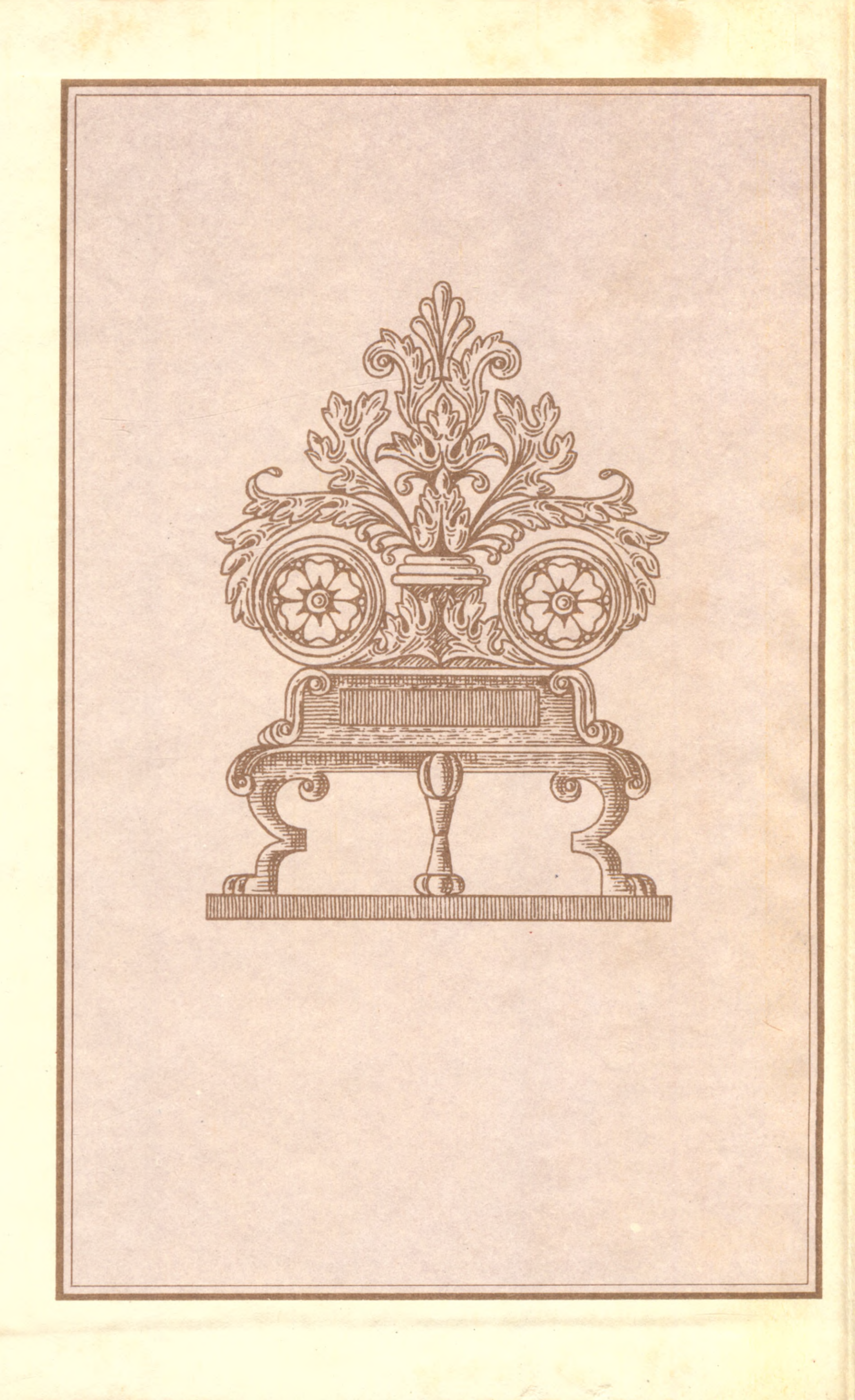


К·Н·БАТЮШКОВ
I



К·Н·БАТЮШКОВ
сочинения




1815.

К·Н·БАТЮШКОВ

сочинения в двух томах







К·Н·БАТЮШКОВ

сочинения в двух томах



Москва

·художественная литература·

1989



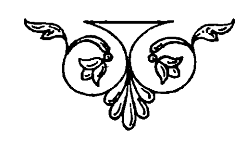


К·Н·БАТЮШКОВ

сочинения · том первый

„Опыты в стихах и прозе“

Произведения, не вошедшие в „Опыты в стихах и прозе“



Москва

·художественная литература·

1989



ББК 84Р1
Б28

Составление, подготовка текста,
вступительная статья и комментарии
В. А. Кошелева

Оформление художника
Г. Котляровой

Б $\frac{4702010106\text{-}172}{028(01)\text{-}89}$ 2-89

ISBN 5-280-00491-X(Т. 1)
ISBN 5-280-00490-1



«Приятный стихотворец и добрый человек...»

«Опыты в стихах и прозе» — так назвал Батюшков книгу, обобщившую его раздумья и переживания. Она вышла в свет в 1817 году в Петербурге. Два небольших тома; в первом собраны 15 прозаических статей, во втором — 65 стихотворений, впервые сведенные воедино из различных журналов и альманахов. Эти два тома, изданные большим по тому времени тиражом (1200 экземпляров), быстро разошлись среди читающей публики и принесли автору популярность. Н. И. Гнедич, издатель «Опытов...», в 1821 году в письме к Батюшкову шутливо-укоризненно констатировал: «Злодей! зачем же ты книгу эту сделал столько любезною, что, например, в Публичной библиотеке от беспрерывного употребления она в самом деле изодрана, засалена, как молитвенник богомольного деда, доставшийся в наследство внуку. Могу уверить тебя, что здесь верно нет читателя, который бы не поставил себе в честь целовать полу твоего платья» *.

«Опыты в стихах и прозе», эта «книжка небольшая» открывала блестящие перспективы для развития русской литературы. Название книги, восходившее к «Опытам» любимого Батюшковым французского мыслителя М. Монтеня, как бы указывало, что автор всегда пытался «опытным» путем создать нечто новое для своего времени. И действительно, Батюшков явился основателем многих традиций: от него берет начало и «арзамасская» сатира, и дружеское послание, и патриотическая элегия, и русская антологическая лирика.

Судьба Константина Николаевича Батюшкова была поистине трагична. Незаурядный писатель и обаятельный человек, он, «в самой цветущей поре умственных сил», 34-х лет от роду был поражен неизлечимой душевной болезнью. Постоянно стремившийся «дать новое направление своей крохотной музе», он так и не успел написать своего главного произведения. «Я похож на человека, который не дошел до цели своей, а нес он на голове красивый сосуд, чем-то наполненный.

---

* Тиханов Н. П. Николай Иванович Гнедич. Несколько новых данных для его биографии по неизданным источникам. СПб., 1884, с. 93.

Сосуд сорвался с головы, упал и разбился вдребезги. Поди узнай теперь, что в нем было!» — признался он в 1821 году своему ближайшему другу *.

В конце 1810-х — начале 1820-х годов Батюшков становится известным поэтом. Однако вскоре он уступает место Пушкину. И когда в 1843 году появилась третья статья В. Г. Белинского из цикла «Сочинения Александра Пушкина», почти целиком посвященная Батюшкову, критик заметил, что пишет о почти забытом поэте. Определяя дарование его как «сильный и самобытный», «превосходный талант», Белинский в то же время писал с горечью: «Направление и дух поэзии его гораздо определеннее и действительнее направления и духа поэзии Жуковского; а между тем кто из русских не знает Жуковского, и многие ли из них знают Батюшкова не по одному только имени?» **

В сознании последующих поколений читателей Батюшков утвердился как поэт крупного масштаба — «учитель Пушкина в поэзии» (Белинский),— но всецело принадлежащий лишь истории литературы. С именем Батюшкова прочно связались понятия «легкой поэзии», «анакреонтической лирики», образы «Парни Российского» и «наперсника милых Аонид». Эти определения, ставшие уже литературными штампами в нашем сознании, односторонни и недостаточны.

И только тогда, когда удается отстраниться от груза привычных и «правильных» формул, приходит действительное понимание цельности и самоценности творческих поисков этого удивительного писателя.

1

В своем поэтическом послании лицеист Пушкин писал о Батюшкове: «Философ резвый и пиит, // Парнасский счастливый ленивец, // Харит изнеженный любимец...» Пятнадцатилетний поэт намечал образ своего кумира еще до личного знакомства с ним, представляя Батюшкова лишь по его стихам. Сорок лет спустя один из немногих мемуаристов Батюшкова заметил: «Кто не знал кроткого, скромного, застенчивого Батюшкова, тот не может составить себе правильного о нем понятия по его произведениям; так, читая его подражания Парни, подумаешь, что он загрубелый сластолюбец, тогда как он отличался девическою, можно сказать, стыдливостью и вел жизнь возможно чистую. Читая эпиграммы его, подумаешь, что он насмешлив, а на деле нельзя быть снисходительнее его к людям. Читая «Похвальное слово сну», подумаешь, что автор лентяй, неженка, сибарит, а в сущности, он любил

---

* Вяземский П. А. Полн. собр. соч. в 12-ти томах, т. 8. СПб., 1883, с. 481.

** Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. 7. М., АН СССР, 1956, с. 245.

занятия, много читал, учился, писал, путешествовал, служил, бывал в походе и в сражениях, был и ранен» *.

Это несовпадение поэтического и реального обликов Батюшкова стало одной из антиномий, из которых, казалось, был соткан его характер. В 1817 году, в расцвете своего таланта Батюшков набросал в записной книжке собственный портрет. Поэт пишет о себе в третьем лице: «Он то здоров, очень здоров, то болен, при смерти болен... Он перенес три войны и на биваках был здоров, в покое — умирал... ...он не охотник до чинов и крестов. А плакал, когда его обошли чином и не дали креста!.. Он вспыльчив, как собака, и кроток, как овечка... Он жил в аде — он был на Олимпе...» Накапливаясь, эти антиномии приводят, наконец, к выводу: «В нем два человека...» Два человека, один «белый», другой «черный» — две стороны одного бытия. (Это была первая в русской литературе попытка конструирования мифа «двойничества», столь распространившегося впоследствии.)

Антиномия лежит и в основе характеристики Батюшкова, данной Жуковским в шуточном «долбинском» стихотворении «Ареопагу»: «Малютка Батюшков, гигант по дарованью...»

«Малютка Батюшков...» Современники, описывая внешность поэта, непременно подчеркивали его маленький рост: «Батюшков был небольшого роста,— вспоминала Е. Г. Пушкина,— у него были высокие плечи, впалая грудь, русые волосы, вьющиеся от природы, голубые глаза и томный взор. Оттенок меланхолии во всех чертах его лица соответствовал его бледности и мягкости его голоса, и это придавало его физиономии какое-то неуловимое выражение» **. «Он росту ниже среднего, почти малого...— констатировал М. А. Дмитриев.— Он был необыкновенно скромен, молчалив и расчетлив в речах; в нем было что-то робкое, хотя известно, что он не был таков в огне сражения» ***. Н. И. Греч, рассказывая в «Записках...» о последней встрече с Батюшковым (в 1822 году), заметил: «Мы расстались на углу Исакиевской площади. Он пошел далее на площадь, а я остановился и смотрел вслед за ним с чувством глубокого уныния. И теперь вижу его *субтильную* фигурку, как он шел, потупив глаза в землю...» ****

Маленький рост Батюшкова («не более двух аршин»,— уточнил один из современников *****) сразу же обращал на себя внимание. Даже

---

* Сушков Н. В. Обоз к потомству с книгами и рукописями.— Раут. Исторический и литературный сборник. Кн. 3-я. М., 1854, с. 277—278.

** Цит. по кн.: Майков Л. Батюшков, его жизнь и сочинения. Изд. 2-е. СПб., 1896, с. 6.

*** Дмитриев М. Мелочи из запаса моей памяти. М., 1869, с. 196.

**** Греч Н. И. Записки о моей жизни. М.— Л., Academia, 1930, с. 489—490.

***** Из рассказов Д. Н. Блудова, записанных П. И. Бартеневым.— *ИРЛИ*, 16412/CIII 6. 15. л. 3.

в прозвищах поэта, принятых в кружке друзей, отмечается прежде всего эта его особенность: «Крошка Батюшков», «Пипинька» (от Пипина Короткого, короля франкской династии Каролингов), «Попинька» (уменьшительное от имени английского поэта А. Попа), «Колибри Парнаса», «Ахилл» — в шутливой «арзамасской» транскрипции «Ах! — хил», и др.

В восприятии же самого Батюшкова его рост приобретал особое значение. В той же записной книжке он перечислил причины («резоны») собственных жизненных неудач: «мал ростом», «не довольно дороден» — и рядом: «ничего не знаю с корня, а одни вершки, даже и в поэзии...», «нечиновен, не знатен, не богат». «Маленький» — ключевое слово многих самохарактеристик Батюшкова: «...я имею маленькую философию, маленькую опытность, маленький ум, маленькое сердчишко и весьма маленький кошелек». Эпитет «маленький» прилагается к абстрактным понятиям вовсе не ради красоты слога.

«Маленький ум» Батюшкова, не увлекаясь в «большие» абстракции, оказывался погруженным в практические предметы. Всякое беспредметное «умничанье» раздражало Батюшкова, воспринималось как бессмысленное «педантство». Не случайно один из его героев — Филалет из сказки «Странствователь и Домосед» — противопоставляет себя знаменитым греческим «умам»: «Не стану я моим превозноситься даром, // Как наш Алкивиад, оратор слабых жен, // Или надутый Демосфен...»

«Философия» Батюшкова — тоже «маленькая», ибо не претендует на всеобщность, а определяет лишь его собственную позицию. «Что до меня касается, милый друг,— пишет он Гнедичу в феврале 1817 года,— то я не люблю преклонять головы моей под ярмо общественных мнений. Все прекрасное мое — мое собственное. Я могу ошибаться, ошибаюсь, но не лгу ни себе, ни людям. Ни за кем не брожу; иду своим путем. Знаю, что это меня не далеко поведет, но как переменить внутреннего человека?» Носитель «маленькой философии» не умеет выразить себя статически — он должен постоянно двигаться, «развивать софизмы», изменяться.

Поэтому в поэзии Батюшкова нет единого настроя, единого тона, единой стилистической системы. Поэтому в его прозе нет ярко выраженного единства мировоззрения: статьи, отражающие увлечения идеями французских просветителей, соседствуют со статьями о несостоятельности просветительской философии. Здесь нет противоречия или «недомыслия» — здесь существо восприятия жизни «малюткой Батюшковым».

«Гигант по дарованью» — эта часть формулы Жуковского подчеркивала потенциальные возможности батюшковского дарования. «Сущая безделка», «мелочи», «маранье», «дрянь» — именно так Батюшков характеризовал уже созданное им. И постоянное упование на будущие творения, характерное и для самого поэта, и для его современников,

создавало парадоксальную ситуацию: «гигантское» дарование одновременно оказывалось «маленьким дарованием», «крохотной музой», «маловажным достоинством»... В этих самооценках Батюшкова не было ни рисовки, ни лицемерия — просто «гигант» не переставал оставаться «малюткой». Создавая нечто новое, он никогда не был уверен в его «истинности», и собственное поэтическое новаторство воспринималось им как эсперимент, об «удаче» которого очень трудно судить. В письмах к Гнедичу от начала 1817 года Батюшков, готовящий к печати «Опыты...», постоянно высказывает сомнение в успехе, просит «выкинуть», «непременно выкинуть», «ради Бога выкинуть» какое-нибудь «дрянное» стихотворение. А посылая уже вышедший том «Опытов...» Жуковскому, извиняется за «погрешности» и тут же надеется на «другое издание», будущее.

Неуверенность Батюшкова в своем творчестве вызывалась также его чрезвычайной взыскательностью к себе как к художнику. Поэзия, писал он в 1810 году, «есть искусство самое *легкое* и самое *трудное*, которое требует прилежания и труда гораздо более, нежели как об этом думают светские люди». «Я пишу мало и пишу довольно медленно...» — заметил он тогда же в письме к Гнедичу, выдвигая требование черновой поэтической работы, необходимости постоянно «переправлять», «чистить» стихи, искать «благозвучия»...

При этом в художественных открытиях «гиганта» Батюшкова был элемент некоей случайности. Такие «безделки», как «Вакханка», «Мой гений», «Судьба Одиссея», остались в золотом фонде русской лирики — для самого же Батюшкова они были «проходными», почти экспромтами. И напротив, сознательно и упорно «делавшиеся» элегии «Гезиод и Омир — соперники», «Умирающий Тасс», «Мечта» несмотря на значительность поэтической мысли и блестящее художественное мастерство не были оценены потомками.

О. Мандельштам, много размышлявший о творчестве и личности Батюшкова, заметил: «Батюшков — записная книжка нерожденного Пушкина — погиб оттого, что вкусил от Тассовых чар, не имея к ним Дантовой прививки» *. Это глубочайшее замечание прямо связывает судьбу поэта с особенностями его дарования.

Батюшков не справился с нагрузкой «гиганта по дарованию». Именно потому он фактически отошел от литературы уже в 1818 году, за несколько лет до начала душевного заболевания: он оставлял читателям надежду *ждать* чего-то не воплощенного, но уже готового выразиться в его творчестве.

---

* Мандельштам О. Разговор о Данте. М., Искусство, 1967, с. 75.

2

Будущий поэт родился 18(29) мая 1787 года в губернском городе Вологде, в семье Николая Львовича Батюшкова, надворного советника, служившего по прокурорской части. По отцу он происходил из старинного дворянского рода, представители которого были известными деятелями еще во времена Ивана Грозного. В роде Батюшковых числились и военные, и дипломаты, и воеводы... И неподкупные прокуроры, каковым был прадед поэта, Андрей Ильич Батюшков, который, по замечанию правнука, был «бригадир при Петре Первом, человек нрава крутого и твердый духом». И даже мятежники — младший брат деда, Илья Андреевич, был сослан в Мангазею за «говорение злодейственных слов» против Екатерины II.

Матери своей, Александры Григорьевны, происходившей из «вологодских дворян Бердяевых», поэт почти не помнил: вскоре после рождения сына она заболела наследственным душевным недугом и в 1795 году умерла, оставив, помимо малолетнего Константина, еще четырех дочерей.

До десятилетнего возраста Батюшков жил в родовом имении — селе Даниловском Бежецкого уезда Тверской губернии, находившемся в 15 верстах от Устюжны Железопольской. Русской грамоте и письму его обучал дед, Лев Андреевич, рачительный сельский хозяин, выразительную характеристику которому дал его двоюродный племянник, поэт и просветитель Михаил Никитич Муравьев, посещавший Батюшковых в Даниловском:

Преходим, от валов теченье удаля,
Железом ýстюжским усеяны поля.
Ты принял нас в твоей сени благословенной,
Муж важный твердостью, родством соединенной.
Ты, от волнения себя уединив,
Находишь счастие среди спокойных нив.

Дед поэта и его первый наставник был очень образованным человеком: не случайно он многие годы избирался предводителем дворянства Устюжно-Железопольского уезда. В усадьбе имелась большая библиотека, и первыми книгами Батюшкова стали оды Ломоносова, басни Эзопа, поэмы Вергилия...

С 1797 по 1802 годы Батюшков учился в частных петербургских пансионах О. П. Жакино и И. А. Триполи, где получил весьма приличное по тем временам образование и, в частности, овладел французским, итальянским и латинским языками. Четырнадцатилетним мальчиком он выпустил из печати первый литературный труд — перевод на французский язык «Похвального слова» митрополита Платона Любарского на коронование Александра I (перевод был издан отдельной

книжкой на средства дальнего родственника Батюшковых, пошехонского помещика П. А. Соколова).

По окончании пансионов, в декабре 1802 года будущий поэт устроился на службу чиновником во вновь организованном министерстве народного просвещения. Сначала он служил писцом в канцелярии министра (графа П. В. Завадовского), затем — секретарем у товарища министра, попечителя Московского учебного округа М. Н. Муравьева.

С семейством Муравьевых у Батюшкова с ранней юности установились очень теплые отношения. «Дядюшка» Михаил Никитич заменил ему отца и наставника. «Тетушку» Екатерину Федоровну он почитал своей второй матерью. К племянникам, Никите и Александру (будущим декабристам), привык относиться как к младшим братьям. В 1814 году в письме к Жуковскому Батюшков заметил о покойном уже Муравьеве: «...я знал его, сколько можно знать человека в мои лета. Я обязан ему всем...» Именно под руководством «дядюшки» будущий поэт сумел систематизировать и углубить хаотические знания, полученные им в пансионах: основательно изучил философию французского Просвещения (Вольтер, Дидро, Д'Аламбер), античную поэзию (Вергилий, Гораций, Овидий, Тибулл), литературу итальянского Возрождения (Данте, Петрарка, Боккаччо, Тассо, Ариосто). Утверждая в сознании Батюшкова идеал художника-творца, рожденного «для утешения и назидания человечества красноречивым словом и красноречивейшим примером», Муравьев учил его находить истинную красоту в жизни и в искусстве, формировать собственное миросозерцание и художественные вкусы. Под влиянием «дядюшки» Батюшков начинает писать стихи.

Как поэт он дебютировал в печати сатирой «Послание к стихам моим», опубликованной в первом номере журнала «Новости русской литературы» за 1805 год. В сатирическом стиле были написаны и другие ранние стихи: «Перевод 1-й сатиры Боало», «К Филисе». В эти годы Батюшков предпринял попытку вступить в Вольное общество любителей словесности, наук и художеств, среди членов которого было много его сослуживцев по министерству просвещения: И. П. Пнин, И. И. Мартынов, Н. Ф. Остолопов, Н. А. Радищев, Д. И. Языков, Н. П. Брусилов и др. Он представил обществу сатиру «Послание к Хлое», которая, однако, вызвала много серьезных замечаний *.

Единственным стихотворением этого раннего ученического периода, которое вошло в «Опыты...», стала элегия «Мечта». На протяжении 12 лет Батюшков все время возвращался к ней: дополнял, исправлял, по крайней мере, трижды заново переписывал, но так и не смог избавиться

---

* См.: Проскурин О. Победитель всех Гекторов халдейских... (К. Н. Батюшков в литературной борьбе начала XIX века).— Вопросы литературы, 1987, № 6, с. 64—65.

от следов «первой молодости поэта» (на что указал Пушкин). Уже в «Мечте» была выражена идея, определявшая, собственно, все батюшковское творчество: «Мечтанье есть душа поэтов и стихов...» Ср. в «Послании к Н. И. Гнедичу» (1805):

Мы сказки любим все, мы — дети, но большие.
Что в истине пустой? Она лишь ум сушит,
Мечта все в мире золотит,
И от печали злыя
Мечта нам щит.

(*«Послание к Н. И. Гнедичу»*, 1805)

Внешне Батюшков ведет счастливую жизнь «баловня»: необременительная служба секретарем при «дядюшке», многочисленные литературные знакомства (Г. Р. Державин, В. В. Капнист, И. А. Крылов, А. Е. Измайлов, В. А. Озеров, П. А. Катенин и др.), дружба с Н. И. Гнедичем, атмосфера любезных ухаживаний в кружке А. П. Квашниной-Самариной и П. М. Ниловой, приятные беседы в салоне А. Н. Оленина... Творческие поиски той поры еще не приводят к серьезным литературным открытиям — это, главным образом, сатиры, эпиграммы, оды, созданные «по следам» Ломоносова и Державина («Бог»), стихотворения, написанные в духе модных французских образцов «легкой поэзии» («Элегия», «К Мальвине», «Совет друзьям»).

В этот же период был задуман и большой труд, долженствовавший обеспечить будущее поэтическое «бессмертие». Между Батюшковым и Гнедичем возникло нечто вроде соглашения: Гнедич принялся за перевод «Илиады» Гомера (титанический труд, растянувшийся на четверть века); Батюшков — за перевод «Освобожденного Иерусалима» Торквато Тассо...

Но ни поэтические успехи, ни удачно начавшаяся служба «расставщика кавык и строчных препинаний» Батюшкова не удовлетворяют. В феврале 1807 года он круто меняет свою жизнь: преодолев недовольство родных и близких, бросает службу и записывается в народное ополчение в качестве сотенного начальника милиционного баталиона, а затем отправляется в Прусский поход на войну с Наполеоном. 29 мая 1807 года в сражении при Гейльсберге Батюшков был тяжело ранен: пуля задела спинной мозг.

Дальнейшая жизнь будет казаться Батюшкову чередованием «маленьких радостей» и «больших несчастий». Так, «радостью» стало лечение в Риге, где поэт, выздоравливая в доме купца Мюгеля, увлекся его прелестной дочерью:

Я помню утро то, как слабою рукою,
Склонясь на костыли, поддержанный тобою,

Я в первый раз узрел цветы и древеса...
Какое счастие с весной воскреснуть ясной!
В глазах любви еще прелестнее весна...

(«Воспоминания 1807 года»)

Вслед за тем посыпались несчастия: смерть М. Н. Муравьева, а затем старшей сестры поэта Анны (бывшей замужем за петербургским чиновником А. И. Гревенцем). В Даниловском, куда Батюшков приехал в отпуск после ранения, отец объявил о своей вторичной женитьбе (на устюженской дворянке А. Н. Теглевой). Это привело к семейной ссоре, потребовавшей раздела имения. Поэт и его сестры должны были судебным порядком вступать во владение имуществом покойной матери... Оставаться в родительском доме было невозможно, и Константин перевез незамужних сестер (Александру и Варвару) в старый материнский дом — в сельцо Ха́нтоново близ уездного города Череповца.

Домашние дела, огорчения, разъезды и судебные хлопоты совершенно измучили Батюшкова — и, чтобы спастись от них, он вновь уходит в армию. В 1808—1809 годах поэт участвовал во второй войне — со Швецией. Вместе с корпусом П. И. Багратиона он совершает знаменитый марш на Аландские острова по льду Ботнического залива, спокойно перенося тяготы «военной жизни и биваков». Но когда армия ушла на зимние квартиры, он заскучал и после полугодового безделья в заброшенных финских городках подал в отставку.

В это время Батюшков почти ничего не писал, кроме стихов к «случаю» (например, басня «Пастух и Соловей», написанная в защиту драматурга В. А. Озерова). Взялся было за Тассо, переложил в стихах первую песнь «Освобожденного Иерусалима»,— но вскоре охладел и к переводу, и к подлиннику...

Летом 1809 года Батюшков, получив отставку и решив стать сельским хозяином, приезжает в свой «единственный верный приют» — в Хантоново. Там он много читает, размышляет о литературе. И вновь берется за стихи.

Осенью 1809 года он пишет сатиру «Видение на брегах Леты», знаменовавшую начало зрелого этапа его творчества. Для самого поэта это была «шутка», которая, однако, положила начало богатой литературно-сатирической традиции общества «Арзамас». Сатира Батюшкова, очень простая по мысли, была направлена против конкретных, прямо названных «действующих лиц и масок» современного литературного процесса и в то же время определяла позицию самого автора в хаосе литературных направлений и групп начала XIX века.

Кто из поэтов не жаждет бессмертия? Однако проверки в Лете («реке забвения стихов») не выдерживают ни литературные староверы («сочлены юные» адмирала А. С. Шишкова), ни московские «пастушки» (П. И. Шаликов), ни петербургские «Сафы» (Е. П. Титова, А. П. Бунина, М. Н. Извекова), ни «жаркие патриоты» (С. Н. Глинка), ни творцы

сомнительных художественных экспериментов (С. С. Бобров или «безъерный» Д. И. Языков). Единственным поэтом, которого Батюшков «удостоил» подлинного бессмертия, стал «ленивец» Крылов, к бессмертию не стремившийся.

Батюшков выступил против оставшегося в наследство от классицизма убеждения, что «бессмертие» создается лишь непрестанными «трудами»: эпическими поэмами больших размеров, многострочными переводами классических авторов. Оказывается, необходима еще и такая малость, как талант.

И не случайно, написав «Видение...», сам Батюшков окончательно отказывается от перевода «Освобожденного Иерусалима» — «бессмертного» деяния, с которым еще недавно связывал свою будущую поэтическую славу. «Ты мне твердишь о Тассе, или Тазе,— пишет он Гнедичу,— как будто я сотворен по образу и подобию Божьему затем, чтоб переводить Тасса. Какая слава, какая польза от этого? Никакой. Только время потерянное, золотое время для сна и лени». Последнее замечание уже прямо соотносится с образом Крылова из батюшковской сатиры:

«Ну, что ты делал?» — «Все пустяк;
Тянул тихонько век унылый;
Пил, сладко ел, а боле — спал.
Ну вот, Минос, мои творенья,
С собой я очень мало взял:
Комедии, стихотворенья
Да басни все...» — «Купай, купай!»
О, чудо! всплыли все,— и вскоре
Крылов, забыв житейско горе,
Пошел обедать прямо в рай.

3

В Хантонове, в «краю брусники и клюквы», затерянном среди глухих северных лесов, Батюшков скоро начал тяготиться одиночеством. Прожив в деревне около шести месяцев, поэт, живо откликнувшись на приглашение Е. Ф. Муравьевой, в начале 1810 года приехал в Москву.

«Видение на брегах Леты», быстро разошедшееся в списках, было восторженно принято в Москве и открыло Батюшкова для широкого литературного круга. Автор «Леты» попал в вихрь московских развлечений и забав, но и тут остался человеком,

Который с год зевал на балах богачей,
Зевал в концерте и в собранье,
Зевал на скачке, на гулянье,
Везде равно зевал...

(«Прогулка по Москве»)

«Друг твой не сумасшедший, не мечтатель, но чудак»,— заметил Батюшков о себе в одном из писем. Ранняя пресыщенность жизнью и «изношенность души», разочарование, одиночество на людях и стремление к одиночеству «посреди рассеяний столицы», постоянная потребность в «перемене мест» — вот черты сложившегося к этому времени характера Батюшкова.

В Москве Батюшков нашел новых друзей — и каких! — Н. М. Карамзина, В. А. Жуковского, П. А. Вяземского, В. Л. Пушкина. Он стал активно сотрудничать в популярном московском журнале «Вестник Европы»: в 1810—1811 годах почти в каждом номере появлялись его стихотворные и прозаические «безделки». Он «якубствует» с друзьями и «тибуллит на досуге», он весел, он счастлив... несколько месяцев. А летом 1810 года — тайком бежит от друзей (из Остафьева, подмосковного имения Вяземских), ибо ему становится «грустно, очень грустно...».

Эти же разъезды — из Москвы в деревню и из деревни в Москву — повторились и в следующем, 1811 году. С этого времени Батюшков почти не жил на одном месте более полугода. Он искал способ преодолеть скуку, хандру, освободиться от тяжелых минут душевной пустоты — от того несчастья, которое его преследовало всюду. Первой такой попыткой был уход в «легкую поэзию».

Стихи Батюшкова этого периода — в основном вольные переводы из Тибулла (три «Тибулловых элегии»), Э. Парни («Ложный страх», «Привидение», «Мадагаскарская песня», «Источник», «Вакханка»), Ж.-Б. Грессе («Мои Пенаты»), Д. Касти («Радость», «Счастливец»). В них поэт воспевал идеал эроса — быстротечные наслаждения, веселье, любовные забавы, свободу и безмятежность. «Пей из чаши полной радость!..» — этот призыв из стихотворения «Веселый час» повторялся в ряде вариаций:

Я Лилы пью дыханье
На пламенных устах,
Как роз благоуханье,
Как нектар на пирах!..
Покойся, друг прелестной,
В объятиях моих!
Пускай в стране безвестной,
В тени лесов густых,
Богинею слепою
Забыт я от пелен,
Но дружбой и тобою
С избытком награжден!..

(«Мои Пенаты»)

Имея в виду эти, ранние, стихи поэта, Гоголь заметил, что Батюшков «весь потонул в роскошной прелести видимого, которое так ясно слышал и так сильно чувствовал. Все прекрасное во всех образах, даже и незримых, он как бы силился превратить в осязательную негу на-

слажденья. Он слышал, выражаясь его же выраженьем, «стихов и мыслей сладострастье» *. Подчас именно эта жизнелюбивая лирика представляется выражением некоего творческого кредо Батюшкова-поэта и даже противопоставляется религиозным и скорбным мотивам его творчества, появившимся в более поздний период. Такое противопоставление вряд ли оправданно.

«Сладострастие» Батюшкова имело исключительно литературное происхождение. «Неужели Батюшков на деле то же, что в стихах? — заметил однажды Вяземский.— Сладострастие совсем не в нем» **. Оно принадлежало миру «легкой поэзии»: «И розы сладострастья жнет // В веселых цветниках Буфлера и Марота...» Уже само явление поэта в этих «веселых цветниках» литературной традиции требовало маски «ленивца», «эпикурейца», «любовника строгой Лоры». Не случайно тот же Вяземский именовал Батюшкова «Парни Николаевичем» и «певцом чужих Элеонор». Кроме того, Батюшков очень по-своему воспринимал эти «веселые цветники». «Счастлив! счастлив, кто цветами // Дни любови украшал...» — поэт отдает дань декларированной ранее «мечте», за которой постоянно ощущается жестокий мир действительных отношений, не позволяющий художнику выйти из границ «сказки»:

Так давай в безвестной доле,
Чужды рабства и цепей,
Кое-как тянуть жизнь нашу,
Часто с горем пополам,
Наливать полнее чашу
И смеяться дуракам!

(«К Петину»)

Картины веселья наперекор «безвестной доле» и «кое-как» проходящей жизни в любое мгновение могут разрушиться вторжением «железного века» (этот образ впервые в русскую поэзию ввел именно Батюшков). Упоение жизнью и молодостью соединяется с предчувствием кризиса:

Сердце наше кладезь мрачной:
Тих, покоен сверху вид,
Но спустись ко дну... ужасно!
Крокодил на нем лежит!

(«Счастливец»)

Образ «крокодила», живущего на дне человеческого сердца, заимствован из романтической повести Ф. Шатобриана «Атала»,— но Батюшков углубляет его смысл, делая символом глубоко скрытой тра-

---

* Гоголь Н. В. Полн. собр. соч., т. VIII. М., АН СССР, 1952, с. 379.

** Остафьевский архив князей Вяземских, т. I. СПб., 1899, с. 382.

гедии человека. Этот внутренний трагизм, проглядывавший сквозь «розы сладострастья», был попросту не понят современниками поэта.

Стихотворения Батюшкова не укладывались в рамки традиций эпикурейской поэзии. Так, в послании «Мои Пенаты» условная античность уживается с реальным бытом деревенского жителя. «Хижина убогая», традиционно противопоставляющаяся вельможным дворцам, обретает неожиданные черты конкретной усадьбы небогатого помещика: «Стол ветхой и треногой // С изорванным сукном...» — эта деталь встречается в письмах Батюшкова из Хантонова. Рядом с фигурками Лар и Пенат, расставленными по «норам и темным кельям», оказывается «убогой» калека-солдат с «двуструнной балалайкой». Непременная в таких случаях «Лилета», театрально переодевающаяся из «наряда военного» в одеяние «пастушки», открывает «эротическую» тему. Но эта, казалось бы, главная тема отходит на второй план. Мотив радости и любви сменяется темой смерти и похорон, в описании которых опять-таки причудливо сочетаются античные «куренья» и православные «псалмопенья». «Это все друг другу слишком уже противоречит»,— недовольно заметил Пушкин на полях «Опытов...» *.

Но это противоречие как раз и составило основную особенность стихотворения Батюшкова. Еще Белинский заметил, что не только «веселы тени» поэтов прошлого, которых упоминает в «Моих Пенатах» Батюшков, но даже адресаты послания, Жуковский и Вяземский, становятся чем-то похожи на античных мудрецов. Все это рождает новое художественное единство, с высоты которого «веселые цветники» анакреонтики начинают просматриваться в ироническом свете:

Тебя и Нимфы ждут, объятья простирая,
И Фавны дикие, кроталами играя.
Придешь, и все к тебе навстречу прибегут
        Из древ Гамадриады,
        Из рек обмытые Наяды,
И даже сельский поп, сатир и пьяный плут...

(Из письма к Н. И. Гнедичу,
4 августа 1809)

Таким образом, создавая русские образцы «легкой поэзии», Батюшков тем самым начинает переосмысливать ее традиции.

4

В начале 1812 года Батюшков оказался в Петербурге, где поступил на службу в Публичную библиотеку (в должности помощника храните-

---

* Пушкин А. С. Полн. собр. соч., т. 12. М., АН СССР, 1949, с. 273.

ля манускриптов). Началась Отечественная война. Из-за болезни Батюшков не смог сразу поступить в армию, а в августе должен был отправиться в Москву, чтобы помочь семейству Муравьевых выехать из города... Война расширила «географию» батюшковских разъездов: судьба, благосклонная к «печальному страннику», посылает ему впечатление за впечатлением. Владимир и Нижний Новгород, Вологда и Ярославль, развалины сожженной Москвы и петербургские торжества. Затем — Польша и Пруссия, Силезия и Чехия, Франция и Англия, Швеция и Финляндия...

Как трудно век дожить на родине своей
Тому, кто в юности из края в край носился...
(«Странствователь и Домосед»)

Батюшков, один из «московских беглецов», испытал на себе «все ужасы войны»: «разрушение прекраснейшей из столиц», «переселение целых губерний», «нищету, отчаяние, пожары, голод»,— «зло, разлившееся по лицу земли»... События 1812 года заставили его переосмыслить прежние идеалы, отказаться от былых симпатий. «Ужасные поступки вандалов или французов в Москве и в ее окрестностях,— пишет он Гнедичу,— поступки, беспримерные и в самой истории, вовсе расстроили мою маленькую философию и поссорили меня с человечеством».

Непосредственным выражением этого нового мироощущения Батюшкова стало его послание «К Дашкову». В самые первые месяцы Отечественной войны он, как и Жуковский, заявил себя патриотом. Но если Жуковский сделал это в форме официального, большого, «заказного» произведения «Певец во стане русских воинов», которое тотчас было роскошно издано на средства императрицы и получило громкую известность в среде русского офицерства,— то патриотическое «заявление» Батюшкова носило личный, интимный характер дружеского послания. И речь в нем шла не о том, как некий «певец» вдохновляет на подвиги многочисленных «героев», а о том, что происходит в душе и сознании самого «певца»:

Я видел сонмы богачей,
Бегущих в рубищах издранных;
Я видел бледных матерей,
Из милой родины изгнанных!
Я на распутье видел их,
Как, к персям чад прижав грудных,
Они в отчаянье рыдали,
И с новым трепетом взирали
На небо рдяное кругом...

Многие поэтические образы этого отрывка — отголоски личных впечатлений Батюшкова того времени (ср. в письме к Н. И. Гнедичу от октября 1812 года: «От Твери до Москвы и от Москвы до Нижнего,

я видел, видел целые семейства всех состояний, всех возрастов в самом жалком положении... и с трепетом взирал на землю, на небо и на себя»...). Образ богачей «в рубищах издранных» вызван воспоминанием от встречи Батюшкова с С. Н. Глинкой, который покинул Москву в день вступления туда французов, долго странствовал, не ведая, где находится его семья, явился, наконец, в Нижний Новгород — без денег, без вещей, в изорванном платье. Батюшков, узнав об этом, передал Глинке «от имени неизвестного» запас белья *. «Трикраты с ужасом потом // Бродил в Москве опустошенной...» — Батюшков действительно трижды проезжал через разрушенную французами Москву. «Пока с израненным героем, // Кому известен к славе путь...» — в конце 1812 года Батюшков поступил на военную службу адъютантом к генералу А. Н. Бахметеву, который в Бородинском сражении лишился правой ноги... Поэтому и заключительная клятва поэта («Нет, нет! пока на поле чести...») должна была стать биографической реальностью.

В 1813—1814 годах Батюшков участвовал в заграничном походе русской армии против Наполеона и многократно рисковал жизнью «на поле чести». Будучи адъютантом прославленного генерала Н. Н. Раевского, он под Дрезденом «чуть не попал в плен, наскакав нечаянно на французскую кавалерию», в сражении близ Теплица был «в сильной перепалке», героически проявил себя в Лейпцигской «битве народов» (4—6 октября 1813 года) и при штурме Парижа (18—19 марта 1814 года). Под Лейпцигом был ранен Раевский и погиб старинный друг Батюшкова (еще с первого «прусского» похода) полковник И. А. Петин, образ которого отразился в стихах поэта («Тень друга») и в его прозе («Воспоминание о Петине»). Впечатления войны и военных странствий стали основой для многих произведений Батюшкова, как стихотворных («Пленный», «На развалах замка в Швеции», «Судьба Одиссея», «Переход через Рейн», «К Никите» и др.), так и прозаических («Воспоминание мест, сражений и путешествий», «Путешествие в замок Сирей», заметки в записной книжке).

Восприятие Батюшковым войны и событий, с нею связанных, отличалось от восприятия большинства его современников. Война для него — не ряд красивых подвигов и благородных жертв, это собрание жестокостей, вырастающих в весьма уродливую картину. И потому ни в одном из своих произведений поэт не восхваляет ни воинских доблестей, ни отдельных подвигов. Он либо скорбит, либо грустно усмехается.

Все пусто... Кое-где на снеге труп чернеет,
И брошенных костров огонь, дымяся, тлеет,
И хладный, как мертвец,

---

* Глинка С. Н. Записки о 1812 годе. СПб., 1836, с. 98.

Один среди дороги,
Сидит задумчивый беглец
Недвижим, смутный взор вперив на мертвы ноги.

(«Переход русских войск через Неман 1 января 1813 г.»)

«Эти «мертвы ноги»,— замечает исследователь поэзии Батюшкова,— реалистическая деталь, подобную которой трудно найти в поэзии периода Отечественной войны» *.

И в своей военной прозе Батюшков стремится к изображению не «парадной», а повседневной обстановки. Вот описание поля битвы при Лейпциге, наполненное прямо-таки «толстовскими» деталями: «Этот день почти до самой ночи я провел на поле сражения, объезжая его с одного конца до другого и рассматривая окровавленные трупы. Утро было пасмурное. Около полудня полился дождь реками; все усугубляло мрачность ужаснейшего зрелища, которого одно воспоминание утомляет душу, зрелища свежего поля битвы, заваленного трупами людей, коней, разбитыми ящиками...» («Воспоминание о Петине»).

Не традиционным оказался у Батюшкова и образ воина, «ратника». Вот герой элегии «Переход через Рейн» (которую Пушкин назвал лучшим произведением Батюшкова), русский солдат, оказавшийся на великой реке, на границе Франции:

...Быть может, он воспоминает
Реку своих родимых мест —
И на груди свой медный крест
Невольно к сердцу прижимает...

В отличие от Д. Давыдова, Батюшков не стремится к созданию образа героя-гусара. Он отказывается от агитационных начал, пародируя стилистическую эклектику «Певца...» Жуковского (в сатире «Певец, или Певцы в Беседе Славено-россов»). В отличие от Ф. Глинки, он почти не привносит фольклорных, солдатских мотивов в свои стихи. Расходясь с распространенными классицистическими «призывами» и «маршами» («Марш русской гвардии» С. Марина, «Солдатская песня» И. Praванько и др.), он не развивает и традиционных «победных» мотивов. Точность и реалистичность изображения войны, умение в нескольких штрихах раскрыть ее народный характер, передать мироощущение русского солдата — вот характерные черты военной поэзии и прозы Батюшкова.

5

Летом 1814 года Батюшков вернулся в Петербург, на набережную Фонтанки, в дом Муравьевых:

---

* Фридман Н. В. Поэзия Батюшкова. М., Наука, 1971, с. 174.

Я сам, друзья мои, дань сердца заплатил,
Когда, волненьями судьбины
В отчизну брошенный из дальних стран чужбины,
Увидел, наконец, Адмиралтейский шпиц,
Фонтанку, этот дом... и столько милых лиц,
Для сердца моего единственных на свете!..

(«Странствователь и Домосед»)

Но здесь его ждали новые огорчения: болезни, разрыв с Анной Фурман, воспитанницей Олениных, которую поэт полюбил еще до ухода в армию.

В 1815—1816 годах Батюшков по-прежнему ведет страннический образ жизни: Петербург, Хантоново, Вологда, Каменец-Подольский, Москва, снова Хантоново... Он переживает острейший духовный кризис. «Скажи мне,— пишет он Жуковскому,— к чему прибегнуть, чем занять пустоту душевную; скажи мне, как могу быть полезен обществу, себе, друзьям!.. К гражданской службе я не способен. Плутарх не стыдился считать кирпичи в маленькой Херонее; я не Плутарх, к несчастию, и не имею довольно философии, чтобы заняться безделками. Что же делать? Писать стихи? Но для того нужна сила душевная, спокойствие, тысячу надежд, тысячу очарований и в себе, и кругом себя...»

В этот период к Батюшкову приходит литературный успех и слава «первого поэта» России. Но пишет он все меньше, и пишет совсем не то, чего от него ожидают. Он отказывается от сатир и эпиграмм. Он вовсе уходит из «веселых цветников» анакреонтики. В его творчестве появляются философские и религиозные размышления («К другу», «Надежда»), мотивы трагической любви («Разлука», «Пробуждение», «Элегия») и извечного разлада художника-творца с действительностью («Гезиод и Омир, соперники», «Умирающий Тасс»).

Картина общей дисгармонии, истоки которой лежат в самом человеке, становится предметом большой стихотворной сказки Батюшкова «Странствователь и Домосед», где поэт (полемизируя с лозунгом Жуковского «Наше счастье в нас самих!») подверг сомнению возможность осуществления «положительных» идеалов вообще. Батюшков признавался, что в этой сказке он «описал себя, свои собственные заблуждения — и сердца, и ума моего» (из письма к П. А. Вяземскому). «Странствователь и Домосед» — это история жителя афинского предместья Филалета, который, в отличие от своего брата Клита, честолюбиво стремится к славным путешествиям. Он попадает в Египет, в Кротону, к подножию Этны — и везде терпит лишь неудачи. Наконец, «избитый, полумертвый», возвращается под кров смиренного брата.

Это был своеобразный ответ на знаменитое стихотворение Жуковского «Теон и Эсхин», которое Белинский назвал «программой всей поэзии Жуковского». У Жуковского Эсхин, изнуренный «прожиганием жизни» и долгими скитаниями по свету, находит успокоение в смиренном домике своего друга Теона, искавшего смысл человеческого бытия

в самом себе, а не в окружающем мире. У Батюшкова Филалет, испытав, подобно Эсхину, много горя и неудач, «как в клетке стосковался» в смиренном домике своего брата и задумал новое путешествие, заранее обреченное на неудачу: «За розами побрел в снега Гипербореев...» Ни увещевания родных, ни внутреннее понимание бесполезности своих скитаний не останавливают его:

Напрасные слова — чудак не воротился —
Рукой махнул... и скрылся.

«Батюшков — поэт еще более трагический, чем Жуковский,— писал Г. Гуковский.— Это — поэт безнадежности. Он не может бежать от мира призраков и лжи в мир замкнутой души, ибо не верит в душу человеческую, как она есть; душа человека для него — такая же запятнанная, загубленная, как и мир, окружающий ее» *.

При такой позиции даже мир поэтической «мечты» оказывается невозможным для Батюшкова. Для «мечты» просто не существует временных возможностей проявления, что отметил сам поэт в записной книжке: «С чего начать? О чем писать? Отдавать себе отчет в протекшем, описывать настоящее и планы будущего. Но это — признаться — очень скучно. Говорить о протекшем хорошо на старости, и то великим людям или богатым перед наследниками, которые из снисхождения слушают... Что говорить о настоящем! Оно едва ли существует. Будущее... о, будущее для меня очень тягостно с некоторого времени! Итак, пиши о чем-нибудь, рассуждай!..»

Идеал поэта — ни в прошлом, ни в будущем. Переживший «три войны», исполнившийся скорбного неверия в возможность осуществления нормального бытия людей в странном и разорванном «железном веке», поэт все чаще обращается к раздумьям о страшных духовных последствиях трагического развития жизни:

Минутны странники, мы ходим по гробам,
Все дни утратами считаем;
На крыльях радости летим к своим друзьям,—
И что ж?.. их урны обнимаем.

Подобного рода настроения отразились и в прозе Батюшкова, наиболее значительные образцы которой были им созданы в 1815—1816 годах. Впервые к прозаическим жанрам поэт обратился в 1809 году. Рассматривая прозу как «питательницу стиха», подготовительную, начальную фазу поэзии, он искал в прозе прежде всего особенных, промежуточных форм повествования. Идя от литературного «письма», на первых этапах Батюшков просто соединял его элементы с формами нравоописательного очерка («Прогулка по Москве»), путевой зарисовки

* Гуковский Г. А. Пушкин и русские романтики. М., 1965, с. 165.

(«Отрывок из писем русского офицера о Финляндии»), анекдота («Анекдот о свадьбе Ривароля»), сатирической «речи» («Похвальное слово сну») и т. д. В послевоенный период жанровая система батюшковской прозы обрела относительную устойчивость.

А. С. Грибоедов, литературный противник того направления, одним из основоположников которого явился К. Н. Батюшков, охарактеризовал его прозаические сочинения тремя уничижительными обозначениями: «отрывок, взгляд и нечто». Несмотря на полемическую направленность, эти обозначения довольно точно определяют существо тех жанров, к которым обращался Батюшков-прозаик: морально-философские статьи («О лучших свойствах сердца», «Нечто о морали, основанной на философии и религии»), литературно-теоретические рассуждения («Нечто о поэте и поэзии», «Речь о влиянии легкой поэзии на язык»), историко-литературные и искусствоведческие очерки («О характере Ломоносова», «Вечер у Кантемира», «Ариост и Тасс», «Прогулка в Академию Художеств»). Все это — как разрозненные отрывки чего-то цельного: философии скорбного неверия поэта в возможность нравственного единения людей в «разорванном» мире действительности,— «маленькой философии», в которой декларировался отказ от просветительских идеалов юности. Рассуждения зрелого Батюшкова выливаются в серию вопросов: «К чему прибегает ум, требующий опоры?.. По какой системе расположить свои поступки, связанные столь тесно с ходом идей политических, превратных и шатких? И что успокоит его?..»

И тут же — поэтический аналог этих вечных вопросов, неразрешимых для Батюшкова: «Скажи, мудрец младый, что прочно на земли? // Где постоянно жизни счастье?..» Или: «Где мудрость светлая сияющих умов? // Где твой фалерн и розы наши?..» Проза «подхватывает» эти же вопросы: «И к чему все опыты мудрости человеческой? К чему советы и наблюдения зоркого разума? Достаточны ли они для человечества вообще и для человека частно во время его странствования по бурному морю жизни?..»

Подобные соответствия прозы и поэзии Батюшкова открывают нам важнейшую черту его творческого облика, ни у кого из писателей его времени не проявившуюся столь ярко. Дело в том, что художественный мир Батюшкова-поэта не может быть достаточно глубоко истолкован только на его «поэтическом» уровне, без учета особенностей личности его создателя,— то есть, в целом, не является самодостаточным. Батюшкова-поэта нельзя понять без его прозы. Не менее существенным оказывается и то, что он для печати не предназначал,— записные книжки и письма. Это почувствовали уже современники поэта: не случайно в издание 1834 года были включены избранные письма...

«Личностные документы» проявляют авторский подтекст, знание которого необходимо не только для филологического, но и чисто читательского восприятия произведений Батюшкова.

«Печальный странник» Батюшков взбудоражен вопросами: «Что в жизни без тебя? Что в ней без упованья, // Без дружбы, без любви — без идолов моих?..» Ответ на эти вопросы один — и в прозе, и в поэзии:

И муза, сетуя без них,
Светильник гасит дарованья.

В поэтически осознанной внутренней безысходности «итога» своих душевных исканий крылось начало трагедии.

6

В 1816 году поэт и профессор Дерптского университета А. Ф. Воейков попробовал определить сущность того нового, что внес Батюшков в русскую лирику: «У Батюшкова, воспитанника Горация и Ариоста... все кстати, впору и на своем месте; он скользит по лугу — и срывает лучшие цветы; но никогда не мнет душистого дерна. Вкус его верен, как компас Невтона, разборчив, как Аспазиев парадокс. Черт знает где Батюшков зачерпнул такой большой ковш знаний в древностях, в языке русском и славянском; кажется, что для него одного Феб открыл кладовую; он берет, вставляет странное, низкое, обветшалое слово или непонятное выражение — и слово сие является новым, благородным и звучным, и выражение ясно и сильно!» *

В 1824 году Пушкин констатировал: «...Батюшков, счаст<ливый> сподвижник Ломоносова, сделал для русского языка то же самое, что Петрарка для италианского...» ** Эта емкая характеристика, точно указывая сопоставимые с Батюшковым фигуры крупнейших национальных поэтов, гениально определяет его место в истории русской литературы. «Счастливый сподвижник Ломоносова» (а первоначально в пушкинской рукописи даже: «счастливый соперник»!) не повторил никого из предшественников и современников. Чистота, звучность и особенная обаятельность батюшковского стиха *** в период, когда русский литературный язык находился на одном из важнейших этапов своего формирования, не только способствовали тому, «что Пушкин явился таким, каким явился действительно» (Белинский), но и во многом определили пути поэтического развития России на все последующие времена.

---

* Из письма А. Ф. Воейкова к П. А. Вяземскому от 25 декабря 1816 г.: *ЦГАЛИ*, ф. 195, оп. 1, ед. хр. 1602, л. 3 об.— 4.

** Пушкин А. С. Полн. собр. соч., т. 11, с. 21.

*** В начале 1890-х годов А. Фет вспоминал, что в молодости его слух, «избалованный точностью и поэтичностью Батюшкова», отказывался воспринимать «тяжелые» стихи прошлого столетия (Фет А. А. Воспоминания. М., Правда, 1983, с. 150).

Размышлениям Батюшкова о взаимоотношениях языка и поэзии посвящены многие его статьи. Основу фонетического совершенства поэзии Батюшков ищет в итальянском стихосложении — и не случайно Пушкин, Жуковский, Плетнев называли его собственные звуки — «звуками италианскими». При этом Батюшков не пытался механически переносить на русскую почву итальянскую эвфонию. Он стремился к тому, чтобы выявить в русских звуках то «важное для уха», что само по себе определяло изначальную красоту поэтического творения. Вот признанный шедевр батюшковской звукописи:

Ты пробуждаешься, о Байя, из гробницы
При появлении Аврориных лучей,
Но не отдаст тебе багряная денница
    Сияния протекших дней,
Не возвратит убежищей прохлады,
    Где нежились рои красот,
И никогда твои порфирны колоннады
    Со дна не встанут синих вод.

Все стихотворение построено на мажорном сочетании звуков «ро» — «ра», которые оттеняются губными «б», «п», «в». К концу — этот торжественный мажор затухает, и элегический финал (два последних стиха) оказывается оркестрован под носовое «н». В стихотворении вообще отсутствует звук «м», который часто встречается в русских словах. Но здесь для «чуткого уха» Батюшкова этот звук оказался лишним — и поэт обошелся без него: так древние плотники строили свои храмы «без единого гвоздя»...

Лучшие образцы поэзии Батюшкова последнего периода — цикл «Из греческой антологии». Эти переводы, несмотря на их достаточно «вольный» характер, точно передавали дух подлинника, как и позднейшие «Подражания древним», вписанные в июне 1821 года в батюшковский экземпляр «Опытов...». В небольших по объему набросках поэт достигает совершенства изобразительности, предельной концентрации мысли, как бы реализуя те «главные достоинства стихотворного слога», которые он декларировал в «Речи о влиянии легкой поэзии на язык»: «движение, сила, ясность».

Скроем навсегда от зависти людей
Восторги пылкие и страсти упоенье.
Как сладок поцелуй в безмолвии ночей,
Как сладко тайное любови наслажденье!

Приведя эту миниатюру, Белинский заметил: «Такого стиха, как в этой пьеске, не было до Пушкина ни у одного поэта, кроме Батюшкова; мало того: можно сказать решительнее, что до Пушкина ни один поэт, кроме Батюшкова, не в состоянии был показать возможности такого русского стиха... Вспомните стихотворение Пушкина «Зима. Что делать

нам в деревне?..»: стихотворение это нисколько не антологическое, но посмотрите, как последние стихи его напоминают своею фактурою антологическую пьесу Батюшкова:

Как жарко поцелуй пылает на морозе!
Как дева русская свежа в пыли снегов!» *

В 1817 году Батюшков писал Вяземскому: «Хочу... приняться за поэму «Русалку» и за словесность русскую». Эти замыслы — поэма в 4-х песнях на национальный сюжет и обобщающий труд по истории русской литературы — не были реализованы, хотя оба соответствовали потребностям литературного развития: через несколько лет появятся «Руслан и Людмила» Пушкина и «Опыт краткой истории русской литературы» Н. И. Греча. Не была завершена Батюшковым и задуманная в том же 1817 году книга «Пантеон итальянской словесности».

В последний период творчества у Батюшкова начинает проявляться интерес к археологии и этнографии. Летом 1818 года он, в качестве почетного библиотекаря Публичной библиотеки, посещает развалины древней Ольвии, собирает ряд экспонатов, снимает план и вчерне пишет «Замечания об Ольвии» (до нас не дошедшие). Не дошли и «Записки о древностях окрестностей Неаполя», которые Батюшков писал в Италии в 1819—1820 годах. Они тоже предполагались как научно-художественное описание: автор серьезно (как явствует из его писем) работал над источниками, изучал историю древней Помпеи. Сохранились свидетельства, что Батюшков в последние годы занимался переводом «Божественной комедии» Данте (и даже полностью перевел «Ад»),— это занятие также требовало основательных филологических познаний.

Эволюция художника от раскрытия собственного «я» («внутреннего человека») к познанию «сокровища» чужого слова (ср. название его последней записной книжки: «Чужое: мое сокровище!») знаменовала начало какого-то нового, более серьезного, но, вследствие трагических обстоятельств, не раскрывшегося этапа его творчества.

7

19 ноября 1818 года друзья (среди которых был и «молодой Пушкин») провожали Батюшкова в Италию: он отъезжал к новому месту службы — чиновником при неаполитанской миссии. Два с половиной года прожил поэт в «краю Торквата»: служил, помогал русским

* Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. 7, с. 225—226.

художникам, находившимся в Италии (С. Ф. Щедрин даже жил с ним в Неаполе в одной квартире), был представлен путешествовавшему по Европе великому князю Михаилу Павловичу, наблюдал за событиями Неаполитанской революции — и «скучал». В 1820 году он выехал в Рим, в 1821-м — в Германию, лечиться на минеральные воды.

В это время у Батюшкова появляются первые признаки душевной депрессии: дала себя знать и наследственная наклонность к психическим заболеваниям, и служебные неприятности, и обостренное чувство жизненного и литературного одиночества. Весной 1822 года он вернулся в Россию, затем, почти сразу же, выехал на Кавказ, потом в Крым. Болезнь вылилась в форму мании преследования: живя в Симферополе поэт трижды покушался на самоубийство, сжег свою библиотеку и все рукописи...

В 1823—1824 годах Батюшков, уже больной, живет в Петербурге. Друзья-«арзамасцы» поочередно дежурят у него. «Батюшков...— пишет 14 июля 1823 г. Д. Н. Блудов Жуковскому,— сочинил экспромтом пародию твоих стихов к нему, прибавив:

Как бешеный, ищу развязки
Своей непостижимой сказки,
Которой имя: свет!» *

В этих трех случайно сохранившихся строках — емкая и трагическая метафора собственной жизни, которая оборачивается страшной «непостижимой сказкой»...

Стихотворение Батюшкова «Ты знаешь, что изрек, // Прощаясь с жизнию, седой Мельхиседек?..» впервые привел А. И. Тургенев в письме к Вяземскому от 21 марта 1824 года **. Опубликованное десятилетие спустя, оно было воспринято современниками как последнее завещание разуверившегося в жизни поэта, уходившего в духовное небытие, как одно из самых горьких откровений русской поэзии. «Человек рождается свободным!» — заявил Ж.-Ж. Руссо, и эти слова стали символом всей просветительской философии. «Рабом родится человек, // Рабом в могилу ляжет...» — столь же недвусмысленно замечает Батюшков, подводя итог собственного духовного опыта...

Несмотря на многочисленные попытки друзей найти средства к излечению Батюшкова, несмотря на четырехлетнее пребывание (1824—1828 гг.) в лучшей немецкой клинике для душевнобольных в Зонненштейне, вернуть поэта к нормальной жизни не удалось. С 1833 года Батюшков, всеми забытый, жил у родственников в Вологде. Там он и умер 7(9) июля 1855 года от тифозной горячки.

---

* Русский архив, 1902, № 6, с. 344.

** Остафьевский архив князей Вяземских, т. III. СПб., 1899, с. 22.

Там, в Прилукском монастыре, в трех верстах от города он и похоронен.

...В самом начале болезни Батюшков набросал свой автопортрет, рядом с которым записал строки из стихотворения «Счастливец»:

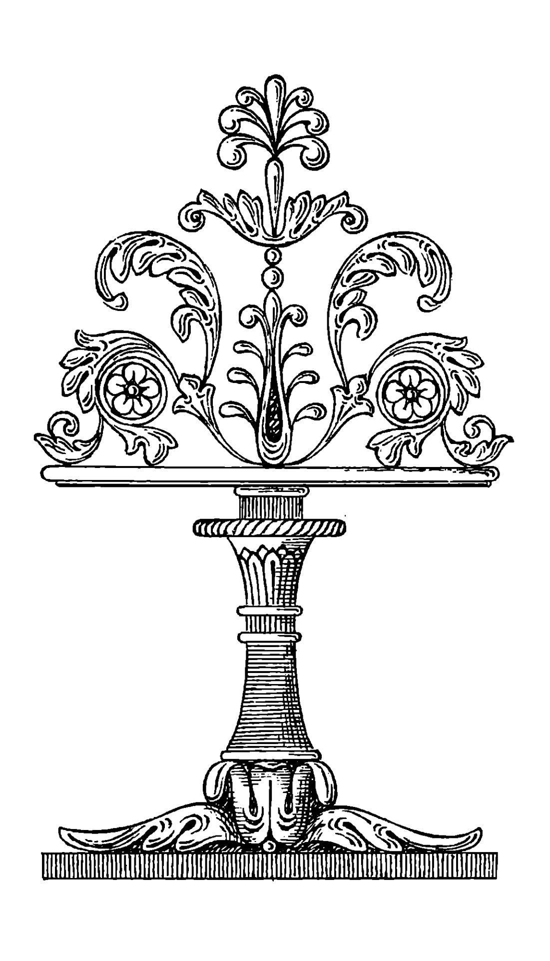
Посмотрите: в двадцать лет
Бледность щеки покрывает...

И — ниже — приписал: «Константин Николаевич Батюшков. Приятный стихотворец и добрый человек». Последняя фраза тоже как будто стихотворная: она написана размером «Моих Пенат» — трехстопным ямбом.

Позже этот портрет попал к Пушкину, который возле фразы о «добром человеке» записал (карандашом, для памяти): «Им самим рисованный».

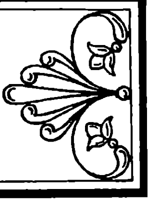
В. Кошелев


„Опыты
в стихах и прозе“





часть I · Проза



Et quand personne ne me lira, ay je perdu mon temps, de m'estre entretenu tant d'heures oysifves à pensements utiles ou agréables?

Montaigne *

I

РЕЧЬ О ВЛИЯНИИ ЛЕГКОЙ ПОЭЗИИ НА ЯЗЫК,

читанная при вступлении в «Общество любителей Российской словесности», в Москве 17 июля 1816

Избрание меня в сочлены ваши есть новое свидетельство, милостивые государи, вашей снисходительности. Вы обращаете внимательные взоры не на одно дарование, вы награждаете слабые труды и малейшие успехи; ибо имеете в виду важную цель: будущее богатство языка, столь тесно сопряженное с образованностию гражданскою, с просвещением, и следственно — с благоденствием страны, славнейшей и обширнейшей в мире. По заслугам моим я не имею права заседать с вами; но если усердие к словесности есть достоинство, то по пламенному желанию усовершенствования языка нашего, единственно по любви моей к поэзии, я могу смело сказать, что выбор ваш соответствует цели общества. Занятия мои были маловажны, но беспрерывны. Они были пред вами красноречивыми свидетелями моего усердия и доставили мне

* И если никто меня не прочитает, потерял ли я мое время, проведя столько праздных часов в полезных или приятных размышлениях? *Монтень (фр.).*

счастие заседать в древнейшем святилище муз отечественных, которое возрождается из пепла вместе с столицею царства русского и со временем будет достойно ее древнего величия.

Обозревая мысленно обширное поле словесности, необъятные труды и подвиги ума человеческого, драгоценные сокровища красноречия и стихотворства, я с горестию познаю и чувствую слабость сил и маловажность занятий моих; но утешаюсь мыслию, что успехи и в малейшей отрасли словесности могут быть полезны языку нашему. Эпопея, драматическое искусство, лирическая поэзия, история, красноречие духовное и гражданское требуют великих усилий ума, высокого и пламенного воображения. Счастливы те, которые похищают пальму первенства в сих родах: имена их становятся бессмертными; ибо счастливые произведения творческого ума не принадлежат одному народу исключительно, но делаются достоянием всего человечества. Особенно великие произведения муз имеют влияние на язык новый и необработанный. Ломоносов тому явный пример. Он преобразовал язык наш, созидая образцы во всех родах. Он то же учинил на трудном поприще словесности, что Петр Великий на поприще гражданском. Петр Великий пробудил народ, усыпленный в оковах невежества; он создал для него законы, силу военную и славу. Ломоносов пробудил язык усыпленного народа; он создал ему красноречие и стихотворство, он испытал его силу во всех родах и приготовил для грядущих талантов верные орудия к успехам. Он возвел в свое время язык русский до возможной степени совершенства — возможной, говорю, ибо язык идет всегда наравне с успехами оружия и славы народной, с просвещением, с нуждами общества, с гражданскою образованностию и людскостию. Но Ломоносов, сей исполин в науках и в искусстве писать, испытуя русский язык в важных родах, желал обогатить его нежнейшими выражениями Анакреоновой музы. Сей великий образователь нашей словесности знал и чувствовал, что язык просвещенного народа должен удовлетворять всем его требованиям и состоять не из одних высокопарных слов и выражений. Он знал, что у всех народов, и древних и новейших, легкая поэзия, которую можно назвать прелестною роскошью словесности, имела отличное место на Парнасе и давала новую пищу языку стихотворному. Греки восхищались Омером и тремя трагиками, велеречием историков своих, убедительным и стремительным красноречием Де-

мосфена: но Вион, Мосх, Симонид, Феокрит, мудрец Феосский и пламенная Сафо были увенчаны современниками. Римляне, победители греков оружием, не талантом, подражали им во всех родах: Цицерон, Вергилий, Гораций, Тит Ливий и другие состязались с греками. Важные римляне, потомки суровых Кориоланов, внимали им с удивлением; но эротическую музу Катулла, Тибулла и Проперция не отвергали. По возрождении муз, Петрарка, один из ученейших мужей своего века, светильник богословия и политики, один из первых создателей славы возрождающейся Италии из развалин классического Рима, Петрарка, немедленно шествуя за суровым Дантом, довершил образование великого наречия тосканского, подражая Тибуллу, Овидию и поэзии мавров, странной, но исполненной воображения. Маро, царедворец Франциска I, известный по эротическим стихотворениям, был один из первых образователей языка французского, которого владычество, почти пагубное, распространилось на все народы, не достигшие высокой степени просвещения. В Англии Валлер, певец Захариссы, в Германии Гагедорн и другие писатели, предшественники творца «Мессиады» и великого Шиллера, спешили жертвовать грациями и говорить языком страсти и любви, любимейшим языком муз, по словам глубокомысленного Монтаня. У нас преемник лиры Ломоносова, Державин, которого одно имя истинный талант произносит с благоговением,— Державин, вдохновенный певец высоких истин, и в зиму дней своих любил отдыхать со старцем Феосским. По следам сих поэтов, множество писателей отличились в этом роде, по-видимому столь легком, но в самом деле имеющим великие трудности и преткновения, особенно у нас; ибо язык русский, громкий, сильный и выразительный, сохранил еще некоторую суровость и упрямство, не совершенно исчезающее даже под пером опытного таланта, поддержанного наукою и терпением.

Главные достоинства стихотворного слога суть: движение, сила, ясность. В больших родах читатель, увлеченный описанием страстей, ослепленный живейшими красками поэзии, может забыть недостатки и неровности слога, и с жадностию внимает вдохновенному поэту или действующему лицу, им созданному. Во время представления какой холодный зритель будет искать ошибок в слоге, когда Полиник, лишенный венца и внутреннего спокойствия, в слезах, в отчаянии бросается к стопам разгневанного Эдипа? Но сии ошибки, поучительные для

дарования, замечает просвещенный критик в тишине своей учебной храмины: каждое слово, каждое выражение он взвешивает на весах строгого вкуса; отвергает слабое, ложно блестящее, неверное и научает наслаждаться истинно прекрасным.— В легком роде поэзии читатель требует возможного совершенства, чистоты выражения, стройности в слоге, гибкости, плавности; он требует истины в чувствах и сохранения строжайшего приличия во всех отношениях; он тотчас делается строгим судьею, ибо внимание его ничем сильно не развлекается. Красивость в слоге здесь нужна необходимо и ничем замениться не может. Она есть тайна, известная одному дарованию и особенно постоянному напряжению внимания к одному предмету: ибо поэзия и в малых родах есть искусство трудное, требующее всей жизни и всех усилий душевных; надобно родиться для поэзии; этого мало: родясь, надобно сделаться поэтом, в каком бы то ни было роде.

Так называемый эротический и вообще легкий род поэзии восприял у нас начало со времен Ломоносова и Сумарокова. Опыты их предшественников были маловажны: язык и общество еще не были образованы. Мы не будем исчислять всех видов, разделений и изменений легкой поэзии, которая менее или более принадлежит к важным родам: но заметим, что на поприще изящных искусств (подобно как и в нравственном мире) ничто *прекрасное* не теряется, приносит со временем пользу и действует непосредственно на весь состав языка. Стихотворная повесть Богдановича, первый и прелестный цветок легкой поэзии на языке нашем, ознаменованный истинным и великим талантом; остроумные, неподражаемые сказки Дмитриева, в которых поэзия в первый раз украсила разговор лучшего общества; послания и другие произведения сего стихотворца, в которых философия оживилась неувядающими цветами выражения, басни его, в которых он боролся с Лафонтеном и часто побеждал его; басни Хемницера и оригинальные басни Крылова, которых остроумные, счастливые стихи превратились в пословицы, ибо в них виден и тонкий ум наблюдателя света, и редкий талант, стихотворения Карамзина, исполненные чувства, образец ясности и стройности мыслей; горацианские оды Капниста, вдохновенные страстью песни Нелединского, прекрасные подражания древним Мерзлякова, баллады Жуковского, сияющие воображением, часто своенравным, но всегда пламенным, всегда сильным; сти-

хотворения Востокова, в которых видно отличное дарование поэта, напитанного чтением древних и германских писателей; наконец, послания кн⟨язя⟩ Долгорукова, исполненные живости; некоторые послания Воейкова, Пушкина и других новейших стихотворцев, писанные слогом чистым и всегда благородным [A]: все сии блестящие произведения дарования и остроумия менее или более приблизились к желанному совершенству, и все — нет сомнения — принесли пользу языку стихотворному, образовали его, очистили, утвердили. Так светлые ручьи, текущие разными излучинами по одному постоянному наклонению, соединяясь в долине, образуют глубокие и обширные озера: благодетельные воды сии не иссякают от времени, напротив того, они возрастают и увеличиваются с веками и вечно существуют для блага земли, ими орошаемой!

В первом периоде словесности нашей, со времен Ломоносова, у нас много написано в легком роде; но малое число стихов спаслось от общего забвения. Главною тому причиною можно положить не один недостаток таланта или изменение языка, но изменение самого общества; большую его образованность и, может быть, большее просвещение, требующее от языка и писателей большего знания света и сохранения его приличий: ибо сей род словесности беспрестанно напоминает об обществе; он образован из его явлений, странностей, предрассудков и должен быть ясным и верным его зеркалом. Большая часть писателей, мною названных, провели жизнь свою посреди общества Екатеринина века, столь благоприятного наукам и словесности; там заимствовали они эту людскость и вежливость, это благородство, которых отпечаток мы видим в их творениях: в лучшем обществе научились они угадывать тайную игру страстей, наблюдать нравы, сохранять все условия и отношения светские и говорить ясно, легко и приятно. Этого мало: все сии писатели обогатились мыслями в прилежном чтении иностранных авторов, иные древних, другие новейших, и запаслись обильною жатвою слов в наших старинных книгах. Все сии писатели имеют истинный талант, испытанный временем; истинную любовь к лучшему, благороднейшему из искусств, к поэзии, и уважают, смею *утвердительно* сказать, боготворят свое искусство, как лучшее достояние человека образованного, истинный дар неба, который доставляет нам чистейшие наслаждения посреди забот и терний жизни, который дает нам то, что

мы называем бессмертием на земли — мечту прелестную для душ возвышенных!

Все роды хороши, кроме скучного. В словесности все роды приносят пользу языку и образованности. Одно невежественное упрямство не любит и старается ограничить наслаждения ума. Истинная, просвещенная любовь к искусствам снисходительна и, так сказать, жадна к новым духовным наслаждениям. Она ничем не ограничивается, ничего не желает исключить и никакой отрасли словесности не презирает. Шекспир и Расин, драма и комедия, древний экзаметр и ямб, давно присвоенный нами, пиндарическая ода и новая баллада, эпопея Омера, Ариоста и Клопштока, столь различные по изобретению и формам, ей равно известны, равно драгоценны. Она с любопытством замечает успехи языка во всех родах, ничего не чуждается, кроме того, что может вредить нравам, успехам просвещения и здравому вкусу (я беру сие слово в обширном значении). Она с удовольствием замечает дарование в толпе писателей и готова ему подать полезные советы: она, как говорит поэт, готова обнять

В отважном мальчике грядущего поэта!

Ни расколы, ни зависть, ни пристрастие, никакие предрассудки ей не известны. Польза языка, слава отечества: вот благородная ее цель! Вы, милостивые государи, являете прекрасный пример, созывая дарования со всех сторон, без лицеприятия, без пристрастия. Вы говорите каждому из них: несите, несите свои сокровища в обитель муз, отверстую каждому таланту, каждому успеху; совершите прекрасное, великое, святое дело: обогатите, образуйте язык славнейшего народа, населяющего почти половину мира; поравняйте славу языка его со славою военною, успехи ума с успехами оружия. Важные музы подают здесь дружественно руку младшим сестрам своим, и олтарь вкуса обогащается их взаимными дарами.

И когда удобнее совершить желаемый подвиг? в каком месте приличнее? В Москве, столь красноречивой и в развалинах своих, близ полей, ознаменованных неслыханными доселе победами, в древнем отечестве славы и нового величия народного!

Так! с давнего времени все благоприятствовало дарованию в Университете московском, в старшем святилище муз отечественных. Здесь пламенный их любитель с радостию созерцает следы просвещенных и деятельных покро-

вителей. Имя Шувалова, первого Мецената русского, сливается здесь с громким именем Ломоносова. Между знаменитыми покровителями наук мы обретаем Хераскова: творец «Россияды» посещал сии мирные убежища, он покровительствовал сему рассаднику наук; он первый ободрял возникающий талант и славу писателя соединил с другою славою, не менее лестною для души благородной, не менее прочною,— со славою покровителя наук. Муравьев, как человек государственный, как попечитель, принимал живейшее участие в успехах Университета, которому в молодости был обязан своим образованием [в]. Под руководством славнейших профессоров московских, в недрах своего отечества он приобрел сии обширные сведения во всех отраслях ума человеческого, которым нередко удивлялись ученые иностранцы: за благодеяния наставников он платил благодеяниями сему святилищу наук; имя его будет любезно сердцам добрым и чувствительным, имя его напоминает все заслуги, все добродетели. Ученость обширную, утвержденную на прочном основании, на знании языков древних, редкое искусство писать он умел соединить с искреннею кротостию, с снисходительностию, великому уму и добрейшему сердцу свойственною. Казалось, в его виде посетил землю один из сих гениев, из сих светильников философии, которые некогда рождались под счастливым небом Аттики для разлития практической и умозрительной мудрости, для утешения и назидания человечества красноречивым словом и красноречивейшим примером. Вы наслаждались его беседою; вы читали в глазах его живое участие, которое он принимал в успехах и славе вашей; вы знаете все заслуги сего редкого человека... и — простите мне несколько слов, в его воспоминание чистейшею благодарностию исторгнутых! — я ему обязан моим образованием и счастием заседать с вами, которое умею ценить, которым умею гордиться.

И этот человек столь рано похищен смертию с поприща наук и добродетели! И он не был свидетелем великих подвигов боготворимого им монарха и славы народной! Он не будет свидетелем новых успехов словесности в счастливейшие времена для наук и просвещения: ибо никогда, ни в какое время обстоятельства не были им столько благоприятны. Храм Януса закрыт рукою Победы, неразлучной сопутницы монарха. Великая душа его услаждается успехами ума в стране, вверенной ему святым провидением, и каждый труд, каждый полезный

подвиг щедро им награждается. В недавнем времени, в лице сла́вного писателя, он ободрил все отечественные таланты: и нет сомнения, что все благородные сердца, все патриоты с признательностию благословляют руку, которая столь щедро награждает полезные труды, постоянство и чистую славу писателя, известного и в странах отдаленных, и которым должно гордиться отечество. Правительство благодетельное и прозорливое, пользуясь счастливейшими обстоятельствами — тишиною внешнею и внутреннею государства,— отверзает снова все пути к просвещению. Под его руководством процветут науки, художества и словесность, коснеющие посреди шума военного; процветут все отрасли, все способности ума человеческого, которые только в неразрывном и тесном союзе ведут народы к истинному благоденствию, и славу его делают прочною, незыблемою.— Самая поэзия, которая питается учением, возрастает и мужает наравне с образованием общества, поэзия принесет зрелые плоды и доставит новые наслаждения душам возвышенным, рожденным любить и чувствовать изящное. Общество примет живейшее участие в успехах ума — и тогда имя писателя, ученого и отличного стихотворца не будет дико для слуха: оно будет возбуждать в умах все понятия о славе отечества, о достоинстве полезного гражданина. В ожидании сего счастливого времени мы совершим все, что в силах совершить. Деятельное покровительство блюстителей просвещения, которым сие общество обязано существованием; рвение, с которым мы приступаем к важнейшим трудам в словесности; беспристрастие, которое мы желаем сохранить посреди разногласных мнений, еще не просвещенных здравою критикою: все обещает нам верные успехи; и мы достигнем, по крайней мере, приближимся к желаемой цели, одушевленные именами *пользы* и *славы*, руководимые беспристрастием и критикою.

ПРИМЕЧАНИЯ

«А. Похвала или порицание частного человека не есть приговор общественного вкуса. Исчисляя стихотворцев, отличившихся в легком роде поэзии, я старался сообразоваться со вкусом общественным. Может быть, я во многом и ошибся; но мнение мое сказал чистосердечно, и читатель скорее обличит меня в невежестве, нежели в пристрастии. Надобно иметь некоторую смелость, чтобы порицать дурное в словесности; но

едва ли не потребно еще более храбрости тому, кто вздумает хвалить то, что истинно достойно похвалы.

В. *Добро никогда не теряется*, особливо добро, сделанное музам: они чувствительны и благодарны. Они записали в скрижалях славы имена Шувалова, г⟨рафа⟩ Строгова и г⟨рафа⟩ Н. П. Румянцева, который и поныне удостаивает их своего покровительства. Какое доброе сердце не заметит с чистейшею радостию, что они осыпали цветами гробницу Муравьева? Ученый Рихтер, почтенный сочинитель «Истории медицины в России», в прекрасной речи своей, говоренной им в Московской медико-хирургической академии, и г. Мерзляков, известный профессор Московского Университета, в предисловии к Вергилиевым Эклогам упоминали о нем с чувством, с жаром. Некоторые стихотворцы, из числа их г. Воейков, в послании к Эмилию, и г. Буринский, слишком рано похищенный смертию с поприща словесности, говорили о нем в стихах своих. Последний, оплакав кончину храброго генерала Глебова, продолжает:

О Провидение! Роптать я не дерзаю!..
Но — слабый — не могу не плакать пред тобой:
Там в славе, в счастии злодея созерцаю,
Здесь вянет, как трава, муж кроткий и благой!
Слез горестных поток еще не осушился,
Еще мы... Злобный рок навеки нас лишил
Того, кто счастием Парнаса веселился

. . . .

Где ты, о Муравьев! прямое украшенье,
Парнаса русского любитель, нежный друг?
Увы! зачем среди стези благотворенья,
Как в добродетелях мужал твой кроткий дух,
Ты рано похищен от наших ожиданий?
Где страсть твоя к добру? сей душ избранных дар?
Где рано собранно сокровище познаний?
Где, где усердия в груди горевший жар
Служить Отечеству, сияя средь немногих
Прямых его сынов, творивших честь ему?
Любезность разума и прелесть нравов кротких —
Исчезло все!.. Увы!.. Честь праху твоему!

II

НЕЧТО О ПОЭТЕ И ПОЭЗИИ

Поэзия — сей пламень небесный, который менее или более входит в состав души человеческой — сие сочетание воображения, чувствительности, мечтательности,— поэ-

зия нередко составляет и муку и услаждение людей, единственно для нее созданных. *«Вдохновением гения тревожится поэт»,* сказал известный стихотворец. Это совершенно справедливо. Есть минуты деятельной чувствительности: их испытали люди с истинным дарованием; их-то должно ловить на лету живописцу, музыканту и, более всех, поэту: ибо они редки, преходящи и зависят часто от здоровья, от времени, от влияния внешних предметов, которыми по произволу мы управлять не в силах. Но в минуту вдохновения, в сладостную минуту очарования поэтического я никогда не взял бы пера моего, если бы нашел сердце, способное чувствовать вполне то, что я чувствую; если бы мог передать ему все тайные помышления, всю свежесть моего мечтания и заставить в нем трепетать те же струны, которые издали голос в моем сердце. Где сыскать сердце, готовое разделять с нами все чувства и ощущения наши? Нет его с нами — и мы прибегаем к искусству выражать мысли свои, в сладостной надежде, что есть на земле сердца добрые, умы образованные, для которых сильное и благородное чувство, счастливое выражение, прекрасный стих и страница живой, красноречивой прозы — суть сокровища истинные... «Они не могут читать в моем сердце, но прочитают книгу мою»,— говорил Монтань; и в самые бурные времена Франции, при звуке оружия, при зареве костров, зажженных суеверием, писал «Опыты» свои и, беседуя с добрыми сердцами всех веков, забывал недостойных современников.

Некто сравнивал душу поэта в минуту вдохновения с растопленным в горниле металлом: в сильном и постоянном пламени он долго остается в первобытном положении, долго недвижим; но раскаленный — рдеется, закипает и клокочет: снятый с огня, в одну минуту успокоивается и упадает. Вот прекрасное изображение поэта, которого вся жизнь должна приготовлять несколько плодотворных минут: все предметы, все чувства, все зримое и незримое должно распалять его душу и медленно приближать сии ясные минуты деятельности, в которые столь легко изображать всю историю наших впечатлений, чувств и страстей. Плодотворная минута поэзии! ты быстро исчезаешь, но оставляешь вечные следы у людей, владеющих языком богов.

Люди, счастливо рожденные, которых природа щедро наделила памятью, воображением, огненным сердцем и великим рассудком, умеющим давать верное направление

и памяти и воображению,— сии люди имеют без сомнения дар выражаться, прелестный дар, лучшее достояние человека; ибо посредством его он оставляет вернейшие следы в обществе и имеет на него сильное влияние. Без него не было бы ничего продолжительного, верного, определенного; и то, что мы называем бессмертием на земле, не могло бы существовать. Веки мелькают, памятники рук человеческих разрушаются, изустные предания изменяются, исчезают: но Омер и книги священные говорят о протекшем. На них основана опытность человеческая. Вечные кладези, откуда мы почерпаем истины утешительные или печальные! что дает вам сию прочность? Искусство письма и другое, важнейшее — искусство выражения.

Сей дар выражать и чувства и мысли свои давно подчинен строгой науке. Он подлежит постоянным правилам, проистекшим от опытности и наблюдения. Но самое изучение правил, беспрестанное и упорное наблюдение изящных образцов — недостаточны. Надобно, чтобы вся жизнь, все тайные помышления, все пристрастия клонились к одному предмету, и сей предмет должен быть — Искусство. Поэзия, осмелюсь сказать, требует *всего человека.*

Я желаю — пускай назовут странным мое желание! — желаю, чтобы поэту предписали особенный образ жизни, пиитическую *диэтику*; одним словом, чтобы сделали науку из жизни стихотворца. Эта наука была бы для многих едва ли не полезнее всех Аристотелевых правил, по которым научаемся избегать ошибок; но как творить изящное — никогда не научимся!

Первое правило сей науки должно быть: живи как пишешь, и пиши как живешь. Talis hominibus fuit oratio, qualis vita *. Иначе все отголоски лиры твоей будут фальшивы. К чему произвела тебя природа? Что вложила в сердце твое? Чем пленяется воображение, часто против воли твоей? При чтении какого писателя трепетал твой гений с неизъяснимою радостию, и глас, громкий глас твоей пиитической совести восклицал: проснись, и ты поэт! — При чтении творцов эпических? Итак, удались от общества, окружи себя природою: в тишине сельской, посреди грубых, неиспорченных нравов читай историю времен протекших, поучайся в печальных летописях мира, узнавай человека и страсти его, но исполнись любви и благоволения ко всему человечеству: да будут мысли

* Речь людей такова, какой была их жизнь (*лат.*).

твои важны и величественны, движения души твоей нежны и страстны, но всегда покорены рассудку, спокойному властелину их. Этого мало! Эпическому стихотворцу надобно все испытать, *обе фортуны*. Подобно Тассу, любить и страдать всем сердцем; подобно Камоэнсу, сражаться за отечество, обтекать все страны, вопрошать все народы, дикие и просвещенные, вопрошать все памятники искусства, всю природу, которая говорит всегда красноречиво и внятно уму возвышенному, обогащенному опытами, воспоминаниями. Одним словом, надобно, забыв все ничтожные выгоды жизни и самолюбия, пожертвовать всем — славе; и тогда только погрузиться (не с дерзостию кичливого ума, но с решимостию человека, носящего в груди своей внутреннее сознание собственной силы), тогда только погрузиться в бурное и пространное море эпопеи...

Жить в обществе, носить на себе тяжелое ярмо должностей, часто ничтожных и суетных, и хотеть согласовать выгоды самолюбия с желанием славы — есть требование истинно суетное. Что образ жизни действует сильно и постоянно на талант, в том нет сомнения. Пример тому французы: их словесность, столь богатая во всех родах, не имеет ни эпопеи, ни истории. Их писатели по большей части жили посреди шумного города, посреди всех обольщений двора и праздности; а история и эпопея требуют внимания постоянного, и сей важности и сей душевной силы, которую общество не только что отнимает у человека рассеянного, но уничтожает совершенно. «Хотите ли быть красноречивыми писателями? — говорит красноречивая женщина нашего времени: будьте добродетельны и свободны, почитайте предмет любви вашей, ищите бессмертия в любви, божества в природе; освятите душу, как освящают храм, и ангел возвышенных мыслей предстанет вам во всем велелепии!» Прелестные строки, исполненные истины! вас рассеянные умы или не поймут или прочитают с гордым презрением.

Взглянем на жизнь некоторых стихотворцев, которых имена столь любезны сердцу нашему. Гораций, Катулл и Овидий так жили, как писали, Тибулл не обманывал ни себя, ни других, говоря покровителю своему, Мессале, что его не обрадуют ни триумфы, ни пышный Рим; но спокойствие полей, здоровый воздух лесов, мягкие луга, родимый ручеек и эта хижина с простым, соломенным кровом — ветхая хижина, в которой Делия ожидает его с распущенными власами по высокой груди. Петрарка

точно стоял, опершись на скалу Воклюзскую, погруженный в глубокую задумчивость, когда вылетали из уст его гармонические стихи:

Sott' un gran sasso
In una chiusa valle, ond' esce Sorga,
Si stà: nè chi lo scorga
V'è, se no Amor, che mai no'l lascia un passo
E l'imagine d'una che lo strugge *.

Счастливый Шолье мечтал под ветхими и тенистыми древами Фонтенейского убежища; там сожалел он об утрате юности, об утрате неверных наслаждений любви. Богданович жил в мире фантазии, им созданном, когда рука его рисовала пленительное изображение Душеньки **. Державин на диких берегах Суны, орошенной кипящею ее пеною, воспевал водопад и бога в пророческом исступлении. И в наши времена, более обильные славою, нежели благоприятные музам, Жуковский, оторванный Беллоною от милых полей своих, Жуковский, одаренный пламенным воображением и редкою способностию передавать другим глубокие ощущения души сильной и благородной — в стане воинов, при громе пушек, при зареве пылающей столицы писал вдохновенные стихи, исполненные огня, движения и силы.

Если образ жизни имеет столь сильное влияние на произведения поэта, то воспитание действует на него еще сильнее. Ничто не может изгладить из памяти сердца нашего первых, сладостных впечатлений юности! Время украшает их и дает им восхитительную прелесть. В среднем возрасте зримые предметы слабо врезываются в памяти, и душа, утомленная ощущениями, пренебрегает ими: ее занимают одни страсти; в преклонных летах человек не приобретает, и последним его сокровищем остается то единственно, чем он запас себя в молодости. Таким образом природа соединяет вечер с утром жизни, как вечерняя заря сливается с утреннею в долгие дни лета под нашим северным небом.

---

* Под большой скалой
В замкнутой долине, откуда вытекает Сорга,
Стоит он: и того, кто бы видел его, там нет,
Кроме Амура, который никогда не оставляет его ни на шаг,
И образа той, которая его сокрушает *(ит.)*.

** Богданович жил в совершенном уединении. У него были два товарища, достойные добродушного Лафонтена: кот и петух. Об них он говорил, как о друзьях своих, рассказывал чудеса, беспокоился об их здоровье и долго оплакивал их кончину.

Если первые впечатления столь сильны в сердце каждого человека, если не изглаживаются во все течение его жизни, то тем более они должны быть сильны и сохранять неувядаемую свежесть в душе писателя, одаренного глубокою чувствительностию.

Утешно вспоминать под старость детски леты,
Забавы, резвости, различные предметы,
Которые тогда увеселяли нас!

Если бы мы знали подробно обстоятельства жизни великих писателей, то без сомнения могли бы найти в их творениях следы первых, всегда сильных ощущений. Сердце имеет свою особенную память. Руссо помнил начало песни, которую ему напевала его добродушная тетка. Молодой Ариост, в бытность свою во Флоренции, влюбился в прелестную женщину. Он часто посещал ее; целые часы в глубоком безмолвии просиживал, любуясь красавицею, которая вышивала по серебру пурпурным шелком. Впечатление прелестных рук навсегда осталось в памяти любовника, и столь сильно, что впоследствии времени, рассказывая битву Мандрикала с злополучным Сербином, он сравнивает алую кровь, текущую из глубокой раны юноши, с пурпурными начертаниями, которые вышивала по серебру белоснежная рука незабвенной флорентинки. Нежные сердца помнят те места в Вергилии, где поэт говорит о своей милой Мантуе; стихи римского Омера исполнены воспоминаний о юности; они исполнены сих глубоких, неизгладимых впечатлений, которые погружают читателя в сладкую задумчивость, напоминая ему его собственную жизнь и ясную зарю молодости.

Климат, вид неба, воды и земли — все действует на душу поэта, отверстую для впечатлений. Мы видим в песнях северных скальдов и эрских бардов нечто суровое, мрачное, дикое и всегда мечтательное, напоминающее и пасмурное небо севера, и туманы морские, и всю природу, скудную дарами жизни, но всегда величественную, прелестную и в ужасах. Мы видим неизгладимый отпечаток климата в стихотворцах полуденных: некоторую негу, роскошь воображения, свежесть чувств и ясность мыслей, напоминающих и небо, и всю благотворную природу стран южных, где человек наслаждается двойною жизнию в сравнении с нами, где все питает и нежит его чувства, где все говорит его воображению. Напрасно уроженец Сицилии или Неаполя желал бы состязаться в песнях своих с бардом Морвена и описывать, подобно ему, мрачную

природу севера: напрасно северный поэт желал бы изображать роскошные долины, прохладные пещеры, плодоносные рощи, тихие заливы и небо Сицилии, высокое, прозрачное и вечно ясное. Один Тасс, рожденный под раскаленным солнцем Неаполя, мог описать столь верными и свежими красками ужасную засуху, гибельную для крестовых воинов. По сему описанию, говорит ученый Женгене, можно узнать полуденного жителя, который неоднократно подвергался смертному влиянию ветров африканских, неоднократно изнемогал под бременем зноя.— У нас Ломоносов, рожденный на берегу шумного моря, воспитанный в трудах промысла, сопряженного с опасностию, сей удивительный человек в первых летах юношества был сильно поражен явлениями природы: солнцем, которое в должайшие дни лета, дошед до края горизонта, снова восстает и снова течет по тверди небесной; северным сиянием, которое в полуночном краю заменяет солнце и проливает холодный и дрожащий свет на природу, спящую под глубокими снегами,— Ломоносов с каким-то особенным удовольствием описывает сии явления природы, величественные и прекрасные, и повторяет их в великолепных стихах своих:

Закрылись крайние с пучиною леса,
Лишь с морем видны вкруг слиянны небеса.
. . . .
...Сквозь воздух в юге чистый
Открылись два холма и берега лесисты.
Меж ними кораблям в залив отверзся вход,
Убежище пловцам от беспокойных вод,
Где, в влажных берегах крутясь, печальна Уна
Медлительно течет в объятия Нептуна...
Достигло дневное до полночи светило,
Но в глубине лица горящего не скрыло;
Как пламенна гора казалось средь валов
И простирало блеск багровый из-за льдов.
Среди пречудныя при ясном солнце ночи
Верхи златых зыбей пловцам сверкают в очи.

Мы не остановимся на красоте стихов. Здесь все выражения великолепны: горящее лице солнца, противоположенное хладным водам океана; солнце, остановившееся на горизонте и, подобно пламенной горе, простирающее блеск из-за льдов,— суть первоклассные красоты описательной поэзии. Два последние стиха, заключающие картину, восхитительны:

Среди пречудныя при ясном солнце ночи
Верхи златых зыбей пловцам сверкают в очи.

Но мы заметим, что поэт не мог бы написать их, если бы он не был свидетелем сего чудесного явления, которое поразило огненное воображение вдохновенного отрока и оставило в нем глубокое, неизгладимое впечатление.

III

О ХАРАКТЕРЕ ЛОМОНОСОВА

По слогу можно узнать человека, сказал Бюффон: характер писателя весь в его творениях. Это с одной стороны справедливо.— Без сомнения, по стихам и прозе Ломоносова мы можем заключить, что он имел возвышенную душу, ясный и проницательный ум, характер необыкновенно предприимчивый и сильный. Но любителю словесности, скажу более, наблюдателю-философу приятно было бы узнать некоторые подробности частной жизни великого человека; познакомиться с ним, узнать его страсти, его заботы, его печали, наслаждения, привычки, странности, слабости и самые пороки, неразлучные спутники человека. «Разум, услаждавшийся величественными понятиями всеобщего порядка, не может быть соединен с сердцем холодным»,— говорил о Ломоносове писатель, которого имя равно любезно музам и добродетели. Сия истина утверждена жизнию Ломоносова. Воображение и сердце часто увлекали его в молодости: они были источниками его наслаждений и мучений, неизвестных, неизъяснимых обыкновенным людям.— Конечно, не одна страсть к учению, которая не могла еще вполне овладеть душою отрока, воспитанного среди болот холмогорских, не одна сия страсть, столь благородная и бескорыстная, принудила его оставить родину. Семейственные огорчения и некоторое тайное беспокойство души — было к тому важнейшим побуждением. Но сие беспокойство, сие тусклое желание чего-то нового и лучшего, сия предприимчивость, удивительная в столь нежном возрасте, не означали ли великую душу и нечто необыкновенное?

Пламенное рвение к учению, неутомимая жажда познаний, постоянство в преодолении преград, поставленных неприязненным роком, дерзость в предприятиях, увенчанная сияющим успехом,— все сии качества соединены были с сильными страстями, с пламенным сердцем; или, лучше сказать, проистекали из оных, и потому

должно ли удивляться, что Ломоносов в молодости своей пожертвовал всеми выгодами любви? В Марбурге он женился тайно на дочери бедного ремесленника, и в скором времени обстоятельства принудили его разлучиться с супругою. Музы любят провождать любимцев своих по тернистой тропе несчастия в храм славы и успехов. Бедствия не всегда убивают талант: напротив того, они пробуждают в душе множество прекрасных свойств и знакомят ее с собственными силами. Ломоносов, гонимый судьбою, скитался по Германии, переходил из земли в землю, без пристанища, часто без насущного хлеба: он боролся со всеми нуждами и горестями и никогда, нигде не преступил законов чести, никогда не забывал оставленной супруги. С какой чувствительностию (возвратясь в Петербург) прочитал он письмо ее и воскликнул пред посланным от г. Бестужева: «Боже мой! могу ли ее оставить!» — Слезы прерывали беспрестанно слова его. Сладостно видеть наблюдателю человечества соединение столь глубокой чувствительности с умом обширным, верным и прозорливым! Чувствительность и сильное, пламенное воображение часто владели нашим поэтом, конечно, против воли его. На возвратном пути из Амстердама по морю Ломоносов, сидя на палубе, при шуме волн погружался в сладкую задумчивость. Открытое море, шум ветра и беспрерывное колебание корабля напоминали ему первые лета юности, проведенные посреди непостоянной стихии: они напоминали приморскую его родину и все, что ни есть сладостного для сердца нежного и доброго. Исполненному воспоминаний, однажды во сне ему привиделась страшная буря на волнах Ледовитого моря, кораблекрушение и хладный труп отца его, выброшенный на тот самый остров, куда Ломоносов в молодости своей приставал с ним для совершения рыбной ловли. Он в ужасе проснулся. Напрасно призывает на помощь рассудок свой, напрасно желает рассеять мрачные следы сновидения: мечта остается в глубине сердца, и ничто не в силах изгладить ее. Снова засыпает и снова видит шумное море, необитаемый остров и бледный труп родителя. Так! мы нередко уверяемся опытом, что Провидение влагает в нас какие-то тайные мысли, какое-то неизъяснимое предчувствие будущих злополучий, и событие часто подтверждает предсказание таинственного сна — к удивлению, к смирению слабого и гордого рассудка. Ломоносов это испытал в жизни своей. Отец его погиб в волнах, и тело его найдено рыбаками на том необитаемом острове, который

назначил им печальный сын, по внушению пророческого сновидения.

По краткой биографии, напечатанной при сочинениях Ломоносова, мы теснее знакомимся с поэтом, когда он покидает родину свою. Самое юношество необыкновенного человека любопытно; каждое обстоятельство, каждая подробность драгоценны. Конечно, Ломоносов в откровенной беседе ближних и друзей любил рассказывать им первые свои печали и наслаждения; с каким восхищением он певал на клиросе священные песни и пожирал духовные книги! С каким усилием он промыслил славенскую грамматику и арифметику: *врата учености своей!* Как сердце его унывало, покидая отца, родину, ближних! Как трепетало от радости, вступая в обширную Москву!.. К сожалению, немного подробностей дошло до нас, и почти все исчезли с холодными слушателями. Одни великие души чувствуют всю важность дружеских поверений знаменитого человека, их современника. Ломоносов — нет сомнения — казался обыкновенным человеком в кругу приятелей своих, людей весьма обыкновенных. И мог ли Тредияковский с *братиею* быть ценителем величайшего ума своего времени, ценителем Ломоносова?

Но к счастию нашему, Россия имела в молодом вельможе покровителя дарований. Мы забудем со временем однофамильца Шувалова, который писал остроумные стихи на французском языке, который удивлял Парни, Мармонтеля, Лагарпа и Вольтера, ученых и неученых парижан любезностию, веселостию и учтивостию, достойною времен Лудовика XIV: но того Шувалова, который покровительствовал Ломоносова, никогда не забудем. Имя его навсегда останется драгоценно музам отечественным. Он был все для нашего лирика: деятельный и просвещенный покровитель, попечительный друг, часто снисходительный и всегда постоянный. Без него — Ломоносов не мог бы предпринять сих великих трудов, требующих издержек и беспрестанных пособий. Скажем более: как ученый, как стихотворец Ломоносов обязан ему всем, даже постоянством в любви ко славе. Прозорливый Шувалов в уроженце Холмогор угадал великого человека: счастливый поэт нашел в вельможе истинный патриотизм, обширные сведения, вкус образованный и, что всего лучше,— благородную, деятельную душу! Одним словом (редкое явление!), вельможа и поэт понимали друг друга. Письма Ломоносова к Шувалову суть бесценный памятник словесности русской: в них виден и стихотворец,

и покровитель его. Они заключают в себе множество любопытных подробностей, анекдотов и, наконец, известие о кончине профессора Рихмана, достойного товарища Ломоносова. Рихман *умер прекрасною смертию* *, и Ломоносов с убедительным, сердечным красноречием ходатайствует за осиротевшее семейство, страшась, чтобы сей случай *не был перетолкован противу наук*, вечно ему любезных! Часто в письмах своих он жалуется на Тредияковского и Сумарокова. Если сии строки доказывают печальную истину — что дарования во все времена, даже при самой колыбели словесности, имеют врагов и завистников, то оне же, к радости нашей, открывают прекрасную душу великого писателя: «Никакого не желаю мщения,— говорит он,— но способов продолжить труды мои для славы, для пользы отечества. Мои зоилы хвалят меня своею хулою, называя мои изображения надутыми; нападая на меня, они нападают на древних...» До последней минуты жизни своей Ломоносов не изменил себе, и прелестная мысль о славе его не покидала. На одре мучений и смерти Рафаэль соболезновал о недоконченных картинах, наш северный гений — о несовершенных трудах своих. «Я умираю,— говорил он Штелину,— я умираю, приятель! На смерть взираю равнодушно: сожалею о том, чего не успел довершить для пользы наук, для славы отечества и Академии нашей. К сожалению, вижу, что благие мои намерения исчезнут вместе со мною...»

Тень великого стихотворца утешилась. Труды его не потеряны. Имя его бессмертно.

IV

ВЕЧЕР У КАНТЕМИРА

Антиох Кантемир, посланник русской при дворе Лудовика XV, предпочитал уединение шуму и рассеянию блестящего двора. Свободное время от должности он посвящал наукам и поэзии. В мирном кабинете, окруженный любимыми книгами, он часто восклицал, перечитывая Плутарха, Горация и Вергилия: «Счастлив, кто, довольствуясь малым, свободен, чужд зависти и предрассудков, имеет совесть чистую и провождает время с вами, наставники человечества, мудрецы всех веков и народов:

* Это собственное выражение Ломоносова.

...с вами, Греки и Латины...
Исследуя всех вещей действа и причины.

Ум его имел свойства, редко соединяемые: основательность, точность и воображение. Часто, углубленный в исчисления алгебраические, Кантемир искал истины и — подобно мудрецу Сиракуз — забывал мир, людей и общество, беспрестанно изменяющееся. Он занимался науками. Не для того, чтобы щеголять знаниями в суетном кругу ученых женщин или академиков: нет! он любил науки для наук, поэзию для поэзии,— редкое качество, истинный признак великого ума и прекрасной, сильной души! В Париже, где самолюбие знатного человека может собирать беспрестанно похвалы и приветствия за малейший успех в словесности, где несколько небрежных стихов, иностранцем написанных, дают право гражданства в республике словесности, Кантемир... писал русские стихи! И в какое время? Когда язык наш едва становился способным выражать мысли просвещенного человека. Бросьте на остров необитаемый математика и стихотворца, говорил Д'Аламбер: первый будет проводить линии и составлять углы, не заботясь, что никто не воспользуется его наблюдениями; вторый перестанет сочинять стихи, ибо некому хвалить их: следственно, поэзия и поэт, заключает *рассудительный* философ, питаются суетностию. Париж был сей необитаемый остров для Кантемира. Кто понимал его? Кто восхищался его *русскими* стихами? — В самой России, где общество, науки и словесность были еще в пеленах, он, нет сомнения, находил мало ценителей своего таланта. Душою и умом выше времени обстоятельств, он писал стихи, он поправлял их беспрестанно, желая достигнуть возможного совершенства, и, казалось, завещал благородному потомству и книгу, и славу свою. Талант питается хвалою, но истинный, великий талант и без нее не умирает. Поэт может быть суетным — равно как и ученый,— но истинный любитель всего прекрасного не может существовать без деятельности, и то, что было сказано нашим Катуллом о нашем Бавии,—

С последним вздохом он издаст последний стих,—

почти то же можно сказать о великом стихотворце. На одре смерти Сервантес не покидал пера своего. Камоэнс писал «Лузияду» посреди племен диких. Тасс, несчастный Тасс, в ужасном заключении беседовал с муза-

ми. Державин, за час пред смертию, хладеющими перстами извлекал звуки из бессмертной лиры своей. Сих ли людей обвиним в суетности?.. Но возвратимся к Кантемиру.

Однажды по вечеру Монтескье и аббат В., известный остроумец, навестили нашего стихотворца. Он беседовал с своею музою и не приметил входящих друзей, которые имели к нему свободный доступ. Несколько минут Кантемир перечитывал начало послания своего к<нязю> Никите Трубецкому, и всегда с новым жаром и удовольствием. При чтении спокойное и даже холодное лицо Кантемира приметным образом изменялось: глаза его сверкали, как молнии, щеки разгорелись, и рука его ударяла такту по отверстой пред ним книге. Монтескье взглянул на аббата, кивнул ему головою и намеревался удалиться. Они не хотели беспокоить министра, полагая, что он занят важным государственным делом. Кантемир услышал за собою шорох, оглянулся — и бросился обнимать неожиданных гостей.— «Мы вам помешали: мы пришли не в пору».— «Нимало!» — «Вы читали важные бумаги?» — «Я забавлялся: перечитывал стихи моего сочинения».— «Но какие? мы ни слова не поняли».— «Русские».— «Русские стихи!» — восклицал аббат, пожимая плечами от удивления: «русские стихи! это любопытно...»

Кантемир

Слабое подражание Горацию, Ювеналу и Персию. Вы знаете мою страсть к древним писателям; она завлекла меня далеко. Не в силах будучи сравниться с древними поэтами Рима, я влачусь за ними, как раб за господином, или — как страстный любовник за гордою красавицею. Вы никогда не писали стихов, г. президент, и не знаете сего мучения и удовольствия, которое называют метроманиею?

Монтескье

Ваша правда. Я не писал стихов, но люблю стихи, когда нахожу в них столько же мыслей, сколько слов: когда они ясны, сильны, выразительны, одним словом — хороши, как проза. Я всегда уважал сатиры и послания Горация: они знакомят нас с Римом, со нравами, с образом жизни переродившихся потомков Брутов, Кориола-

нов и Сципионов; Ювенала перечитываю с удовольствием: прямый римлянин душою! Он то же в стихах, что Тацит в прозе. Я люблю творения сих поэтов, как памятники языка, образованного целыми веками славы народной, языка мужественного, обильного, выразительного: почтенного родителя языков новейших.

Аббат В.

И г. президент, конечно, сожалеет, что вы пишете русские стихи. Зная совершенно язык латинский и наш французский, столь ясный, точный и красивый, вы лишаете нас удовольствия читать ваши прелестные произведения.

Монтескье

Сожалею и удивляюсь, как можно писать, скажу более, как можно мыслить на языке необразованном? Вы пишете по-русски, а ваш язык и нация — еще в пеленах.

Кантемир

Справедливо: русский язык в младенчестве; но он богат, выразителен, как язык латинский, и со временем будет точен и ясен, как язык остроумного Фонтенеля и глубокомысленного Монтескье. Теперь я принужден бороться с величайшими трудностями: принужден изобретать беспрестанно новые слова, выражения и обороты, которые, без сомнения, обветшают через несколько годов. Переводя «Миры» Фонтенелевы, я создавал новые слова: академия Петербургская часто одобряла мои опыты. Я очищал путь для моих последователей.

Аббат В.

Но скажите, бога ради, как же вы могли присвоить все тонкие выражения и обороты первого щеголя языка французского, нашего семидесятилетнего Фонтенеля?

Кантемир

Как умел! Я следовал рабски по следам его. Перевод мой слаб, груб, неверен. Скифы заставили пленного грека изваять Венеру и обещали ему свободу. Грек был дурной ваятель; в Скифии не было ни паросского мрамора, ни хороших резцов; за неимением их — соотечественник Праксителев употребил грубый гранит, молот, простую пилу и создал нечто похожее на Венеру, следуя заочно

образцу, столь славному не только в Греции, но даже в землях варваров. Скифы были довольны, ибо не знали божественного подлинника, и поклонялись новой богине с детским усердием. Скифы — мои соотечественники; Праксителева статуя — книга бессмертного Фонтенеля — а я сей грек, неискусный ваятель.

Аббат В.

О! вы слишком скромны, почтенный князь!

Кантемир

Не довольствуясь опытом моим над Фонтенелем, я принялся за «Персидские письма».

Аббат В.

«Персидские письма» по-русски!

Монтескье

Мог ли я ожидать, что первое, слабое произведение моего пера отнимет у вас столько драгоценного времени?

Аббат В.

Теперь гиперборейцы узнают, как ветрены и малодушны обитатели берегов Сейны.

Кантемир

И как остроумны.

Аббат В.

Я давно на вечерах г-жи Жофрень — которая вас превозносит, но в душе своей ненавидит — давно предсказывал вашу славу, г. Монтескье!

В земле своей никто пророком не бывал.

Но мое пророчество сбылось, как видите. Легко быть может, что в эту самую минуту на берегах Ледовитого моря, на берегах Лены или Оби, в пустынях Татарии — читают ваши остроумные письма, и имя Монтескье гремит в становищах калмыков и самоедов.

Монтескье

Читают «Персидские письма» при свете лампады, налитой рыбьим жиром...

Аббат В.

Или при свете северного сияния... Конечно странно, чудесно! — А мы говорим с таким пренебрежением о великой Московии!

Кантемир

Калмыки и самоеды не читают философических книг, и, конечно, долго читать не будут. Но в Москве многолюдной, в рождающейся столи́це Петра, в монастырях малой и великой России есть люди просвещенные и мыслящие, которые умеют наслаждаться прекрасными произведениями муз.

Монтескье

Число таких людей должно быть весьма ограниченно. До сих пор я думал и думаю, что климат ваш, суровый и непостоянный, земля, по большей части бесплодная, покрытая в зиму глубокими снегами, малое население, трудность сообщений, образ правления почти азиатский, закоренелые предрассудки и рабство, утвержденные веками навыка,— все это вместе надолго замедлит ход ума и просвещения. Власть климата есть первая из властей.

Аббат В.

Я с вами согласен; и полагаю, что все усилия исполинского царя, все, что он ни сотворил железною рукою, все — разрушится, упадет, исчезнет. Природа, обычаи древние, суеверие, неисцелимое варварство — возьмут верх над просвещением слабым и неосновательным; и вся полудикая Московия — снова будет дикою Московиею, и вечный туман забвения покроет дела и жизнь преемников Петра Великого.

Кантемир

Я осмелюсь спорить с великим творцом книги о существе законов и с вами, любезный аббат. Россия пробудилась от глубокого сна, подобно баснословному Эпимениду. Заря, осветившая нашу землю, предвещает прекрасное утро, великолепный полдень и ясный вечер: вот мое пророчество!

Аббат В.

Но это не заря — северное сияние. Блеску много, но без света и без теплоты.

Монтескье

Остроумный аббат сказал великую истину. Положим — трудное предположение, едва ли сбыточное дело! — положим, что правительство откроет все пути к просвещению, что будет беспрестанно призывать иностранцев для воспитания юношества, построит теплые домы для училищ, и из сих парников и теплиц просвещения соберет несколько незрелых и несочных плодов; положим, что правительство образует военных людей, довольно искусных, несколько мореходцев, небольшое число артиллеристов, инженеров и проч. Но скажите, может ли правительство вдохнуть вкус к изящному, к наукам отвлеченным, умозрительным? Какая сила изменит климат? Кто может вам даровать новое небо, новый воздух, новую землю?

Аббат В.

И новое солнце? Как можно сеять науки там, где осенью серп земледельца пожинает редкие класы на браздах, потом его орошенных; где зимою от холоду чугун распадается и топор жидкости рубит?..

Caeduntque securibus humida vina!!! *

Монтескье

Холодный воздух сжимает железо; как же не действовать ему на человека? Он сжимает его фибры; он дает им силу необыкновенную. Эта сила физическая сообщается душе. Она внушает ей храбрость в опасности, решительность, бодрость, крепкую надежду на себя; она есть тайная пружина многих прекрасных свойств характера; но она же лишает чувствительности, необходимой для наук и искусств. Теплота, напротив того, расширяя тончайшую плену кожи, раскрывает оконечности нервов и сообщает им чудесную раздражительность. В землях холодных наружная кожа столь сильно сжата воздухом, что нервы, так сказать, лишены жизни, и редко, очень редко сообщают слабые ощущения свои мозгу. Вы знаете, что от бесчисленного количества слабых ощущений зависят воображение, вкус, чувствительность и живость. Надобно

* Они рубят секирами влажные вина! *(лат.)*

содрать кожу с гиперборейца, чтоб заставить его что-нибудь почувствовать *.

Аббат В.

Что можете отвечать на это? Вы станете защищать соотечественников ваших, как министр, и на сильные, неотразимые силлогизмы президента отвечать дипломатическими, отклоняющими истину фразами?

Кантемир

Я родился в Константинополе. Праотцы мои происходят от древней фамилии, некогда обладавшей престолом Восточной империи. Следственно, во мне играет еще кровь греческая, и я непритворно люблю голубое небо и вечнозеленые оливы стран полуденных. В молодости я странствовал с отцом моим, неразлучным сопутником, искренним другом Петра Великого, и видел обширные долины России от Днепра до Кавказа, от Каспийского моря до берегов величественной Москвы. Я знаю Россию и обитателей ее. Хижина земледельца и терем боярина мне равно известны. Руководимый наставлениями отца моего, просвещеннейшего человека в Европе, с ранних лет воспитанный в училище философии и опытности, будучи обязан по званию моему иметь беспрестанные и тесные сношения с иностранцами всех наций, я не мог сохранить предрассудков *варварских* и привык смотреть на новое отечество мое оком беспристрастного наблюдателя. В Версали, в кабинете короля вашего, в присутствии министров я — представитель великого народа и всемогущей его монархини: но здесь, в обществе дружеском, с великим гением Европы, поставляю обязанностию говорить откровенно; и вы, г. аббат, скорее обличите Кантемира в невежестве, нежели в пристрастии или нечистосердечии. Вот мой ответ: вы знаете, что Петр сделал для России; он создал людей,— нет! он развил в них все способности душевные; он вылечил их от болезни невежества; и русские, под руководством великого человека, доказали в короткое время, что таланты *свойственны всему человечеству*. Не прошло пятнадцати лет — и великий монарх наслаждался уже плодами знаний своих сподвижников: все вспомогательные науки военного дела процвели вне-

---

* Il faut ecorcher un Moscovite pour lui donner du sentiment (?) <Надобно содрать кожу с жителя Московии, чтобы дать ему что-либо почувствовать *(фр.)*.>

запно в государстве его. Мы громами побед возвестили Европе, что имеем артиллерию, флот, инженеров, ученых, даже опытных мореходцев. Чего же хотите от нас в столь короткое время? Успехов ума, успехов в науках отвлеченных, в изящных искусствах, в красноречии, в поэзии? — Дайте нам время, продлите благоприятные обстоятельства, и вы не откажете нам в *лучших* способностях ума. Вы говорите, что власть климата есть первая из властей. Не спорю: климат имеет влияние на жителей; но это влияние, (как вы сами заметили в бессмертной книге своей), это влияние уменьшается или смягчается образом правления, нравами, общежитием. Самый климат России разнообразен. Иностранцы, говоря о нашем отечестве, полагают вообще, что *Московия* покрыта вечными снегами, населена — дикими. Они забывают неизмеримое пространство России; они забывают, что в то время, когда житель влажных берегов Белого моря ходит за куницею на быстрых лыжах своих,— счастливый обитатель устьев Волги собирает пшеницу и благодатное просо. Самый Север не столь ужасен взорам путешественника; ибо он дает все потребное возделывателю полей. Плуг есть основание общества, истинный узел гражданства, опора законов; а где, в какой стране России не оставляет он благодетельных следов своих? С успехами людскости и просвещения Север беспрестанно изменяется, и, если смею сказать, прирастает к просвещенной Европе. Скажите: когда Тацит описывал германцев, думал ли тогда Тацит, что в диких лесах ее возникнут города великолепные, что в древней Панновии и Норике родятся светильники ума человеческого? Нет, конечно! Но Петр Великий, заключив судьбу полумира в руке своей, утешал себя великою мыслию, что на берегах Невы древо наук будет процветать под тению его державы и рано или поздно, но даст новые плоды, и человечество обогатится ими. Вы, г. Монтескье, наблюдаете беспрестанно мир политический: на развалинах протекших веков, на прахе гордого Рима и прелестной Греции вы постигли причины настоящих явлений, научились пророчествовать о будущем. Вы знаете, что с успехами просвещения изменяются явным и непременным образом все формы правления: вы заметили сии изменения в земле русской. Время все разрушает и созидает, портит и усовершает. Может быть, через два или три столетия, может быть, и ранее, благие небеса даруют нам гения, который постигнет вполне великую мысль Петра — и обширнейшая земля в мире, по

творческому гласу его, учинится хранилищем законов, свободы, на них основанной, нравов, дающих постоянство законам, одним словом — хранилищем просвещения. Лестные надежды! вы сбудетесь, конечно. Благодетель семейства моего,— благодетель России — почивает во гробе; но дух его, сей деятельный, сей великий дух — не покидает страны, ему любезной: он всюду присутствует, все оживляет, всему дает душу, и новую жизнь, и новую силу: он, кажется мне, беспрестанно вещает России: иди вперед! не останавливайся на поприще, мною отверстом, и достигнешь великой цели, мною назначенной!

Монтескье

Но искусства? Могут ли они процветать в туманах невских или под суровым небом московским?

Аббат В.

Искусства... Ах! им-то нужен прозрачный воздух и яркое солнце Рима, древней Эллады или умеренный климат нашей Франции.

Кантемир

Полуденные страны были родиною искусств; но сии прелестные дети воображения были часто вытесняемы из родины своей варварством, суеверием, железом завоевателей и, как быстрые волны, разлились по лицу земному. Музыка, живопись и скульптура любят свое древнее отечество, а еще более — многолюдные города, роскошь, нравы изнеженные. Но поэзия свойственна всему человечеству: там, где человек дышит воздухом, питается плодами земли,— там, где он существует,— там же он наслаждается и чувствует добро или зло, любит и ненавидит, укоряет и ласкает, веселится и страдает. Сердце человеческое есть лучший источник поэзии...

Аббат В.

Так! но оно, признайтесь, не столь чувствительно на Севере.

Монтескье

Я видел оперу в Англии и в Италии. От музыки, которую англичане слушают спокойно, итальянцы бывают вне себя и прыгают, как пифия на пророческом треножнике.

Кантемир

Что доказывает это? Что чувствительность народов южных раздражительнее, сообщительнее: но едва ли столь глубока, столь сильна, как чувствительность народов северных. В бытность мою в Лондоне ученый шотландец N. N. показывал мне песни своих горных соотечественников: они напоминают древнего Омера и силою мыслей, глубиною чувств превосходят многие произведения музы италиянской.

Аббат В.

Невероятно!

Кантемир

Мы, русские, имеем народные песни: в них дышит нежность, красноречие сердца; в них видна сия задумчивость, тихая и глубокая, которая дает неизъяснимую прелесть и самым грубым произведениям северной музы.

Аббат В.

Чудесно! по чести, невероятно!

Кантемир

...Скажите, если грубые дети Севера умеют чувствовать и изъясняться столь живо и приятно, то чего нельзя ожидать нам от людей образованных?

Аббат В.

Но... почтенный защитник Севера... вы знаете, что народные песни... лепетание младенцев!

Кантемир

Младенцев, которые со временем возмужают. Как знать? Может быть, на диких берегах Камы или величественной Волги — возникнут великие умы, редкие таланты. Что скажете, г. президент, что скажете, услыша, что при льдах Северного моря, между полудиких родился великий гений? Что он прошел исполинскими шагами все поле наук; как философ, как оратор и поэт преобразовал язык свой и оставил по себе вечные памятники? Это одно предположение, но дело возможное. Что скажете, если...

Аббат В.

Но к чему сии гипотезы? Легче поверю, что русские взяли приступом Париж и уничтожили все крепости,

Вобаном построенные!!! *Впрочем, для чудес нет законов*, говорил мне Фонтенель с значительною усмешкою, прочитав в первый раз свое глубокомысленное рассуждение об оракулах. Все надежды ваши, может быть, и сбудутся, или вы найдете их в царстве Луны, с утраченными надеждами Астольфа. Но, постите моему чистосердечию... признаюсь, я до сих пор смотрю на вас с удивлением и не могу постигнуть, как можно в Париже — на земле Расина и Корнеля — писать русские стихи?

Кантемир

Это напоминает: как можно быть персиянином?

Монтескье

Вы хотели поразить нас собственным нашим оружием. Но позвольте сделать одно замечание. Вы подражаете Горацию и Ювеналу: следственно, пишете сатиры,— сатиры на нравы... которые еще не установились. Гораций и Ювенал осмеивали пороки народа развратного, но достигшего высокой степени просвещения; остроумный и всегда рассудительный Буало писал при дворе великого короля, в самую блестящую эпоху монархии французской. Теперь общество в России должно представлять ужасный хаос: грубое слияние всего порочного, смешение закоренелых предрассудков, невежества, древнего варварства, татарских обычаев с некоторым блеском роскоши азиятской, с некоторыми искрами просвещения европейского! Какая тут пища для поэта сатирического? Могут ли проникнуть тонкие стрелы эпиграммы сквозь тройную броню невежества и уязвить сердце, окаменелое от пороков, закаленное в невежестве? И что значат сии стрелы в земле, где женщины, хранительницы нравов, едва начинают освобождаться из-под ига мужей своих; в земле, где общественное мнение еще шатается, еще не установилось и не может наказывать своим приговором того, что не подлежит суду законов? Одним словом: как можно смеяся говорить истину властелинам или рабам? Первым — опасно; другим — бесполезно.

Кантемир

Пользуясь покровительством монархов и вельмож, занимающих первые степени в государстве, я без страха говорил истину, и мои сатиры принесли некоторую пользу. Петр Великий, преобразуя Россию, старался пре-

образовать и нравы: новое поприще открылось наблюдателю человечества и страстей его. Мы увидели в древней Москве чудесное смешение старины и новизны, две стихии в беспрестанной борьбе одна с другою. Новые обычаи, новые платья, новый род жизни, новый язык не могли еще изменить древних людей, изгладить древний характер. Иные бояра, надевая парик и новое платье, оставались с прежними предрассудками, с древним упрямством и тем казались еще страннее; другие, отложа бороду и длинный кафтан праотеческий, с платьем европейским надевали все пороки, все слабости ваших соотечественников, но вашей любезности и людскости занять не умели. Частые перемены при дворе возводили на высокие степени государственные людей низких и недостойных: они являлись и — исчезали. Временщик сменял временщика, толпа льстецов другую толпу. Гордость и низость, суеверие и кощунство, лицемерие и явный разврат, скупость и расточительность неимоверная: одним словом, страсти, по всему противуположенные, сливались чудесным образом и представляли новое зрелище равнодушному наблюдателю и философу, который только ощупью, и с Горацием в руках, мог отыскать счастливую средину вещей. Я старался изловить некоторые черты сих времен; скажу более: я старался явить порок во всей наготе его и намекнуть соотечественникам истинный путь честности, благих нравов и добродетели. Ученый Феофан, архимандрит Кролин, оба достойные пастыря; Никита Трубецкий и другие вельможи одобрили мои слабые опыты, мое перо неискусное, но смелое, чистосердечное. Я первый осмелился писать так, как говорят: я первый изгнал из языка нашего грубые слова славянские, чужестранные, не свойственные языку русскому,— и открыл новую дорогу для грядущих талантов. Сатиры мои будут иметь некоторую цену для потомков наших, подобно древним картинам первых живописцев, предшественников Рафаэля: в них они найдут изображение верное нравов и языка русского, в славном периоде для России: от времен Петра до царствования счастливой, обожаемой нами Елисаветы,— и имя мое (простите мне авторское самолюбие) будет уважаемо в России более потому, что я первый осмелился говорить языком муз и философии, нежели потому, что занимал важное место при дворе вашем.

Аббат В.

Прекрасно! Вы говорите, как истинный философ.

Монтескье

Мы желали бы видеть ваши сатиры на французском языке. Отчасти я согласен с вами: картина нравов народа почти нового всегда любопытна. Но... вот и аббат Гуаско, ваш приятель...

— Вы очень кстати навестили нас! — сказал Кантемир, обнимая аббата.— Вы перевели мои сатиры на французский язык: прочитайте что-нибудь в угождение г. президенту; а у вас, господа, прошу терпения и снисхождения...

Чтение и разговор продолжались долго, даже за полночь. Наконец Монтескье и аббат В. откланялись министру и расстались... довольны ли им? не знаю.

Знаю только, что Кантемир, шевеля гаснувшие уголья в камине, сказал аббату Гуаско:

— Признайся, любезный друг, Монтескье умный человек, великий писатель... но...

— Но говорит о России, как невежда,— прибавил аббат Гуаско.— Скромный Кантемир улыбнулся, пожелал доброй ночи аббату, и они расстались.

V

ПИСЬМО К И. М. М<УРАВЬЕВУ>-А<ПОСТОЛУ>

О сочинениях г. Муравьева

Перечитывая снова рукописи и сочинения М. Н. Муравьева (изданные по его кончине, Москва, 1810), я осмелился сделать несколько замечаний. Две причины были моим побуждением. Вам будет приятно, милостивый государь, беседовать со мною о незабвенном муже, которого утрата была столь горестна для сердца вашего. Все теснее и теснее связывало вас с покойным вашим родственником. Самая дружба питалась, возвеличивалась взаимною любовью к музам, единственным утешительницам сей бурной жизни. Она украсила дни цветущей молодости вашей и поздним летам приготовила сладостные воспоминания. Конечно, каждый стих, каждое слово Вергилия напоминают вам о незабвенном друге вашем; ибо с ним вы читали древних, с ним наслаждались прекрасными вымыслами

чувствительного поэта Мантуи, глубоким смыслом и гармонией Горация, величественными картинами Тасса, Мильтона и неизъяснимою прелестью стенаний Петрарки; одним словом, всеми сокровищами древней и новейшей словесности.

Вторую причину, побудившую меня говорить о сочинениях г. Муравьева, могу смело отнести на счет пользы общественной. В 1810 году г. Карамзин взял на себя приятный труд быть издателем оных, несмотря на важные свои занятия по части истории; ибо он любил в покойном авторе не одно искусство писать, соединенное с обширною ученостию, но душу, прекрасную его душу. Говоря о писателе в кратком предисловии, он заключает следующими словами: «Страсть его к учению равнялась в нем только со страстию к добродетели». Прекрасные слова, и совершенно справедливые! Кто знал сего мужа в гражданской и семейственной его жизни, тот мог легко угадывать самые тайные помышления его души. Они клонились к пользе общественной, к любви изящного во всех родах и особенно к успехам отечественной словесности. Он любил отечество и славу его, как Цицерон любил Рим; он любил добродетель, как пламенный ее любовник, и всегда, во всех случаях жизни, остался верен своей благородной страсти.

После долгого отсутствия возвращаясь в отчизну и с новым удовольствием принимаясь за русские книги, я искал во всех журналах выгодного или строгого приговора сочинениям г. Муравьева. Четыре года прошло со времени их издания в свет, и никто, ни один из журналистов, не упоминает об них *. Чему приписать сие молчание? Лени господ редакторов и холодности читателей к книгам полезным, которых появление столь редко на горизонте нашей словесности. Некоторые из господ журналистов наших поставляют себе долгом говорить только о том, что подействовало на чернь нашей публики. Они захвалят по одному предубеждению юный, возникающий талант или в одном слове напишут ему страшный и несправедливый приговор. Их леность сбирает плоды с одного невежества. К несчастию, они во многом похожи на

* В прошлом 1813 году г. Гнедич упомянул о сочинениях г. Муравьева, говоря о лучших наших прозаических писателях в «*Рассуждении о причинах, замедляющих успехи нашей словесности*». Мы с удовольствием слышали, что его превосходительство г. попечитель Санкт-Петербургского учебного округа предписал чтение сочинений г. Муравьева в училищах сего округа.

наших актеров, которые, играя для партера, забывают, что в ложах присутствуют строгие судьи искусства.

Я пропущу другую причину хладнокровия и малого любопытства нашей публики к отечественным книгам. Они происходят от исключительной любви к французской словесности — и эта любовь неизлечима. Она выдержала все возможные испытания и времени и политических обстоятельств *. Все было сказано на сей счет; все укоризны, все насмешки Талии и людей просвещенных... остались без пользы, без внимания. Но я твердо уверен, что есть благоразумные читатели, которые, желая находить в чтении приятность, соединенную с пользою, и будучи недовольны нашею литературою, столь бедною в некоторых отношениях, часто с горестию прибегают к иностранной. Такого рода люди — их число ограничено — радуются появлению хорошей книги и перечитывают ее с удовольствием. Для них я спешу сделать некоторые замечания на сочинения г. Муравьева вообще и напомянуть им о собственном их богатстве.

Собрание сих сочинений (изданных в Москве, 1810) составлено из отдельных пиэс, которые, как говорит г. Карамзин, были написаны автором для чтения великих князей. Он имел счастие преподавать им наставления в российском языке, в нравственности и словесности **.

Желая начертать в юной памяти исторические лица знаменитых мужей, а особливо великих князей и царей русских, автор, подобно Фонтенелю, заставляет разговаривать их тени в царстве мертвых. Но французский писатель гонялся единственно за остроумием: действую-

---

* Бурный и славный 1812 год миновался, и любовь к Отечеству, страсть благородная, не ослепляет нас на счет французской словесности. Просвещенный россиянин будет всегда уважать писателей Лудовикова века: не Север есть родина Омеров. Наши воины, спасители Европы от нового Аттилы, потушили пламенник брани в отечестве Расина и Мольера и на другой день по вступлении в Париж, к общему удивлению его жителей, рукоплескали величественным стихам французской Мельпомены на собственном ее театре. *Но исключительная страсть к какой-либо словесности может быть вредна успехам просвещения.* Истина неоспоримая, которую г. Уваров, в письме к г. Капнисту, изложил столь блестящим образом: «Без основательных познаний и долговременных трудов в древней словесности,— говорит почтенный защитник Омера и экзаметров,— никакая новейшая существовать не может; без тесного знакомства с другими новейшими мы не в состоянии обнять все поле человеческого ума, обширное и блистательное поле, на котором все предубеждения должны бы умирать и все ненависти гаснуть».

** Ныне благополучно царствующему государю императору и цесаревичу великому князю Константину Павловичу.

щие лица в его разговорах разрешают какую-нибудь истину блестящими словами; они, кажется нам, любуются сами тем, что сказали. Под пером Фонтенеля нередко древние герои преображаются в придворных Лудовикова времени и напоминают нам живо учтивых пастухов того же автора, которым недостает парика, манжет и красных каблуков, чтобы шаркать в королевской передней, как замечает Вольтер — не помню в котором месте. Здесь совершенно тому противное: всякое лице говорит приличным ему языком, и автор знакомит нас, как будто невольно, с Руриком, с Карлом Великим, с Кантемиром, с Горацием и пр. Он, как Фонтенель, разрешает в маленькой драме своей какую-нибудь истину или политическую, или нравственную; но жертвует ей ничтожными выгодами остроумия и, если смею сказать, скрывается за действующее лице.— Например, желая сказать, что истинное богопочитание неразлучно с человеколюбием, он заставляет разговаривать Игоря и Ольгу, которая была жестокою по добродетели и действовала по ложным понятиям воспитания и народных нравов. В другом разговоре он выводит на сцену Карла Великого и Владимира, имея в виду следующее предложение: «Слава добрых государей никогда не погибает, и беспристрастный глас истории, отделяя от них некоторые легкие несовершенства человечества, представляют добродетели их для подражания потомству». И так далее.

Сии разговоры и письма обитателя предместия могут заменить в руках наставников лучшие произведения иностранных писателей. В них моральные истины изложены с такою ясностию, с таким добродушием, облечены в столь приятные формы слога, что самая разборчивая критика увенчает их похвалами. Нас лучше удостоверят примеры. Возьмем их наудачу из писем. Сочинитель, удаленный от городского шума, в приятном сельском убежище — «на берегах светлого ручья, по которым разбросано несколько кустов орешника»,— пишет к своему приятелю о различных предметах, его окружающих; веселится сельскими картинами, мирным счастием полей и человеком, обитающим посреди чудес первобытной природы. Часто облако задумчивости осеняет его душу; часто углубляется он в самого себя и извлекает истины, всегда утешительные, из собственного своего сердца. Тихая, простая, но веселая философия, неразлучная подруга прекрасной, образованной души, исполненной любви и доброжелания ко всему человечеству, с неизъяснимой

прелестью дышит в сих письмах. «Никакое неприятное воспоминание не отравляет моего уединения (здесь видна вся душа автора): чувствую сердце мое способным к добродетели; оно бьется с сладостною чувствительностию при едином помышлении о каком-нибудь деле благотворительности и великодушия. Имею благородную надежду, что, будучи поставлен между добродетели и несчастия, изберу лучше смерть, нежели злодейство. И кто в свете счастливее смертного, который справедливым образом может чтить самого себя?» — Прекрасные, золотые строки! Кто, кто не желал бы написать их в излиянии сердечном? — Потом, описав сладостные занятия любителя муз в тихом кабинете, наш автор прибавляет: «И после того есть еще люди, которые ищут благополучия в рассеянии, в многолюдстве, далеко от домашних богов своих! — Какое счастие отереть слезы невинно страждующего, оказать услугу маломощному, облегчить зависимость подчиненных? Но что я скажу о дружбе? Чувствовать себя в другом, разуметь друг друга столь искренно, столь скоро, при едином слове, при едином взоре? — Кто называет *дружбу*, называет *добродетель*».— Сии строки, и многие другие, напоминают нам Монтаня, там, где он, предаваясь счастливому излиянию своего сердца, говорил о незабвенном своем Лабоесе *. Тон иных писем важнее — но нравственная цель всегда одинакова. Признаюсь вам, милостивый государь, я не могу удержаться от удовольствия выписывать; притом это единственный и лучший способ показать красоты сочинения и дать ясное понятие об авторе. «Тихий вечер оканчивал знойный день. Солнце, величественнее и медленнее на конце пути своего, покоилося за мгновение пред закатом на крайних горах горизонта, а я прогуливался на крутом береге Волги с добродетельным другом юности моей, с кротким моим наставником. Власы главы его белели уже от хлада старости; весна жизни моей не расцветала еще совершенно. Мы касались оба противуположных крайностей века. Но дружба его и опытность сокращали расстояние, которое разделяло нас, и часто, позабываясь, мнил я видеть в нем старшего и благоразумного товарища. Будучи важнее обыкновенного в тот вечер, он говорил мне: — Сын

* Si on me presse de dire, pourquoi je l'aimais, je sents que cela ne se peut exprimer qu'en répondant: parceque c'étoit lui, parceque c'étoit moi. Монтань. <Если меня понуждают сказать, почему я его любил, я чувствую, что это можно выразить, только ответив: потому что это был он, потому что это был я *(фр.)*.>

мой! — сим именем любви я одолжен был нежности сердца его,— озирая холмы сии, одеваемые небесною лазурью, поля, жатвы и напояющие их струи, не чувствуешь ли в сердце твоем благополучия? Чудеса природы не довольны ли для счастия человека? Но одно худое дело, которого сознание оскорбляет сердце, может разрушить прелесть наслаждения. Великолепие и вся красота природы вкушается только невинным сердцем. Одно счастие — добродетель; одно несчастие — порок. И все вечера твои будут так тихи, ясны, как нынешний. Спокойная совесть творит и природу спокойную.— Слова его проникли в душу мою, и я с умилением повергся в объятия старца».

Другие отрывки принадлежат к вышнему роду словесности. Между ими повесть «Оскольд», в которой автор изображает поход северных народов на Царьград, блистает красотами. Здесь мы видим толпы диких воинов, которых как будто невидимая сила влечет к роскошной столице Восточной империи. Мы переносимся во времена глубокой древности; в степи и дремучие леса полуобитаемой России; то на бурные волны Варяжского моря, покрытые судами отважных плавателей; то в непроходимые снежные пустыни Биармии, освещенные холодным солнцем; то в роскошное царство Михаила, «где игры, удивительные ристалища занимают ежедневно праздность народа. Счастлив, кто видел все сие единожды в жизни! Сладостное воспоминание распространится на остальное течение дней его и облегчит ему бремя ненавистной старости».— Автор с обыкновенным искусством говорит о Труворе и Синеусе, сохраняя всю приличность историческую; выводит честолюбивого Вадима, «которого взоры изображают столько же упреков новгородцам, сколько строгости воинской», и возбуждает в памяти нашей цепь великих отечественных воспоминаний. Сила изобретения блистает в исчислении Оскольдовых ратников. Они отличены резкими чертами один от другого; они живут, действуют перед вами. «Но кто может назвать имена бесчисленного воинства? Таковы тучи пернатых, наполняющих воздух криком, когда, почувствовав приход зимы, оставляют крутые берега Русского моря, не памятуя любви и прекрасных дней, коими там наслаждались летом; удивленный путешественник позабывает дорогу свою, на них взирая; и унывает в сердце, видя себя оставляемого свирепости мразов и бурных ветров».— Вы видите пред полками сонм вдохновенных скальдов с златыми арфами. «Нетерпеливый, добрый между ими, юный сла-

вянин, который на влажных берегах моря и на краю земли бесплодной почувствовал вдохновение скальда, оставил сети и парусы, способы скудного пропитания, и воспел соотчичам неслыханные песни о бранях и героях». Этот юный скальд напоминает нам Ломоносова. Конечно, его имел в виду наш автор, и здесь, сохраня всю приличность рассказа, представил нам в блистательном виде отца русского стихотворства, сего чудесного мужа, которого не только дарования поэтические, неимоверные успехи и труды в искусствах и науках, но самая жизнь, исполненная поэзии,— если смею употребить сие выражение — заслуживает внимание позднейшего потомства *.

Искусство, неразлучное с глубоким познанием истории, более всего блистает в описании нравов северных племен. Автор «Оскольда» краткими словами умеет возбудить внимание читателя и перенести его на сцену тогдашнего мира, который знаком ему, как Омеру древняя Троада. Заметим еще, что эпоха, избранная им для поэтического повествования, соединяет все возможные выгоды и доказывает его верный вкус и обширные сведения. Действие происходит в России во времена отдаленные, которые поэту столь удобно украшать вымыслами и цветами творческого воображения. Оскольд, товарищ Руриков, поклоняется Одену, сему кровавому божеству скандинавов, которых и жизнь, и суеверия ознаменованы были мрачною поэзиею. Спутники Оскольдовы имеют или могут иметь свои предания, как славяне имеют свою веру, и от сего рождается приятное разнообразие, истинная принадлежность эпопеи! В некотором отдалении мы видим Царьград, жилище роскоши и неги, колыбель христианской религии, куда кочующие народы Севера вторгались с мечом и пламенем для похищения земных сокровищ — и нередко возвращались с святым знамением веры в свои непостоянные становища. Туда устремлены воины Оскольда и любопытство читателя... К сожалению, сия повесть не кончена: она есть начало большого творения, которое, без сомнения, имел в виду наш автор; но государственные занятия отклонили его от словесности. При конце жизни своей он редко беседовал с музами, уделяя несколько свободных минут на чтение

* Мы приглашаем прочесть в «Опытах истории, словесности и нравоучения» г. Муравьева прекрасную статью о заслугах Ломоносова в науках.

древних в подлиннике и особенно греческих историков, ему от детства любезных.

Исторические отрывки г. Муравьева заслуживают особенное внимание, и мы смело уверить можем — опираясь на мнение ученейших мужей по этой части,— что на русском языке едва ли находится что-нибудь подобное *«Краткому начертанию российской истории»*, напечатанному в первый раз в 1810 году, и статьям, под названием: *«Рассеянные черты из землеописания российского»* и *«Соединение удельных княжений в единое государство»*. Они начертаны пером ученого, политика и философа. Вот редкое явление в нашей словесности! Ибо наши писатели не всегда соединяли в себе качества, потребные историку: философию и критику. Мы надеемся, что ученые люди, занимающиеся отечественною историею, сообщат читающей публике свои замечания о сих бесценных отрывках, а наставники включат их в малое число книг, посвященных чтению юношества. История наша — история народа, совершенно отличного от других по гражданскому положению, по нравам и обычаям, история народа, сильного и воинственного от самой его колыбели и ныне удивившего неимоверными подвигами всю Европу,— должна быть любимым нашим чтением от самого детства. «Мы ходим,— говорит красноречивый автор *«Землеописания русского»*,— мы ходим по земле, обагренной кровию предков наших и прославленной отважными предприятиями и подвигами князей и полководцев, которые только для того осенены глубокою нощию забвения, что не имели достойных провозвестников славы своей. Да настанет некогда время пристрастия к отечественным происшествиям, к своим государям, ко нравам и добродетелям, которые суть природные произрастания нашего отечества» *.

Мы должны упомянуть о философических и нравственных произведениях нашего автора. Здесь более, нежели где-нибудь, видна его душа и горячие впечатления его сердца. К нему можно применить то, что Шиллер сказал о Маттисоне: «Тесное обращение с природою и с классическими образцами напитало его дух, очистило

---

* Любители истории и словесности ожидают с нетерпением полной «Истории русской» того писателя, который показал нам истинные образцы русской прозы, и в трудолюбивом молчании более десяти лет приготовляет своему отечеству новое удовольствие, новую славу. Его творение будет иметь непосредственное влияние на умы и более всего на словесность.

его вкус и сохранило его *нравственную грацию*; пламенная и чистейшая любовь к человечеству одушевляет его произведения, и все явления природы отражаются в душе его со всеми оттенками, как в тихом зеркале воды». Здесь находим мы самого автора, вступаем с ним в тесное знакомство. Искусство человеческое может всему подражать, кроме движений доброго сердца. Вот истинная оригинальность нашего автора! Он часто, как будто против воли своей, обнажает прекрасную душу и редкую чувствительность; и более всего в отрывке под названием: «*Просвещение и Роскошь*», где, описывая странный характер Руссо, он готов с ним предаться сладостной мечтательности; в статье о «*Блаженстве*», где он, определяя счастие, увлекается своим воображением и отдыхает в тишине сельской, на лоне природы, ему всегда любезной. Вы можете читать его во всякое время, и в шуме деятельной жизни, и в тишине уединения; его слова подобны словам старого друга, который, в откровенности сердечной говоря о себе, напоминает вам собственную вашу жизнь, ваши страсти, печали, надежды и наслаждения. Он сообщает вам тишину и ясность своей души и оставляет в памяти продолжительное воспоминание своей беседы. Одним словом, самое бремя печалей и забот — я занимаю его выражение — отпадает по его утешительному гласу.

В «*Забавах воображения*», говоря о том государственном человеке, который первый в России ознаменовал дни свои покровительством отечественных муз, которого имя должно быть драгоценно позднему потомству,— ибо перейдет к нему с именами Ломоносова и Державина,— говоря о Шувалове, сочинитель продолжает: «Приятно воспоминать государственного человека, который был чувствителен к прелестям письмен, поэзии и художеств, и посреди сияния знатности и попечений правления удостоивал взорами своими просвещение; как любимец Августов или Кольберт, давал покровительство наукам или призывал дарования из чужих земель».— Конечно, иные черты можно применить к нашему автору, которого память столь любезна и художникам, и ученым. Он посещал их кабинеты, их мастерские; они искали в нем покровителя и часто находили попечительного друга. Имя его и до сих пор почтенные члены Московского Университета произносят со слезами живейшей благодарности. Незабвенное имя для сердец благородных! Оно напоминает отечеству все гражданские добродетели.

«Все то, что способствует к доставлению вкусу более

тонкости и разборчивости,— прибавляет сочинитель в статье о «*Забавах воображения*», из которой я выписываю сии строки,— все то, что приводит в совершенство чувствования красоты в искусствах и письменах, отводит нас в то же самое время от грубых излишеств страстей, от неистовых воспалений гнева, жестокости, корыстолюбия и прочих подлых наслаждений. Кто восхищается красотами поэмы или расположением картины, не в состоянии полагать благополучия в несчастии других, в шумных сборищах беспутства или в искании подлой корысти. Нежное сердце и просвещенный разум услаждаются возвышенными чувствованиями дружбы, великодушия и благотворительности».— Давно сказано было, что слог есть зеркало души, и относительно к нашему автору это совершенно справедливо. Слог его можно уподобить слогу Фенелона. Та же чистота и точность выражений, стройность мыслей; то же сердечное, убедительное красноречие. Образованный в училище древних, его слог сохранил на себе их печать неизгладимую: простоту, важность и приличие.

Я не сделаю ни одного замечания на погрешности. Пускай другие ищут ошибок грамматических, галлицизмов и пр.

Мы предоставим себе сладостное удовольствие хвалить то, что достойно похвал и самой разборчивой критики, которая в словесности нашей более приносит пользы, указывая на красоты, нежели порицая недостатки ядовитым пером своим — и часто несправедливым.

Вам известно, милостивый государь, что я многим обязан покойному автору; но благодарность меня не ослепляет. Я опирался на суд людей просвещенных, знатоков в нашей словесности, отдавая должную справедливость тому, что заслуживает похвалы; и назову себя совершенно счастливым, если мог быть хотя слабым, но верным отголоском их мыслей и суждений о том человеке, которого память будет мне драгоценна до поздних дней жизни и украсит их горестным и вместе сладким воспоминанием протекшего!

Долгом поставляю упомянуть здесь о стихотворных его произведениях. Многие из них напечатаны были без имени сочинителя в разных журналах и в последний раз в «Собрании русских стихотворений», изданных г. Жуковским, который взял на себя труд, пересмотрев несколько рукописей автора, приготовить их для печати, особенно то, что не входило в план книги, изданной в Москве в

1810 году. Конечно, любители словесности ожидают с нетерпением третьей части сочинений г. Муравьева, которая будет состоять из его стихотворений. Желательно, милостивый государь, чтобы вы сделали несколько замечаний на жизнь автора: она любопытна не только для любителя словесности, но и для каждого друга добродетели. Истинному патриоту приятно узнать некоторые обстоятельства жизни гражданина, принесшего пользу отечеству беспрерывными трудами и пером своим: мы будем помнить сынов России, прославивших отечество на поле брани; история вписывает уже имена их в свои скрижали; но должны ли мы забывать и тех сограждан, которые, употребя всю жизнь свою для пользы нашей, отличились гражданскими добродетелями и редкими талантами? — Древние, чувствительные ко всему прекрасному, ко всему полезному, имели два венца: один для воина, другой для гражданина. Плутарх, описывая жизнь великих полководцев, царей и законодателей, поместил между ими Гезиода и Пиндара. Мы желаем от всей души, чтобы вы исполнили надежду нашу. Замечания ваши на жизнь г. Муравьева могут служить предисловием к третьей части полного собрания его сочинений.

Стихотворения г. Муравьева, без сомнения, будут стоять наряду с лучшими его произведениями в прозе. В них то же достоинство: философия, которой источник чувствительное и доброе сердце; выбор мыслей, образованных прилежным чтением древних; стройность и чистота слога. Вот несколько примеров из послания к покойному И. П. Тургеневу, достойному приятелю автора, которого он любил и уважал от самой юности. Наклонности и страсти друзей были одинаковы: добродетель и пламенная любовь к музам. Они запечатлели их священный союз, который могла разрушить единая смерть. Посмотрим, как автор, описывая в своем послании деятельного мудреца, доброго отца семейства, истинного патриота, любителя порядка и счастия ближних, описывает себя и друга своего:

> Любовью истины, любовью красоты
> Исполнен дух его, украшены мечты.
> Искусства! вас к себе он в помощь призывает;
> От зависти себя он в вашу сень скрывает;
> Без гордости велик и важен без чинов,
> На пользу общую всегда, везде готов;
> Он свято чтит родство священные союзы;
> И чтоб свободным быть, приемлет легки узы;
> Внимательный супруг и счáстливый отец,

Он властью облечен по выбору сердец.—
Счастлив, кто может быть семейства благодетель!
Что нужды, дом тому иль целый мир свидетель!
Таков Эмилий был, равно достоин хвал,
Как жил в семье своей иль как при Каннах пал.

Прекрасное начертание добродетельного и деятельного мудреца! Прекрасный и счастливый пример! Далее продолжает поэт:

Служить отечеству — верховный душ обет.
Наш долг — туда спешить, куда оно зовет.
Но если, в множестве ревнителей ко славе,
Мне должно уступить,— ужели буду вправе
Пренебреженною заслугой досаждать?
Мне только что — служить; отчизне — награждать.
Из трехсот праздных мест спартанского совета
Народ ни на одно не избрал Педарета.
— Хвала богам,— сказал, народа не виня,—
Есть триста человек достойнее меня.

Здесь каждая мысль может служить правилом честному гражданину. И какая утешительная мудрость! Какое сладостное излияние чистой и праведной души! Скажем более с одним из лучших наших писателей: счастлив тот, кто мог жить, как писал, и писать, как жил!

Полезным можно быть, не бывши знаменитым;
Сретают счастие и по тропинкам скрытым.
Сей старец, коего Вергилий воспевал,
Что близ Тарента мак и розы поливал,
И в позднюю ночь под кров склоняяся домашний,
Столы отягощал некупленными брашны;
Он счастье в хижине, конечно, находил
И пышных богачей душой превосходил!

Тот истинно свободен, куда бы он ни был брошен фортуною, куда бы он ни был поставлен людьми, управлять ими или повиноваться, сиять в венце или скрывать себя в пустыне,— тот истинно счастлив, говорит наш поэт вслед за Горацием,

Кто счастья в крайностях всегда с собою сходен;
В сиянии не горд, в упадке не уныл,
В самом себе свое величие сокрыл
Владыка чувств своих, их бури усмиряет
И скуку жития ученьем услаждает.

В другом послании, в котором автор более предается игре своего воображения, мы находим блестящее изображение Вольтера,

Сего чудесного, столетнего шалбера,
	По превосходству мудреца,
Который говорил прекрасными стихами,
К которому стихи в уста входили сами...
В его приветствиях не виден труд певца —
	Учтивость тонкого маркиза!
Заметьте, что маркиз не мог воспеть бы Гиза,
Не мог бы начертать шестидесяти лет
	В Китае страшного Чингиза;
Потом унизить свой трагический полет
	В маркизе де Вильет,
И во власах седых бренчать еще на лире
Младые шалости иль растворять в сатире
	Свой лицемерный слог;
Иль философствовать с величеством о мире,
О мироздателе: — Вольтер все это мог!
И славну старость вел он с завистью у ног
	Превыше хвал и порицаний.
	В Париже сколько восклицаний,
Когда явился он к принятию венца!
Великие умы, красавицы, вельможи,
Придворных легкий рой из королевской ложи,
Плескали долго в честь бессмертного творца!
За ними вся толпа плескала без конца! —
Такой-то нравится нам в обществе творец,
Который изжил бы во свете лета юны
	И сделался мудрец
	Волненьями фортуны,
Открывшими ему излучины сердец.

К несчастию, говорит поэт, трудно быть светским человеком и писателем. Одно вредит другому:

Условья общества для мыслящего — цепи!
А тот, кто в обществе свой выдержал искус,
	Зевает в обхожденье муз.
В науке нравиться учу я основанья;
Но, старый ученик, не знаю ни аза,
	И не задремлется со мной лоза,
Которой общество чинит увещеванья.
Меж тем замедлены успехи дарованья,
	Что льстился в юности иметь.
	Замедлены?.. Я выражаюсь мало! —
Их уничтожено в душе моей начало;
Прелестна лень поставила мне сеть,
	Из коей я не выду.
Не быв Ринальдом, я нашел свою Армиду
И в лени сладостной забыл искусство петь.
Поэтом трудно быть, а легче офицером,—
С Доратом я успел сравниться в том,
	Что он, как я, был мушкетером.

Часто в стихах нашего поэта видна сладкая задумчивость, истинный признак чувствительной и нежной души;

часто, подобно Тибуллу и Горацию, сожалеет он об утрате юности, об утрате пламенных восторгов любви и беспредельных желаний юного сердца, исполненного жизни и силы. В стихотворении под названием «*Муза*», обращаясь к тайной подруге души своей, он делает ей нежные упреки:

Ты утро дней моих прилежно посещала:
Почто ж печальная распространилась мгла,
И ясный полдень мой покрыла черной тенью?
Иль лавров по следам твоим не соберу,
И в песнях не прейду к другому поколенью,
Или я весь умру?

Нет, мы надеемся, что сердце человеческое бессмертно. Все пламенные отпечатки его, в счастливых стихах поэта, побеждают и самое время. Музы сохранят в своей памяти песни своего любимца, и имя его перейдет к другому поколению с именами, с священными именами мужей добродетельных. Музы, взирая на преждевременную его могилу, восклицают с поэтом Мантуи:

Manibus date lilia plenis:
Purpureos spargam flores! *

С. Петербург, 1814 года

VI

ПРОГУЛКА В АКАДЕМИЮ ХУДОЖЕСТВ

Письмо старого московского жителя к приятелю, в деревню его Н.

Ты требуешь от меня, мой старый друг, продолжения моих прогулок по Петербургу. Повинуюсь тебе.

На этот раз я буду говорить об Академии Художеств, которая после двадцатилетнего нашего отсутствия из Петербурга столько переменилась... «Говори, говори об Академии Художеств! — так воскликнешь ты, начиная чтение моего болтливого письма.— Мы издавна любили живопись и скульптуру, и в твоем маленьком домике на Пресне (которого теперь и следов не осталось!) мы часто заводили жаркие споры о голове Аполлона Бельведерско-

---

* Дайте лилий и пурпурных цветов,
Чтоб осыпать щедрой рукой! (*лат.*)

го, о мизинце Гебы славного Кановы, о коне Петра Великого, о кисти Рафаэля, Кореджио, даже самого Сальватора Розы, Мурилло, Койпеля и пр. Так — я во многом с тобой соглашался, а ты ни в чем со мною, а еще менее с добрым живописцем Ализовым, с товарищем славного Лосенкова, который часто смешил и сердил нас своим упрямством и добродушием. Мы спорили; время летело в приятных разговорах. Счастливое, невозвратное время! Пожар Москвы поглотил и домик твой со всеми дурными картинами и эстампами, которые ты покупал за бесценок у торгашей на аукционах, а в Немецкой слободе у отставных стряпчих; он поглотил маленькую Венеру, в которой ты находил нечто божественное, и бюст Вольтеров с отбитым носом, и маленького Амура с факелом, и бронзового Фавна, которого Ализов отрыл... будто бы на развалинах какой-то бани близ Неаполя и которым он приводил в восхищение и тебя и меня и всех знатоков нашего квартала. Пожар, немилосердный пожар поглотил даже акациеву беседку, с красивыми скамейками, с дубовым столом, на котором мы, разливая чай, любовались прелестными видами: Москвой-рекою, которая извивается по лугу вокруг стен и высоких башен Девичьего монастыря, Васильевским, Воробьевыми горами с тенистыми рощами — и закатом вечернего солнца. Пожар поглотил наше убежище. Но в памяти моей осталось воспоминание твоей любви к изящным художествам и охоты спорить, которая, конечно, укротилась от времени, а более всего от политических обстоятельств.— Итак, говори об Академии Художеств, о произведениях наших артистов: я буду слушать с удовольствием. Всякая новость из столицы приятна пустыннику, который и на старости лет еще пламенно любит отечество, успехи и славу сограждан». Вот что ты скажешь, развернув мое письмо.— Я начну мой рассказ сначала, как начинает обыкновенно болтливая старость. Слушай.

Вчерашний день поутру, сидя у окна моего с Винкельманом в руке, я предался сладостному мечтанию, в котором тебе не могу дать совершенно отчета; книга и читанное мною было совершенно забыто. Помню только, что, взглянув на Неву, покрытую судами, взглянув на великолепную набережную, на которую, благодаря привычке, жители петербургские смотрят холодным оком,— любуясь бесчисленным народом, который волновался под моими окнами, сим чудесным смешением всех наций, в котором я отличал англичан и азиатцов, французов

и калмыков, русских и финнов, я сделал себе следующий вопрос: что было на этом месте до построения Петербурга? Может быть, сосновая роща, сырой, дремучий бор или топкое болото, поросшее мхом и брусникою; ближе к берегу — лачуга рыбака, кругом которой развешены были мрежи, невода и весь грубый снаряд скудного промысла. Сюда, может быть, с трудом пробирался охотник, какой-нибудь длинновласый финн...

За ланью быстрой и рогатой,
Прицелясь к ней стрелой пернатой.

Здесь все было безмолвно. Редко человеческий голос пробуждал молчание пустыни дикой, мрачной; а ныне?.. Я взглянул невольно на Троицкий мост, потом на хижину великого монарха, к которой по справедливости можно применить известный стих:

Souvent un faible gland recèle un chêne immense! *

И воображение мое представило мне Петра, который в первый раз обозревал берега дикой Невы, ныне столь прекрасные! — Из крепости Нюсканц еще гремели шведские пушки; устье Невы еще было покрыто неприятелем, и частые ружейные выстрелы раздавались по болотным берегам, когда великая мысль родилась в уме великого человека. Здесь будет город, сказал он, чудо света. Сюда призову все художества, все искусства. Здесь художества, искусства, гражданские установления и законы победят самую природу. Сказал — и Петербург возник из дикого болота.

С каким удовольствием я воображал себе монарха, обозревающего начальные работы: здесь вал крепости, там магазины, фабрики, Адмиралтейство. В ожидании обедни в праздничный день или в день торжества победы, государь часто сиживал на новом вале с планом города в руках против крепостных ворот, украшенных изваянием апостола Петра из грубого дерева. Именем святого должен был назваться город, и на жестяной доске, прибитой под его изваянием, изображался славный в летописях мира 1703 год римскими цифрами. На ближнем бастионе развевался желтый флаг с большим черным орлом, который заключал в когтях своих четыре моря, подвластные России. Здесь толпились вокруг монарха иностранные

* Часто малый желудь таит в себе огромный дуб! *(фр.)*

корабельщики, матросы, художники, ученые, полководцы, воины; меж ними — простый рождением, великий умом — любимец царский Меншиков, великодушный Долгорукий, храбрый и деятельный Шереметьев и вся фаланга героев, которые создали с Петром величие Русского царства...

Таким образом, погруженный в мое мечтание, я не приметил, что двери комнаты отворились и сын моего старого приятеля Н., молодой, весьма искусный художник, приветствовал меня с добрым утром. «Я пришел нарочно за вами,— сказал он,— сегодня Академия Художеств открыта для любопытных, и я готов быть вашим путеводителем, вашим чичероне, если угодно! — Вы увидите много хорошего, полюбуетесь некоторыми произведениями русского резца и кисти; о других теперь — ни слова. Посмотрите,— продолжал он, открывая окно: — какое прекрасное время! Весь город гуляет, и мы с толпой гуляющих неприметным образом пройдем в Академию».— «С удовольствием,— отвечал я молодому человеку: — около двадцати лет я не видал Академии, и как здесь все идет исполинскими шагами к совершенству, то надеюсь, что и художества приведут меня в приятное изумление. Вот мой посох, моя шляпа,— пойдем!»

И в самом деле, время было прекрасное. Ни малейший ветерок не струил поверхности величественной, первой реки в мире, и я приветствовал мысленно богиню Невы словами поэта:

Обтекай спокойно, плавно,
Горделивая Нева,
Государей зданье славно
И тенисты острова.

Великолепные здания, позлащенные утренним солнцем, ярко отражались в чистом зеркале Невы, и мы оба единогласно воскликнули: «какой город! какая река!»

«Единственный город! — повторил молодой человек.— Сколько предметов для кисти художника! умей только выбирать. И как жаль, что мои товарищи мало пользуются собственным богатством; живописцы перспективы охотнее пишут виды из Италии и других земель, нежели сии очаровательные предметы. Я часто с горестию смотрел, как в трескучие морозы они трудятся над пламенным небом Неаполя, тиранят свое воображение — и часто взоры наши. Пейзаж должен быть портрет. Если он не совершенно похож на природу, то что в нем? —

Надобно расстаться с Петербургом,— продолжал он,— надобно расстаться на некоторое время, надобно видеть древние столицы: ветхий Париж, закопченный Лондон, чтобы почувствовать цену Петербурга. Смотрите — какое единство! как все части отвечают целому! какая красота зданий, какой вкус и в целом какое разнообразие, происходящее от смешения воды со зданиями. Взгляните на решетку Летнего сада, которая отражается зеленью высоких лип, вязов и дубов! Какая легкость и стройность в ее рисунке! Я видел славную решетку Тюльерийского замка, отягченную, раздавленную, так сказать, украшениями — пиками, касками, трофеями. Она безобразна в сравнении с этой».

Энтузиазм, с которым говорил молодой художник, мне весьма понравился. Я пожал у него руку и сказал ему: «Из тебя будет художник!» Не знаю, понял ли он мои пророческие слова, но, посмотрев на меня с улыбкою удовольствия, продолжал: «Взгляните теперь на набережную, на сии огромные дворцы — один другого величественнее! на сии домы — один другого красивее! Посмотрите на Васильевский остров, образующий треугольник, украшенный биржею, ростральными колоннами и гранитною набережною, с прекрасными спусками и лестницами к воде. Как величественна и красива эта часть города! Вот произведение, достойное покойного Томона, сего неутомимого иностранца, который посвятил нам свои дарования и столько способствовал к украшению северной Пальмиры! Теперь, от биржи, с каким удовольствием взор мой следует вдоль берегов и теряется в туманном отдалении между двух набережных, единственных в мире!» — «Так, мой друг,— воскликнул я,— сколько чудес мы видим перед собою, и чудес, созданных в столь короткое время, в столетие — в одно столетие! Хвала и честь великому основателю сего города! Хвала и честь его преемникам, которые довершили едва начатое им, среди войн, внутренних и внешних раздоров. Хвала и честь Александру, который более всех, в течение своего царствования, украсил столицу Севера! И в какие времена? Когда бремя и участь целой Европы лежала на его сердце, когда враг поглощал землю русскую, когда меч и пламень безумца пожирал то, что созидали веки!..»

Разговаривая таким образом, мы подходили к Адмиралтейству. «Помню,— скажешь ты,— помню эту безобразную длинную фабрику, окруженную подъемными мостами, рвами глубокими, но нечистыми, заваленными

досками и бревнами». Остановись, почтенный мой приятель! кто не был двадцать лет в Петербурге, тот его, конечно, не узнает. Тот увидит новый город, новых людей, новые обычаи, новые нравы. Вот что я повторяю тебе ежедневно в моих записках. И здесь то же превращение. Адмиралтейство, перестроенное Захаровым, превратилось в прекрасное здание и составляет теперь украшение города. Прихотливые знатоки недовольны старым шпицом, который не соответствует, по словам их, новой колоннаде,— но зато колоннада и новые павильоны или отдельные флигели прелестны. Вокруг сего здания расположен сей прекрасный бульвар, обсаженный липами, которые все принялись и защищают от солнечных лучей. Прелестное, единственное гульбище, с которого можно видеть все, что Петербург имеет величественного и прекрасного: Неву, Зимний дворец, великолепные домы дворцовой площади, образующей полукружие, Невский проспект, Исакиевскую площадь, Конногвардейский манеж, который напоминает Партенон, прелестное строение г. Гваренги, Сенат, монумент Петра I и снова Неву с ее набережными!

Я хотел отдохнуть, и мы сели на одну из лавок бульвара. Площадь была покрыта каретами, бульвар — гуляющими. Между тем как я рассматривал знакомые и незнакомые лица, некто, человек пожилой и хворой, присел на лавку возле меня.— Черты его мне были знакомы, но время изгладило из моей памяти его имя. Знакомый *незнакомец* глядел на меня пристально, минуту, две, три... и наконец — я узнал в нем Старожилова. «Как ты переменился!» — воскликнули мы оба, глядя пристально друг на друга. «Как все переменилось с тех пор, как я тебя видел здесь!» — прибавил Старожилов с тяжелым вздохом, от которого морщины на его лбу сделались еще глубже. Я не стану тебе говорить о вопросах, которые мы делали взапуски друг другу: можешь их легко угадать; скажу только, что наш старый знакомый, узнав намерение наше посетить Академию, взглянул на часы и сказал мне: «Теперь еще рано; к трем часам я могу поспеть в клуб, где я должен пробовать новое вино и сказать мое мнение насчет важного постановления в клубе, о котором я размышлял целое утро». Важность, с которою он говорил, заставила нас улыбнуться. К счастию, Старожилов того не приметил и продолжал: «Прогулка мне будет полезна; ибо сегодня солнце греет, как летом. Я побреду с вами в Академию — вовсе не из любопытства; там ничего

хорошего нет. Я давно недоволен нашими художниками во всех родах — но мне нужно рассеяние, единственно рассеяние!» — прибавил он, кашляя беспрестанно.

Между тем как мы идем медленными шагами в Академию, соображаясь с походкою подагрика, я скажу тебе мимоходом, что Старожилов, которого мы знали в молодости нашей столь блестящего, столь веселого, столь рассеянного, ныне сделался брюзгою, недовольным, одним словом, совершенным образцом старого холостого человека. Ты помнишь, что в молодости он имел живой ум, некоторые познания и большой навык в свете. Ныне цвет ума его завял, прежняя живость исчезла, познания, не усовершенные беспрестанными трудами, изгладились или превратились в закоренелые предрассудки, и все остроумие его погибло, как блестящий фейерверк. Конечно, рассудок забыл шепнуть ему: старайся быть полезен обществу! Недеятельная жизнь, говорит мудрец херонейский, расслабляет тело и душу. Стоячая вода гниет; способности человека в бездействии увядают, и за молодостию невидимо крадется время:

Прийдут, прийдут часы те скучны,
Когда твои ланиты тучны
Престанут грации трепать!

Тогда общество справедливою холодностию отмстит тебе за то, что ты был его бесплодным членом. Старожилов, проживший вертопрахом до некоторого времени, проснулся в сорок лет стариком, с подагрою, с полурасстроенным имением, без друга, без привязанностей сердечных, которые составляют и мучение, и сладость жизни; он проснулся с душевною пустотою, которая превратилась в эгоизм и мелочное самолюбие. Ему все наскучило, он всем недоволен: в его время и лучше веселились, и лучше говорили, и лучше писали. Трагедии Княжнина, по его мнению, лучше трагедий Озерова; басни Сумарокова предпочитает он басням Крылова, игру Сахаровой игре Семеновой и так далее. «Как скучна нынешняя жизнь!» — говорит он; и этому поверить можно. Зачем, спрашиваю я, зачем постоянно десять лет является он в клуб? Чтобы слушать, изобретать или распускать городские вести или газетные тайны, чтобы бранить нещадно все новое и прославлять любезную старину, отобедать и заснуть за чашкою кофе при стуке шаров и при единообразном счете маркера, который, насчитав 48, ненавистным числом напоминает ему его

лета. Сонный садится он в карету и едва просыпается в театре при первом ударе смычка.

Разговаривая с ним о старине, которую я выхвалял из снисхождения, мы приближались к Академии.

Я долго любовался сим зданием, достойным Екатерины, покровительницы наук и художеств. Здесь на каждом шагу просвещенный патриот должен благословлять память монархини, которая не столько завоеваниями, сколько полезными заведениями заслуживает от признательного потомства имя великой и мудрой. Сколько полезных людей приобрело общество чрез Академию Художеств! Редкое заведение у нас в России принесло столько пользы. Но чему приписать это? Постоянному и мудрому плану, которому следует с давнего времени начальство, и достойному выбору вельмож деятельных и просвещенных на место президентское. Я стар уже; но при мысли о полезном деле или учреждении для общества чувствую, что сердце мое бьется живее, как у юноши, который не утратил еще прелестной способности чувствовать красоту истинно полезного и предается первому движению благородной души своей. Вступая на лестницу, я готов был хвалить с жаром монархиню и некоторых вельмож, покровителей отечественных муз; но докучный Старожилов воскликнул, с трудом переводя дух и отдыхая на первых ступенях: «Боже мой! какая крутая лестница! и как она узка, и как безобразна! — И к чему эта Венера с амазонками? Я никогда не был охотник до гипсов; лучше ничего или все — вот мое правило. Здесь надлежало бы поставить что-нибудь свое, произведение наших художников и пр. и пр.».— Толпа у дверей не позволила ему окончить своего критического замечания, и мы остановились, весьма кстати, у двух превеликих сатиров, называемых теламонами или атлантами (мужеские кариатиды). «Вот украшение довольно странное,— заметил молодой художник,— и которое новейшие художники употребляли часто некстати, а более всего в Париже. Женские кариатиды еще безобразнее мужских. Можно ли видеть без отвращения прекрасную женщину, страдающую под тягостным бременем и с необыкновенным усилием во всех членах и мускулах поддерживающую целое здание или огромную часть оного? Одно жестокое сердце может любить такого рода изображения, и затем-то, может быть, французские артисты, тайно угождая вкусу Наполеона, ставили кариатиды везде, где только можно было. В некоторых его замках каждую

дверь поддерживают две страдалицы. В самом Музеуме их множество. Здесь же сии кариатиды приличны; ибо могут служить образцами любопытным молодым художникам».

Мы вошли в ротонду, установленную гипсовыми слепками с антиков. «Вот консул Бальбус,— сказал мне наш спутник, указывая на большого всадника.— Подлинник статуи найден в Геркулануме».— «Но эта лошадь вовсе не красива...» — заметил Старожилов молодому артисту, качая головою.

«Вы правы,— отвечал он,— конь не весьма статен, короток, высок в ногах, шея толстая, голова с выпуклыми щеками, поворот ушей неприятный. То же самое заметите в другой зале у славного коня Марка Аврелия. Художники новейшие с большим искусством изображают коней. У нас перед глазами Фальконетово произведение, сей чудесный конь, живый, пламенный, статный и столь смело поставленный, что один иностранец, пораженный смелостию мысли, сказал мне, указывая на коня Фальконетова: — Он скачет, как Россия! — Но я не смею мыслить вслух о коне Бальбуса, боясь, чтобы меня не подслушали некоторые упрямые любители древности. Вы себе представить не можете, что теряет в их мнении молодой художник, свободно мыслящий о некоторых условных красотах в изящных художествах... Пойдемте далее».

Мы вошли в другую залу, где находятся слепки с неподражаемых произведений резца у греков и римлян. Прекрасное наследие древности, драгоценные остатки, которые яснее всех историков свидетельствуют о просвещении древних; в них-то искусство есть, так сказать, отголосок глубоких познаний природы, страстей и человеческого сердца. Какое истинное богатство, какое разнообразие! Здесь Вы видите Геркулеса Фарнезского, образец силы душевной и телесной. Вот умирающий боец или варвар; вот комический поэт и бесподобный фавн. Здесь прекрасные группы: Лаокоон с детьми — драматическое творение резца неизвестного! Вот Ария и Петус и семейство несчастной Ниобы. Здесь вы видите Венеру, образец всего красивейшего, одним словом: Венеру Медицис. Вот целый ряд колоссальных бюстов Юпитера Олимпийского,

Кто манием бровей колеблет неба свод,

Юноны, Менелая, Аякса, Кесаря и пр. И наконец, я спрашиваю себя, отчего сердце мое забилось сильнее?

Наполнил грудь восторг священный,
Благоговейный обнял страх,
Приятный ужас потаенный
Течет во всех моих костях;
В веселье сердце утопает,
Как будто Бога ощущает,
Присутствующего со мной!..
Я вижу, вижу Аполлона
В тот миг, как он сразил Пифона
Божественной своей стрелой!
Зубчата молния сверкает,
Звенит в руке спущенный лук,
Ужасная змия зияет
И вмиг свой испускает дух.

Вот сей божественный Аполлон, прекрасный бог стихотворцев! Взирая на сие чудесное произведение искусства, я вспоминаю слова Винкельмана. «Я забываю вселенную,— говорит он,— взирая на Аполлона; я сам принимаю благороднейшую осанку, чтобы достойнее созерцать его».— Имея столь прекрасного бога покровителем, мудрено ли, спрашиваю вас, мудрено ли, что один из наших поэтов воскликнул однажды в припадке пиитической гордости:

Я с возвышенною везде хожу главой!

«Вот наши сокровища,— сказал художник Н., указывая на Аполлона и другие антики,— вот источник наших дарований, наших познаний, истинное богатство нашей Академии; богатство, на котором основаны все успехи бывших, нынешних и будущих воспитанников. Отнимите у нас это драгоценное собрание и скажите, какие бы мы сделали успехи в живописи и в ваянии? Надобно желать, чтоб оно еще было удвоено, утроено. Здесь многого недостает; но то, что есть, прекрасно: ибо слепки верны и могут удовлетворить самого строгого наблюдателя древности».

Пройдя две небольшие залы, мы увидели толпу зрителей перед большою картиною. Вот новая картина г. Егорова! Одно имя сего почтенного академика возбуждает твое любопытство... Итак, я перескажу от слова до слова суждение о его новой картине, то есть то, что я слушал в глубоком молчании.

«Подойдемте поближе,— сказал Старожилов, надевая с комическою важностию очки свои.— Я немного наслышался об этом художнике».

Художник изобразил истязание Христа в темнице.

Четыре фигуры выше человеческого роста. Главная из них — спаситель перед каменным столпом с связанными назад руками и три мучителя, из которых один прикрепляет веревку к столпу, другой снимает ризы, покрывающие искупителя, и в одной руке держит пук розог; третий воин... кажется, делает упреки божественному страдальцу; но решительно определить намерение артиста весьма трудно, хотя он и старался дать сильное выражение лицу воина,— может быть, для противуположности с фигурою Христа.

«Посмотрите,— сказал нам молодой художник,— как туловище Христа нарисовано правильно, просто и благородно. Кажется, что глубокий вздох готов вырваться из подъятой груди его».— «Но лицо не соответствует красоте всего тела,— возразил Старожилов: — признайтесь сами, что глаза его слишком велики; в них нет ничего божественного».— «Я с вами не совсем согласен: положение головы прекрасно, и в лице вы видите сильное выражение страдания, горести и покорности воле отца небесного».— «К сожалению, эта фигура напоминает изображение Христа у других живописцев, и я напрасно ищу во всей картине оригинальности, чего-то нового, необыкновенного, одним словом, своей мысли, а не чужой».— «Вы правы, хотя не совершенно: этот предмет был написан несколько раз. Но какая в том нужда? Рубенс и Пуссень каждый писали его по-своему, и если картина Егорова уступает Пуссеневой, то конечно выше картины Рубенсовой...» — «Как, что нужды? Пуссень и Рубенс писали истязание Христово: тем я строже буду судить художника, тем я буду прихотливее. Если б какой-нибудь, впрочем, и весьма искусный живописец, вздумал написать картину Преображения, я сказал бы ему: конечно, вы не видали картины Рафаэлевой? Если б поэт вздумал написать нам Ифигению в Авлиде, я сказал бы ему: ее написал Расин прежде тебя; и так далее».— «Но признайтесь, по крайней мере, что мучитель, прикрепляющий веревку, которою связаны руки Христа, написан прекрасно, правильно и может назваться образцом рисунка. Он ясно доказывает, сколько г. Егоров силен в рисунке, сколько ему известна анатомия человеческого тела. Вот оригинальность нашего живописца!» — «Это все справедливо; но к чему усилие сего человека? Чтобы затянуть узел? Я вижу, что живописец хотел написать академическую фигуру и написал ее прекрасно; но я не одних побежденных трудностей ищу в картине. Я ищу в ней более: я ищу

в ней пищи для ума, для сердца; желаю, чтоб она сделала на меня сильное впечатление; чтоб она оставила в сердце моем продолжительное воспоминание, подобно прекрасному драматическому представлению, если изображает предмет важный, трогательный. К тому же согласитесь, что другой мучитель поставлен дурно. А воин?.. он вовсе лишний, он ни на кого не глядит... хотя глаза его отверсты необыкновенным образом. К чему, спрашиваю вас, на римском воине шлем с змеем и почему в темнице Христовой лежит железная рукавица? Их начали употреблять десять веков — или более — после рождества Христова; не значит ли это...»

«Конечно так! — сказал Старожилову какой-то незнакомец, который долго вслушивался в разговор (мы приняли его за художника),— конечно так! Если художники наши будут более читать и рассматривать прилежнее книги, в которых представлены обряды, одежды и вооружение древних, то подобных анахронизмов делать не будут. Но признайтесь, государь мой, признайтесь, отложа всякое пристрастие, что эта картина обещает дальнейшие успехи. Если обстоятельства, которые часто не благоприятствовали нашим артистам, если обстоятельства позволят ее живописцу заниматься постоянно сочинением больших картин, то можно ожидать, что он, утвердясь в выборе, в употреблении и согласовании красок и познакомясь со многими механическими приемами (тайны, которые должен угадывать художник в живописном деле), при твердой, правильной и красивой его рисовке, при изобретательном и благоразумном даровании, со временем не уступит лучшим живописцам италиянской, французской и испанской школы».

Будучи от природы снисходительнее и любя наслаждаться всем прекрасным, я с большим удовольствием смотрел на картину г. Егорова и сказал мысленно: «Вот художник, который приносит честь Академии и которым мы, русские, можем справедливо гордиться».

В следующих комнатах продолжались выставки, и по большей части молодых воспитанников Академии. Я смотрел с любопытством на ландшафт, изображающий вид окрестностей Шафгаузена и хижину, в которой государь император с великою княгинею Екатериною Павловною угощены новым Филемоном и Бавкидою. Вдали видно падение Рейна, не весьма удачно написанное.

В той же самой комнате проект на соборную церковь и два проекта для монумента из отнятых у неприятеля

пушек: оба не соответствуют прекрасной и высокой мысли. Вот празднование Пасхи в Париже Александром и его победоносными войсками. Какой предмет для патриота! С каким чистейшим удовольствием смотрел я на эту картину! Толпы народа и войска представлены ясно; но я заметил, что цвет неба и облаков холоден и тяжел.

Множество зрителей всякого звания толпились перед большою картиною, изображающею Христа с учениками и блудницею. Одни хвалили с жаром, другие осуждали. De gustibus non est disputandum *. «Видно, что живописец,— сказал нам молодой наш путеводитель,— живописец, скупый на искусство и вкус, не пощадил полотна, розовой и голубой краски».— «И времени»,— прибавил Старожилов. Вы видите здесь и другую картину — Венеру розовую, на голубом поле, с голубками и с Купидоном; неудачное подражание Тициану или китайским картинам без теней; Венеру, которая не имеет ни малейшего сходства с Венерою Омера, Овидия или Лукреция, но живым образом напоминает нам какую-нибудь богиню из шуточной поэмы Майкова или из «Энеиды, вывороченной наизнанку». Вы видите там, на другой стене, триумф государя, наподобие Рубенса. Теперь взгляните на этого больного старика с факелом, подражание Жирару де ла Нотте, и признайтесь, что эти живописцы в своем подражании оригинальны. Они-то могут назваться со временем основателями новой италиянской школы, la Scuola Petroborghese ** и затмить своею чудесною кистию славу своих соотечественников — славу Рафаэля, Кореджио, Тициана, Альбана и проч.

Пускай глаза наши, ослепленные яркими красками сих живописей, на которых Ньютон мог бы открыть все преломления луча солнечного, пускай глаза наши отдохнут на произведении г. Есакова. Вот его резные камни: один изображает Геркулеса, бросающего Иоласа в море, другой — киевлянина, переплывшего Днепр. Большая твердость в рисунке! — Пожелаем искусному художнику *** более навыка, без которого нет легкости и свободы в отделке мелких частей. Смелости у него довольно, а знаний?.. «Век живи, век учись,— сказал Старожилов.— Согласитесь однако же,— шепнул он молодому художни-

---

* О вкусах не спорят (*лат.*).

** Петербургской школы (*ит.*).

*** Пожалеем об этом искусном художнике: ранняя смерть похитила с ним хорошие надежды.— *Изд.*

ку,— согласитесь, что кроме картины Егорова мы ничего еще не видели совершенного или близкого к совершенству».

«Может быть! — отвечал он,— но прошу вас взглянуть на рисунок Уткина. Этот превосходный рисунок, как вы видите, изображает святую фамилию с Гвидо Рени. Другой рисунок — портрет князя Александра Борисовича Куракина, и с него гравированный портрет сего вельможи».— «Вот истинное искусство!» — сказал Старожилов, изменяя своему прекрасному правилу: Nil admirari *. Г. Уткин, известный и уважаемый в Париже, может стать наряду с лучшими граверами в Европе. Конечно, и в отечестве своем найдет он людей просвещенных, достойных ценителей его редкого таланта!»

Но с каким удовольствием смотрели мы на портреты г. Кипренского, любимого живописца нашей публики. Правильная и необыкновенная приятность в его рисунке, свежесть, согласие и живость красок — все доказывает его дарование, ум и вкус нежный, образованный **.

Старожилов, к удивлению нашему, пленился мастер-

---

* Ничему не удивляться *(лат.)*.

** В собрании портретов г. Кипренского, по важности предмета и по отделке, занимают первое место два портрета великих князей Николая Павловича и Михаила Павловича; голова старика с седою бородою или образец для апостольской головы; им же гравированный портрет, и весьма схожий, славного актера Дмитревского и рисованный черным карандашом — Фигнера, славного соглядатая нашей армии, о котором можно сказать, что Тасс говорил о Вафрине:

...per dritto sentier tra regie porte
Trapassa; e or dimanda, e or risponde.
A dimande e risposte astute, e pronte
Accoppia baldanzosa audace fronte.
Di qua, di lá sollecito s'aggira
Per le vie, per le piazze, e per le tende.
I guerrier, i destrier l'arme rimira;
L'arti e gli ordini osserva, e i nomi apprende.
Né di ciò pago, a maggior cose aspira;
Spia occulti disegni, e parte intende.
Tanto s'avvolge, e cosi destro, a piano...

То есть: «Прямым путем проходит чрез врата царские. Делает вопросы, дает ответы; хитрым вопросам и быстрым ответам соответствует его смелое и гордое чело. Туда и сюда проходит торопливыми шагами, чрез пути и площади между шатров неприятельских. Осматривая ряды воинов, коней и оружия, замечает порядок, искусство воинов; познает их имена. Сего не довольно: он стремится к высшей цели; проникает в тайные замыслы и хитрые намерения врагов...»

Наш Фигнер старцем в стан врагов
Идет во мраке ночи:

скою его кистью и, отрыв в своей памяти два италиянские стиха, сказал их с необыкновенною живостию...

Manca il parlar di vivo altro non chiedi.
Ne manca questo ancor s'a gli occhi credi *.

«Видите ли,— продолжал он,— видите ли, как образуются наши живописцы? Скажите, что б был г. Кипренский, если б он не ездил в Париж, если бы...» — «Он не был еще в Париже, ни в Риме»,— отвечал ему художник.— «Это удивительно! удивительно!» — повторил Старожилов.— «Почему? Разве нет образцов и здесь для портретного живописца? Разве Эрмитаж закрыт для любопытного, а особенно для художника? Разве не позволяется художнику списывать там портреты с Вандика, пейзажисту учиться над богатым собранием картин, единственных в своем роде? Или вы думаете, что нужен непременно воздух римский для артиста, для любителя древности; что ему нужно долговременное пребывание в Париже? В Париже? — согласен; но сколько дарований погибло в этой столице? Рассеяние, все прелести света не только препятствовали развитию дарования, но губили его навеки».

«Вот московские виды»,— сказал молодой художник, указывая на картины, изображающие Каменный мост, Кремль и пр. с большою истиною и искусством. Какие воспоминания для московского жителя! Рассматривая живопись, я погрузился в сладостное мечтание и готов был воскликнуть почти то же, что Эней у Гелена, в долинах Хаонейских, где все чудесным образом напоминало изгнаннику его священную Трою, рощи, луга и источники родины незабвенной **; я готов был сказать моим товарищам:

Как тень прокрался вкруг шатров,
Все зрели быстры очи.
И стан еще в глубоком сне,
День светлый не проглянул,
А он — уж витязь на коне,
Уже с дружиной грянул...

Жуковский

* Недостает лишь, чтоб он заговорил, тогда бы он совсем ожил. Лишь этого недостает, если ты веришь своим глазам *(ит.)*.

** Procedo, et parvam Trojam, simulatoque magnis
Pergama et arentem Xanthi cognomine rivum,
Agnosco, Scaeaeque amplector limina portae и пр.

Aeneid, liber III.

<Подвигаюсь вперед и узнаю малую Трою, изображение великого Пергама, иссохший ручей, называемый Ксанф, и обнимаю порог Скейских ворот. Энеида, книга III *(лат.)*.>

Но Старожилов рассеял воспоминание о древней белокаменной столице громким и беспрерывным смехом, рассматривая чудесные мозаики, в той же комнате выставленные.— Я взглянул на него с негодованием, пожал плечами и пошел в другую комнату, где ожидал нас портрет покойного гр<афа> А. С. Строганова, писанный г. Варником. Вокруг него мы нашли толпу зрителей: одни хвалили смелость кисти, отделку платья, белого глазета и весь рисунок картины; другие, напротив того, утверждали, что краски вообще тусклы, отделка груба, нетщательна и пр. и пр. и пр.; а я восхищался удивительным сходством лица.

«Так это он! точно он! — сказал какой-то пожилой человек нашему путеводителю.— Эта прекрасная картина г. Варника возбуждает в моей памяти тысячу горестных и сладких воспоминаний! Она живо представляет лице покойного графа, сего просвещенного покровителя и друга наук и художеств, вельможу, которого мы будем всегда оплакивать, как дети — нежного и попечительного отца. Полезные советы, лестное одобрение знатока, редкое добродушие, истинный признак великой и прекрасной души, желание быть полезным каждому из нас, пламенная, но просвещенная любовь к отечеству, любовь ко всему, что может возвысить его славу и сияние: вот чем отличался почтенный президент нашей Академии, вот что мы будем вспоминать со слезами вечной признательности и что искусная кисть г. Варника столь живо напоминает всем академикам, которые имели счастие пользоваться покровительством любезнейшего и добрейшего из людей. Черты, незабвенные черты нашего мецената будут нам всегда драгоценны!»

Художник говорил с большим жаром, и слезы навернулись на его глазах. Я был вне себя от радости; ибо я разделял вполне его чувства. Сам Старожилов был тронут и долго стоял в молчании пред почтенным ликом почтенного старца, престарелого Нестора искусств, истинного образца людей государственных; вельможи, который доказал красноречивым примером целой жизни, что вышний сан заимствует прочное сияние не от богатства и почестей наружных, но от истинного, неотъемлемого достоинства души, ума и сердца.

Долго сладкое впечатление оставалось в моей душе, и я, занятый разговором почтенного художника, прошел

без внимания мимо некоторых картин ученической работы иностранцев, которые на сей раз, как будто нарочно, согласились уступить бесспорно преимущество нашим художникам, выставя безобразные и уродливые произведения своей кисти. Мы остановились у подножия Актеона (изобретения г. Мартоса), большой статуи, отлитой для гр<афа> Н. П. Румянцова г. Екимовым: прекрасное произведение русских художников! «Заметьте,— сказал нам услужливый путеводитель наш,— заметьте, что литейное искусство сделало большой шаг в России, под руководством г. Екимова» *.

Картина г. Куртеля: «Спартанец при Фермопилах» привлекла наше внимание. Прекрасный юноша, сразившийся за свободу Греции, умирает один, без помощи, без друга, в местах пустынных. Кровавый долг Спарте отдан, оружие избито, кровь пролита ручьями из ран глубоких и смертельных, и последние минуты убегающей жизни принадлежат ему: последние взоры, исполненные страдания и любви, устремлены на медальон, изображающий черты ему любезные. «Вот прекрасная мысль,— сказал я моим товарищам,— и выраженная мастерскою кистию». Но они заметили, и справедливо, что в фигуре нет ни соразмерности, ни согласия. «Это туловище небольшого фавна, приставленное к ногам Боргезского борца,— сказал молодой художник.— Конечно, много истины в выражении лица и мертвенности других членов; но, признаюсь вам, я неохотно смотрю на подобные сему изображения! И можно ли смотреть спокойно на картины Давида и школы, им образованной, которая напоминает нам одни ужасы революции: терзание умирающих насильственною смертию, оцепенение глаз, трепещущие, побледнелые уста, глубокие раны, судороги — одним словом, ужасную победу смерти над жизнию. Согласен с вами, что это представлено с большою живостию; но эта самая истина отвратительна, как некоторые истины, из природы почерпнутые, которые не могут быть приняты в картине, в статуе, в поэме и на театре».

* Отлитая г. Екимовым фигура Актеона, по разобрании формы, не была ни опилена, ни отчеканена; но отлитие оной так совершенно, что по отбитии *путцев*, чрез которые течет в форму растопленный металл, осталось только всю фигуру пройти песком, для того, чтоб ей дать общий цвет. Хвала г. Екимову, особливо за удачное во всех частях отлитие колоссальных статуй для Казанского собора, также конченных без чеканки!

Разговаривая таким образом, мы оставили Академию. Если мое письмо не наскучило пустыннику, то я сообщу тебе продолжение нашей прогулки и разговора о художествах. Прости до первой почты.

N. N.

P. S. На третий день моей прогулки в Академию я кончил мое письмо к тебе и готов был его запечатать, как вдруг мне пришла на ум следующая мысль: если кто-нибудь прочитает то, что я сообщал приятелю в откровенной беседе?.. «Что нужды! — отвечал молодой художник Н., которому я прочитал мое письмо.— Что нужды? Разве вы обидели кого-нибудь из художников, достойных уважения? Выставя картину для глаз целого города, разве художник не подвергает себя похвале и критике добровольно? Один маляр гневается за суждение знатока или любителя; истинный талант не страшится критики: напротив того, он любит ее, он уважает ее, как истинную, единственную путеводительницу к совершенству. Знаете ли, что убивает дарование, особливо если оно досталось в удел человеку без твердого характера? Хладнокровие общества: оно ужаснее всего! Какие сокровища могут заменить лестное одобрение людей чувствительных к прелестям искусств! Один богатый невежда заказал картину моему приятелю; картина была написана, и художник получил кучу золота... Поверите ли, он был в отчаянии».— «Ты недоволен платою?» — спросил я.— «О нет! я награжден слишком щедро!» — «Что же огорчает тебя?» — «Ах, любезный друг, моя картина досталась невежде и сгниет в его кабинете: что мне в золоте без славы! — В Париже художники знают свою выгоду. Они живут в тесной связи с писателями, которые за них сражаются с журналистами, с знатоками и любителями, и проливают за них источники чернил. Две, три недели, часто месяц занимают они публику после первого выставления картин».— «Это все справедливо; но я мог ошибаться».— «Что нужды, если без намерения!» — «Но я употребил в моем письме новые выражения, например: *механический прием* (в живописном деле), желая изъяснить то, что французы называют le faire * и боюсь...» — «Пускай другие переведут лучше, исправнее; у нас еще не было

* создавать *(фр.)*.

своего Менгса, который открыл бы нам тайны своего искусства и к искусству живописи присоединил другое, столь же трудное: искусство изъяснять свои мысли. У нас не было Винкельмана... Но запечатайте, запечатайте письмо: его никто не прочитает!» — повторял художник с хитрою улыбкою. И его слова успокоили меня, хотя не совершенно. Признаюсь тебе, любезный друг, я боюсь огорчить наших художников, которые нередко до того простирают ревность к своей славе, что малейшую критику, самую умеренную, самую осторожную, почитают личным оскорблением.

VII

ОТРЫВОК ИЗ ПИСЕМ РУССКОГО ОФИЦЕРА О ФИНЛЯНДИИ

Я видел страну, близкую к полюсу, соседнюю Гиперборейскому морю, где природа бедна и угрюма, где солнце греет постоянно — только в течение двух месяцев; но где, так же, как в странах благословенных природою, люди могут находить счастие. Я видел Финляндию от берегов Кюменя до шумной Улеи, в бурное, военное время, и спешу сообщить тебе глубокие впечатления, оставшиеся в душе моей при виде новой земли, дикой, но прелестной и в дикости своей. Здесь повсюду земля кажет вид опустошения и бесплодия, повсюду мрачна и угрюма *. Здесь лето продолжается не более шести недель, бури и непогоды царствуют в течение девяти месяцев, осень ужасная, и самая весна нередко принимает вид мрачной осени; куда ни обратишь взоры — везде, везде встречаешь или воды или камни. Здесь глубокие длинные озера омывают волнами утесы гранитные, на которых ветер с шумом качает сосновые рощи; там — целые развалины древних гранитных гор, обрушенных подземным огнем или разлитием океана. В конце апреля начинается весна; снег тает поспешно, и источники, образованные им на горах, с шумом и с пеною низвергаются в озера, которые, посредством явного или подземного соединения

* Особенно в старой Финляндии.

с Ботническим заливом, несут ему обильную дань снега. Если озеро тихо, то высокие, пирамидальные утесы, по берегам стоящие, начертываются длинными полосами в зеркале вод. На них-то хищные птицы вьют свои гнезда, и, по древнему преданию скандинавов, в часы пасмурного вечера вызывают криком своим бурю,— из тайной глубины пещер. Ветер повеял с севера, и поверхность сонного озера пробудилася, как от сна!.. Видишь ли, как она пенится? Слышишь ли, с каким глухим и протяжным шумом разбивается о гранитные, неподвижные скалы, которые несколько веков презирают порыв бурь и ярость волн? Соседние леса повторяют голос бури, и вся природа является в ужасном расстройстве. Сии страшные явления напоминают мне мрачную мифологию скандинавов, которым божество являлось почти всегда в гневе, карающим слабое человечество.

Леса финляндские непроходимы; они растут на камнях. Вечное безмолвие, вечный мрак в них обитает. Деревья, сокрушенные временем или дуновением бури, заграждают путь предприимчивому охотнику. В сей ужасной и бесплодной пустыне, в сих пространных вертепах путник слышит только резкий крик плотоядной птицы; завывания волка, ищущего добычи; падение скалы, низвергнутой рукой всесокрушающего времени, или рев источника, образованного снегом, который стрелою протекает по каменному дну между скал гранитных, быстро превозмогает все препятствия и увлекает в течении своем деревья и огромные камни. Вокруг его пустыня и безмолвие! Посмотри далее: огнь небесный или неутомимая рука пахаря зажгли сей бор; опаленные сосны, исторгнутые из утробы земной с глубокими корнями; обожженные скалы; дым, восходящий густым, черным облаком от сего огнища,— все это образует картину столь дикую, столь мрачную, что путешественник невольно содрогается и спешит отдохнуть взорами или на ближнем озере, которое величественно дремлет в отлогих берегах своих, или на зеленой поляне, где вол жует сочную и густую траву, орошенную водами источника.

Какие народы населяли в древности землю сию? Где признаки их бытия? Где следы их? Время все изгладило; или сии сыны диких лесов не ознаменовали себя никаким подвигом, и история, начертавшая малейшие события стран полуденных и восточных, молчит о народах севера. Но существовали народы сии — угрюмые, непобедимые сыны первобытной природы или изгнанники из стран

счастливейших *; они населяли сии пещеры, питались млеком зверей и полагали пределом блаженства удачу на охоте или победу над врагом, из черепа которого (страшное воспоминание!) пили кровь и славили свое могущество. Когда зима покрывала реки льдами, сыпала иней и снега, тогда дикие чада лесов выходили из логовищей своих и пролагали путь по морям гиперборейским к новым пустыням, к новым лесам. Вооруженные секирою и палицей, они идут войной на стада пустынных чудовищ; их мчат быстрые олени; их несут лыжи по равнинам снежным, они сражаются, побеждают и учреждают кровавую трапезу! Томимые голодом, нуждою, исполненные мужества, решимости, презирая равно и смерть и жизнь,— не знают опасности; в зверском исступлении наполняют криком леса, и эхо повторяет глас их в пространной пустыне. Но сии пустыни, сии вертепы, сии непроходимые леса в средних веках повторяли голос скальда. И здесь поэзия рассыпала цветы свои: она смягчила нравы, укротила зверство и утешила страждущее человечество своими волшебными песнями о богах, о героях, о лучшем мире и о прекрасной будущей жизни. Разные племена народов собрались воедино, составили селения на берегах сего залива. Мало-помалу и самая природа приняла другой вид, не столь суровый и дикий.

Может быть, на сей скале, осененной соснами, у подошвы которой дыхание зефира колеблет глубокие воды залива, может быть, на сей скале воздвигнут был храм Одена. Здесь поэт любит мечтать о временах протекших и погружаться мыслями в оные веки варварства, великодушия и славы; здесь с удовольствием взирает он на волны морские, некогда струимые кораблями Одена, Артура и Гаральда; на сей мрачный горизонт, по которому носились тени почивших витязей; на сии камни, остатки седой древности, на коих видны таинственные знаки, рукою неизвестною начертанные. Здесь, погруженный в сладкую задумчивость,—

В полночный час
Он слышит скальда глас,
Прерывистый и томный.
Зрит: юноши безмолвны,
Склоняся на щиты, стоят кругом костров,

---

* Руны, которые я видел в Финляндии и потом в Швеции, принадлежат к позднейшим векам. До сих пор историки не могут утвердительно сказать, кто были первые обитатели Финляндии.

Зажженных в поле брани;
И древний царь певцов
Простер на арфу длани,
Могилу указав, где вождь героев спит:
«Чья тень, чья тень,— гласит
В священном исступленье,—
Там с девами плывет в туманных облаках?
Се ты, младый Иснель, иноплеменных страх,
Со славой падший на сраженье!
Мир, мир тебе, герой!
Твоей секирою стальной
Пришельцы гордые побиты...
Но ты днесь пал на грудах тел
От тучи вражьих стрел,
Пал витязь знаменитый!
И се... уж над тобой посланницы небесны,
Валкирии прелестны,
На белых, как снега Биармии, конях,
С златыми копьями в руках,
В безмолвии спустились!
Коснулись до зениц копьем своим — и вновь
Глаза твои открылись:
Течет по жилам кровь
Чистейшего эфира;
И ты, бесплотный дух,
В страны безвестны мира
Летишь стрелой... и вдруг
Открылись пред тобой те радужны чертоги,
Где уготовали для сонма храбрых боги
Любовь и вечный пир.
При шуме горних вод и тихострунных лир,
Среди полян и свежих сеней
Ты будешь поражать там скачущих еленей
И златорогих серн.—
Склонясь на злачный дерн
С дружиною младою,
Там снова с арфою златою
В восторге скальд поет
О славе древних лет.
Поет, и храбрых очи,
Как звезды тихой ночи,
Утехою блестят.
Но вечер притекает —
Час неги и прохлад —
Глас скальда замолкает;
Замолк — и храбрых сонм
Идет в Оденов дом,
Где дочери Веристы,
Власы свои душисты
Раскинув по плечам,
Прелестницы младые,
Всегда полунагие,
На пиршества гостям
Обильны яствы носят
И пить умильно просят
Из чаши сладкии мед...

Таким образом, и в снегах, и под суровым небом пламенное воображение создавало себе новый мир и украшало его прелестными вымыслами. Северные народы с избытком одарены воображением: сама природа, дикая и бесплодная, непостоянство стихий и образ жизни, деятельной и уединенной, дают ему пищу.

Здесь царство зимы. В начале октября все покрыто снегом. Едва соседняя скала выказывает бесплодную вершину; иней падает в виде густого облака; деревья при первом утреннем морозе блистают радугою, отражая солнечные лучи тысячью приятных цветов. Но солнце, кажется, с ужасом взирает на опустошения зимы; едва явится и уже погружено в багровый туман, предвестник сильной стужи. Месяц в течение всей ночи изливает сребреные лучи свои и образует круги на чистой лазури небесной, по которой изредка пролетают блестящие метеоры. Ни малейшее дуновение ветра не колеблет дерев, обеленных инеем: они кажутся очарованными в новом своем виде. Печальное, но приятное зрелище сия необыкновенная тишина и в воздухе и на земле! — Повсюду безмолвие! Робкая лань торопко пробирается в чащу, отрясая с рогов своих оледенелый иней; стадо тетеревей дремлет в глубокой тишине леса, и всякий шаг странника слышен в снежной пустыне.

Но и здесь природа улыбается (веселою, но краткою улыбкою). Когда снега растаяли от теплого летнего ветра и ярких лучей солнца; когда воды с шумом утекли в моря, образовав в течении своем тысячи ручьев, тысячи водопадов,— тогда природа приметно выходит из тягостного и продолжительного усыпления. Вдруг озимые поля одеваются зеленым бархатом, луга душистыми цветами. Ход растительной силы приметен. Сегодня все мертво, завтре все цветет, все благоухает. Народные басни всегда имеют основанием истину. Древние скандинавы полагали, что Оден, сей великий чародей, чутким ухом своим слышит, как весною прозябают травы. Конечно, быстрое, почти невероятное их возрастание подало повод к сему вымыслу.— Летние дни и ночи здесь особенно приятны. Дню предшествует обильная роса. Солнце, едва почившее за горизонтом, является во всем велелепии на конце озера, позлащенного внезапу румяными лучами. Пустынные птицы радостно сотрясают с крыльев своих сон и негу; резвые белки выбегают из мрачных сосновых лесов под тень березок, растущих на отлогом береге. Все тихо, все торжественно в сей первобытной природе! Большие рыбы

плещут среди озера златыми чешуями, между тем как мелкие жители влажной стихии играют стадами у подошвы скал или близ песчаного берега. Вечер тих и прохладен. Солнечные лучи медленно умирают на гранитных скалах, которых цвет изменяется беспрестанно. Тысячи насекомых (минутные жители сих прелестных пустынь) то плавают на поверхности озера, то кружатся над камышем и наклоненными ивами. Стада диких уток и крикливых журавлей летят в соседнее болото, и важные лебеди торжественным плаванием приветствуют вечернее солнце.— Оно погружается в бездне Ботнического залива, и сумрак вместе с безмолвием воцарился в пустыне... Но какой предмет для кисти живописца: ратный стан, расположенный на сих скалах, когда лучи месяца проливаются на утружденных ратников и скользят по блестящему металлу ружей, сложенных в пирамиды! Какой предмет для живописи и сии великие огни, здесь и там раскладенные, вокруг которых воины толпятся в часы холодной ночи! Этот лес, хранивший безмолвие, может быть, от создания мира, вдруг оживляется при внезапном пришествии полков. Войско расположилось; все приходит в движение: пуки зажженной соломы, переносимые с одного места на другое, пылающие костры хвороста, древние пни и часто целые деревья, внезапно зажженные, от которых густый дым клубится и восходит до небес: одним словом, движение ратных снарядов, ржание и топот коней, блеск оружия, и смешенные голоса воинов, и звуки барабана и конной трубы — все это представляет зрелище новое и разительное! Вскоре гласы умолкают; огонь пылающих костров потухает, ратники почили, и прежнее безмолвие водворилось: изредка прерываемо оно шумом горного водопада или протяжными откликами часовых, расположенных на ближних вышинах против лагеря неприятельского: месяц, склоняясь к своему западу, освещает уже безмолвный стан.

Теперь всякий шаг в Финляндии ознаменован происшествиями, которых воспоминание и сладостно, и прискорбно. Здесь мы победили; но целые ряды храбрых легли, и вот их могилы! Там упорный неприятель выбит из укреплений, прогнан; но эти уединенные кресты, вдоль песчаного берега или вдоль дороги водруженные, этот ряд могил русских в странах чуждых, отдаленных от родины, кажется, говорят мимоидущему воину: и тебя ожидает победа — и смерть! Здесь на каждом шагу встречаем мы или оставленную батарею, или древний замок с готически-

ми острыми башнями, которые возбуждают воспоминание о древних рыцарях; или передовый неприятельский лагерь, или мост, недавно выжженный, или опустелую деревню. Повсюду следы побед наших или следы веков, давно протекших,— пагубные следы войны и разрушения! Иногда лагерь располагается на отлогих берегах озера, где до сих пор спокойный рыбак бросал свои мрежи; иногда видим рвы, батареи, укрепления и весь снаряд воинский близ мирной кущи селянина. Разительная противуположность!..

Финляндия, 1809.

VIII

ПУТЕШЕСТВИЕ В ЗАМОК СИРЕЙ

Письмо из Франции к г. Д<ашкову>

Из деревни Болонь, лежащей близ города Шомона, я поскакал верхом в Сонкур, где ожидали меня б<арон> Де Д<амас> и г. П<исарев>, с которыми накануне уговорился я посетить замок Сирей и поклониться теням Вольтера и его приятельницы. В окрестностях Сирея назначены были квартиры нашему отряду; полки тянулись по дороге, и мы их опередили в ближнем селении. Сначала погода нам вовсе не благоприятствовала: холодный и резкий ветер наносил снег и дождь; наконец небо прояснилось, и солнце осветило прекрасные долины, рощи и горы. Мы проехали чрез местечко Виньори, где заметили развалины весьма древнего замка на высоком утесе, который господствует над селением и близлежащими долинами.

Ein bethürmtes Schloss, voll Majestät,
Auf des Berges Felsenstirn erhöht! *

«Кому принадлежит этот замок?» — спросил я у старика, сидящего на пороге сельского домика, тесно примыкающего к развалинам. «Какой-то старой дворянке»,— отвечал он, приподняв красный колпак, старый, изношенный, и который, конечно, играл большую роль в бур-

---

* Многобашенный замок, полный величия,
Подымается на скалистом склоне горы (*нем.*).

ные годы революции. Это замечание я сделал мимоходом и продолжал вопросы: «Когда построен замок?» — «Во время Шампанских графов, сказывал мне покойный дед *. Храбрые рыцари искали здесь убежища от народных возмущений и укрепили замок башнями, рвами, палисадами. Время и революция все разрушили. Здесь не одна была революция, господин офицер! не одна революция! Я на веку моем пережил одну; тяжелые времена... не лучше нынешних. Посадили дерево вольности... я сам имел честь садить его, вот там, на зеленом лугу... Разорили храмы божии... у меня рука не поднималась на злое!.. Но чем же это все кончилось? Дерево срубили, а надписи на паперти церковной: *вольность, братство или смерть* — мелом забелили. Чего я не насмотрелся в жизни? и неприятелей на родине моей увидел, и с офицером *казачьим* теперь разговариваю! Чудеса! По совести чудеса!» — «Ты разорился от войны, добрый старичок?» — «Много пострадал, а бедные соседи еще более. Мы все желаем мира».— «О! мы знаем это: но император ваш не желает».— «Прямой корсиканец! Знаете ли, что он объявил нам?» — Здесь старик покачал головою, посмотрел на меня пристально, и — конечно от робости — заикнулся.— «Говори, говори!» — «Охотно, если прикажете. Император... (это было сказано важным и торжественным голосом) император объявил нам, что он не хочет трактовать о мире с пленными; ибо он почитает вас в плену. Он нарочно завел вас сюда, чтобы истребить до последнего человека: это была военная хитрость, понимаете ли?

---

* Французы и теперь мало заботятся о древних памятниках.— Развалины, временем сделанные,— ничего в сравнении с опустошениями революции: бурные времена прошли, но невежество или корыстолюбие самое варварское пережили и революцию. Один путешественник, который недавно объехал всю полуденную Францию, уверял меня, что целые замки продаются на своз, и таким образом вдруг уничтожаются драгоценные исторические памятники. Напрасно правительство хотело остановить сии святотатства; ничто не помогало, ибо для нынешних французов ничего нет ни священного, ни святого,— кроме денег, разумеется. Какая разница с немцами! В Германии вы узнаете от крестьянина множество исторических подробностей о малейшем остатке древнего замка или готической церкви. Все рейнские развалины описаны с возможною историческою точностию учеными путешественниками и художниками, и сии описания вы нередко увидите в хижине рыбака или земледельца. Притом же немцы издавна любят все сохранять, а французы разрушать: верный знак, с одной стороны — доброго сердца, уважения к законам, к нравам и обычаям предков; а с другой стороны — легкомыслия, суетности и жестокого презрения ко всему, что не может насытить корыстолюбия, отца пороков.

военная хитрость, не что иное... Но вы смеетесь... и нам это смешно показалось, так смешно, что мы префекта, приехавшего сюда с этим объявлением, камнями и грязью закидали. Il s'en souviendra!.. *. Но вам пора догонять товарищей.— Добрый путь, господин офицер!»

Размышляя о странном характере французов, которые смеются и плачут, режут ближних, как разбойники, и дают себя резать, как агнцы, я догнал моих товарищей.

Час от часу дорога становилась приятнее: холмы, одетые виноградником и плодоносными деревьями, между коими мелькали приятные сельские домики, напоминали нам Саксонию, благословенные долины Дрездена, места очаровательные! Разговаривая с товарищами и любуясь красотою видов, мы неприметно проехали несколько миль; каждый замок, каждое местечко мы принимали за Сирей и смеялись своей ошибке. Наконец, поворотя вправо с большой дороги, вдоль по речке Блез, мы увидели жилище славной нимфы Сирейской, которой одно имя рождает столько приятных воспоминаний...

Во ста шагах от селения возвышается замок на высоком уступе; кругом — рощи и кустарники. Все просто, но природа все украсила.

К замку примыкает английский сад и несколько тенистых аллей, к которым никогда не прикасались ножницы, даже в те времена, когда безжалостный Ленотр остригал боскеты Версальские, когда последний провинцияльный дворянин рассаживал по шнуру смиренные акации и овощи в своем огороде. Вольтер, говоря о замке Сирейском, описывая красоты его окрестностей — кажется, в письме к королю Прусскому,— прибавляет:

Trop d'art me révolte et m'ennuie:
I'aime mieux ces fastes forêts! **

Эти леса и поныне украшают Сирей своею дикостию. Замок сохранил древнюю наружность; можно отличить новые пристройки и балконы. Они принадлежат к Вольтерову времени. На крутой кровле (à la Mansarde) я заметил некоторые украшения и высокие продолговатые трубы, обложенные лепными изображениями, похожие на трубы замка Pont-sur-Seine, принадлежащего Летиции, матери Наполеона. Мы вошли в Сирей и удивились об-

* Он об этом вспомнит! *(фр.)*

** Избыток искусства меня возмущает и надоедает мне:
Я предпочитаю эти обширные леса *(фр.)*.

ширным залам, убранным в новейшем вкусе. Наружность того не обещала.

Замок принадлежит г-же де Семиан, женщине весьма умной, некогда прекрасной. Он был разграблен в революцию и после того времени все строение возобновлено *. К сожалению, мы нашли мало следов прежней обладательницы и ее славного друга, который, как говорит Лебрюн, *утомил стогласную Славу*.

В столовой несколько картин, изображающих зверей и охоту. Эта живопись, довольно приятная, существовала уже при маркизе, и мы смотрели на нее с большим удовольствием. Пройдя несколько покоев, в правом флигеле замка нам отворили дверь в залу Вольтерову.

Здесь мы нашли большой мраморный камин, тот самый, который согревал Вольтера; несколько новых мебелей: клавесин, маленький орган и два комода. Окны до полу. Две круглые стеклянные двери в сад: одна из них украшена надписями, на камне высеченными. На фронтоне мы прочитали Вергилиев стих: Deus nobis haec otia fecit ** из первой эклоги; на косяке несколько стихов из Попе, которого Вольтер всегда любил, и наконец:

Azile des beaux arts, solitude où mon coeur
Est toujours occupé dans une paix profonde,
C'est vous que donnez le bonheur,
Que promettait en vain le monde ***.—

стихи, написанные Вольтером в счастливую минуту наслаждения душевного, в глазах божественной Эмилии, единственной женщины, которую он любил наравне со славою, которой он был обязан всем и которая достойно гордилась дружбою творца Заиры ****. Из окон сей залы видны ближние деревни и два ряда холмов, заключающих прелестную долину, по которой извивается речка Блез.

---

* По отступлении русских Сирей был снова разграблен французами за то именно, что русские варвары его пощадили!

** Бог нам предоставил этот досуг *(лат.)*.

*** Убежище искусств, одиночество, где мое сердце
Всегда занято в глубоком покое,
Это вы даете счастье,
Которое напрасно обещает свет *(фр.)*.

**** Напрасно мы искали в саду мраморного Амура, который некогда стоял под балконом, с надписью из Антологии: «Qui que tu sois voici ton maître» <Кто бы ты ни был, вот твой властелин *(фр.)*> и пр., которую перевел г. Дмитриев:

Кто б ни был ты, пади пред ним:
Был, есть иль будет он владыкою твоим!

В глубоком молчании и я, и товарищи долго любовались приятным видом отдаленных гор, на которых потухали лучи вечернего солнца. Может быть, совершенная тишина, царствующая вокруг замка, печальное спокойствие зимнего вечера, зелень, кое-где одетая снегом, высокие сосны и древние кедры, осеняющие балкон густыми наклоненными ветвями и едва колеблемые дыханием вечернего ветра, наконец, сладкие воспоминания о жителях Сирея, которых имена принадлежат истории, которых имена от детства нам были драгоценны,— погрузили нас в тихую задумчивость.

«Здесь Фернейский мудрец,— так воскликнул г. Р-н, житель Сирея, прервав наше молчание,— здесь славнейший муж своего века, чудесный, единственный, который, как говорят, вырезывал на меди для потомства *, который все знал, все сказал **, который имел доброе, редкое сердце, ум гибкий, обширный, блестящий, способный на все, и, наконец, характер вовсе не сообразный ни с умом его, ни с сердцем,— здесь он жил, сей Протей ума человеческого; здесь во цвете лет своих наслаждался он уединением и свободою, которым знал цену, и долго не покидал их для *коронованной Сирены*, для рукоплесканий и для прихожей г-жи Помпадур. Странный человек! Он многое предвидел, многое предсказал в политике; но мог ли он предвидеть, что несколько десятков лет спустя вы придете в замок Эмилии с оружием в руках, с толпою жителей берегов Волги и людей, пиющих воды Сибирские; и что там, где маркиза прекрасною рукою поливала мак, розы и лилеи, кормила голубей ячменем,— вот у этой самой голубятни,— что там, где она любила отдыхать под тенью древних кедров, у входа в *Заирину* аллею ***, где Вольтер у ног ее в восторге читал первые стихи бессмертной трагедии и искал похвал и одобрения в голубых глазах своей Урании, в божественной ее улыбке, там, милостивые государи, там вы расставите часовых с ужасными усами, гренадер и козаков, которые приводят в трепет всю Францию?..» — Мы засмеялись словам г. Р-на, и он продолжал, понизив немного свой голос:

«Здесь долгое время был счастлив Вольтер в объятиях

---

* Qui gravait pour la postérité — выражение Паллисота, если не ошибаюсь.

** Qui a tout dit — Шатобриан, говоря о Вольтере.

*** И до сих пор одна аллея называется *Заириною*. Там сочинял Вольтер свою трагедию.

муз и попечительной дружбы. *Там, где я обитаю, земной рай*, писал он к приятелю своему Терио.— Немудрено! Представьте себе лучшее общество, ученейших людей во Франции, придворных, остроумных поэтов — таких, например, как С. Ламбер, который умел соединять любезность с глубокими сведениями, философию с людскостию; и в кругу таких людей — маркизу, которая умела все одушевить своим присутствием, всему давала неизъяснимую прелесть: и вы будете иметь понятие о земном рае Вольтера.— «Она чудо во Франции!» — говорил Вольтер *.— Ум необыкновенный, лице прекрасное, душа ангела, откровенность ребенка и ученость глубокая — все было очаровательно в этой волшебнице! Она, вопреки г-же Жанлис, вопреки журналисту Жоффруа и всем врагам философии, была достойна и пламенной любви С. Ламбера, и дружбы Вольтера, и славы века своего. Здесь маркиза кончила жизнь свою, на лоне дружества. Все жители плакали о ней, как о нежной, попечительной матери. У бедных память в сердце: они еще благословляли прах ее, когда литераторы наши начали возмущать его спокойствие клеветами и постыдным ругательством. Но Вольтер был неутешен. Вы помните его письмо, в котором он из Бар-Сюр-Оба уведомляет о болезни и потом о смерти маркизы. Беспорядок этого письма доказывал его глубокую горесть. И мог ли он не сожалеть об утрате единственной женщины, о которой и вы, иностранцы — неприятели — говорите с любовию, с уважением!»

Наш учтивый путеводитель продолжал бы более речь свою, если бы не позвали к обеду.

Столовая была украшена русскими знаменами... Но мы утешили пугливые тени сирейской нимфы и ее друга, прочитав несколько стихов из «Альзиры».

Таким образом примирились мы с Пенатами замка и с некоторою гордостию, простительною воинам, в тех покоях, где Вольтер написал лучшие свои стихи, мы читали с восхищением оды певца Фелицы и бессмертного Ломоносова, в которых вдохновенные лирики славят чудесное величие России, любовь к отечеству сынов ее и славу меча русского.

---

* Madame du Châtelet sera comptée au rang des choses qu'il faut voir en France, parmi celles, qu'on y regrettera toujours»,— писал Вольтер Кайзерлингу. <Мадам дю Шатле будет причислена к разряду вещей, которые надо видеть во Франции, среди тех, о которых будут всегда сожалеть *(фр.)*.>

C'est du Nord à présent gue nous vient la lumière, *
От Севера теперь сияет свет наук.

Обед продолжался долго. Вечер застал нас, как героев древнего Омера, с чашею в руках и в сладких разговорах, основанных на откровенности сердечной, известных более добродушным воинам, нежели вам, жителям столицы и блестящего большого света.

Но мы еще воспользовались сумерками: обошли нижнее жилье замка, где живет г-жа де Семиан; осмотрели ее библиотеку,— прекрасный и строгий выбор лучших писателей, составляющих любимое чтение сей умной женщины, достойной племянницы г-жи дю Шатле: любезность, ум и красота наследственны в этом семействе. Есть другая библиотека в нижнем этаже; она, кажется, предоставлена гостям. Древнее собрание книг, важное по многим отношениям, совершенно расхищено в революцию. Вольтеровых книг и не было в замке со времени его отъезда; по смерти маркизы он увез с собою книги, ему принадлежавшие, и некоторые рукописи. «Надобно ехать в Ферней,— говорил г. Р-н,— там, может быть, находятся сии драгоценности».— «Надобно ехать в Петербург,— заметил справедливо г. П<исарев>; — в Эрмитаже и рукописи, и библиотека Фернейские».

Стужа увеличилась с наступлением ночи.— В Вольтеровой галерее мы развели большой огонь, который не мог нас согреть совершенно. Перед нами на столе лежали все Вольтеровы сочинения, и мы читали с большим удовольствием некоторые места его переписки, в которых он говорит о г-же дю Шатле. В шуме военном приятно отдохнуть мыслями на предмете, столь любви достойном.— Глубокая ночь застала нас в разговорах о протекшем веке, о великой Екатерине, лучшем его украшении, о ссоре короля Прусского с своим камергером и пр., у того самого камина, на том самом месте, где Вольтер сочинял свои послания к славным современникам и те бессмертные стихи, для которых единственно простит его памяти справедливо раздраженное потомство.— Г. П<исарев> был в восхищении.— Наконец, надобно было расстаться и думать о постеле. Мне отвели комнату в верхнем жилье, весьма покойную, но где с трудом можно было развести огонь. Старый ключник объявил мне, что в этом покое обыкновенно живет г. Монтескью, родственник хозяйки,

* С Севера теперь к нам приходит свет *(фр.)*.

весьма умный и благосклонный человек; и что он, ключник, радуется тому, что мне досталась его спальня.— «Vous avez l'air d'un bon enfant, mon officier» *,— продолжал он, дружелюбно ударив меня по плечу. Прекрасно; но от его *учтивостей* комната мне не показалась теплее. Во всю ночь я раскладывал огонь, проклинал французские камины и только на рассвете заснул *железным* сном, позабыв и Вольтера, и маркизу, и войну, и всю Францию.

Проснувшись довольно поздно, подхожу к окну и с горестью смотрю на окрестность, покрытую снегом.

Я не могу изъяснить того чувства, с которым, стоя у окна, высчитывал я все перемены, случившиеся в замке. Сердце мое сжалось. Все, что было приятно моим взорам накануне,— и луга, и рощи, и речка, близ текущая по долине между веселых холмов, украшенных садами, виноградником и сельскими хижинами,— все нахмурилось, все уныло. Ветер шумит в кедровой роще, в темной аллее *Заириной* и клубит сухие листья вокруг цветников, истоптанных лошадьми и обезображенных снегом и грязью. В замке, напротив того, тишина глубокая. В камине пылают два дубовых корня и приглашают меня к огню. На столе лежат письма Вольтеровы, из сего замка писанные. В них все напоминает о временах прошедших, о людях, которые все исчезли с лица земного с своими страстями, с предрассудками, с надеждами и с печалями, неразлучными спутницами бедного человечества. К чему столько шуму, столько беспокойства? к чему эта жажда славы и почестей? — спрашиваю себя и страшусь найти ответ в собственном моем сердце.

НА ДРУГОЙ ДЕНЬ

Ввечеру я простился с товарищами, как будто предчувствуя, что их долго, долго не увижу. Печален

Come navigante
Ch'a detto a dolci amici addio **.—

На дворе ожидал меня козак с верховою лошадью. *«Поздно мы пустились в путь!»* — сказал он, как мертвец

* «У вас вид доброго малого, мой офицер» *(фр.)*.
** Как мореплаватель,
Который сказал милым друзьям «прости» *(ит.)*.

в балладе.— Что нужды? — отвечал я,— дорога известна. Притом же...

> Вот и месяц величавой
> Встал над тихою дубравой.

Топот конских ног раздался по мостовой обширного двора. Мы удалились от замка... Между тем ночь становилась темнее и темнее. С трудом находили мы дорогу, пробирались по высоким горам дремучим лесом в виду древнего замка Виньори, где австрийцы расположились биваками посреди лошадей и высоких фур в различных положениях, достойных кисти Орловского. Одни спокойно спали на соломе, которая начинала загораться; другие распевали тирольские и богемские песни вокруг пылающего пня, который осыпал их искрами при малейшем дуновении ветра; другие оборачивали вертел с большою частью барана, в ожидании товарищей, которые толпились вокруг маркитанта, разливающего им вино и водку. Одеяние и лица их еще страшнее казались, освещенные пламенем бивака, и напоминали мне Валленштейнов лагерь, описанный Шиллером, или «Сбиров» Сальватора Розы.— Из Виньори мы поворотили вправо по дороге, проложенной по лесу. Поднялась страшная буря: конь мой от страху останавливался, ибо вдали раздавался вой волков, на который собаки в ближних селениях отвечали протяжным лаем...

Вот, скажете вы, прекрасное предисловие к рыцарскому похождению! Бога ради, сбейся с пути своего, избавь какую-нибудь красавицу от разбойников или заезжай в древний замок. Хозяин его, старый дворянин, роялист, если тебе угодно, примет тебя как странника, угостит в зале Трубадуров, украшенной фамильными гербами, ржавыми панцирями, мечами и шлемами; хозяйка осыплет тебя ласками, станет расспрашивать о родине твоей, будет выхвалять дочь свою, прелестную томную Агнесу, которая, потупя глаза, покраснеет, как роза,— а за десертом, в угождение родителям, запоет древний романс о древнем рыцаре, который в бурную ночь нашел пристанище у неверных...— и проч. и проч. и проч.— Напрасно, милый друг! Со мной ничего подобного не случилось. Не стану следовать похвальной привычке путешественников, не стану украшать истину вымыслами, а скажу просто, что, не желая ночевать на дороге с волками, я пришпорил моего коня и благополучно возвратился

в деревню Болонь, откуда пишу эти строки в сладостной надежде, что они напомнят вам о странствующем приятеле.— Сказан поход — вдали слышны выстрелы.— Простите!

26 февраля, 1814.

IX

ДВЕ АЛЛЕГОРИИ

I

Если б достаток позволял мне исполнять по воле все мои прихоти, то я побежал бы к Художнику N. с полным кошельком и предложил ему две *мысли* для двух картин. Вообще аллегории холодны, особливо те, которыми живописцы хотят изобразить исторические происшествия; но мои будут говорить рассудку, потому что они ясны и точны: они будут говорить воображению и сердцу, если художник выразит то, что я теперь мыслю и чувствую.

— Напишите,— сказал бы я живописцу, который до сих пор не написал ничего оригинального, а только рабски подражал Рафаэлю, но который может изобретать, ибо имеет ум, сердце и воображение,— напишите мне Гения и Фортуну, обрезывающую у него крылья.

X. А! Я вас понимаю! *(Немного подумав.)* Вы хотите изобразить жестокую победу несчастия над талантом.— Гения живописи...

Я. Я не назначаю, именно какого Гения; от вас зависит выбор: Гения поэзии, Гения войны, Гения философии, науки или художества, какого вам угодно; только Гения пламенного, пылкого, наполненного гордости и себяпознания, которого крылья неутомимы, которого взор орлиный проницает, объемлет природу, ему подчиненную; которого сердце утопает в сладострастии чистейшем и неизъяснимом для простого смертного при одном помышлении о добродетели, при одном именовании славы и бессмертия.

X. (с радостию взяв мел, подбегает к грунтованному холсту). Я вас понимаю, очень понимаю...

Я. Я уверен, что художник N. меня поймет, когда дело идет о славе.

X. (взяв меня за руку и краснея при каждом слове).

Вы не поверите, как я люблю славу: стыдно признаться; но вы хотите... *(чертит мелом абрис фигуры)* вы хотите...

Я. Гения. Чтоб изобразить живо, как я его чувствую, прочитайте жизнь Ломоносова, этого рыбака, который, по словам другого поэта, из простой хижины шагнул в Академию; прочитайте жизнь Петра Великого, который сам себя создал и потом Россию; прочитайте жизнь чудесного Суворова, которого душу, сердце и ум природа отлила в особенной форме и потом изломала ее вдребезги; взгляните, если угодно, на творения вашего Рафаэля, в памяти которого помещалась вся природа! Напитавши воображение идеалом величия во всех родах, пишите смело; ваш Гений будет Гений, а не фигура академическая. Теперь вообразите себе, что он борется с враждебным роком; запутайте его ноги в сетях несчастия, брошенных коварною рукою Фортуны; пусть слепая и жестокая богиня обрезывает у него крылья с таким же хладнокровием, как Лахезиса прерывает нить жизни героя или лучшего из смертных,— Сократа или Моро, Лас Казаса или Еропкина, благодетеля Москвы.

Х. Я разумею. Фортуну изображу, как обыкновенно: с повязкою на глазах, с колесом под ногами.

Я. Это ваше дело! Теперь заметьте, что побежденный Гений потушает свой пламенник. Нет крыльев, нет и пламенника!

Х. Справедливо.

Я. Но зато нет слез в очах, ни малейших упреков в устах божественного. Чувство негодования и — если можно слить другое чувство, совершенно тому противное,— сожаление об утраченной Славе, которая с ужасом направляет полет свой, куда перст Фортуны ей указует.

Х. Гений мой будет походить на Аполлона Дельфийского...

Я. Если бы Аполлон промахнулся, метя в чудовище, то выражение лица его могло бы иметь некоторое сходство с лицем несчастного Гения, у которого Фортуна обрезала крылья.

Х. *(задумавшись, и потом с глубоким вздохом)*. Я вас понял совершенно: художник не всегда был баловнем Фортуны. Мы все, дети Аполлоновы, менее или более боролись с несчастием. Многие победили его, многие утратили свои крылья в жестокой борьбе, и пламенник таланта потух сам собою. Вы будете довольны картиною. Теперь же стану ее компоновать. Простите.

II

Я. Картина ваша прелестна! Для вас Гений не потушил своего пламенника, когда вы изображали его божественное лице.

Х. Я доволен: но спросите у меня, как я страдал! Сколько печальных мыслей бродило в голове моей, когда я изображал Гения, потушившего пламенник свой, и лице этой неумолимой, безрассудной Фортуны, которая, исполняя долг свой, так спокойна! *ибо не ведает, что творит!* — она с повязкою на глазах. Верите ли, что сердце мое обливалось кровью при одной мысли об участи художников, которые в отечестве своем не находят пропитания...

Я. *(рассматривая картину)*. Прекрасно!.. Но знаете ли, что можно воскресить вашего Гения?

Х. *(с радостию)*. Воскресить?

Я. Выслушайте меня: я шел однажды в диком лесу и потерял дорогу. Выхожу на свет, вижу пещеру, осененную густыми ветвями, и в этой пещере... вашего Гения.

Х. Моего Гения?

Я. Он сидел в глубокой задумчивости, опершись на одну руку. Потухший светильник лежал у ног, а кругом — обрезанные крылья, которые развевал пустынный ветер, с шумом пролетающий в пещере: я ужаснулся.

Х. Далее.

Я. Глубокий вздох вырвался из груди страдальца; он взглянул на потухший пламенник, и мне показалось, что слезы его падали на холодный помост пещеры.

Х. Слезы, одному дарованию известные! Так плакал умирающий Рафаэль! Далее...

Я. Вдруг вся пещера осветилась необыкновенным сиянием. Вступают два божества: Любовь и Слава. За ними влечется окованная Фортуна.

Х. Опять эта слепая колдунья!

Я. Вы ошибаетесь. Любовь оковала ее, сдернула повязку с очей и привела в пещеру, где страдал бедный Гений.

Х. Я воображаю удивление Фортуны, которая в первый раз в жизни разглядела глупость, сделанную в слепоте.

Я. Слава отдает свои крылья Гению; Любовь зажигает его пламенник; Гений прощает изумленной Фортуне и в лучах торжественного сияния воспаряет медленно к небу.

Х. Вот картина!

Я. Вы угадали.— Берите животворную кисть вашу.

Х. Я напишу эту картину. Эта работа облегчит мое сердце... Так! надобно, непременно надобно воскресить бедного Гения!

X

ПОХВАЛЬНОЕ СЛОВО СНУ

Письмо к редактору «Вестника Европы»

Пускай утверждают, что хотят, прихотливые люди и строгие умы, а я утверждаю, милостивый государь, что науки и словесность у нас в самом блистательном состоянии. Укажу вам на книгопродавцев. Посмотрите, как они разживаются: *то домик выстроят, то купят деревеньку*. Чем же? Торговлею. Какою? Книжною. Следственно, у нас пишут, у нас читают, и из одного следствия к другому я могу вывести, что словесность русская в самом цветущем состоянии. Вот что хотел я доказать и что вы знаете без моих доказательств; ибо вы, милостивый государь, наблюдаете постоянно ход наших успехов, как астроном наблюдает течение любимой планеты. Вы заметили, конечно, что мы заняли все пути к славе и многие материи исчерпали до дна, так что нашим потомкам надобно будет умирать от жажды.— Простите мне это выражение и сосчитайте со мною эпические поэмы, в честь Петра Великого написанные.— Считайте от Ломоносова до Сл<адковс>кого и далее, от кедра до иссопов, и заметьте, что все поэмы исполнены красот, что в них все было сказано, кроме того только, что Ломоносов намеревался сказать и не успел: но это сущая безделка! Теперь прошу взглянуть на обширную область Талии и, наконец, Мельпомены, которая беспрестанно обогащается новыми приобретениями и скоро истощит всю священную древность от сотворения мира.— У французов одна «Аталия»; у нас, благодаря усердию писателей, не одна трагедия переносит нас в землю иудейскую. Я ни слова не скажу о «Российском феатре», на котором основана слава наших праотцев, о журналах, романах и пр., изданных назад тому двадцать лет и более. Их мало читают; но время доказало, что они бессмертны: они уцелели в пожаре столицы. «Добро не горит, не тонет»,— говорит послови-

ца. Сердце мое дрожит от радости, когда я начинаю исчислять на досуге все наши сокровища. Тогда я похожу на антиквария, который, не делая никакого употребления из своего золота, любуется им и говорит: «Вот червонец! вот рубль! вот старинная монета! такого-то года! при таком-то царе! Кто ее отливал? из какого рудника это золото? кто употреблял эту монету?» А я говорю: «Вот трагедия 1793 года! Кто ее писал? кто читал ее?» — Творца не мудрено отыскать по творению, но читателей найти не легко: мы еще не любим *отечественного*. Что нужды мне до других! Я день и ночь роюсь в моих книгах; расставляю их по порядку хронологическому и горжусь моим богатством. Чего у нас нет? Боже мой! Найдите хотя один предмет, одну отрасль ума человеческого, которую бы мы *не обработали* по-своему? Поэзии — море! и поле Красноречия необозримое! — Загляните только в журналы, но без предубеждения, и вы найдете — сокровища! Здесь похвальное слово такому-то; там надгробное слово такому-то; здесь приветствие, там благодарный глас общества: *и все то благо, все добро!* Все герои, все полководцы, все писатели увенчаны пальмами красноречия и шагают торжественно в храм бессмертия.— Мы не ограничили себя великими людьми; мы хвалили даже блох * и будем хвалить все, что пресмыкается и ползает в царстве животных.— Итак, мудрено ли, что какому-то чудаку вздумалось написать «Похвальное слово Сну»? Случай мне доставил исправный список и вовсе не похожий на тот, который напечатан в вашем «Вестнике». Если вы найдете, что читатели ваши не заснут над этим панегириком, то покорнейше прошу напечатать его в журнале и сохранить для потомства, которое, конечно, благодарнее современников, завистливых, строгих и вовсе не способных ценить дарования. Это не мои слова, м. г., а моего приятеля Н. Н., который пишет стихи и прозу, но только не печатает их в вашем журнале и потому вам неизвестен.

Имею честь быть и проч.

ПРЕДИСЛОВИЕ

В 18.. году, лет несколько до нашествия просвещенных и ученых вандалов на Москву, жил на Пресненских прудах некто NN., оригинал, весьма отличный от других

* Смотри «Вестник Европы» 1810 года.

оригиналов московских.— Всю жизнь провел он лежа, в совершенном бездействии телесном и, сколько возможно было, душевном. Ум его, хотя и образованный воспитанием и прилежным чтением, не хотел или не в состоянии был победить упрямую натуру.— Имея большой достаток при счастливых обстоятельствах (которые единственно могут сохранить в полноте характер человека), он не имел нужды покоряться условиям общества и требованиям должностей. Он делал, что хотел, а хотел одного спокойствия.— Великий Конде говаривал: «Если бы я был царем моей постели, то никогда бы с нее не вставал». Наш оригинал был совершенный царь своей постели.— Целый день он лежал то на одном боку, то на другом, и всю ночь лежал! Редко, очень редко мы видели его сидящего у окна с длинной турецкою трубкою, в татарском или китайском шлафроке, и то когда он занимался домашними делами. Два чтеца попеременно читали ему книги, ибо лень не позволяла заниматься самому чтением, но лень не мешала делать добро. Он сыпал золото нищим и, под непроницаемою корою бесстрастного спокойствия, таил горячее сердце. В уединенном квартале города он воспитывал на свой счет двенадцать бедных девушек, кормил и одевал несколько заслуженных воинов и — странное дело! — не ленился посещать их по воскресным дням. «От этого лучше спится!» — говаривал он тем, которые выхваляли его благотворительность.— Равнодушный ко всему, он слушал спокойно самые важнейшие новости, но при рассказе о несчастном семействе, о страдании человечества вдруг оживлялся, как разбитый параличом от прикосновения электрического прутика. Впрочем, он был самый бесстрастный *автомат*: никого не обижал, ни с кем не заводил тяжбы, ни над кем не смеялся, никому не противоречил, не имел никаких страстей: страсть его была — лень. Скучал ли он? Утвердительно отрицать не могу, но заключаю, что скука ему была известна, и вот по какому обстоятельству.— Однажды он послал за мною. «Садись или ложись на диван,— сказал он, указывая на турецкую постелю,— я намерен ехать в деревню и воспользоваться первым весенним воздухом. Снег расстаял, и стук по мостовой карет и дрожек начинает меня беспокоить. Но в деревне нельзя быть без общества; соседи мои люди деятельные; с ними надобно говорить, ездить на охоту, заводить тяжбы, мирить, ссорить и пр. и пр. ... О! это меня расстроит совершенно! Двери на крюк соседям. С кем же я буду убивать время? С такими друзьями, как

ты, например!» Я привстал и хотел благодарить за учтивость, но ленивец мой замахал обеими руками и продолжал: «Я знаю в Москве человек до шести, людей приятных в обществе и совершенно праздных. Двоё из них могут назваться по справедливости добрыми людьми. Леность не позволяет другим пускаться на злые дела, и это хорошо! Мы пригласим их к себе. Но теперь надобны женщины: вот истинное затруднение. Без женщин общество мужчин скоро наскучит... А где найти женщин ленивых?» — «Боже мой! как не найти!» — вскричал я.— «То есть, ленивых по моему образу мыслей,— возразил NN, покачав головою и насупя брови,— их язык вечно деятелен, в вечном движении; это ртуть, это белка на привязи у колеса, это маятник, который...» (леность или доброта сердца не дозволяли кончить сравнений). «Но так и быть,— продолжал лентяй с глубоким вздохом,— я согласен пригласить вдову приятеля моего, генерала А., с двумя дочерьми, добрыми и любезными девушками. Дружба меня сделает снисходительным. Толстая жена откупщика нашего Ж. с племянницею, ленивая Софья, ее дородная сестра, не будут лишние. Впрочем, мы не наскучим друг другу: свобода все украсит. Общество мое пусть называют как хотят московские насмешники; но оно будет приятно мне и гостям. Возьми же лист бумаги, милый друг, и пиши учреждение общества ленивых».— Я взял перо и бумагу и написал под диктатурою нашего лентяя условия, под коими все члены согласились подписать свои имена, и мы накануне 1 мая отправились в подмосковную...

В шестидесяти верстах от города, на конце густого соснового леса, которого спокойствие ничто не может нарушить, стоит большой господский дом, архитектуры изрядной. К нему примыкает озеро, усеянное островами. Вдали синеет колокольня уездного городка и несколько деревень. Кажется, что все было пожертвовано тишине в сей мирной обители: все службы, начиная с кухни до конюшни, расположены в некотором расстоянии одна от другой и закрыты рощицами. Перед окнами большие *плакущие* ивы, березы и цветники, засеянные китайским маком.— Здесь все посвящено лени, все питает ее, все приглашает ко сну: под каждым старинным деревом дерновая скамья, в каждой беседке канапе или постель с большими занавесами и со всеми предосторожностями от комаров и мошек, а на дверях надпись из нашего Пиндара-Анакреона:

Сядь, милый гость! здесь на пуховом
Диване мягком, отдохни;
В сем тонком пологу, перловом,
И в зеркалах вокруг, усни;
Вздремли после стола немножко:
Приятно часик похрапеть!
Златой кузнечик, сера мошка
Сюда не могут залететь!

Ни крик петухов, ни стук топора, ни топот, ни конское ржание — ничто не нарушает глубокого молчания.— Кроме ручья, журчащего под навесом берега, кроме озера, которое ласкает тихим плесканием пологие берега свои, вы ничего не слышите. Сия тишина бывает прервана или очарована роговою музыкою, которая при закате солнца провожает умирающий день, и нежными, сладостными и протяжными звуками приготовляет сладкое усыпление и веселые мечты хозяину поместья.— Но это редко случается, ибо он боится беспокоить своих музыкантов.— У него нет ни одного деятельного или суетливого человека: все подчинено каким-то правилам особенного порядка; один повар имеет право разнообразить наслаждение эпикурейца. Я не стану описывать его дома. Каждый угадает, что он покоен, тепел и не слишком светел, ибо архитектором располагал по своей воле прихотливый хозяин. Но одна зала достойна вашего замечания.— Ее большие полуовальные окна осенены со всех сторон густыми ветвями вязов и лип, которые в июне наполняют бальзамическим испарением своих цветов окрестный воздух. Все стены обширной залы украшены картинами. Две — изображают идиллии из золотого века; другие — рождение Морфея, его пещеру и владычество его над небом и землею. Здесь видите Смерть в виде усыпленного Гения, там — Эрминию, отдыхающую у пастухов, спящего Эндимиона, который, кажется, весь осребрен сиянием влюбленной Дианы и во сне вкушает сладости, неизъяснимые языком смертного. Здесь вы видите мальчика, уснувшего на краю колодца; Фортуна поддерживает его рукою, но так осторожно, что, кажется, боится разбудить беспечного: прелестное изображение счастливцев и баловней слепой богини, которые забываются на краю своей гибели! Наконец, на колоннаде, украшающей преддверие залы, вы читаете имена знаменитых ленивцев: Лукулла, Сарданапала, Анакреона, Лафонтена, Шолио, Лафара; тут же имена русских стихотворцев и имя того, который пишет прелестные басни и комедии и необоримую леность свою

умеет украшать прочнейшими цветами Поэзии и Философии.

В этой зале открыто первое заседание Общества ленивых; несколько слов было сказано хозяином; подан им знак — и один из членов, Оратор ленивых, произнес похвальное слово Сну.

ПОХВАЛЬНОЕ СЛОВО СНУ

Пока еще сладостный сон не сомкнул ресниц ваших, и полуоткрытые глаза могут взирать на Оратора, лежащего на мягком пуховике посреди храмины, посвященной лености, почтенные слушатели и прекрасные слушательницы! преклоните ухо ваше к словам моим. Не грозные битвы, не шум воинский, не гибельные подвиги героев, обрызганных кровию, подвиги, клонящиеся к отнятию сна у бедных человеков, нет! я хочу выхвалять способность спать,— и ежели душа есть источник прекрасных мыслей, то поверьте, что речь моя, истекающая из оной, должна вам нравиться, ибо душа моя исполнена любовию к благодарному богу лесов Киммеринских.

(Громкие рукоплескания раздались в зале. Оратор покраснел от радости. Женщины шептали между собою и поглядывали на него с усмешкою. Хозяин закричал: «внимание! внимание!», как член парламента, требующий внимания посреди шумного народа, когда Фокс и Питт рассуждали о войне или мире. Все умолкло, и Оратор продолжал.)

Вы улыбаетесь, слушатели, вы отделяете медленно головы свои от мягких подушек, чтобы не пропустить ни одного слова красноречивого Витии,— и я, ободренный сим геройским подвигом, смело вступаю в обширное море красноречия, бурное море, в котором погибала слава многих новейших и древних говорунов.

Кто не спит, слушатели, кто не вкушает сладости сна? Злодей, преступник! ибо и невинный, приговоренный к смерти, и несчастный страдалец под бременем бедности и зла,— и они смыкают вежды свои, омоченные слезами, и они усыпляют свои горести.— Сладостное усыпление, истинный дар небес, оставшийся на дне сосуда неосторожной Пандоры! ты вместе с надеждою, твоею сестрою, украшаешь жизнь волшебными мечтами!.. Ах! сон есть свидетель и порука совести нашей! *Сон, надежда и добрая*

совесть, как три Хариты, неразлучны: они суть братья и сестры одного семейства. Бросьте взор свой на сего спящего младенца (здесь Оратор указал на картину). Это ангел, который покоится на лоне невинности; розы горят на ланитах малютки, уста его улыбаются... Они ищут, кажется, поцалуев матери; дыхание их легко и сладостно, как дыхание утреннего ветерка, посетившего благоуханную розу.

Спи же, малютка! пока страсти и люди, *ненавистники сна*, не лишили тебя способности спать и пока Фортуна поддерживает тебя благодетельною рукою на краю зияющей бездны!

Взгляните на сон благотворительного смертного: он тих и спокоен, как ночь весенняя (Оратор взглянул на хозяина, который с трудом мог сокрыть сладкие слезы на глазах). Душа его, которой ничто не препятствует излиться наружу, дышит на его устах, на ясном челе его, даже на опущенных ресницах. Сердце его *утопает* в веселии, пульс его ударяет тихо и ровно,— он счастлив, он совершенно благополучен: ибо он учинил доброе дело, ибо сон напоминает ему несчастного, которого он извлек из пропасти, с которым плакал наедине. Кажется, ангел-хранитель присутствует у ложа праведника и отгоняет благовонными крилами мечты и призраки; кажется, сама Надежда сыплет на него цветы свои обильною рукою, и он — сказать ли горькую истину? — он просыпается едва ли столько счастлив: ибо первый взор его часто, очень часто встречает неблагодарного! Что нужды? он уже наслаждался во сне!

(Мы заметим, что хозяин, вздохнув очень горестно, прошептал между прочим: «Друзья мои! я жалею от искреннего сердца о том, кто не заснул после доброго дела».)

Взгляните теперь на оратая, который засыпает на жестком ложе, взгляните на поденщика, который, окончив труд свой, бросается на голый камень и с ношею плеч своих слагает все бремя душевное; взгляните на ратника, утружденного походом, дождем, холодом: он несколько дней сражался со стихиями и со смертию; кровь и пот лились ручьями, голод изнурял его,— но он заснул — и все забыто, и он счастливее сатрапа, засыпающего тонким сном на персях восточной одалиски. Скажите мне теперь, что награждает страдальцев сих за труды, пот и раны? Конечно, не скупые награды царей и вельмож, но сон, благодетель человеков!

Кто из нас не любил и кто не спал вопреки любви своей?

(После этого вопроса краткое молчание. Одна из молодых девушек потупила черные глаза, другая покраснела. Старая вдова А. открыла табакерку и поднесла ее с ласковою улыбкою хозяину, устремив на него страстные взоры, которые, казалось, делали следующий вопрос: И ты любил меня в молодости, друг мой, но любовь не лишала тебя сна; не правда ли? — Оратор продолжал.)

Сладостен сон любовника: он видит бархатные луга, орошенные ручьями, сады Армидины, царство Луны и Сильфов; все предметы и все места украшены присутствием его возлюбленной. Везде она с ним, ходит рука с рукою, везде неразлучна — и в хижине, и в палатах, и в обществе, и в пустыне. Сон и самые печали услаждает. Любовница тебе изменила или новая Галатея невнимательна к твоим песням; целомудренна, как Цинтия или как Зиновия, едва-едва склоняет к тебе суровые взоры?.. Утешься, печальный страдалец! Я не стану тебе советовать вооружаться терпением стоика или потоплять любовь свою в чаше вина *, или забыть вероломную. Но никто не отнимал у тебя сна. Никто не лишал тебя способности усыплять сердце твое посредством сладостных мечтаний? Спи же, любовник, спи от вечера до утра, от утра до вечера, и — к наказанию твоей каменной Лауры — ты, верно, когда-нибудь проснешься с прежним спокойствием, с прежним равнодушием; ибо сон, успокаивая страсти, истребляет даже их вредное начало. Что есть сердце наше? Море. Удержи дыхание ветров,— и оно спокойно.

(Море — сердце — дыхание ветров — спокойно!..— повторяли слушатели, и громкие рукоплескания раздались в зале.)

Природа, благая мать смертных! Ты начинаешь наказывать преступника, оскорбителя прав твоих, прежде законов человеческих.— Взгляните на юношу, который в первый раз нарушил священные законы нравственности: взор его пасмурен, нетерпелив; он ищет чего-то, ибо убегает самого себя, сего *внутреннего полубога*, которого мы носим в груди своей; он ищет рассеяния в шумном свете, в опасных удовольствиях, и горе ему, если новые

---

* «Ou bien buvez, c'est un parti fort sage». *Volt* ⟨*aire*⟩ («Или напейтесь: это — мудрое средство». *Вольтер*).

преступления изгладят следы первых! Но если, ведомый рукою совести, он скроется на минуту от взоров человеческих и там, в безмолвном уединении предастся размышлению, то слезы — вестники доброго сердца — слезы раскаяния омочат его ланиты, душа его успокоится, прояснеет, подобно мутной воде, яснеющей от времени в чистом сосуде; душа его придет в лучшее состояние, и сон,— награда великого, доброго дела,— сон заключит его в *мягкие объятия;* ибо сон, вопреки всем наблюдателям страстей человеческих, идет непосредственно за первым раскаянием,— явная премудрость попечительного Промысла, который врачует язвы сердца нашего посредством благотворного усыпления.

Но теперь, какие ужасные картины представляются взорам нашим? Преступник, преступник закоренелый в злодеяниях! Глас оскорбленной природы, подобно грому, раздался в его сердце, и глас сей был ужасен: *злодей! ты не будешь спать!* Вот приговор тиранам, сластолюбцам, рушителям спокойствия общественного! Повторим сильные слова латинского стихотворца: «Ужели страшен рев быка Фаларидова, ужели меч, прицепленный к златому крову и висящий над главою венчанного тирана, страшнее, ужаснее грызений совести того несчастного, который, бледнея, говорит — и столь тихо, что жена, лежащая с ним на одном ложе, слышать не может: я бегу, бегу к погибели»? Знали ли сон Дионисий Сиракузский и те изверги природы, те ряды венчанных злодеев Рима, которых, как говорит Расин, одно имя есть ужасная обида ужасному тирану? Вкушал ли сон и тот счастливый злодей Британии (Кромвель), которого жизнь была загадка, который, подобно древнему тирану, укрывался каждый день в новом убежище? Между тем как герой Севера, сей великий муж, которого жизнь достойна пера Плутархова, ибо малейшее его деяние есть подвиг ума,— между тем, говорю я, как Суворов спал на плаще под открытым небом, в виду огней неприятельских и накануне решительного сражения!

Итак, почтенные слушатели! способность спать во всякое время есть признак великой души. (Надобно заметить, что это весьма понравилось собранию ленивых.) Древность, неисчерпаемый источник истины и басен, древность, хранилище опытности, развертывает перед нами свои хартии. Примеры обильны и убедительны. Александр накануне ужасной битвы с Дарием засыпает ввечеру; Парменион принужден его будить, ибо знамена

перские блистали уже вблизи стана греческого. Катон имел привычку засыпать при наступлении опасности, ибо ничто не могло поколебать великого духа героя стоиков: Mediis tempestatibus placidus *. Август спит мертвым сном во время упорного морского сражения, происходившего у берегов цветущей Сицилии. Марий — и что всего чудеснее — Марий засыпает под деревом во время последней битвы с Силлою, и тогда только сон покидает неустрашимого вождя, когда сонмы неприятелей обратили в бегство его воинство. Гибельный сон, но не менее того славный! Мудрый Эпименид, если верить историкам (*когда не верить им, то верить ли кому?*) проспал 57 лет сряду; и я вам клянусь Геродотом, отцом летописцев, что есть народы на Севере, которые спят в течение шести зимних месяцев, подобно суркам, не просыпаясь. Ученые отыскали, что сии народы обитали в России, и это не подлежит теперь никакому сомнению, по крайней мере, в обществе нашем.

Из всего мною сказанного ясно извлекается следующее заключение: сон есть признак великого духа и доброй души. Доброй души — ибо сонливый человек не способен делать зла, которое требует великих усилий, беспокойства и беспрестанной деятельности. Посмотрите, как говорит о беспечном сне Лафонтен, жертвовавший ему половиною жизни своей, и которого добродушие вошло в пословицу:

Ie ne dormirai point sous de riches lambris:
Mais voit-on que le somme en perde de son prix?
En est-il moins profond, et moins plein de délices?
Ie lui voue au désert de nouveaux sacrifices **.

Но почему сон есть стихия лучших поэтов? Отчего они предаются ему до излишества, забывают все — и славу, и потомство, и золотое правило древности, которое говорит именно, что праздность без науки — смерть: otium sine litteris mors est? *** Вопрос важный, достойный внимания мудрецов, и которого я решить не смею, боясь вооружить против себя неусыпных, но усыпительных писателей, которые — о святотатство! — и самое боже-

---

* В бурях — ясный духом (*лат.*).

** Я никогда не буду спать в богатом алькове:
Но разве сон теряет от этого что-нибудь в своей цене?
Менее ли он глубок, менее ли исполнен сладостей?
В своем тихом уголке я приношу ему все новые жертвы (*фр.*).

*** Досуг без занятий — смерть (*лат.*).

ство Ночи * оскорбляют кропанием стихов. Знаю только, что поэты всегда прославляли сладость сна; подобно нежным детям, ласкающим доброго родителя, они давали ему множество приятных названий: сон — утешитель смертных! отрадный! тихий! сладостный! и пр. Начиная от Омера, все они, все до одного описывали менее или более, хуже или лучше сие успокоение души и тела. Тибулл, которого вся жизнь была одно сладостное мечтание без пробуждений (простите мне это выражение), Тибулл не в одном месте выхваляет сон. Я всегда с живым удовольствием привожу на память стихи его:

...Под тению древесной отдыхаю,
Которая меня прохладою дарит.
Сквозь солнце иногда дождь мелкой чуть шумит:
Я, слушая его, помалу погружаюсь
В забвение и сном приятным наслаждаюсь.

Дмитриев

Какая истинная любовь к наслаждениям тихим! какая любовь ко сну! Далее:

Иль в мрачну, бурну ночь в объятиях драгой
Не слышу и грозы, шумящей надо мной!
Вот сердца моего желанья и утехи!

Дмитриев

Первые два стиха показывают мастера наслаждаться; последний принадлежит к малому числу стихов, написанных от души.

Ах! почтенное сословие сонных! если б я не боялся траты времени, которое можно посвятить с такою пользою на сон...

(И в самом деле Оратор начал замечать некоторую наклонность ко сну в своих благосклонных слушателях. Лучшие, красноречивые слова имеют странное действие на ленивых духом, действие, подобное журчанию ручейка: сперва нравятся, а потом клонят ко сну.)

...Если б томные глаза ваши не показывали, что он вам становится нужнее красноречивейшего панегирика... (этот второй член длинного периода был прерван сперва зеванием слушателей, а потом и самого Оратора, который, однако ж, сделал геройское усилие и продолжал),— то верно б я предложил вам убедительное сравнение двух народов: одного воинственного, другого мирного; одного

* У древних Ночь была старейшим всех божеством.

провождающего дни и ночи на страже с копьем в руках, другого изгнавшего из пределов своих все, что клонится к нарушению сна: и петухов, вестников утра, и шумные художества, и снаряды воинственные,— я сделал бы сравнение спартанцев со счастливыми сибаритами и сравнение мое клонилось бы в пользу последних,— я доказал бы, что нет счастия в деятельности народной, и чрез то открыл бы неисповедимые истины и новое поле Политикам, поле вовсе не известное.

(При слове *Политика* хозяин начал зевать так сильно, что Оратор с трудом кончил.)

Но я вижу, что Морфей сыплет на вас зернистый мак свой! Я ощущаю и сам тайное присутствие бога Киммеринского. Криле его сотрясают благовонную росу на любимцев... Перст его смыкает уста мои... язык коснеет... и я . . . . . засыпаю.

Любитель сна Дормидон Тихин

XI

АРИОСТ И ТАСС

Учение италиянского языка имеет особенную прелесть. Язык гибкий, звучный, сладостный, язык, воспитанный под счастливым небом Рима, Неаполя и Сицилии, среди бурь политических и потом при блестящем дворе Медицисов, язык, образованный великими писателями, лучшими поэтами, мужами учеными, политиками глубокомысленными,— этот язык сделался способным принимать все виды и все формы. Он имеет характер, отличный от других новейших наречий и коренных языков, в которых менее или более приметна суровость, глухие или дикие звуки, медленность в выговоре и нечто принадлежащее Северу.— Великие писатели образуют язык; они дают ему некоторое направление, они оставляют на нем неизгладимую печать своего гения — но, обратно, язык имеет влияние на писателей. Трудность выражать свободно некоторые действия природы, все оттенки ее, все изменения останавливает нередко перо искусное и опытное. Ариост, например, выражается свободно, описывает верно все, что ни видит (а взор сего чудесного Протея обнимает все мироздание); он описывает сельскую природу с удивительною точностию — благовонные луга и ро-

щи, прохладные ключи и пещеры полуденной Франции, леса, где Медор, утомленный негою, почивает на сладостном лоне Анжелики; роскошные чертоги Альцины, где волшебница сияет между нимфами (Si come è bello il sol più d'ogni stella! *); все живет, все дышит под его пером. Переходя из тона в тон, от картины к картине, он изображает звук оружия, треск щитов, свист пращей, преломление копий, нетерпеливость коней, жаждущих боя, единоборство рыцарей и неимоверные подвиги мужества и храбрости; или брань стихий и природу, всегда прелестную, даже в самых ужасах (bello è l'orrore **)! Он рассказывает, и рассказ его имеет живость необыкновенную. Все выражения его верны и с строгою точностию прозы передают читателю блестящие мысли поэта. Он шутит, и шутки его, легкие, веселые, игривые и часто незлобные, растворены аттическим остроумием. Часто он предается движению души своей и удивляет вас, как оратор, порывами и силою мужественного красноречия. Он трогает, убеждает, он невольно исторгает у вас слезы; сам плачет с вами и смеется над вами и над собою; или увлекает вас в мир неизвестный, созданный его музою; заставляет странствовать из края в край, подниматься на воздух; он вступает с вами в царство Луны, где находит все, утраченное под Луною, и все, что мы видим на земноводном шаре: но все в новом, пременном виде; снова спускается на землю и снова описывает знакомые страны, и человека, и страсти его.— Вы без малейшего усилия следуете за чародеем, вы удивляетесь поэту и в сладостном восторге восклицаете: какой ум! какое дарование! а я прибавлю: какой язык!

Так, один язык италиянский (из новейших, разумеется), столь обильный, столь живый и гибкий, столь свободный в словосочинении, в выговоре, в ходе своем, один он в состоянии был выражать все игривые мечты и вымыслы Ариоста, и как еще? в теснейших узах стихотворства (Ариост писал октавами). Но перенесите этого чародея в другой век, менее свободный в мыслях ***, более порабощенный правилам сочинения, основанным на опытности и размышлении, дайте ему язык северного

---

* Подобно тому, как солнце прекраснее всякой звезды! (*ит.*)

** прекрасен ужас (*ит.*).

*** Ариост писал, что хотел, против пап. Он смеялся над подложной хартией, которою имп⟨ератор⟩ Константин уступает викарию с⟨вятого⟩ Петра Рим в потомственное правление, и книга его напечатана в Риме — con licenzia de superiori [с соизволения властей (*лат.*)].

народа, какой заблагорассудите,— английский или немецкий, например,— и я твердо уверен, что певец «Орланда» не в силах будет изображать природу так, как он постигал ее и как описал в своей поэме: ибо (еще повторю) поэма его заключает в себе все видимое творение и все страсти человеческие; это «Илиада» и «Одиссея»; одним словом,— природа, порабощенная жезлу волшебника Ариоста *. Но счастливому языку Италии, богатейшему наследнику древнего латинского, упрекают в излишней изнеженности! Этот упрек совершенно несправедлив и доказывает одно невежество; знатоки могут указать на множество мест в Тассе, в Ариосте, в самом нежном поэте Валлакиузском и в других писателях, менее или более славных, множество стихов, в которых сильные и величественные мысли выражены в звуках сильных и совершенно сообразных с оными; где язык есть прямое выражение души мужественной, исполненной любви к отечеству и свободе. Не одно «Chiama gli abitator» ** найдете в Тассе; множество других мест доказывают силу поэта и языка. Сколько описаний битв в поэме Торквато! И мы смело сказать можем, что сии картины не уступают или редко ниже картин Вергилия. Они часто напоминают нам самого Омера.

Посмотрите на это ужасное последствие войны, на груды бледных тел, по которым бегут исступленные воины, преследуя матерей, прижавших трепетных младенцев к персям своим:

Ogni cosa di strage era già pieno;
Vedeansi in mucchi e in monti i corpi avvolti.
Là i feriti su i morti, e qui giacieno
Sotto morti in sepolti, egri sepolti.
Fuggian premendo i pargoletti al seno,
Le meste madri, co capêgli sciolti:
E'l predator di spoglie e di rapine
Carco, stringea le vergine nel crine.

---

* Напрасно будут мне указывать на английских и немецких писателей, подражавших Ариосту. Я отдаю полную справедливость Виланду, остроумному поэту и зиждителю нового языка в своем отечестве; но скажу, и должно со мною согласиться, что в «Обероне» менее *вещей*, нежели в «Орланде»; язык не столь полон и заставляет всегда чего-нибудь желать; поэт не договаривает, и — весьма часто. Позвольте сделать следующий вопрос: если бы Виланд писал в Италии, во время Ариоста, то какой вид получила бы его поэма? Язык у стихотворца то же, что крылья у птицы, что материал у ваятеля, что краски у живописца.

** «Призывает обитателей» (*ит.*).

«Все места преисполнились убийством. Груды и горы убиенных! Там раненые на мертвых, здесь мертвыми завалены раненые; прижав к персям младенцев, убегают отчаянные матери с раскиданными власами; и хищник, отягченный ограбленными сокровищами, хватает за власы дев устрашенных».

Желаете ли видеть поле сражения, покрытое нетерпеливыми воинами,— картину единственную, величественную! Солнце проливает лучи свои на долину; все сияет: и оружие разноцветное, и стальные доспехи, и шлемы, и щиты, и знамена. Слова поэта имеют нечто блестящее, торжественное, и мы невольно восклицаем с ним: bello in sí bella vista anco è l'orrore! *

Grande e mirabil cosa era il vedere
Quando quel campo, e questo a fronte venne:
Come spiegate in ordine le shiere;
Di mover già, già d'assalire accenne:
Sparse al vento ondeggiando ir le bandière,
E ventolar sú i gran cimièr le penne;
Abiti, fregi, imprese, arme e colori
D'oro e di fèrro al sol lampi e folgori.

Sembra d'alberi densi alta foresta
(L'un campo e l'altro, di tant'aste abonda!)
Son tesi gli archi, e son le lance in resta:
Vibransi i dardi, e rotasi ogni fionda.—
Ogni cavallo in guerra anco s'appresta:
Gli odi e'l furor del suo signor seconda:
Raspa, batte, nitrisce e si raggira;
Gonfia le nari, e fumo e foco spira.
Bello in si bella vista anco è l'orrore!

«Открылось великолепное и удивительное зрелище, когда оба войска выстроились одно против другого, когда развернулись в порядке полчища, двигаться и нападать готовые! Распущенные по ветру знамена волнуются; на высоких гребнях шлемов перья колеблются; испещренные одежды, вензели и цветы оружий, злато и сталь ярким блеском и сиянием лучи солнечные отражают.

В густой и высокой лес сомкнулись копья: столь многочисленно и то и другое воинство! Натянуты луки, обращены копья, сверкают дротики, пращи крутятся, самый конь жаждет кровавой битвы: он разделяет ненависть и гнев ожесточенного всадника; он роет землю, бьет копытами, ржет, крутится, раздувает ноздри и дымом и пламенем пышет».

---

* в столь прекрасном зрелище прекрасен даже ужас! (*ит.*)

Но битва закипела, час от часу становится сильнее и сильнее. В сражении есть минуты решительные; я на опыте знаю, что они не столь ужасны. Победитель преследует, побежденный убегает; и тот и другой увлекаются примером товарищей своих, и тот и другой заняты собою. Но минута ужасная есть та, когда оба войска, после продолжительного и упорного сопротивления, истощив все усилия храбрости и искусства воинского, ожидают решительного конца,— победы или поражения; когда все гласы, все громы сольются воедино и составят нечто мрачное, неопределенное и беспрестанно возрастающее,— эту минуту поэт описывает с необыкновенною верностию:

Cosi si combatteva: e in dubbia lance
Col timor le speranze eran sospese.
Pien tutto il campo è di spezzate lance,
Di rotti scudi, e di troncato arnese:
Di spade a i petti, a le squarciate pance
Altre confitte, altre per terra stese:
Di corpi altri supini, altri co'volti
Quasi mordendo il suolo, al suol rivolti.—

Giace il cavallo al suo signore appresso
Giace il compagno appo il compagno estinto,
Giace il nemico appo il nemico, e spresso
Sul morto il vivo, il vincitor sul vinto.
Non v'è silenzio, e non v'è grido espresso,
Ma odi un non sò che roco, e indistinto.
Fremiti di furor, mormori d'ira,
Gemiti di chi langue, e di chi spira.

L'arme, che già ci liete in vista foro,
Faceano or mostra spaventosa e mesta.
Perduti ha i lampi il ferro, e i raggi l'oro,
Nulla vaghezza a i bei color piu resta.
Quanto apparia d'adorno, e di decoro
Ne'cimieri, e ne' fregi, or si calpesta
La polve ingombra ciò ch'al sangue avanza,
Tanto i campi mutata avean sembianza! *

«Так ратовало воинство с равным страхом и надеждою. Все поле завалено преломленными копьями, разбитыми щитами и доспехами. Мечи вонзилися в грудь, в прободенные панцири; иные по земле разметаны. Здесь трупы, ниц поверженные в прах; там трупы, лицом обращенные к солнцу.

---

* В сих трех октавах бессмертный Тасс превзошел себя. Здесь полная картина. Ничего лишнего, ничего натянутого, сверхъестественного. Non v'è silenzio, non v'è grido espresso и три следующие стиха живописны. В последней октаве стихотворец повторяет все подробности и кончит как мастер: Tanto i campi avean mutata sembianza.

Лежит конь близ всадника, лежит товарищ близ бездыханного товарища; лежит враг близ врага своего и часто мертвый на живом, победитель на побежденном. Нет молчания, нет криков явственных; но слышится нечто мрачное, глухое: клики отчаяния, гласы гнева, воздыхания страждущих, вопли умирающих.

Оружие, дотоле приятное взорам, являет зрелище ужасное и плачевное. Утратила блеск и лучи свои гладкая сталь. Утратили красоту свою разноцветные доспехи. Богатые шлемы, прекрасные латы в прахе ногами попраны. Все покрыто пылью и кровью: столь ужасно пременилось воинство!» *

Мы не можем останавливаться на всех красотах «Освобожденного Иерусалима»; их множество! Прелестный эпизод Эрминии, смерть Клоринды, Армидины сады и единоборство Танкреда с Аргантом: кто читал вас без восхищения? Вы останетесь незабвенными для сердец чувствительных и для любителей всего прекрасного! Но в поэме Тассовой есть красоты другого рода; и на них должно обратить внимание поэту и критику. Описание нравов народных и обрядов веры есть лучшая принадлежность эпопеи. Тасс отличился в оном. С каким искусством изображал он нравы рыцарей, их великодушие, смирение в победе, неимоверную храбрость и набожность! С каким искусством приводит он крестовых воинов к стенам Иерусалима! Они горят нетерпением увидеть священные верхи града господня. Издали воинство приветствует его беспрерывными восклицаниями, подобно мореплавателям, открывшим желанный берег. Но вскоре священный страх и уныние сменяют радость: никто без ужаса и сокрушения не дерзает взглянуть на священное место, где сын божий искупил человечество страданием и вольною смертию.

---

* Сия картина поля сражения напоминает нам прекрасные стихи Ломоносова:

Различным образом повержены тела:
Иный с размаху меч занес на сопостата,
Но прежде прободен, удара не скончал.
Иный, забыв врага, прельщался блеском злата;
Но мертвый на корысть желанную упал.
Иный, от сильного удара убегая,
Стремглав на низ слетел и *стонет* под конем;
Иный, пронзен, *угас*, противника сражая;
Иный врага поверг и *умер* сам на нем.

Заметим мимоходом для стихотворцев, какую силу получают самые обыкновенные слова, когда они поставлены на своем месте.

Главы и ноги начальников обнажены; все воинство последует их примеру, и гордое чело рыцарей смиряется пред тем, кто располагает по воле и победою, и лаврами, и славою земною, и царством неба. Такого рода красоты, суровые и важные, почерпнуты в нашей религии: древние ничего не оставили нам подобного. Все обряды веры, все страшные таинства обогатили Тассову поэму.— Ринальдо вырывается из объятий Армиды; войско встречает его с радостными восклицаниями. Юный витязь беседует снова с товарищами о войне, о чудесах очарованного леса, которые он один может разрушить: но простый отшельник Петр советует рыцарю исповедью очиститься от заблуждений юности, прежде нежели он приступит к совершению великого подвига. «Сколько ты обязан Всевышнему! — говорит он.— Его рука спасла тебя; она спасла заблудшую овцу и причислила ее к своему стаду. Но ты покрыт еще тиною мира, и самые воды Нила, Гангеса и Океана не могут очистить тебя: одна благодать совершит сие...» Он умолк, и сын прелестной Софии, сей гордый и нетерпеливый юноша, повергается к стопам смиренного отшельника, исповедует ему прегрешения юности своей и, очищенный от оных, идет бестрепетно в леса, исполненные очарований волшебника Исмена.— Годофред, желая осадить город, приготовляет махины, стенобитные орудия; но строгий Петр является в шатер к военачальнику. «Ты приготовляешь земные орудия,— говорит он набожному повелителю,— а не начинаешь, отколе надлежит. Начало всего на небе. Умоляй ангелов и полки святых; подай пример набожности войску». И наутро отшельник развевает страшное знамя, в самом раю почитаемое; за ним следует лик медленным шагом; священнослужители и воины (соединившие в руке своей кадильницу с мечом), Гвильем и Адимар, заключают шествие лика; за ними Годофред, начальники и войско обезоруженное. Не слышно звуков трубы и гласов бранных; но гласы молитвы и смирения:

Te genitor, te figlio equale al padre,
E te, che d'ambo uniti amando spiri,
E te d'uomo, e di dio vergine madre,
Invacano propizia a i lor desiri *,—

и проч. и проч.

---

* Тебя, родитель, тебя, сын, равный отцу,
И тебя, который из двух единых, любя, исходишь,
И тебя, человека и бога дева-мать,
Призывают в покровительство своим желаньям (*ит.*).

Так шествует поющее воинство, и гласы его повторяют глубокие долины, высокие холмы и эхо пустынь отдаленных. Кажется, другой лик проходит в лесах, доселе безмолвных, и явственно великие имена Марии и Христа воспевает. Между тем со стен города взирают в безмолвии удивленные поклонники Магаммеда на обряды чуждые, на велелепие чудесное и пение божественное. Вскоре гласы проклятий и хулений неверных наполняют воздух: горы, долины и потоки пустынные их с ужасом повторяют.

Таким образом великий стихотворец умел противупоставить обряды, нравы и религии двух враждебных народов, и из садов Армидиных, от сельского убежища Эрминии перенестись в стан христианский, где все дышит благочестием, набожностию и смирением. Самый язык его изменяется. В чертогах Армиды он сладостен, нежен, изобилен; здесь он мужествен, величествен и даже суров.

Те, которые упрекают итальянцев в излишней изнеженности, конечно, забывают трех поэтов: Альфиери — душею римлянина, Данта — зиждителя языка италиянского и Петрарка, который нежность, сладость и постоянное согласие умел сочетать с силою и краткостию.

XII

ПЕТРАРКА

S'amor non è, che dunque è quel ch'io sento? *

Вот что говорит Петрарка, которого одно имя напоминает Лауру, любовь и славу. Он заслужил славу трудами постоянными и пользою, которую принес всему человечеству, как ученый прилежный, неутомимый; он первый восстановил учение латинского языка; он первый занимался критическим разбором древних рукописей как истинный знаток и любитель всего изящного.— Не по одним заслугам в учености имя Петрарки сияет в истории италиянской; он участвовал в распрях народных, был употреблен в важнейших переговорах и посольствах, осыпан милостями императора Римского и наконец от Роберта, короля Неаполитанского,— назван и другом, и величайшим гением. Заметьте, что Роберт был ученейший

* Что же я чувствую, если и это не любовь? (*ит.*)

муж своего времени и предпочитал (это собственные его слова) науки и дарования самой диадеме. Наконец Петрарка сделался бессмертен стихами, которых он сам не уважал *,— стихами, писанными на языке италиянском или народном наречии.— Итак, славы никто не оспоривает у Петрарки; но многие сомневалися в любви его к Лауре. Многие французские писатели утверждали, что Лаура никогда *не существовала*, что Петрарка воспевал один призрак, красоту, созданную его воображением, как создана была Дульцинея Сервантовым героем.

Италиянские критики, ревнители славы *божественного* Петрарки, утвердили существование Лауры; они входили в малейшие подробности ее жизни и на каждый стих Петрарки написали целые страницы толкований.— Сия дань учености дарованию покажется иным излишнею, другим смешною; но мы должны признаться, что только в тех землях, где умеют таким образом уважать отличные дарования, родятся великие авторы. Любители поэзии и чувствительные люди, которые по движениям собственного сердца, пламенного и возвышенного, угадывают сердце поэта и истину его выражений, не будут сомневаться в любви Петрарки к Лауре: каждый стих, каждое слово носит неизгладимую печать любви.

Любовь способна принимать все виды. Она имеет свой особенный характер в Анакреоне, Феокрите, Катулле, Проперции, Овидии, Тибулле и в других древних поэтах. Один сладострастен, другой нежен и так далее. Петрарка, подобно им, испытал все мучения любви и самую ревность; но наслаждения его были духовные. Для него Лаура была нечто невещественное, чистейший дух, изливившийся из недр божества и облекшийся в прелести земные.— Древние стихотворцы были идолопоклонниками; они не имели и не могли иметь сих возвышенных и отвлеченных понятий о чистоте душевной, о непорочности, о надежде увидеться в лучшем мире, где нет ничего земного, преходящего, низкого. Они наслаждались и воспевали свои наслаждения; они страдали и описывали ревность, тоску в разлуке или надежду близкого свидания.— Слезы горести или восторга, некоторые обряды идолопоклон-

---

* В этом неуважении к стихам своим Богданович много сходствовал с Петраркой. Он часто говаривал М⟨уравьев⟩у: «Стихи мои, которые вам так нравятся, умрут со мною; но моя «Русская история» переживет меня. Стихи мне не много стоили труда; над «Историей» я много пролил поту: на ней-то основана моя слава...» Петрарка и Богданович обманулись!

ства, очарования какой-нибудь волшебницы (любовь всегда суеверна), воспоминание о золотом веке и вечные сожаления о юности, улетающей как призрак, как сон,— вот из чего были составлены любовные поэмы древних, вот почему в их творениях мы видим более движения и лучшее развитие страстей, одним словом, более драматической жизни, нежели в одах Петрарки,— но не более истины.

Тибулл, задумчивый и нежный Тибулл, любил напоминать о смерти своей Делии и Немезиде. «Ты будешь плакать над умирающим Тибуллом; я сожму руку твою хладеющею рукою, о Делия!..»

Te spectem, suprema mihi cum venerit hors,
Te teneam moriens, deficiente manu... *

И сии слова драгоценны для сердец чувствительных! Но после смерти всему конец для поэта; самый Элизий не есть верное жилище. Каждый поэт переделывал его посвоему и переносил туда грубые, земные наслаждения. Петрарка напротив того: он надеется увидеть Лауру в лоне божества, посреди ангелов и святых; ибо Лаура его есть ангел непорочности; самая смерть ее — торжество жизни над смертию. «Она погасла, как лампада,— говорит стихотворец,— смерть не обезобразила ее прелестей; нет! не смертная бледность покрыла ее лице: белизна его подобилась снегу, медленно падающему на прекрасный холм в безветренную погоду. Она покоилась, как человек по совершении великих трудов: и это называют смертию слепые человеки!»

Петрарка девять лет оплакивал кончину Лауры. Смерть красавицы не истребила его страсти; напротив того, она дала новую пищу его слезам, новые цветы его дарованию: гимны поэта сделались божественными. Никакая земная мысль не помрачала его печали. Горесть его была вечная, горесть християнина и любовника. Он жил в небесах: там был его ум, его сердце, все воспоминания; там была его Лаура!— Стихи Петрарки, сии гимны на смерть его возлюбленной, не должно переводить ни на какой язык; ибо ни один язык не может выразить постоянной сладости тосканского и особенной сладости музы Петрарковой. Но я желаю оправдать поэта, которого часто критика (отдавая, впрочем, похвалу гармонии сти-

---

* На тебя взирал я, когда последний час ко мне пришел,
И, умирающий, держал тебя слабеющей рукой (*лат.*).

хов его) ставит наравне с обыкновенными писателями по части изобретения и мыслей. В прозе остаются одни мысли:

«Исчезла твоя слава, мир неблагодарный! и ты сего не видишь, не чувствуешь. Ты не достойна была знать ее, земля неблагодарная! ты не достойна быть попираема ее священными стопами! Прекрасная душа ее преселилась на небо. Но я, несчастный! я не могу любить без нее ни смертной жизни, ни самого себя! Лаура! тебя призываю со слезами! слезы — последнее мое утешение; они меня подкрепляют в горести. Увы! в землю превратились ее прелести; они были здесь залогом красоты небесной и наслаждений райских. Там ее невидимый образ: здесь покрывало, затемнявшее его сияние. Она облечется снова и навеки в красоту небесную, которая без сравнения превосходит земную. Ее образ является мне одному (ибо кто мог обожать ее, как я?), он является и прелестнее, и светлее. Божественный образ ее, милое имя, которое отзывается столь сладостно в моем сердце,— вы единственные опоры слабой жизни моей... Но когда минутное заблуждение исчезает, когда я вспомню, что лишился надежды моей в самом цвете и сиянии: любовь! ты знаешь, что со мною тогда бывает, знает и она, та, которая приближилась к божественной истине... Я страдаю; а она из жилища вечной жизни с гордою улыбкою презрения взирает на земное одеяние свое, здесь оставленное. Она о тебе одном вздыхает и умоляет тебя не затмить сияния славы ее, тобою на земле распространенного; да будет глас твоих песней еще звучнее, еще сладостнее, если сладостны и драгоценны были очи ее твоему сердцу!»

Древность ничего не может представить нам подобного. Горесть Петрарки услаждается мыслию о бессмертии души, строгою мыслию, которая одна в силах искоренить страсти земные; но поэзия не теряет своих красок. Стихотворец умел сочетать землю и небо; он заставил Лауру заботиться о славе земной, единственном сокровище, которое осталось в руках ее друга, осиротелого на земле. Иначе плачет над урною любовницы древний поэт; иначе Овидий сетует о кончине Тибулла: ибо все понятия древних о душе, о бессмертии были неопределенны.— Петрарка, пораженный ужасною вестию о кончине Лауры, написал несколько строк на заглавном листе Вергилия, который весь наполнен был его замечаниями: ибо Петрарка читал Вергилия и учил наизусть беспрестанно. Сия рукопись, драгоценный остаток двух великих людей, хра-

нилась в Амброзианской библиотеке, а ныне, если не ошибаюсь, находится в Париже. Простота немногих строк, начертанных в глубокой горести, прелестна и стоит лучшего гимна. Из них-то можно видеть, что Петрарка не *сочинял* свою страсть и что стихи его были только слабым воспоминанием того, что он чувствовал.

Вот сии строки: «Лаура, славная по качествам души своей и столь долго мною прославляемая, предстала в первый раз моим глазам в начале моего юношеского возраста, в 1327 году 6 апреля, в церкви св. Клары, в Авиньоне, в первом часу пополудни. И в том же самом городе, в том же месяце, 6 числа, в первом часу, 1348 года, сия небесная лампада потухла, когда я находился в Вероне, не ведая ничего о моем несчастии.— В Парме узнал я эту плачевную новость чрез письмо друга моего Лудовика, того же года, в мае, поутру. Ее чистейшее, ее прелестное тело было положено в самый день ее смерти, в церкви кармелитов. Я уверен, что ее душа возвратилась на небо, откуда она пришла, так как Сципионова, по словам Сенеки».

Петрарка любил; но он чувствовал всю суетность своей страсти и с нею боролся не однажды. Любовь к Лауре и любовь к славе под конец жизни его слились в одно. Любовь к славе, по словам одного русского писателя, есть последняя страсть, занимающая великую душу.— Поэмы: Триумф Любви — Непорочности — Смерти — Божества, в которых и самый снисходительный критик найдет множество несообразностей и оскорблений вкуса, заключают однако же в себе неувядаемые красоты слога, выражения и особенно мыслей. В них-то стихотворец описывает все мучения любви, которой мир, как тирану, приносит беспрестанные жертвы». «Я знаю,— говорит он,— как непостоянна и переменчива жизнь любовников. Они то робки, то предприимчивы. Немного радостей награждают их за беспрерывные мучения. Знаю их нравы, их воздыхания, их песни, прерывные разговоры, внезапное молчание, краткий смех и вечные слезы. Любовь подобна сладкому меду, распущенному в соку полынном» *. Сию последнюю мысль Тасс повторил в своей поэме. Певец Иерусалима испытал все мучения любви.

Во времена Петрарковы, столь смежные с временами

---

* Гордый и пламенный Альфиери называет Петрарку учителем любви и поэзии: Maestro in amare ed in poesia (*ит.*).

рыцарства, любовь не утратила еще своего владычества над людьми всех состояний. Во Франции, от короля до простого воина, каждый имел *свою даму*: «Madame et St. Dénis!» * восклицали французские рыцари в пылу сражений и совершали неимоверные подвиги. Рыцарь Сир де Флеранж, водружая знамя на стене крепости, взятой приступом, кричал свои товарищам: «Ах! если бы видела красавица своего рыцаря!» Трубадуры воспевали красоту; за ними и все поэты (не исключая важного и мрачного Данте, остроумного и веселого Боккаччио), все прославляли своих красавиц, и имена их остались в памяти муз. История Парнаса италиянского есть история любви. В одном из своих «*Триумфов*» Петрарка исчисляет великих мужей, древних и новейших, которые все учинились жертвами страсти. Конечно, здравый вкус негодует на сочетание имен Давида и Соломона с именами Тибулла и Проперция; но некоторые места сей поэмы имеют особенную прелесть, а более всего те, в которых стихотворец исчисляет своих друзей в плену у сурового бога.

«Я увидел Вергилия,— говорит он,— и с ним Овидия, Катулла и Проперция, которые все столь пламенно воспевали любовь,— и, наконец, нежного Тибулла. Юная гречанка (Сафо) шествовала рядом с возвышенными певцами, воспевая сладкие гимны. Бросив взоры на окрестные места, я увидел на цветущей зеленой долине толпу, рассуждающую о любви. Вот Данте с Беатриксою! вот Сельважиа с Чино! и проч. и проч... Но теперь я не могу сокрыть моей горести: я увидел друзей моих, и посреди их Томасса, украшение Болонии, Томасса, которого прах истлевает на земле мессинской. О минутные радости! горестная жизнь! кто отнял у меня так рано мое сокровище, моего друга, без которого я не мог дышать? Где он теперь находится? — Прежде он был со мною неразлучен... Жизнь смертных, горестная жизнь! ты не что иное, как сон больного страдальца, пустая басня романа! — уклонясь в сторону от прямого пути, я встретил моего Сократа и Лелия. С ними желал бы я долее шествовать. Какая чета друзей! Ни проза, ни стихи мои не могут их достойно прославить; их нагая добродетель и без песней муз заслуживает почтение мира. С ними я похитил слишком рано лавр, который доселе украшает мою главу, в воспоминание той, которую обожаю!» — Лавр (lauro)

* Госпожа и святой Денис! *(фр.)*

напоминает имя Лауры, и потому был вдвое драгоценен сердцу поэта. По смерти славного Колонны и Лауры стихотворец воскликнул:

Rotta è l'alta colonna, e l'verde lauro! *

Мы заметили уже, что неумеренная любовь к славе равнялась или спорила с любовью к Лауре в пламенной душе Петрарки. Одна чистейшая набожность и возвышенные мысли о бессмертии души могли уменьшать их силу, и то временно; но искоренить совершенно не имели власти. С каким чистосердечным сокрушением описывает он борьбу религии с любовию к славе! В каждом слове виден християнин, который знает, что ничто земное ему принадлежать не может; что все труды и усилия человека напрасны, что слава земная исчезает, как след облака на небе: знает твердо, убежден в сей истине, и все не престает жертвовать своей страсти! «Мой ум занят сладкою и горестною мыслию, (говорит он) мыслию, которая меня утруждает и исполняет надеждою мятежное сердце. Когда воображу себе сияние славы, то не чувствую ни хлада зимы, ни лучей солнечных, забываю страшную бледность моего чела и самые недуги. Напрасно желаю умертвить сию мысль; она снова и сильнее рождается в моем сердце. Она встретила меня в пеленах младенчества, день ото дня со мною возрастала, и страшусь, чтобы со мною не заключилась в могиле. Но к чему послужат мне сии льстивые желания, когда моя душа отделится от бренного тела? После кончины моей если и вся вселенная будет обо мне говорить... суета! суета! Один миг разрушает все труды наши. Так! я желал бы обнять истину и забыть навеки суетную тень славы!»

И самый слог Петрарки сообразно с предметами изменяется: важность мыслей в «Триумфе» Смерти и Божества дают слогу особенную силу, возвышенность и краткость. Часто два или три слова заключают в себе мысль или глубокое чувство. Ода, в которой поэт обращается к Риензи (так полагает Вольтер, а другие критики утверждают, что сия ода писана не к Риензи, а к Колонне), сия ода, в которой он умоляет народного трибуна священными именами Сципионов и Брутов расторгнуть оковы Рима и поставить его на древнюю степень сияния и славы, напоминает нам прекрасные оды Горация. Она исполнена древнего вкуса и того величия, которое итали-

---

* Разбита высокая колонна и зеленый лавр! (*ит.*)

янцы, чувствительные ко всему изящному, называют Grandioso в поэзии, в ваянии, в живописи, во всех искусствах. Рим был страстию Петрарки. Он не мог простить папе перенесение трона в Авиньон, и вот в каких словах изливает свое негодование перед защитником прав народных; вот каким образом взывает к воскресителю столицы мира:

«Сии древние стены, пред коими мир благоговеет и смертные страшатся, когда обращают вспять взоры на давно минувшие веки, сии камни надгробные, под коими истлевает прах великих людей, славных даже до разрушения мира: все сии развалины древнего величия надеются воскреснуть тобою.— О великие Сципионы! о верный Брут! с какою радостию познаете вы благодеяние нового героя! с каким веселием и ты, Фабриций, узнаешь весть сию! Ты скажешь: мой Рим еще будет прекрасен!»

Надежды Петрарки не сбылись. Но любители изящной поэзии знают наизусть прекрасные стихи любовника Лауры, обожателя древнего Рима и древней свободы. Ни любовь, ни мелкие выгоды самолюбия, ни опасность говорить истину в смутные времена междуусобия — ничто не могло ослабить в нем любви к Риму, к древнему отечеству добродетелей и муз, ему драгоценных: ибо ничто не могло потушить любви к изящному и к истине в его сердце. Узнав неистовые поступки Риензи, с чистосердечною гордостию, достойною лучших времен Рима, Петрарка писал к нему: «Я хотел прославить тебя; страшись теперь, чтобы я не превратил моей похвалы в жестокую сатиру!» Но все угрозы и советы Петрарки были напрасны. Свобода, дарованная Риму исступленным трибуном, походила на свободу Робеспиерову: началась убийствами, кончилась тиранством.

Все знают, что Петрарка воспользовался песнями сицилиянских поэтов и трубадуров счастливого Прованса, которые много заняли у мавров, народа образованного, гостеприимного, учтивого, ученого и одаренного самым блестящим воображением. От них он заимствовал игру слов, изысканные выражения, отвлеченные мысли и, наконец, излишнее употребление аллегории; но сии самые недостатки дают какую-то особенную оригинальность его сонетам и прелесть чудесную его неподражаемым одам, которые ни на какой язык перевести невозможно. Слога нельзя присвоить, говорит Бюффон, сей исполин в искусстве писать: и особенно слога Петрарки.— Любовь к цветам господствовала на Востоке. До сих пор арабские

и персидские стихотворцы беспрестанно сравнивают красоту с цветами и цветы с красотою. Цветы играют большую ролю у любовников на Востоке. Рождающаяся любовь, ревность, надежда, одним словом, вся суетная и прелестная история любви изъясняется посредством цветов. Трубадуры также любили воспевать цветы, а за ними и Петрарка. Желаете ли видеть, каким образом он воспользовался цветами? Еще раз повторяю: я удерживаю одну тень слога живого, исполненного неги, гармонии и этого сердечного излияния, которое только можно чувствовать, а не описывать. Кстати о цветах: слог Петрарки можно сравнить с сим чувствительным цветком, который вянет от прикосновения.

«Если глаза мои остановятся на розах белых и пурпуровых, собранных в золотом сосуде рукою прелестной девицы, тогда мне кажется, что вижу лице той, которая все чудеса природы собою затмевает. Я вижу белокурые локоны ее, по лилейной шее развеянные, белизною и самое молоко затмевающей; я вижу сии ланиты, сладостным и тихим румянцем горящие! Но когда легкое дыхание зефира начинает колебать на долине цветочки желтые и белые, тогда вспоминаю невольно и место, и первый день, в который увидел Лауру с развеянными власами по воздуху, и вспоминаю с горестию начало моей пламенной страсти».

Таким образом, цветок в поле, закат солнца, водопад, шумящий в уединенной роще, малейшее обстоятельство в природе напоминали Петрарке красоту, вечно любезную его сердцу. Путешествие стихотворца чрез леса Арденнские или чрез Альпы, прогулка Лауры в лодке по озеру или обряды набожности, ею совершенные при наступлении какого-нибудь празднества,— все служило поводом к сонету или новой оде; ни одно чувство, ни одно духовное наслаждение, ни одно огорчение не было утрачено для муз. Сие смешение глубокой чувствительности и набожности чистосердечной с тонким познанием света и людей, с обширными сведениями в истории народов,— сии следы и воспоминания классических красот древних авторов, рассеянные посреди блестящих и романических вымыслов сицилиянских поэтов, наконец, сей очаровательный язык тосканский, исполненный величия, сладости и гармонии неизъяснимой, сие счастливое сочетание любви, религии, учености, философии, глубокомыслия и суетности любовника — все это вместе в стихах Петрарки представляет чтение усладительное и совершенно новое для любителя

словесности. Надобно предаться своему сердцу, любить изящное, любить тишину души, возвышенные мысли и чувства, одним словом, любить сладостный язык муз, чтобы чувствовать вполне красоту сих волшебных песней, которые предали потомству имена Петрарки и Лауры. Мы знали людей, которые смотрели холодными глазами на Аполлона Бельведерского; мы знали людей, которые никогда не трепетали от восхищения при чтении стихов Державина; и мы не удивляемся, что есть писатели, для которых слагатель мадригалов Дорат и Петрарка — одно и то же. Часто умные люди отказывали ему в уважении! Ум нередко бывает тупой судия произведений сердца. Но для тех, которые любили хотя один раз в жизни, стоит только назвать Петрарку: они знают ему цену и чувствуют вполне прелесть поэзии, которая не раз отзывалась в их сердце. Il cantar che nell'anima si sente! *

ПРИМЕЧАНИЕ

Я сделал открытие в италиянской словесности, к которому меня не руководствовали иностранные писатели, по крайней мере те, кои мне более известны. Я нашел многие места и целые стихи Петрарки в «Освобожденном Иерусалиме». Такого рода похищения доказывают уважение и любовь Тасса к Петрарке. Мудрено ли? Петрарка был его предшественником; он и Данте открыли новое поле словесности своим соотечественникам; беспрестанное чтение сих образцев, особенно певца Лауры, столь близкого сердцу чувствительного певца Танкреда и Эрминии,— это чтение врезало в памяти его многие стихи и выражения, которые он невольным образом повторял в своей поэме. Кто не знает прелестной оды: «Chiare, fresche e dolci asque» **, которой Вольтер подражал столь удачно, и неподражаемого эпизода Эрминии в VII песни «Освобожденного Иерусалима»? Нет сомнения, что Тасс имел в памяти стихи Петрарки, которые можно назвать сокровищем италиянской поэзии. Любовник Лауры обращается к Триаде, источнику окрестностей Авиньона ***, которого воды прохлаждали красавицу. На благовонных берегах его, освященных некогда присутствием единственной для него женщины («che sola a me par donna»), он желает, чтобы покоились его остатки. «Может быть,— говорит он,— может быть, там, где увидела меня в благословенный день первого свидания, там любопытный взор ее будет меня искать снова и — увы! — прах один найдет, прах, между

---

* Пение, которое в душе чувствуется! (*ит.*)

** Светлые, свежие и сладкие воды (*ит.*).

*** А не в Воклюзе, как полагали некоторые писатели.

камней рассеянный» и пр.— От сих унылых мыслей поэт переходит снова к роскошному описанию Лауры, оставляющей студеные воды источника; облако цветов рассыпалось на красавицу — «ed ella si sedea umile in tanta gloria» *. Древность не производила ничего подобного. Самое рождение Венеры из пены морской и пришествие ее на землю, которая затрепетала от сладострастия, почувствовав прикосновение богини, не столько пленяет воображение.— Но перейдем к Тассу.— у него Эрминия, нашед убежище у пастырей, оплакивает вечную разлуку с Танкредом. Дочь царей, покрытая рубищем, но и в рубище прелестная и величественная, начертывает имя Танкреда на коре древних дубов и вязов и с ним всю печальную повесть любви своей. Сто раз перечитывает ее и, проливая слезы, обращается к рощам, немым свидетелям ее тоски: «Сокройте, сокройте в себе мою тайну, дружественные рощи! Может быть, верный любовник, когда-нибудь привлеченный прохладою теней ваших, с сожалением прочитает мои печальные приключения и, тронутый до глубины сердца, скажет: «Счастие и любовь неблагодарностию воздали за толикие страдания и за примерную верность! Может быть — если небо внимает благосклонно усерднейшим молениям смертных,— может быть, в сии пустыни зайдет случайно и тот, который ко мне столько равнодушен, и, обращая взоры на то место, где будут покоиться мои бренные остатки, поздние слезы прольет в награду за мои страдания и верность».

Теперь увидим похищения. В оде, которая начинается: «Nella stagion che'l ciel rapido inchina» etc. **, Петрарка описывает пастушку, которая при закате солнца спешит в сельское убежище и там забывает усталость:

La noja e'l mal della passata vita ***.

Тасс в III песни «Иерусалима», воспевая торжественное пришествие крестовых воинов к священному граду, сравнивает их с мореплавателями, которые, открыв желанный берег, после бурь и трудов забывают опасности минувшие:

La noja e'l mal della passata vita.

В сонете «Zefiro torna e'l bel tempo rimena» etc. ****. Петрарка говорит, что весна все оживляет, поля улыбаются, небо светлеет; Зевес с радостию взирает на Киприду, милую дочь свою; воздух, вода и земля дышут любовью:

Ogni animal d'amar si riconsiglia.

---

* И она сидела кроткая в тихой славе (*ит.*).
** То время года, когда небо быстро наклоняет (*ит.*).
*** Тоску и боль прошедшей жизни (*ит.*).
**** Зефир возвращается и приводит прекрасное время года (*ит.*).

И у Тасса мы находим этот стих в садах Армиды:

Raddopian le colombe i baci loro,
Ogni animal d'amar si riconsiglia *.

Есть и другие похищения; но я не могу их теперь привести на память.

XIII

ГРИЗЕЛЬДА

Повесть из Боккачьо

В давние времена старшим в роде маркизов Салуцких оставался, по смерти родственников своих, молодой *Гвальтиери*. Целые дни он проводил на псовой и соколиной охоте, был не женат, бездетен и вовсе не помышлял о супружестве. Впрочем, он был довольно благоразумен и особенно слыл таковым у женщин. Но это благоразумие не нравилось его подданным: они часто упрашивали его вступить в союз брачный. «Вам нужен наследник, а нам господин»,— говорили добрые люди. Многие из них вызывались сыскать невесту от честного отца и матери, невесту, которая подавала бы о себе лестную надежду и со временем сделала его счастливейшим супругом. «Друзья мои,— отвечал им Гвальтиери,— вы принуждаете меня приступить к тому, что мне никогда не нравилось, на что я никогда не хотел решиться. Я знаю, как трудно сыскать женщину нам по сердцу и нравам и душою; знаю, что худой выбор делает несчастие целой жизни. Вы говорите, что можно положиться на доброту родителей и по нраву их судить о нраве дочери; вы заблуждаетесь, друзья мои! Как узнать совершенно отца? Как узнать тайные поступки матери? И, если бы отец и мать были люди совершенно честные, то кто, скажите мне, поручится, что дети их будут на них похожи? Если же хотите, чтобы я непременно носил узы брачные и был доволен моим состоянием (по крайней мере, на себя одного жаловался в случае неудачи), то предоставьте мне самому сделать выбор. Если супруга моя не будет достойна вашей любви и уважения, я почту себя совершенно счастливым, что уступил просьбам вашим». Подданные отвечали, что на все согласны; только бы он не замедлил вступить в желанное ими супружество.

---

* Удваивают голубки свои поцелуи,
Каждое животное любить вновь располагает (*ит.*).

С давнего времени маркизу нравилась девушка, очень бедная. Она жила в соседстве его замка, в совершенном уединении; была довольно миловидна, и странному маркизу показалось, что он найдет с нею счастие. Отложа все поиски и расспросы, он решился без дальних размышлений предложить ей свою руку. Призвал отца ее — беднейшего из бедняков — и с ним ударил по рукам. Все дело приведено к концу, и Гвальтиери, созвав приятелей своих и подданных, сказал им: «Друзья! Вы желали, чтобы я женился; исполняю желание ваше, более в угождение вам, нежели себе. Вы обещали почитать супругу мою, каков бы ни был мой выбор: я сдержал мое слово — сдержите ваше. Объявляю вам, что здесь, в соседстве, нашел я себе невесту, обручусь с нею немедленно и введу ее в мой замок. Вы, с своей стороны, приготовьте богатый пир свадебный; придумайте, как лучше и достойнее принять супругу вашего владельца: одним словом, устройте все так, чтобы я был доволен вами, как вы моим выбором».— Все в один голос отвечали, что выбор его будет им по сердцу, что они будут любить и уважать его супругу, какого бы она ни была происхождения.— И весь дом засуетился: начали приготовлять великолепный пир свадебный. Гвальтиери пригласил множество приятелей, соседей и родственников: у богатых за друзьями дела не станет. Наконец призывает к себе горничную девушку, росту одинакого с будущею невестою, и велит кроить по ней платье пышное и уборы великолепные. Кроме того, приготовлено всякой всячины; множество поясов богатых, колец изумрудных, серег яхонтовых и венец брачный: одним словом, все, что нужно для молодой. Настал условный день, и маркиз, приведя все дела в порядок, сел на коня и сказал приближенным: «Государи мои, пора нам отправиться за невестою». И все поскакали веселою вереницею в то селение, где жил отец нареченной. Она стояла у колодца и спешила вытаскивать ведра, надеясь с подругами идти навстречу маркизовой свадьбе, которая приближалась ближе и ближе к селу. Гвальтиери называет ее по имени, *Гризельдою*, потом спрашивает: «Где отец твой?» — «Дома»,— отвечала она и закраснелась, как алый мак. Гвальтиери слезает с коня, приказывает толпе ожидать себя на улице, а сам идет прямо в низкую хижину бедного Жианукола. «Я приехал за Гризельдою, но, прежде всего, хочу поговорить с нею в твоем присутствии. Нравлюсь ли я? Если так, то будет ли она во всю жизнь угождать мужу своему, никогда не огорчаться поступками

его и повиноваться малейшей воле его?» Гризельда, потупя глаза, отвечала: «Буду, без сомнения!» Гвальтиери, довольный ответом, берет ее за руку и при всей толпе провожатых и челяди своей раздевает и наряжает в великолепные брачные одежды, а на волосы, которые одна природа до сих пор убирала, торжественно надевает венец брачный. Все удивились. «Друзья,— отвечал он,— вот та девица, которую желаю иметь супругою, та, которая согласна жить и умереть со мною». Потом, оборотясь к Гризельде (а она от стыда и радости света божия не видела): «Правду ли я говорю, Гризельда? желаешь ли ты быть моею женою?» — «Желаю, государь». Дело сделано, и обряд к концу. По выходе из церкви посадили ее на богатого коня и с великою честию проводили в замок. Пир был истинно великолепный, как будто маркиз сочетался с дочерью короля французского; а новобрачная, к удивлению всех, с нарядом переменила нрав, поступь и душу. Мы сказали уже, что она была статного росту, пригожа и миловидна; а наряды еще более придали блеску красоте ее. Она так умела пленить каждого обхождением, учтивостию, сердечною добротою, что все забыли в ней дочь убогого Жианукола, пастушку овечек, и считали за дочь какого-нибудь знатного принца. Все, ее знавшие в первобытном состоянии, не могли надивиться. Кротость ангельская, послушание чудесное делали мужа ее счастливейшим из всех мужей.

Одним словом, с подчиненными и подданными она обходилась так ласково, тихо, милостиво и приветливо, что каждый полюбил ее, как душу. Все говорили заодно, даже и те, которые сей выбор сперва осуждали, что Гвальтиери поступил очень благоразумно, что он самый проницательный человек; ибо мог открыть под сельским бедным рубищем столько доброты, столько прелестных качеств! И не только в маркизстве Салуцком, но повсюду Гризельда умом и поведением оправдала странный поступок мужа своего. В течение первого года она обрадовала его рождением прелестной дочери. В замке по этому случаю был праздник великолепный.

Но маркизу вздумалось испытать ангельский нрав и терпение супруги труднейшими, жесточайшими опытами. Сперва начал он оскорблять ее речами, потом, приняв на себя вид печальный и смущенный, сказал ей однажды, будто подданные его начинают роптать за то, что он избрал в супруги бедную девушку низкого состояния — а более еще потому, что она родила дочь, а не сына. Не

изменясь нимало ни в лице, ни в голосе: «Делай что хочешь, государь,— отвечала оскорбленная,— делай то, чего требует честь, польза и слава имени твоего. Я всем буду довольна; ибо не забываю, что была последнею из слуг твоих; не забываю и того, что́ ты для меня сделал — для меня, бедной девушки!» Такой ответ очень понравился маркизу. Но, несколько дней спустя, он объявил ей снова, что подданные его не могут более терпеть его дочери... и удалился. Вскоре является один из вернейших слуг его и со слезами на глазах начинает говорить: «Простите, государыня... но я под смертным страхом должен исполнить то, что мне приказал супруг ваш... Он велел мне взять младенца вашего, и...»

И не мог сказать более.— Несчастная мать, услыша сии несвязные речи, соображая их с тем, что говорил маркиз, вмиг на мрачном лице служителя прочитала участь невинного младенца; бросилась к колыбели, поцаловала дочь свою, благословила с сердцем, исполненным жесточайшей горести, и, не изменясь нимало в лице, вручила ее служителю. «Исполняй то, что предписал тебе господин наш; но, умоляю тебя, не отдавай ее на жертву диким зверям... если тебе это не предписано!» Служитель взял младенца на руки и скрылся. Гвальтиери, сведав от него, каким образом Гризельда исполнила строгое приказание, удивился ее твердости, но намерения своего не отложил. С верным служителем он немедленно отправил дочь свою в Болонию, к ближайшей родственнице своей, которую умолял дать ей воспитание отличное, но никому ни под каким видом не объявлять о ее рождении.

В скором времени Гризельда снова сделалась матерью и даровала жизнь прекрасному мальчику. Отец, принимая на руки новорожденного, был вне себя от радости: но, не довольствуясь первым опытом, снова жесточайшим терзанием решился испытать сердце несчастной супруги своей. «Подданные мои,— сказал он однажды,— еще более оскорблены с тех пор, как ты утешила меня сыном; они с ужасом помышляют о том, что внук бедного пастуха — отца твоего — будет их господином. Если я не удалю тебя и не возьму другой жены, то они выгонят меня из областей моих». С терпением и покорностию Гризельда выслушала слова супруга своего. «Устройте все ко благу вашему; обо мне же не заботьтесь нимало, государь! В вашем счастии заключается мое благополучие». Через несколько дней Гвалтиери послал за новорожденным и велел сказать матери, что ему готовится одинакая участь

с прежним младенцем; а сам тайно отправил его в Болонию к прежней родственнице. Великодушная Гризельда перенесла эту потерю с прежнею твердостию, без слез и роптания, и в глубине сердца своего утаила несказанную горесть матери. Гвальтиери удивился. «Нет! — повторял он сам себе,— ни одна женщина не может сравниться с нею!»

Подданные думали, что маркиз велел умертвить детей своих: все осуждали его поступок, называли его жестоким отцом и без жалости не могли смотреть на бедную мать. Женщины, ее окружавшие, часто плакали и сокрушались при ней об участи невинных малюток, и она всегда говорила им: «Не плачьте, милые подруги; вспомните, что так угодно было отцу их».

Прошло несколько годов со времени рождения дочери. Маркиз задумал сделать последний опыт и объявил своим приближенным, что не хочет иметь супругою Гризельду, что он по молодости лет обручился с нею; наконец, признался, что поступил очень безрассудно, а чтобы загладить проступок свой, решается просить папу о разводе и позволении обручиться с другою. Все осуждали намерение маркиза, но он был непоколебим.

Гризельда вскоре об этом услышала. Возвратиться в бедный дом отца своего, снова сделаться пастушкою овец, видеть супруга своего, до сих пор страстно обожаемого, в объятиях другой жены... все это терзало, раздирало ее душу. Но она решилась перенести последние удары судьбы с прежнею твердостию, с прежним великодушием. Вскоре прибыло из Рима разрешение папы (оно было подложное), и маркиз его обнародовал. Призывают Гризельду, и в присутствии многочисленной толпы жестокосердый Гвальтиери говорит ей: «Вот разрешение папы на другой брак. Я должен отвергнуть тебя. Ты знаешь, что многие из подданных моих дворян — знатные и сильные владельцы; они сами имеют своих подданных; а твои родители всегда были землепашцами... Тебе нельзя быть супругою маркиза Салуцкого! Возвращаю тебе приданое *твое* и тебя — отцу твоему: я избрал себе другую в супруги».

Гризельда превозмогла всю горесть оскорбленной женщины и, силясь удержать слезы и рыдания, сказала голосом довольно твердым: «Я помню мое низкое происхождение, неприличное вашему знатному роду; помню, что по милости бога и вашей, государь, я была возведена на столь высокую степень и что все мое счастие было

временное! Мое дело повиноваться слепо воле господина моего. Вот обручальное кольцо: возьмите его; но позвольте мне возвратиться к отцу моему в той одежде, в которой прибыла я в замок. Вам нечего возвращать мне: ни золота, ни серебра, никаких сокровищ я не принесла в приданое; вы взяли меня нагую, и, если мать детей ваших должна нагая возвратиться к престарелому отцу своему,— то она исполнит волю вашу. Но именем любви и непорочности заклинаю вас, государь, дайте, ах! дайте мне хотя одно покрывало... последнюю защиту стыдливости».

Гвальтиери, почти тронутый до слез, старался сохранить суровый и строгий вид. «Согласен на покрывало,— сказал он,— но... более ничего!» Все приближенные умоляли его дать ей по крайней мере одно платье. «Как? — говорили они,— супруга Маркиза Салуцкого, наша старая госпожа, явится полуобнаженною посреди улицы, как нищая, как преступница, как самая последняя из женщин!..» Напрасные просьбы! — Полуобнаженная, без обуви, без покрова на голове, с распущенными волосами, заливаясь горькими слезами, она вышла из замка и, сопровождаемая рыданиями слуг и женщин, с зардевшимися от слез глазами явилась к несчастному отцу. Жиануколо никогда не хотел верить, что дочь его останется маркизою; он с трепетом ожидал судьбы, ее постигшей, и свято сохранил рубища, оставленные ею в бедном быту его. С слезами возвращает их дочери. Она, великодушная до конца, презирая судьбу, несправедливую и жестокую, спокойно принимается за прежние труды сельские в дому отеческом.

Между тем маркиз немедленно объявляет, что сватает за себя дочь славного графа Панагского, приготовляет великое торжество и посылает за Гризельдою. «Скоро будет в замок моя невеста,— говорит ей Гвальтиери,— я желаю принять ее с великими почестями. Ты знаешь, что в замке ни одна женщина, кроме тебя, не умеет убирать покоев и учреждать порядка, для великого торжества приличного. На тебя возлагаю эту обязанность. Учреждай, повелевай всем: пригласи заблаговременно женщин, каких тебе угодно; угощай, принимай их как хозяйка и потом — можешь возвратиться в свою хижину». Каждое слово, как острая игла, кололо чувствительное сердце Гризельды; ибо она не преставала обожать неблагодарного супруга. «Я на все готова»,— отвечала страдалица; и в сельском рубище прежняя повелительница замка

начала убирать покои, расставлять по залам креслы, расстилать ковры узорчатые, приготовлять стол и все, что было потребно,— как будто бы она была простая служанка или ключница. Одним словом, она рук не опускала, пока все не было кончено и распоряжено от важной вещи до последней безделки. Гости приглашены, все готово в ожидании веселого пира. И вот настает день свадебный. Гризельда в рубище, но с лицем веселым и приветливым угощает наехавших жен и девиц боярских, как добрая, домовитая хозяйка. Гвальтиери тайно посылает в Болонию к супругу родственницы своей графини Панагской, у которого в доме воспитывались его дети; приглашает его в замок свой с тем, чтобы он и графиня привезли с собою детей его и множество гостей почетных, но никому не объявляли о его намерении. Дочери маркизовой минуло двенадцать лет: она была красоты чудесной, а шестилетний брат ее походил на нее совершенно.

Граф Панагский, окруженный бесчисленною толпою гостей почетных, с сими прелестными детьми пустился в путь и чрез несколько дней прибыл благополучно в Салуццо, где собрались все жители деревень, сел и городов соседних: все ожидали с нетерпением нареченной невесты.

Приемная зала открылась, и невесту встретили с чрезвычайными почестями и церемониями. Гризельда вышла навстречу и, поклонясь ей низко, примолвила: «Добро пожаловать, государыня!» Все барыни и девицы, идя к столу, упрашивали маркиза удалить прежнюю жену, или, по крайней мере, дать ей приличное платье. Маркиз не согласился.

В столовой взоры всех обратились на невесту: все превозносили ее до небес, а иные шептали друг другу: «Маркиз наш сделал выгодный обмен!» Сама Гризельда стояла как очарованная и невольно дивилась красоте девушки и малолетнего брата.

Наконец желания маркизовы были удовлетворены в полной мере. Он испытал всю силу терпения Гризельды; он уверился, что ничто, никакое испытание не может поколебать сей твердой души; что вперед может положить на нее всю надежду свою. Он решился облегчить свинцовое бремя печали, которую она силилась таить во глубине сердца своего. Но проницательный супруг легко угадывал ее грусть на лице, в самом голосе. При всем собрании гостей велит он ей приблизиться и с колкою улыбкою

повторяет: «Понравилась ли тебе моя невеста?» «Ах, как не понравиться,— отвечала Гризельда,— и если она столько же благоразумна, сколько пригожа, то вы будете счастливейшим супругом. Но... умоляю вас, государь, не терзайте ее, как прежнюю жену: она не перенесет таких мучений. Прежняя супруга ваша от самой юности была знакома с горем и трудами, а эта, вы сами видите, как еще молода и как нежно воспитана».

Гвальтиери с радостию заметил, что Гризельда находилась в обмане и нимало не изменялась в доброте сердечной, подвинул стул и посадил ее возле себя. Она затрепетала.

«Гризельда,— сказал маркиз по некотором молчании,— пора тебе собрать плоды терпения твоего; пора открыть глаза тем, которые полагали, что я жесток и неправосуден. Я достиг моей цели: я научил тебя нести тяжелый крест супружества и быть во всем примерною женою; подданных научил уважать твои редкие качества и вперед не нарушать нашего покоя. Вот вся цель моих испытаний. В награду за любовь твою, которую ты мне доказала и словом и делом, бесценная Гризельда! в награду за счастье мое, которого ты была и будешь единственною виновницею, я отдаю все, что похитил у тебя, и все раны сердца одним словом исцеляю навеки. Вручаю ту, которую ты называла моею невестою, вручаю брата ее... они твои — они дети наши, а я снова твой супруг, счастливейший из смертных!»

Маркиз, обняв ее с восхищением, целовал с необыкновенною нежностию и, растроганную, утопающую в слезах, повел к удивленной дочери: все были в удивлении неописанном. Женщины в радости подхватили Гризельду под руки и повели в особенную комнату, сняли рубище, надели великолепное платье и торжественно проводили в залу.

Начался пир веселый. Все были в радости. Каждый выхвалял маркиза, называл его мудрым, проницательным, а Гризельду до небес превозносили. Наконец и гости разъехались. Послали за бедным Жиануколом. Он был принят в замке с почестями и уважением, как тесть богатого владельца, и в объятиях дочери своей кончил счастливую старость. Маркиз не переставал обожать свою Гризельду и был, конечно, счастливейший супруг и отец во всей Италии.

Теперь вы согласитесь со мною, друзья мои, что в хижине мы чаще встречаем небесные дарования, то есть

добродетель, честность и терпение, нежели в палатах и теремах великолепных. Часто в лачуге таится тот, кто бы достоин был сиять в короне и повелевать людьми; а в палатах... но оставим это! Спрашиваю только, кто сравняется в терпении с Гризельдою? Кто, подобно ей, перенесет с лицем спокойным, даже веселым, жесточайшие, неслыханные испытания, каким подвергнул ее Гвальтиери?..

XIV

О ЛУЧШИХ СВОЙСТВАХ СЕРДЦА

Масье, воспитанник Сикаров, на вопрос: «Что есть благодарность?» — отвечал: «Память сердца». Прекрасный ответ, который еще более делает чести сердцу, нежели уму глухонемого философа. Эта память сердца есть лучшая добродетель человека, и не столь редка, как полагают некоторые строгие наблюдатели. «Человек добр по природе»,— кричал женевский мизантроп — и клеветал общество, следственно, клеветал человека; ибо он создан жить в обществе, как муравей, как пчела: все его добродетели относительны к ближнему и отвлеченно от оного существовать не могут, как рука, отделенная от тела. «Человек есть создание злое»,— говорят другие моралисты и приводят множество свидетельств о разврате и злобе сердца нашего; но я не верю им и не могу верить, чтобы общество походило на скопище свирепых зверей. Живут ли тигры вместе? Строят ли города? Нет. Ясное доказательство, что злоба не связывает, но разлучает. Кто живет в обществе? Незлобные создания: голубь, муравей, бобр, умный слон, и каждое из сих созданий имеет какое-нибудь *качество*, которое украшает человека и есть одно из незыблемых оснований общежительности.

Первый наш долг: благодарность к Творцу. Но для исполнения его надобно начать с людей. Провидению угодно было связать чрез общество все наши отношения к небу. Быть виновником бытия не есть достоинство перед богом и людьми; но принять младенца из рук матери в минуту его рождения, от колыбели до зрелых лет служить ему защитою и опорою, передать ему в наследие имя, звание, сокровища, землю, праотцами возделанную:

вот обязанность отца. Благодарность есть обязанность детей. На подобных взаимных обязанностях основано все благосостояние общества. Все основания его суть *добро*, и чем более добра, тем тверже его основание, ибо одно добро имеет здесь прочность и постоянность. Зло есть насильственное состояние. Под шумом ли бури или при сладостном сиянии солнца зреют нивы? Как сила плодородия имеет свое основание в теплоте, так сила гражданственности основана на добре.

Многие умы наблюдали человека в одном тесном кругу, в котором действовали сами. Ларошфуко, остроумнейший из писателей остроумного века, основал мораль свою на подобных наблюдениях. Но я спрашиваю: если бы натуроиспытатель глядел на муравья во время его странствования за былинкою или за зерном, наблюдал его ссоры с товарищами, а забыл заглянуть в огромное гнездо, где все имеет вид порядка, стройности, где все части относятся совершенно одна к другой и составляют прекрасное целое, то какое произнес бы он суждение о трудолюбивом насекомом? Вот, что сделал Ларошфуко, говоря о человеке и наблюдая за ним в прихожей Тюльерийского замка. Но прихожая не есть вселенная, и человек придворный не есть лучший из людей.

Впрочем, меня никто не уверит, чтобы чувство благодарности было следствием нашего эгоизма, и я не могу постигнуть добродетели, основанной на исключительной любви к самому себе. Напротив того, добродетель есть пожертвование добровольное какой-нибудь выгоды; она есть отречение от самого себя. Есть добродетели, уму принадлежащие, другие — сердцу; благодарность, лучшая из наших добродетелей, или, вернее, отголосок многих душевных качеств, принадлежит сердцу. «Ты мне сделал добро: следовательно, я тебя люблю» — так говорит благородное сердце. Эгоист иначе: «Ты мне сделал добро; но будешь ли мне делать добро и впредь? добро, тобою сделанное, не требует ли пожертвований с моей стороны?» Вот слова эгоиста; они совершенно противны благодарности, которая тем прелестнее, тем святее, чем менее рассуждает, чем менее торгуется с пользою личною и более предается одному сердечному движению.

Сердца, одаренные глубокою или раздражительною чувствительностию, часто не знают средины; для них все есть зло и добро: видят совершенный порядок в обществе — или отсутствие оного — скорее последнее.— Чув-

ствительный человек, страдавший в течение всей жизни, делается наконец мизантропом и убегает в дремучие леса от взоров людей неблагодарных. Там возносит он клеветы на все человечество, оскорбившее его сердце, и в гневе своем забывает, что он сам есть человек, то есть создание слабое, доброе, злое и нерассудительное; луч божества, заключенный в прахе; существо, порабощенное всем стихиям, всем изменениям нравственным и физическим. Но пусть мизантроп приведет себе на память всю жизнь свою от колыбельных дней до той страшной эпохи, когда сердце его воскликнуло в гневе: «Человек зол, и люди подобны тиграм!» — пусть приведет он на память и младенчество, и юношество, и зрелый возраст, в котором воля и рассудок начинали заглушать голос страстей; пусть он спросит себя: «Или я не нашел добрых и честных людей в течение целой жизни? Или я лучше и добрее всех людей, имею все добродетели и все качества, и чужд страстей, и чужд всего низкого и порочного?» — «Нет,— скажет ему рассудок и опыт,— и ты человек, и ты заплатил человечеству дань пороков, слабости и страстей; ты не ангел, ты и не чудовище». Опыт и рассудок показывают нам редкие добродетели, и часто в сердце порочном наблюдатель чудес нравственных с неизъяснимою радостию открывает яркие лучи душевной доблести: великодушие, сострадание, презрение к корысти и тысячу прелестных качеств, которые примиряют его с порочным и с небом, создавшим человека не для одних преступлений.

Кто из нас, отложа все предрассудки и все предубеждения, не сосчитает несколько примерных людей, утешивших собою человечество? Не станем искать героев добродетели в истории; поищем их вокруг себя — и найдем, конечно! Курций бросился в пропасть, но Рим на него смотрел. Леонид обрекает себя смерти, но все отечество (и какое отечество? Спарта!) об нем в страхе и надежде. Долгорукий раздирает роковую бумагу в присутствии разгневанного монарха; но он совершает подвиг свой в сенате, окруженный великими людьми, достойными его и первого владыки в мире. Прекрасные подвиги, достойные подражания и слез удивления — недокупных, сладостных, божественных слез! — Теперь спрашиваю: если мы удивляемся великим делам на великом поприще, если веруем добродетели, твердости душевной, бескорыстию в великих обстоятельствах, то почему не веровать им в малых? Добродетель под спудом не есть ли добродетель? Бедный, который делится последними крохами

с нищим; сестра милосердия, в душной больнице стоящая с сосудом врачевания при ложе врага ее отечества; смелый и человеколюбивый врач, испытующий свое искусство и терпение в дальней хижине дровосека, без свидетелей своего доброго дела, кроме одного в небесах и другого в груди своей,— все эти люди, обреченные забвению, не суть ли добродетельные люди? И тот, кто беспристрастною рукою начертывает имена их в книге судеб, не напишет ли их наряду с именами Говарда, Лас Казаса,— Еропкина и других людей, которых добродетель и человечество называют *своими*. Монтань заметил справедливо, что лучшие подвиги храбрости теряются в неизвестности: один похищает знамя,— имя его гремит в рядах; но сотни неустрашимых погибли перед ним и кругом его... Перенесите сей порядок в мир нравственный. Лас Казас спасает любезных своих американцев от рабства,— он бессмертен. Бедный миссионер в снегах канадских бродит из шалаша в шалаш, из степи в степь; окруженный смертию, проповедует бога и утешает страждущих: каких? Семью дикого или изгнанника, живущего на неизвестном берегу безыменной реки или озера. Сей смиренный воин Христа не есть ли великий человек в полном нравственном смысле? Но к чему нам переноситься в дальные страны? Здесь, кругом нас, кто не испытал, что есть добрые люди, что в обществе есть добродетели редкие, посреди страстей, посреди разврата и роскоши: одно злое сердце может в них сомневаться; одно жестокое сердце не находило сердец нежных.

И в странах отдаленных, и в дебрях, незнакомых взорам человека, родятся цветы: на диких берегах Амура, среди мхов и болот выходит прелестный цветок, до сих пор неизвестный любопытному испытателю природы; медленно распускается он под кротким веянием летнего ветерка; наконец, украшение пустыни, цветок увядает:

В пустынном воздухе теряя запах свой!

Но семена его, падая на землю, расцветают с первою весною в новой красоте, в новом убранстве. Вот истинная эмблема сей добродетели, не известной человекам, но не потерянной для человечества; ибо ничто доброе здесь не теряется, подобно как ни одна былинка в природе: все имеет свою цель, свое назначение; все принадлежит к вечному и пространному чертежу и входит в состав целого

в нравственном мире. В роскошном Париже, в многолюдном Лондоне и Пекине та же самая сумма или то же количество добра и зла, по мере пространства, какое и в юртах кочующих народов Сибири или в землянках лапландцев. Добродетельный старец (Мальзерб) защищает монарха, покинутого друзьями, родственниками, дворянством, целым народом; он защищает его под лезвием мечей, при проклятии озлобленных тиранов (но в виду вселенной и, так сказать, в присутствии потомства). В ту же самую минуту — сделаем сие предположение — лапландец пробегает на лыжах необъятное пространство в трескучий мороз, посреди ужасной вьюги: зачем? Чтобы принести несколько пищи бедному семейству друга своего, утешить больную вдовицу и спасти от явной смерти грудного младенца. Мальзерб и лапландец равны перед тем, кто их создал, равны перед лицем добродетели и правосудия небесного: оба жертвуют жизнию для доброго дела.

XV

НЕЧТО О МОРАЛИ,

основанной на философии и религии

Есть необыкновенная эпоха в жизни; иные ранее, другие позже испытали мучение и сладость, ей особенно свойственные. Я хочу говорить о том времени, в которое человек, посредством опыта и страстей, получает новое нравственное существование; когда, разодрав завесу сомнений, он открывает новое поприще, становится на новый рубеж, озирает с него протекшее и будущее, сравнивает одно с другим и решается протекать остальное поприще жизни с светильником веры или мудрости, оставляя за собою предрассудки легкомыслия, суетные надежды и толпу блестящих призраков юности.

Скоро и невозвратно исчезает юность, это время, в которое человек, по счастливому выражению Кантемира, *еще новый житель мира сего*, с любопытством обращает взоры на природу, на общество и требует одних сильных ощущений; он с жаждою пьет тогда в источнике

жизни, и ничто не может утолить сей жажды: нет границы наслаждениям, нет меры требованиям души, новой, исполненной силы и не ослабленной ни опытностью, ни трудами жизни. Тогда все делается страстию, и самое чтение. Счастлив тот, кто найдет наставника опытного в оное опасное время, наставника, коего попечительная рука отклонит от порочного и суетного; счастлив тот еще более, кто сердце спасет от заблуждений рассудка: ибо в юности сердце есть лучшая порука за рассудок. Одна опытность дает рассудку и силу, и деятельность. Во время юности и огненных страстей каждая книга увлекает, каждая система принимается за истину, и читатель, не руководимый разумом, подобно гражданину в бурные времена безначалия, переходит то на одну, то на другую сторону.— Сомнение не существует и не может существовать; ибо оно уже есть следствие сравнения, для которого нужны понятия, целый запас воспоминаний. Те моралисты, которые говорят сердцу, одному сердцу; те политики, которые нападают софизмами на все предрассудки без изъятия и поражают зло стрелами сатиры или палицею железного человека *, невзирая ни на лица, ни на условия и законы общества, суть самые опаснейшие. Блеск остроумия исчезает; одно убедительное красноречие страстей, им возбуждающее их, оставляет в сердце сии глубокие следы, часто неизгладимые **.

Но время чтения исчезает; ибо пресыщенное любопытство утомляется. За сим следует непосредственно эпоха сомнений. Сомнение мучительно; оно есть необыкновенное состояние души и продолжительно не бывает. Надобно решиться мыслящему человеку принять светильник мудрости (той или другой школы); надобно запастись мудростию человеческою или небесными утешениями, ибо он видит, он чувствует, что для самой ограниченной деятельности в обществе надлежит иметь несколько постоянных нравственных истин в опору своей слабости. К несчастию,— или к счастию, может быть, ибо кто изведал все пути промысла? — мы живем в печальном веке, в котором человеческая мудрость недостаточна

---

* Смотри мечтания Мерсье под названием: «L'an 2440».

** Вот почему чтение Вольтера менее развратило умов, нежели пламенные мечтания и блестящие софизмы Руссо: один говорит беспрестанно уму, другой сердцу; один угождает суетности и скоро утомляет остроумием; другой никогда не может наскучить, ибо всегда пленяет, всегда убеждает или трогает: он во сто раз опаснее.

для обыкновенного круга деятельности самого простого гражданина; ибо какая мудрость может утешить несчастного в сии плачевные времена и какое благородное сердце, чувствительное и доброе, станет довольствоваться сухими правилами философии или захочет искать грубых земных наслаждений посреди ужасных развалин столиц, посреди развалин еще ужаснейших — всеобщего порядка и посреди страданий всего человечества во всем просвещенном мире? Какая мудрость в силах дать постоянные мысли гражданину, когда зло торжествует над невинностию и правотою? Как мудрости не обмануться в своих математических расчетах (ибо всякая мудрость человеческая основана на расчетах), когда все ее замыслы сами себя уничтожают? К чему прибегает ум, требующий опоры? К каким постоянным правилам или расколам древней или новой философии? По какой системе расположить свои поступки, связанные столь тесно с ходом идей политических, превратных и шатких? И что успокоит его? Какие светские моралисты внушат сию надежду, сие мужество и постоянство для настоящего времени, столь печального; для будущего, столь грозного? Ни один, смело отвечаю: ибо вся мудрость человеческая принадлежит веку, обстоятельствам. Она подобна тем нежным растениям, которые прозябают, цветут и украшаются плодами под природным небом; но в земле чуждой, окруженные несвойственными растениями, при веянии малейшего ветерка, скудеют листьями и вянут беспрестанно. Слабость человеческая неизлечима, вопреки стоикам, и все произведения ума его носят отпечаток оной. Признаемся, что смертному нужна мораль, основанная на небесном откровении, ибо она единственно может быть полезна во все времена и при всех случаях: *она есть щит и копье* доброго человека, которые не ржавеют от времени.

И к чему все опыты мудрости человеческой? К чему советы и наблюдения зоркого разума? Достаточны ли они для человечества вообще и для человека частно во время его странствования по бурному морю жизни? К чему, например, сельскому жителю вся мудрость и опытность Дюкло? К чему тонкие замечания Ларошфуко, которого книга, по словам и самих светских людей, сушит сердце? К чему все эти истины, основанные на ложных понятиях? Ибо для мудрецов сих и дружба, и любовь, и чувство сына к отцу, и нежнейшее чувство матери к своему рождению: одним словом, благодарность, бескорыстие и все, что

человечество имеет драгоценного, прекрасного, великого, все позывы великой души, все невольные движения и тайные пожертвования благородного сердца,— все есть следствие *корысти.*

Другие светские моралисты повторяли одни и те же мысли или (например, Гельвеций) давали им обширнейшее распространение, но вечно ложное *. Они опечалили человечество, они ограбили его, сии дерзкие и суетные умы: ибо что говорили они? *Будь счастлив по нашим правилам.*— Согласен, следую им слепо; но я все не доволен ни судьбою, ни сердцем своим. Что же мне остается? — Терпение,— отвечали они и отсылали нас к стоикам.

Вот в чем совершенно заключается вся нравственная теория новейших мечтателей, которую опроверг другой мечтатель **, отступник от веры, отступник от философии. Ни слова в утешение; ибо где обрести его? В совести! — кричали они.— Согласен; но кто утешит эту мать, прижавшую к груди своей трепетного младенца, бегущую из столицы, объятой пламенем? Кто утешит этого отца, супруга, который под развалинами дома своего оставляет все, что имел: и детей, и жену, и все блага жизни, все надежды свои? Здесь совесть будет существо отрицательное. Она будет спокойна у невинного страдальца, но слезы его прольются на прах разрушенного счастия... взоры его обратятся к небу; там найдет он ответ на вопросы отчаянного сердца или оно погибнет: здесь нет середины.

Стоическая система ложна, ибо мораль ее основана на одном умствовании, на одном отрицании; она ложна потому, что беспрестанно враждует с нежнейшими обязанностями семейственными, которые основаны на любви, на благоволении. Пусть будет она лучшая из древнейших систем: ибо она внушает человеку твердость, мужество, постоянство, без которых нет добродетели; ибо она указует смертному высокую цель и бога на конце поприща жизни, проведенной в правде, в трудах, в отрицании самого себя; но сердцу — она ничего не сказывает. Все моральные истины должны менее или более к нему отно-

---

* Число понятий моральных и политических,— говорит Ансильон,— весьма ограничено; вообще мало понятий в обращении. Каждое поколение выбивает монету или, лучше сказать, переменяет только штемпель, а металл все тот же.

** Руссо.

ситься, как радиусы к своему центру, ибо сердце есть источник страстей, пружина морального движения. Ум должен им управлять; но и самый ум (у людей счастливорожденных) любит отдавать ему отчет, и сей отчет ума сердцу есть то, что мы осмелимся назвать лучшим и нежнейшим цветом совести *. Есть другой род моралистов: они принадлежат к школе Эпикуровой (новейшие те, которые не руководствовались истинами Откровения и повторяли только сказания древних **. Французские писатели осьмогонадесять века большею частию расположили мораль свою по учению сего мудреца; они желали распространить ее влияние на все состояния, на все случаи жизни, могущие постигнуть человека в обществе. Система Эпикурова заключается в следующем предложении: «Человек не может возвыситься до существа верховного; его наклонности беспрестанно противоречат закону; он влечется невольно к видимым благам и ищет в них благополучия, даже в вещах самых гнуснейших. Итак, все неверно: истинное благо подлежит сомнению, и это ведет нас к познанию, что не можно иметь постоянного правила для нравов, ни точности в науках». Монтань, великий защитник сего, представляет нам стоическую добродетель в виде ужасного пугалища; а *свою* науку называет игривою, чистосердечною, простою и проч. Следуя тому, что ей нравится, говорит он, играет она небрежно с дурными и счастливыми случайностями жизни, покоится сладостно на лоне праздности, откуда показывает людям путь к истинному на земле благополучию. Неведение и нелюбопытство,— восклицает он,— вот два мягкие изголовья для головы счастливо образованной!

Убежденная в сей истине толпа философов-эпикурей-

* Вот в чем заключали все учение стоики: «Есть бог, следственно, он создал человека. Он создал его для себя, создал таковым, чтобы он соделался *правосудным и счастливым* на земли; следственно, человек может познать истину и может посредством *мудрости своей* возвыситься до бога, который есть верховное благо».— Мы приглашаем прочитать опровержение Монтаня системы Эпиктетовой и Паскалево опровержение Монтаня и Эпиктета. Християнский мудрец сравнивает обе системы; заставляет бороться Монтаня с Эпиктетом и обоих поражает необоримыми доводами.

** «Во всем,— говорит Монтань (если не ошибаюсь),— мы влечемся по следам древних, как малые дети за школьным учителем на гулянье». В недавнем времени в Германии воскресили всю мечтательную философию Платона под другим именем.

цев, от Монтаня до самых бурных дней революции, повторяла человеку: «Наслаждайся! Вся природа твоя, она предлагает тебе все сладости свои, все упоения уму, сердцу, воображению, чувствам; все, кроме надежды будущего, все твое,— минутное, но верное». Но где же сии сладости, сии наслаждения беспрерывные, сии дни безоблачные, сии часы и минуты, сотканные усердною Паркою из нежнейшего шелка, из злата и роз сладострастия? где они, спрашивает сластолюбивый в тишине страстей своих. Где и что такое эти наслаждения, убегающие, обманчивые, непостоянные, отравленные слабостию души и тела, помраченные воспоминанием или грустным предвидением будущего? К чему ведут эти суетные познания ума; науки и опытность, трудом приобретенные? Нет ответа, и не может быть!

Заглянем в самое сердце человека просвещенного и счастливого по понятиям мира. Например: кто был просвещеннее и счастливее Горация и кто страдал, подобно ему? Природа лелеяла его, как любимое дитя свое. Мы знаем его жизнь. Судьба, испытавшая его в юности, осыпала всеми дарами и славы, и богатства в зрелые лета. Дружество Августа и Мецената, наслаждения роскошного двора, общее уважение к великому таланту, здоровье неизменяющее, друзья, любезные сердцу и уму и в верности подобные благосклонной фортуне, прелестные женщины, готовые увенчать миртами любимца монархова и муз, и, что всего лучше, мудрость, удовлетворительная для всех случайностей счастия, мудрость, которая открыла золотую середину во всех вещах, истинный философский камень. Чего бы недоставало? Но счастливец, при всех дарах фортуны, при всей философии, скучал; ибо сердце человеческое имеет некоторый избыток чувств, который нередко бывает источником живейших терзаний. Наслаждение нас съедает,— говорит Монтань,— сердце скоро пресыщается. «Юноша, наливающий фалернское, дай горького!» — восклицает Катулл, увенчанный розами, пресыщенный на пиршестве:

Minister vetuli, puer, Falerni
Inger'mi calices amariores *.

Так создано сердце человеческое, и не без причины: в самом высочайшем блаженстве, у источника наслажде-

---

* Служитель-мальчик, принеси мне чаши
С более горьким старым Фалернским (*лат.*).

ний, оно обретает горечь. И это испытал Гораций. Нигде не мог он найти спокойствия: ни в влажном Тибуре, ни в цветущем убежище Мецената, ни в граде, ни в объятиях любовницы, ни в самих наслаждениях ума и той философии, которую украсил он неувядаемыми цветами своего воображения; ибо если науки и поэзия услаждают несколько часов в жизни, то не оставляют ли они в душе какой-то пустоты, которая охлаждает нас к видимым предметам и набрасывает на природу и общество печальную тень? *

Где же истинное блаженство? Увидим далее. Мы испытали, что эпикурейцы не обрели его за чашею наслаждения, ни стоики в бесстрастии и в непреклонной суровости нравов (ибо человек создан любить). Никто не нашел блаженства: ни умный, ни сильный, ни богатый в чертогах, ни бедный в хижине своей; ибо и тот, кто блистает в пурпуре, и тот, кто таил всю жизнь свою в убогом шалаше, говорит Гораций, не могут назваться счастливыми.

Где же это совершенное благополучие, которого требует сердце, как тело пищи? Оно нигде не находится вполне,— отвечает опытность всех времен и всех народов. Человек есть странник на земли,— говорит святый муж,— чужды ему грады, чужды веси, чужды нивы и дубравы: гроб его жилище вовек. Вот почему все системы и древних и новейших недостаточны! Они ведут человека к блаженству земным путем и никогда не доводят. Систематики забывают, что человек, сей царь, лишенный венца, брошен сюда не для счастия минутного; они забывают о его высоком назначении, о котором вера, одна святая вера ему напоминает. Она подает ему руку в самих пропастях, изрытых страстями или неприязненным роком; она изводит его невредимо из треволнений жизни и никогда не обманывает: ибо она переносит в вечность все надежды и все блаженство человека. Лучшие из древнейших писателей приблизились к сим вечным исти-

---

* «В Египте я знал жреца, который, истощив всю жизнь свою на познание начала и конца вещей мира сего, сказал мне с глубоким вздохом: — Горе тому, кто захочет снять покрывало с лица природы! Горе тому, для кого уже не существует то очарование, которое предрассудки и нужды навели на предметы мира! Вскоре душа его, поблеклая и томная, в самой жизни найдет ничтожество, ужаснейшее из всех наказаний. При сих словах слезы навернулись на глазах, и он сокрылся в густоте леса».— «*Путешествие младшего Анахарсиса*».

Это тягостное состояние души нередко бывает известно людям добрым и образованным. Что избавит их от сего мучения? — Религия.

нам, которые святое откровение явило нам в полном сиянии.

И горе тому, кто отвращает взоры свои! Собственное сердце его накажет: чем оно чувствительнее, чем благороднее, тем более и сильнее будут его терзания; ибо ни дары счастия, ни блеск славы, ни любовь, ни дружество — ничто не удовлетворит его вполне. В новейшие времена Руссо, одаренный великим гением, тому явный и красноречивый пример. Он нигде не обретал благополучия; ибо всю жизнь искал его не там, где надлежало. Слава учинилась ему бременем, люди и общество ненавистными: ибо он оскорбил их неограниченною гордостию. Любовь земная не могла насытить его жадного сердца; самая дружба его терзала. Оскорбленный, растерзанный всеми страстями, он покидал общество, требовал счастия в объятиях природы, вопрошал безмолвные леса, скитался при шуме клубящихся водопадов, в часы румяного утра и прохладного вечера; но не мог успокоить своего сердца. В обществе напрасно облекается он в мантию стоиков, напрасно подражает им в твердости; собственное сердце ему изменяет. Одна религия могла утешить и успокоить страдальца; он знал, он чувствовал эту истину, и, жертва неизлечимой гордости, отклонял беспрестанно главу свою от легкого и спасительного ярма. Красноречивый защитник истины (когда истина не противоречила его страстям), пламенный обожатель и жрец добродетели, посреди величайших заблуждений своих, как часто изменял он и добродетелям и истине! Кто соорудил им великолепнейшие алтари и кто оскорбил их более в течение жизни своей и делом, и словом? Кто заблуждался более в лабиринте жизни, неся светильник мудрости человеческой в руке своей? Ибо светильник сей недостаточен; один луч веры, слабый луч, но постоянный, показывает нам вернее путь к истинной цели, нежели полное сияние ума и воображения.

Поклоняться добродетели и изменять ей, быть почитателем истины и не обретать ее — вот плачевный удел нравственности, которая не опирается на якорь веры. Одно заблуждение рождает другое. Руссо начал софизмами, кончил ужасною книгою; — он пожелал оправдаться перед людьми, как перед богом, со всею искренностию человека, глубоко растроганного, но гордого в самом унижении, тогда как надлежало исповедовать тайны единому верховному существу, не с гордостию мудреца, который укоряет природу в своих слабостях, но с смире-

нием христианина. Один бог может требовать от нас подобной исповеди; люди не достойны оной. И что же? Оправдывая себя, он оскорбил и дружество, и любовь, и родство, и все, что человечество имеет священного, заветного для души благородной; он оскорбил тени своих друзей, давно забытых согражданами, оскорбил их самым несправедливым приговором по неведению: ибо истина на земле одному богу известна. Кто требовал у него сих признаний, сей страшной повести целой жизни? Не люди, а гордость его. Какое право имел он поведать миру о слабостях женщины, которой дружество, столь нежное, столь бескорыстное, усладило юность и успокоило тревожимое сердце мечтателя? Так! человек, рожденный для добродетели, учинил страшное преступление, неслыханное доселе, и это преступление родила мудрость человеческая... Десятилетний отрок, который помнит свой катехизис, может уличить его в этом преступлении. Боже великий! что же такое ум человеческий — в полной силе, в совершенном сиянии, исполненный опытности и науки? Что такое все наши познания, опытность и самые правила нравственности без веры, без сего путеводителя и зоркого, и строгого, и снисходительного? *

Вера и нравственность, на ней основанная, всего нужнее писателю. Закаленные в ее светильнике мысли его

---

* Без смеха и жалости нельзя читать признаний женевского мечтателя. Я не стану выписывать тех мест из книги его, которые могут оскорбить нравственность самую светскую, самую снисходительную: их множество. Но одно место меня забавляет более других, когда я воображаю себе защитника прав человечества и философии, столь лакомого в молодости своей. У г. Мабли, в Лионе, если не ошибаюсь, исправляя должность учителя и наставника, он любил отдыхать в своей комнате и пить вино, заедая пирожками: тут нет еще большого зла; но вино было краденое... Дело сделано! говорит философ: «Malheureusement je n'ai jamais pu boire sans manger... mais aussi quand j'avais ma petite brioche, et que bien enfermé dans ma chambre, j'allais trouver ma bouteille au fond de l'armoire; quelles bonnes petites buvettes je faisais là tout seul en lisant quelques pages de roman!»

⟨К несчастью, я никогда не мог пить без еды..., но когда у меня была моя маленькая бриошь, запершись в моей комнате, я тотчас находил бутылку в глубине шкафа; какие добрые глоточки я делал там совсем один, прочитывая несколько страниц романа!» (*фр.*)⟩

Можно ли удержаться от смеха? Где тут достоинство человека и мудреца? О слоге ни слова. В таком случае слог есть верное выражение души. И этот человек имел столько любезных качеств, столько небесных дарований! И этот человек чувствовал всю прелесть религии и благодетельное влияние оной на общество и на человека частного! Чего недоставало ему? Постоянного убеждения, менее гордости и страстей, более рассудительности и смирения.

становятся постояннее, важнее, сильнее, красноречие убедительнее; воображение при свете ее не заблуждается в лабиринте создания; любовь и нежное благоволение к человечеству дадут прелесть его малейшему выражению, и писатель поддержит достоинство человека на высочайшей степени. Какое бы поприще он ни протекал с своею музою, он не унизит ее, не оскорбит ее стыдливости и в памяти людей оставит приятные воспоминания, благословения и слезы благодарности: лучшая награда таланту.

Неверие само себя разрушает,— говорит красноречивый Квинтилиан наших времен, который знал всю слабость гордых вольнодумцев: *ибо он всю молодость свою провел в стане неприятельском*. Одна вера *созидает* мораль незыблемую. Священное писание,— продолжает он,— есть хранилище всех истин и разрешает все затруднения. Вера имеет ключ от сего хранилища, замкнутого для коварного любопытства, вера обретает в нем свет спасительный. Неверие приносит в него собственные мраки, которые бывают тем густее, чем они произвольнее. Чтоб быть выше других людей, оно становится на высоты, окруженные пропастями, откуда взор его, смутный и блуждающий, смешивает все предметы. Неверие мыслит обладать орлиным оком и ничего не различает. Не случалось ли вам путешествовать при первых лучах денницы путем, проложенным по высоким горам, когда пары, от земли восходящие, простирают со всех сторон туманную завесу, скрывающую горизонт, где изображается множество мечтательных предметов, от смешения света со тьмою происходящих? По мере того как вы сходите с высот, сие облако земное редеет, рассевается; вы проникаете чрез него и находите на себе малые следы влаги, скоро иссыхающей. Тогда открывается и расширяется пред вами необъемлемый горизонт: вы видите близлежащие горы, жатвы и стада, их покрывающие, селения человеческие и холмы, над ними возвышенные; вся природа вам отдана снова: вот эмблема неверия и веры. Сойдите с сих высот неверия, где вы ходите около пропастей неизмеримых, где взор ваш встречает одни призраки; сойдите, говорю вам, призванные и поддержанные смиренной верою, идите прямо к сим облакам, обманчивым, восходящим от земли (они скрывают от вас истину и являют одни обманчивые образы); сойдите и пройдите сквозь сию ничтожную преграду паров и призраков; она уступит вам без сопротивления; она исчезнет — и ваши взоры обретут необъ-

емлемую перспективу истин, все утешения сего земного жилища и горé — лазурь небесную.

Но для нас исчезли все призраки мудрости человеческой. К счастию нашему, мы живем в такие времена, в которые невозможно колебаться человеку мыслящему; стоит только взглянуть на происшествия мира и потом углубиться в собственное сердце, чтобы твердо убедиться во всех истинах веры. Весь запас остроумия, все доводы ума, логики и учености книжной истощены перед нами; мы видели зло, созданное надменными мудрецами, добра не видали. Счастливые обитатели обширнейшего края, мы не участвовали в заблуждениях племен просвещенных: мы издали взирали на громы и молнии неверия, раздробляющие и трон царя, и алтарь истинного бога; мы взирали с ужасом на плоды нечестивого вольнодумства, на вольность, водрузившую свое знамя посреди окровавленных трупов, на человечество, униженное и оскорбленное в священнейших правах своих; с ужасом и с горестию мы взирали на успехи нечестивых легионов, на Москву, дымящуюся в развалинах своих; но мы не теряли надежды на бога, и фимиам усердия курился не тщетно в кадильнице веры, и слезы и моления не тщетно проливалися перед Небом: мы восторжествовали. Оборот единственный, беспримерный в летописях мира! Легионы *непобедимых* затрепетали в свою очередь. Копье и сабля, окропленные святою водою на берегах тихого Дона, засверкали в обители нечестия, в виду храмов *рассудка, братства и вольности*, безбожием сооруженных; и знамя Москвы, веры и чести водружено на месте величайшего преступления против бога и человечества *.

Faut-il encore, faut-il vous rappeler le cours
Des prodiges sans nombre accomplis en nos jours? **

Должно ли приводить на память последние чудеса, новые покушения злобы и неверия и сияющее торжество невинности, человеколюбия и религии? Сколько уроков уму! Сердце в них нужды не имеет.

С зарею наступающего мира, которого мы видим

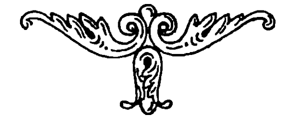
---

* Назад тому несколько лет Шатобриан сказал: «Храбрость без веры ничтожна. Посмотрим, что сделают наши вольнодумцы против козаков грубых, непросвещенных, но сильных верою в бога?» Все журналисты вступились за честь оскорбленной великой нации (La grande nation); но предсказание сбылось.

** Должно ли еще, должно ли напоминать весь ход
Бесчисленных чудес, совершившихся в наши дни? *(фр.)*

сладостное мерцание на горизонте политическом, просвещение сделает новые шаги в отечестве нашем: снова процветут промышленность, искусства и науки, и все сладостные надежды сбудутся; у нас, может быть, родятся философы, политики и моралисты, и, подобно светильникам эдимбургским, долгом поставят основать учение на истинах Евангелия, кротких, постоянных и незыблемых, достойных великого народа, населяющего страну необозримую; достойных великого человека, им управляющего!

Нет в мире царства так пространна,
Где б можно столь добра творить! *



* Державин.



часть II · Стихи



Vade, sed incultus...*

К ДРУЗЬЯМ

Вот список мой стихов,
Который дружеству быть может драгоценен.
Я добрым гением уверен,
Что в сем Дедале рифм и слов
Недостает искусства:
Но дружество найдет мои, в замену, чувства,
Историю моих страстей,
Ума и сердца заблужденья,
Заботы, суеты, печали прежних дней
И легкокрилы наслажденья;
Как в жизни падал, как вставал,
Как вовсе умирал для света,
Как снова мой челнок фортуне поверял...
И словом, весь журнал
Здесь дружество найдет беспечного Поэта,
Найдет и молвит так:
«Наш друг был часто легковерен;
Был ветрен в Пафосе; на Пинде был чудак;
Но дружбе он зато всегда остался верен;
Стихами никому из нас не докучал
(А на Парнасе это чудо!)
И жил так точно, как писал...
Ни хорошо, ни худо!»

---

* Иди, хоть и неприбранная... (*лат.*)



Элегии

НАДЕЖДА

Мой дух! доверенность к Творцу!
Мужайся; будь в терпеньи камень.
Не он ли к лучшему концу
Меня провел сквозь бранный пламень?
На поле смерти чья рука
Меня таинственно спасала,
И жадный крови меч врага,
И град свинцовый отражала?
Кто, кто мне силу дал сносить
Труды, и глад, и непогоду,
И силу — в бедстве сохранить
Души возвышенной свободу?
Кто вел меня от юных дней
К добру стезею потаенной
И в буре пламенных страстей
Мой был Вожатай неизменной?

Он! Он! Его все дар благой!
Он нам источник чувств высоких,
Любви к изящному прямой
И мыслей чистых и глубоких!
Все дар его, и краше всех
Даров — надежда лучшей жизни!
Когда ж узрю спокойный брег,
Страну желанную отчизны?
Когда струей небесных благ
Я утолю любви желанье,
Земную ризу брошу в прах
И обновлю существованье?

НА РАЗВАЛИНАХ ЗАМКА В ШВЕЦИИ

Уже светило дня на западе горит
И тихо погрузилось в волны!..
Задумчиво луна сквозь тонкий пар глядит
На хляби и брега безмолвны.
И все в глубоком сне поморие кругом.
Лишь изредка рыбарь к товарищам взывает,
Лишь эхо глас его протяжно повторяет
В безмолвии ночном.

Я здесь, на сих скалах, висящих над водой,
В священном сумраке дубравы
Задумчиво брожу и вижу пред собой
Следы протекших лет и славы:
Обломки, грозный вал, поросший злаком ров,
Столбы — и ветхий мост с чугунными цепями,
Твердыни мшистые с гранитными зубцами
И длинный ряд гробов.

Все тихо: мертвый сон в обители глухой.
Но здесь живет воспоминанье:
И путник, опершись на камень гробовой,
Вкушает сладкое мечтанье.
Там, там, где вьется плющ по лестнице крутой
И ветр колышет стебль иссохшия полыни,
Где месяц осребрил угрюмые твердыни
Над спящею водой,—

Там воин некогда, Одена храбрый внук,
В боях приморских поседелый,
Готовил сына в брань, и стрел пернатых пук,
Броню заветну, меч тяжелый
Он юноше вручил израненной рукой
И громко восклицал, подъяв дрожащи длани:
«Тебе он обречен, о бог, властитель брани,
Всегда и всюду твой!

А ты, мой сын, клянись мечом своих отцов
И Гелы клятвою кровавой
На западных струях быть ужасом врагов
Иль пасть, как предки пали, с славой!»
И пылкий юноша меч прадедов лобзал,
И к персям прижимал родительские длани,
И в радости, как конь при звуке новой брани,
Кипел и трепетал.

Война, война врагам отеческой земли! —
Суда наутро восшумели.
Запенились моря, и быстры корабли
На крыльях бури полетели!
В долинах Нейстрии раздался браней гром,
Туманный Альбион из края в край пылает,
И Гела день и ночь в Валкалу провождает
Погибших бледный сонм.

Ах, юноша! спеши к отеческим брегам,
Назад лети с добычей бранной;
Уж веет кроткий ветр вослед твоим судам,
Герой, победою избранный!
Уж скальды пиршество готовят на холмах.
Зри: дубы в пламени, в сосудах мед сверкает,
И вестник радости отцам провозглашает
Победы на морях.

Здесь, в мирной пристани, с денницей золотой
Тебя невеста ожидает,
К тебе, о юноша, слезами и мольбой
Богов на милость преклоняет...
Но вот в тумане там, как стая лебедей,
Белеют корабли, несомые волнами;
О, вей, попутный ветр, вей тихими устами
В ветрила кораблей!

Суда у берегов, на них уже герой
С добычей жен иноплеменных;
К нему спешит отец с невестою младой
И лики скальдов вдохновенных.
Красавица стоит, безмолвствуя, в слезах,
Едва на жениха взглянуть украдкой смеет,
Потупя ясный взор, краснеет и бледнеет,
Как месяц в небесах...

И там, где камней ряд, седым одетый мхом,
Помост обрушенный являет,
Повременно сова в безмолвии ночном
Пустыню криком оглашает,—
Там чаши радости стучали по столам,
Там храбрые кругом с друзьями ликовали,
Там скальды пели брань, и персты их летали
По пламенным струнам.

Там пели звук мечей и свист пернатых стрел,
И треск щитов, и гром ударов,
Кипящу брань среди опустошенных сел
И грады в зареве пожаров;
Там старцы жадный слух склоняли к песне сей,
Сосуды полные в десницах их дрожали,
И гордые сердца с восторгом вспоминали
О славе юных дней.

Но все покрыто здесь угрюмой ночи мглой,
Все время в прах преобратило!
Где прежде скальд гремел на арфе золотой,
Там ветер свищет лишь уныло!
Где храбрый ликовал с дружиною своей,
Где жертвовал вином отцу и богу брани,
Там дремлют, притаясь, две трепетные лани
До утренних лучей.

Где ж вы, о сильные, вы, галлов бич и страх,
Земель полнощных исполины,
Роальда спутники, на бренных челноках
Протекши дальние пучины?
Где вы, отважные толпы богатырей,
Вы, дикие сыны и брани и свободы,
Возникшие в снегах, средь ужасов природы,
Средь копий, средь мечей?

Погибли сильные! Но странник в сих местах
Не тщетно камни вопрошает
И руны тайные, преданья на скалах
Угрюмой древности, читает.
Оратай ближних сел, склонясь на посох свой,
Гласит ему: «Смотри, о сын иноплеменный,
Здесь тлеют праотцев останки драгоценны:
Почти их гроб святой!»

ЭЛЕГИЯ ИЗ ТИБУЛЛА

Вольный перевод

Мессала! Без меня ты мчишься по волнам
С орлами римскими к восточным берегам;
А я, в Феакии оставленный друзьями,

Их заклинаю всем, и дружбой, и богами,
Тибулла не забыть в далекой стороне!
Здесь Парка бледная конец готовит мне,
Здесь жизнь мою прервет безжалостной рукою...
Неумолимая! Нет матери со мною!
Кто будет принимать мой пепел от костра?
Кто будет без тебя, о милая сестра,
За гробом следовать в одежде погребальной
И миро изливать над урною печальной?
Нет друга моего, нет Делии со мной,—
Она и в самый час разлуки роковой
Обряды тайные и чары совершала:
В священном ужасе бессмертных вопрошала —
И жребий счастливый нам отрок вынимал.
Что пользы от того? Час гибельный настал,
И снова Делия, печальна и уныла,
Слезами полный взор невольно обратила
На дальний путь. Я сам, лишенный скорбью сил,
«Утешься»,— Делии сквозь слезы говорил;
«Утешься!» — и еще с невольным трепетаньем
Печальную лобзал последним лобызаньем.
Казалось, некий бог меня остановлял:
То ворон мне беду внезапно предвещал,
То в день, отцу богов Сатурну посвященный,
Я слышал гром глухой за рощей отдаленной.
О вы, которые умеете любить,
Страшитеся любовь разлукой прогневить!
Но, Делия, к чему Изиде приношенья,
Сии в ночи глухой протяжны песнопенья
И волхвованье жриц, и меди звучный стон?
К чему, о Делия, в безбрачном ложе сон
И очищения священною водою?
Все тщетно, милая, Тибулла нет с тобою.
Богиня грозная! Спаси его от бед,
И снова Делия мастики принесет,
Украсит дивный храм весенними цветами
И с распущенными по ветру волосами,
Как дева чистая, во ткань облечена,
Воссядет на помост: и звезды, и луна,
До восхождения румяныя Авроры,
Услышат глас ее и жриц фарийских хоры.
Отдай, богиня, мне родимые поля,
Отдай знакомый шум домашнего ручья,
Отдай мне Делию: и вам дары богаты
Я в жертву принесу, о Лары и Пенаты!

Зачем мы не живем в златые времена?
Тогда беспечные народов племена
Путей среди лесов и гор не пролагали
И ралом никогда полей не раздирали;
Тогда не мчалась ель на легких парусах,
Несома ветрами в лазоревых морях,
И кормчий не дерзал по хлябям разъяренным
С сидонским багрецом и с золотом бесценным
На утлом корабле скитаться здесь и там.
Дебелый вол бродил свободно по лугам.
Топтал душистый злак и спал в тени зеленой;
Конь борзый не кропил узды кровавой пеной;
Не зрели на полях столпов и рубежей,
И кущи сельские стояли без дверей;
Мед капал из дубов янтарною слезою;
В сосуды молоко обильною струею
Лилося из сосцов питающих овец —
О мирны пастыри, в невинности сердец
Беспечно жившие среди пустынь безмолвных!
При вас, на пагубу друзей единокровных,
На наковальне млат не исковал мечей,
И ратник не гремел оружьем средь полей.
О век Юпитеров! О времена несчастны!
Война, везде война, и глад, и мор ужасный,
Повсюду рыщет смерть, на суше, на водах...
Но ты, держащий гром и молнию в руках!
Будь мирному певцу Тибуллу благосклонен,
Ни словом, ни душой я не был вероломен;
Я с трепетом богов отчизны обожал,
И если мой конец безвременный настал,—
Пусть камень обо мне прохожим возвещает:
«Тибулл, Мессалы друг, здесь с миром почивает».
Единственный мой бог и сердца властелин,
Я был твоим жрецом, Киприды милый сын!
До гроба я носил твои оковы нежны,
И ты, Амур, меня в жилища безмятежны,
В Элизий проведешь таинственной стезей,
Туда, где вечный май меж рощей и полей,
Где расцветает нард и киннамона лозы
И воздух напоен благоуханьем розы;
Там слышно пенье птиц и шум биющих вод;
Там девы юные, сплетяся в хоровод,
Мелькают меж древес, как легки привиденья;
И тот, кого постиг, в минуту упоенья,
В объятиях любви, неумолимый рок,

Тот носит на челе из свежих мирт венок,
А там, внутри земли, во пропастях ужасных
Жилище вечное преступников несчастных,
Там реки пламенны сверкают по пескам,
Мегера страшная и Тизифона там
С челом, опутанным шипящими змиями,
Бегут на дикий брег за бледными тенями.
Где скрыться? Адский пес лежит у медных врат,
Рыкает зев его... и рой теней назад!..
Богами ввержены во пропасти бездонны,
Ужасный Энкелад и Тифий преогромный
Питает жадных птиц утробою своей.
Там хищный Иксион, окованный змией,
На быстром колесе вертится бесконечно;
Там в жажде пламенной Тантал бесчеловечный
Над хладною рекой сгорает и дрожит...
Всё тщетно! вспять вода коварная бежит,
И черпают ее напрасно Данаиды,
Все жертвы вечные карающей Киприды.
Пусть там страдает тот, кто рушил наш покой
И разлучил меня, о Делия, с тобой!
Но ты, мне верная, друг милой и бесценной,
И в мирной хижине, от взоров сокровенной,
С наперсницей любви, с подругою твоей,
На миг не покидай домашних алтарей.
При шуме зимних вьюг, под сенью безопасной,
Подруга в темну ночь зажжет светильник ясной
И, тихо веретено кружа в руке своей,
Расскажет повести и были старых дней.
А ты, склоняя слух на сладки небылицы,
Забудешься, мой друг, и томные зеницы
Закроет тихий сон, и пряслица из рук
Падет... и у дверей предстанет твой супруг,
Как небом посланный внезапно добрый гений.
Беги навстречу мне, беги из мирной сени,
В прелестной наготе явись моим очам:
Власы развеяны небрежно по плечам,
Вся грудь лилейная и ноги обнаженны...
Когда ж Аврора нам, когда сей день блаженный
На розовых конях, в блистаньи принесет
И Делию Тибулл в восторге обоймет?

ВОСПОМИНАНИЕ

Мечты! — повсюду вы меня сопровождали
И мрачный жизни путь цветами устилали!
Как сладко я мечтал на Гейльсбергских полях,
    Когда весь стан дремал в покое
И ратник, опершись на копие стальное,
Смотрел в туманну даль! Луна на небесах
    Во всем величии блистала
И низкий мой шалаш сквозь ветви освещала;
Аль светлый чуть струю ленивую катил
И в зе́ркальных водах являл весь стан и рощи;
Едва дымился огнь в часы туманной нощи
Близ кущи ратника, который сном почил.
О Гейльсбергски поля! О хо́лмы возвышенны!
Где столько раз в ночи, луною освещенный,
Я в думу погружен, о родине мечтал;
О Гейльсбергски поля! В то время я не знал,
Что трупы ратников устелют ваши нивы,
Что медной челюстью гром грянет с сих холмов,
    Что я, мечтатель ваш счастливый,
    На смерть летя против врагов,
    Рукой закрыв тяжелу рану,
Едва ли на заре сей жизни не увяну —
И буря дней моих исчезла как мечта!..
    Осталось мрачно вспоминанье...
Между протекшего есть вечная черта:
    Нас сближит с ним одно мечтанье,
Да оживлю теперь я в памяти своей
    Сию ужасную минуту,
    Когда, болезнь вкушая люту
    И видя сто смертей,
Боялся умереть не в родине моей!
Но небо, вняв моим молениям усердным,
    Взглянуло оком милосердным:
Я, Неман переплыв, узрел желанный край,
    И, землю лобызав с слезами,
Сказал: «Блажен стократ, кто с сельскими богами,
Спокойный домосед, земной вкушает рай
И, шага не ступя за хижину убогу,
    К себе богиню быстроногу
    В молитвах не зовет!
    Не слеп ко славе он любовью,
Не жертвует своим спокойствием и кровью:
Могилу зрит свою и тихо смерти ждет».

ВОСПОМИНАНИЯ

Отрывок

. . . .

Я чувствую, мой дар в поэзии погас,
И муза пламенник небесный потушила;
Печальна опытность открыла
Пустыню новую для глаз,
Туда влечет меня осиротелый гений,
В поля бесплодные, в непроходимы сени,
Где счастья нет следов,
Ни тайных радостей, неизъяснимых снов,
Любимцам Фебовым от юности известных,
Ни дружбы, ни любви, ни песней муз прелестных,
Которые всегда душевну скорбь мою,
Как Лотос, силою волшебной врачевали.
Нет, нет! себя не узнаю
Под новым бременем печали!
Как странник, брошенный на брег из ярых волн,
Встает и с ужасом разбитый видит челн,
Рукою трепетной он мраки вопрошает,
Ногой скользит над пропастями он,
И ветер буйный развевает
Молений глас его, рыдания и стон...
На крае гибели так я зову в спасенье
Тебя, последняя надежда, утешенье!
Тебя, последний сердца друг!
Средь бурей жизни и недуг
Хранитель ангел мой, оставленный мне богом!..
Твой образ я таил в душе моей залогом
Всего прекрасного... и благости творца.—
Я с именем твоим летел под знамя брани
Искать иль славы, иль конца;
В минуты страшные чистейши сердца дани
Тебе я приносил на Марсовых полях;
И в мире, и в войне, во всех земных краях,
Твой образ следовал с любовию за мною,
С печальным странником он неразлучен стал.
Как часто в тишине, весь занятый тобою,
В лесах, где Жувизи гордится над рекою,
И Сейна по цветам льет сребреный кристалл,
Как часто средь толпы и шумной, и беспечной,
В столице роскоши, среди прелестных жен

Я пенье забывал волшебное сирен
И о тебе одной мечтал в тоске сердечной.
Я имя милое твердил
В прохладных рощах Альбиона,
И эхо называть прекрасную учил
В цветущих пажитях Ричмона.
Места прелестные и в дикости своей,—
О камни Швеции, пустыни скандинавов,
Обитель древняя и доблести и нравов!
Ты слышала обет и глас любви моей,
Ты часто странника задумчивость питала,
Когда румяная денница отражала
И дальние скалы гранитных берегов,
И села пахарей, и кущи рыбаков,
Сквозь тонки, утренни туманы,
На зеркальных водах пустынной Троллетаны.
. . . .

ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ

Как ландыш под серпом убийственным жнеца
Склоняет голову и вянет,
Так я в болезни ждал безвременно конца
И думал: Парки час настанет.
Уж очи покрывал Эреба мрак густой,
Уж сердце медленнее билось:
Я вянул, исчезал, и жизни молодой,
Казалось, солнце закатилось.
Но ты приближилась, о жизнь души моей,
И алых уст твоих дыханье,
И слезы пламенем сверкающих очей,
И поцелуев сочетанье,
И вздохи страстные, и сила милых слов
Меня из области печали,
От Орковых полей, от Леты берегов,
Для сладострастия призвали.
Ты снова жизнь даешь; она твой дар благой,
Тобой дышать до гроба стану.
Мне сладок будет час и муки роковой:
Я от любви теперь увяну.

МЩЕНИЕ

Из Парни

Неверный друг и вечно милый!
Зарю моих счастливых дней
И слезы радости, и клятвы легкокрилы —
Всё время унесло с любовию твоей!
И всё погибло невозвратно,
Как сладкая мечта, как утром сон приятной!
Но всё любовью здесь исполнено моей
И клятвы страшные твои напоминает.
Их помнят и леса, их помнит и ручей,
И эхо томное их часто повторяет.
Взгляни: здесь в первый раз я встретился с тобой,
Ты здесь, подобная лилее белоснежной,
Взлелеянной в садах Авророй и весной,
Под сенью безмятежной,
Цвела невинностью близ матери твоей.
Вот здесь я в первый раз вкусил надежды сладость;
Здесь жертвы приносил у мирных алтарей.
Когда твою грозила младость
Болезнь жестокая во цвете погубить,
Здесь клялся, милый друг, тебя не пережить!
Но с новой прелестью ты к жизни воскресала
И в первый раз — *люблю*, краснеяся, сказала
(Тому сей дикий бор немой свидетель был).
Твоя рука в моей то млела, то пылала,
И первый поцелуй с душою душу слил.
Там взор потупленный назначил мне свиданье
В зеленом сумраке развесистых древес,
Где льется в воздухе сирен благоуханье
И облако цветов скрывает свод небес;
Там ночь ненастная спустила покрывало,
И страшно загремел над нами ярый гром;
Всё небо в пламени зарделося кругом,
И в роще сумрачной сверкало.
Напрасно! ты была в объятиях моих,
И к новым радостям ты воскресала в них!
О пламенный восторг! О страсти упоенье!
О сладострастие... себя всего забвенье!
С ее любовию утраченны навек!
Вы будете всегда изменнице упрек.
Воспоминанье ваше,
От времени еще прелестнее и краше,
Ее преступное блаженство помрачит

И сердцу за меня коварному отмстит
Неизлечимою, жестокою тоскою.
Так! всюду образ мой увидишь пред собою,
Не в виде прежнего любовника в цепях,
Который с нежностью сквозь слезы упрекает
И жребий с трепетом читает
В твоих потупленных очах.
Нет, в лютой ревности карая преступленье,
Явлюсь, как бледное в полуночь привиденье,
И всюду следовать я буду за тобой:
В безмолвии лесов, в полях уединенных,
В веселых пиршествах, тобой одушевленных,
Где юность пылкая и взор считает твой.
В глазах соперника, на ложе Гименея —
Ты будешь с ужасом о клятвах вспоминать;
При имени моем бледнея,
Невольно трепетать.
Когда ж безвременно, с полей кровавой битвы,
К Коциту позовет меня судьбины глас,
Скажу: «Будь счастлива» в последний жизни час,—
И тщетны будут все любовника молитвы!

ПРИВИДЕНИЕ

Из Парни

Посмотрите! в двадцать лет
Бледность щеки покрывает;
С утром вянет жизни цвет;
Парка дни мои считает
И отсрочки не дает.
Что же медлить! Ведь Зевеса
Плач и стон не укротит.
Смерти мрачной занавеса
Упадет — и я забыт!
Я забыт... но из могилы,
Если можно воскресать,
Я не стану, друг мой милый,
Как мертвец тебя пугать.
В час полуночных явлений
Я не стану в виде тени,
То внезапу, то тишком,
С воплем в твой являться дом.

Нет, по смерти невидимкой
Буду вкруг тебя летать;
На груди твоей под дымкой
Тайны прелести лобзать;
Стану всюду развевать
Легким уст прикосновеньем,
Как зефира дуновеньем,
От каштановых волос
Тонкий запах свежих роз.
Если лилия листами
Ко груди твоей прильнет,
Если яркими лучами
В камельке огонь блеснет,
Если пламень потаенный
По ланитам пробежал,
Если пояс сокровенный
Развязался и упал,—
Улыбнися, друг бесценный,
Это я! — Когда же ты,
Сном закрыв прелестны очи,
Обнажишь во мраке ночи
Роз и лилий красоты,
Я вздохну... и глас мой томный,
Арфы голосу подобный,
Тихо в воздухе умрет.
Если ж легкими крилами
Сон глаза твои сомкнет,
Я невидимо с мечтами
Стану плавать над тобой.
Сон твой, Хлоя, будет долог...
Но когда блеснет сквозь полог
Луч денницы золотой,
Ты проснешься... о блаженство!
Я увижу совершенство...
Тайны прелести красот,
Где сам пламенный Эрот
Оттенил рукой своею
Розой девственну лилею.
Всё опять в моих глазах!
Все покровы исчезают;
Час блаженнейший!.. Но ах!
Мертвые не воскресают.

ТИБУЛЛОВА ЭЛЕГИЯ III

Из III книги

Напрасно осыпал я жертвенник цветами,
Напрасно фимиам курил пред алтарями;
Напрасно: Делии еще с Тибуллом нет.
Бессмертны! слышали вы скромный мой обет!
Молил ли вас когда о почестях и злате?
Желал ли обитать во мраморной палате?
К чему мне пажитей обширная земля,
Златыми класами венчанные поля
И стадо кобылиц, рабами охраненно?
О бедности молил, с тобою разделенной!
Молил, чтоб смерть меня застала — при тебе,
Хоть нища, но с тобой!.. К чему желать себе
Богатства Азии или волов дебелых?
Ужели более мы дней сочтем веселых
В садах и в храминах, где дивный ряд столбов
Иссечен хитростью наемных пришлецов;
Где все один порфир Тенера и Кариста,
Помосты мраморны и урны злата чиста;
Луга пространные, где силою трудов
Легла священна тень от кедровых лесов?
К чему эритрские жемчужины бесценны
И руны Тирские, багрянцем напоенны?
В богатстве ль счастие? В нем призрак, тщетный вид!
Мудрец от Лар своих за златом не бежит;
Колен пред случаем вовек не преклоняет
И в хижине своей с фортуной обитает!
И бедность, Делия, мне радостна с тобой!
Тот кров соломенный, Тибуллу золотой,
Под коим, сопряжен любовию с тобою,
Стократ благословен!.. Но если предо мною
Бессмертные весов судьбы не преклонят —
Утешит ли тогда сей Рим, сей пышный град?
Ах! нет! — и золото блестящего Пактола,
И громкий славы шум, и самый блеск престола
Без Делии — ничто, а с ней и куща — храм,
Безвестность, нищета завидны небесам!
О дочь Сатурнова! услышь мое моленье!
И ты, любови мать! Когда же Парк сужденье,
Когда суровых сестр противно веретено

И Делией владеть Тибуллу не дано,
Пускай теперь сойду во области Плутона,
Где блата топкие и воды Ахерона
Широкой цепию вкруг ада облежат,
Где беспробудным сном печальны тени спят.

МОЙ ГЕНИЙ

О, память сердца! ты сильней
Рассудка памяти печальной
И часто сладостью своей
Меня в стране пленяешь дальной.
Я помню голос милых слов,
Я помню очи голубые,
Я помню локоны златые
Небрежно вьющихся власов.
Моей пастушки несравненной
Я помню весь наряд простой,
И образ милой, незабвенной
Повсюду странствует со мной.
Хранитель гений мой — любовью
В утеху дан разлуке он:
Засну ль? приникнет к изголовью
И усладит печальный сон.

ДРУЖЕСТВО

Блажен, кто друга здесь по сердцу обретает,
Кто любит и любим чувствительной душой!
Тезей на берегах Коцита не страдает,
С ним друг его души, с ним верный Пирифой.
Атридов сын в цепях, но зависти достоин!
С ним друг его Пилад... под лезвеем мечей.
А ты, младый Ахилл, великодушный воин,
Бессмертный образец героев и друзей!
Ты дружбою велик, ты ей дышал одною!
И, друга смерть отмстив бестрепетной рукою,
Счастлив! ты мертв упал на гибельный трофей!

ТЕНЬ ДРУГА

Sunt aliquid manes: letum
non omnia finit;
Luridaque evictos effugit
umbra rogos.
Propert *

Я берег покидал туманный Альбиона:
Казалось, он в волнах свинцовых утопал.
За кораблем вилася Гальциона,
И тихий глас ее пловцов увеселял.
Вечерний ветр, валов плесканье,
Однообразный шум и трепет парусов,
И кормчего на палубе взыванье
Ко страже, дремлющей под говором валов,—
Всё сладкую задумчивость питало.
Как очарованный, у мачты я стоял
И сквозь туман и ночи покрывало
Светила Севера любезного искал.
Вся мысль моя была в воспоминанье
Под небом сладостным отеческой земли,
Но ветров шум и моря колыханье
На вежды томное забвенье навели.
Мечты сменялися мечтами,
И вдруг... то был ли сон?.. предстал товарищ мне,
Погибший в роковом огне
Завидной смертию над Плейсскими струями.
Но вид не страшен был; чело
Глубоких ран не сохраняло,
Как утро майское, веселием цвело
И все небесное душе напоминало.
«Ты ль это, милый друг, товарищ лучших дней!
Ты ль это? — я вскричал,— о воин вечно милый!
Не я ли над твоей безвременной могилой,
При страшном зареве Беллониных огней,
Не я ли с верными друзьями
Мечом на дереве твой подвиг начертал
И тень в небесную отчизну провождал
С мольбой, рыданьем и слезами?
Тень незабвенного! ответствуй, милый брат!

---

* Души усопших — не призрак: смертью не все кончается;
Бледная тень ускользает, победив костер.

Пропер<ций> (лат.)

Или протекшее все было сон, мечтанье;
Всё, всё, и бледный труп, могила и обряд,
Свершенный дружбою в твое воспоминанье?
О! молви слово мне! пускай знакомый звук
Еще мой жадный слух ласкает,
Пускай рука моя, о незабвенный друг!
Твою с любовию сжимает...»
И я летел к нему... Но горний дух исчез
В бездонной синеве безоблачных небес,
Как дым, как метеор, как призрак полуночи,
И сон покинул очи.

Всё спало вкруг меня под кровом тишины.
Стихии грозные казалися безмолвны.
При свете облаком подернутой луны
Чуть веял ветерок, едва сверкали волны,
Но сладостный покой бежал моих очей,
И всё душа за призраком летела,
Все гостя горнего остановить хотела:
Тебя, о милый брат! о лучший из друзей!

ТИБУЛЛОВА ЭЛЕГИЯ XI

Из I книги
Вольный перевод

Кто первый изострил железный меч и стрелы?
Жестокий! он изгнал в безвестные пределы
Мир сладостный и в ад открыл обширный путь!
Но он виновен ли, что мы на ближних грудь
За золото, за прах железо устремляем,
А не чудовищей им диких поражаем?
Когда на пиршествах стоял сосуд святой
Из буковой коры меж утвари простой
И стол был отягчен избытком сельских брашен,—
Тогда не знали мы щитов и твердых башен,
И пастырь близ овец спокойно засыпал;
Тогда бы дни мои я радостьми считал!
Тогда б не чувствовал невольно трепетанье
При гласе бранных труб! О тщетное мечтанье!
Я с Марсом на войне; быть может, лук тугой
Натянут на меня пернатою стрелой...

О боги! сей удар вы мимо пронесите,
Вы, Лары отчески, от гибели спасите!

О вы, хранившие меня в тени своей,
В беспечности златой от колыбельных дней,
Не постыдитеся, что лик богов священный,
Иссеченный из пня и пылью покровенный,
В жилище праотцев уединен стоит!
Не знали смертные ни злобы, ни обид,
Ни клятв нарушенных, ни почестей, ни злата,
Когда священный лик домашнего пената
Еще скудельный был на пепелище их!
Он благодатен нам, когда из чаш простых
Мы учиним пред ним обильны возлиянья
Иль на чело его, в знак мирного венчанья,
Возложим мы венки из миртов и лилей;
Он благодатен нам, сей мирный бог полей,
Когда на празднествах, в дни майские веселы,
С толпою чад своих, оратай престарелый
Опресноки ему священны принесет,
А девы красные — из улья чистый мед.
Спасите ж вы меня, отеческие боги,
От копий, от мечей! Вам дар несу убогий:
Кошницу полную Церериных даров,
А в жертву — сей овен, краса моих лугов.
Я сам, увенчанный и в ризы облаченный,
Явлюсь наутрие пред ваш алтарь священный.
Пускай, скажу, в полях неистовый герой,
Обрызган кровию, выигрывает бой;
А мне — пусть благости сей буду я достоин —
О подвигах своих расскажет древний воин,
Товарищ юности; и, сидя за столом,
Мне лагерь начертит веселых чаш вином.
Почто же вызывать нам смерть из царства тени,
Когда в подземный дом везде равны ступени?
Она, как тать в ночи, невидимой стопой,
Но быстро гонится, и всюду за тобой!
И низведет тебя в те мрачные вертепы,
Где лает адский пес, где фурии свирепы
И кормчий в челноке на Стиксовых водах.
Там теней бледный полк толпится на брегах,
Власы обожжены и впалы их ланиты!..
Хвала, хвала тебе, оратай домовитый!
Твой вечереет век средь счастливой семьи;
Ты сам, в тени дубрав, пасешь стада свои;
Супруга между тем трапéзу учреждает,
Для омовенья ног сосуды нагревает
С кристальною водой. О боги! если б я

Узрел еще мои родительски поля!
У светлого огня, с подругою младою,
Я б юность вспомянул за чашей круговою,
И были, и дела давно протекших дней!

Сын неба! светлый Мир! ты сам среди полей
Вола дебелого ярмом отягощаешь!
Ты благодать свою на нивы проливаешь,
И в отческий сосуд, наследие сынов,
Лиешь багряный сок из Вакховых даров.
В дни мира острый плуг и заступ нам священны,
А меч, кровавый меч, и шлемы оперенны
Снедает ржавчина безмолвно на стенах.
Оратай из лесу там едет на волах
С женою и с детьми, вином развеселенный!
Дни мира, вы любви игривой драгоценны!
Под знаменем ее воюем с красотой.
Ты плачешь, Ливия? Но победитель твой,
Смотри! — у ног твоих колена преклоняет.
Любовь коварная украдкой подступает,
И вот уже средь вас, размолвивших, сидит!
Пусть молния богов бесщадно поразит
Того, кто красоту обидел на сраженьи!
Но счастлив, если мог в минутном исступленьи
Венок на волосах каштановых измять
И пояс невзначай у девы развязать!
Счастлив, трикрат счастлив, когда твои угрозы
Исторгли из очей любви бесценны слезы!
А ты, взлелеянный средь копий и мечей,
Беги, кровавый Марс, от наших олтарей!

ВЕСЕЛЫЙ ЧАС

Вы, други, вы опять со мною
Под тенью тополей густою,
С златыми чашами в руках,
С любовью, с дружбой на устах!

Други! сядьте и внемлите
Музы ласковой совет.
Вы счастливо жить хотите
На заре весенних лет?
Отгоните призрак славы!
Для веселья и забавы

Сейте розы на пути:
Скажем юности: лети!
Жизнью дай лишь насладиться,
Полной чашей радость пить;
Ах! не долго веселиться
И не веки в счастье жить!

Но вы, о други, вы со мною
Под тенью тополей густою,
С златыми чашами в руках,
С любовью, с дружбой на устах.

Станем, други, наслаждаться,
Станем розами венчаться;
Лиза! сладко пить с тобой,
С нимфой резвой и живой!
Ах! обнимемся руками,
Съединим уста с устами,
Души в пламени сольем,
То воскреснем, то умрем!..

Вы ль, други милые, со мною,
Под тенью тополей густою,
С златыми чашами в руках,
С любовью, с дружбой на устах?

Я, любовью упоенный,
Вас забыл, мои друзья,
Как сквозь облак вижу темный
Чаши золотой края!..
Лиза розою пылает,
Грудь любовию полна,
Улыбаясь, наливает
Чашу светлого вина.
Мы потопим горесть нашу,
Други! в эту полну чашу,
Выпьем разом и до дна
Море светлого вина!

Друзья! уж месяц над рекою,
Почили рощи сладким сном:
Но нам ли здесь искать покою
С любовью, с дружбой и вином?
О радость! радость! Вакх веселой
Толпу утех сзывает к нам;
А тут в одежде легкой, белой

Эрато гимн поет друзьям:
«Часы крилаты! не летите,
И счастье мигом хоть продлите!»
Увы! бегут счастливы дни,
Бегут, летят стрелой они!
Ни лень, ни счастья наслажденья
Не могут их сдержать стремленья,
И время сильною рукой
Погубит радость и покой,
Луга веселые зелены,
Ручьи кристальные и сад,
Где мшисты дубы, древни клены
Сплетают вечну тень прохлад;
Ужель вас зреть не буду боле?
Ужели там, на ратном поле,
Судил мне рок сном вечным спать?
Свирель и чаша золотая
Там будут в прахе истлевать;
Покроет их трава густая,
Покроет, и ничьей слезой
Забвенный прах не окропится...
Заране должно ли крушиться?
Умру, и все умрет со мной!..
Но вы еще, друзья, со мною
Под тенью тополей густою,
С златыми чашами в руках,
С любовью, с дружбой на устах.

В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ N.

О ты, которая была
Утех и радостей душою!
Как роза некогда цвела
Небесной красотою;
Теперь оставлена, печальна и одна,
Сидя смиренно у окна,
Без песней, без похвал встречаешь день рожденья;
Прими от дружества сердечны сожаленья,
Прими и сердце успокой.
Что потеряла ты? Льстецов бездушных рой,
Пугалищей ума, достоинства и нравов,
Судей безжалостных, докучливых нахалов.
Один был нежный друг... и он еще с тобой!

ПРОБУЖДЕНИЕ

Зефир последний свеял сон
С ресниц, окованных мечтами,
Но я — не к счастью пробужден
Зефира тихими крилами.
Ни сладость розовых лучей
Предтечи утреннего Феба,
Ни кроткий блеск лазури неба,
Ни запах, веющий с полей,
Ни быстрый лет коня ретива
По скату бархатных лугов,
И гончих лай, и звон рогов
Вокруг пустынного залива —
Ничто души не веселит,
Души, встревоженной мечтами,
И гордый ум не победит
Любви — холодными словами.

РАЗЛУКА

Напрасно покидал страну моих отцов,
Друзей души, блестящие искусства
И в шуме грозных битв, под тению шатров
Старался усыпить встревоженные чувства.
Ах! небо чуждое не лечит сердца ран!
Напрасно я скитался
Из края в край, и грозный океан
За мной роптал и волновался;
Напрасно от брегов пленительных Невы
Отторженный судьбою,
Я снова посещал развалины Москвы,
Москвы, где я дышал свободою прямою!
Напрасно я спешил от северных степей,
Холодным солнцем освещенных,
В страну, где Тирас бьет излучистой струей,
Сверкая между гор, Церерой позлащенных,
И древние поит народов племена.
Напрасно: всюду мысль преследует одна
О милой, сердцу незабвенной,
Которой имя мне священно,
Которой взор один лазоревых очей
Все — неба на земле блаженства отверзает,
И слово, звук один, прелестный звук речей,
Меня мертвит и оживляет.

ТАВРИДА

Друг милый, ангел мой! сокроемся туда,
Где волны кроткие Тавриду омывают
И Фебовы лучи с любовью озаряют
Им древней Греции священные места.
Мы там, отверженные роком,
Равны несчастием, любовию равны,
Под небом сладостным полуденной страны
Забудем слезы лить о жребии жестоком;
Забудем имена Фортуны и честей.
В прохладе ясеней, шумящих над лугами,
Где кони дикие стремятся табунами
На шум студеных струй, кипящих под землей,
Где путник с радостью от зноя отдыхает
Под говором древес, пустынных птиц и вод;
Там, там нас хижина простая ожидает.
Домашний ключ, цветы и сельский огород.
Последние дары Фортуны благосклонной.
Вас пламенны сердца приветствуют стократ!
Вы краше для любви и мраморных палат
Пальмиры Севера огромной!
Весна ли красная блистает средь полей,
Иль лето знойное палит иссохши злаки,
Иль, урну хладную вращая, Водолей
Валит шумящий дождь, седый туман и мраки,—
О радость! Ты со мной встречаешь солнца свет
И, ложе счастия с денницей покидая,
Румяна и свежа, как роза полевая,
Со мною делишь труд, заботы и обед.
Со мной в час вечера, под кровом тихой ночи
Со мной, всегда со мной; твои прелестны очи
Я вижу, голос твой я слышу, и рука
В твоей покоится всечасно.
Я с жаждою ловлю дыханье сладострастно
Румяных уст, и если хоть слегка
Летающий Зефир власы твои развеет
И взору обнажит снегам подобну грудь,
Твой друг не смеет и вздохнуть:
Потупя взор, дивится и немеет.

СУДЬБА ОДИССЕЯ

Средь ужасов земли и ужасов морей
Блуждая, бедствуя, искал своей Итаки
Богобоязненный страдалец Одиссей;
Стопой бестрепетной сходил Аида в мраки;
Харибды яростной, подводной Сциллы стон
Не потрясли души высокой.
Казалось, победил терпеньем рок жестокой
И чашу горести до капли выпил он;
Казалось, небеса карать его устали
И тихо сонного домчали
До милых родины давно желанных скал.
Проснулся он: и что ж? отчизны не познал.

ПОСЛЕДНЯЯ ВЕСНА

В полях блистает Май веселый!
Ручей свободно зажурчал,
И яркий голос Филомелы
Угрюмый бор очаровал:
Всё новой жизни пьет дыханье!
Певец любви, лишь ты уныл!
Ты смерти верной предвещанье
В печальном сердце заключил;
Ты бродишь слабыми стопами
В последний раз среди полей,
Прощаясь с ними и с лесами
Пустынной родины твоей.
«Простите, рощи и долины,
Родные реки и поля!
Весна пришла, и час кончины
Неотразимой вижу я!
Так! Эпидавра прорицанье
Вещало мне: «В последний раз
Услышишь горлиц воркованье
И Гальционы тихий глас;
Зазеленеют гибки лозы,
Поля оденутся в цветы,
Там первые увидишь розы
И с ними вдруг увянешь ты.

Уж близок час... Цветочки милы,
К чему так рано увядать?
Закройте памятник унылый,
Где прах мой будет истлевать;
Закройте путь к нему собою
От взоров дружбы навсегда.
Но если Делия с тоскою
К нему приблизится, тогда
Исполните благоуханьем
Вокруг пустынный небосклон
И томным листьев трепетаньем
Мой сладко очаруйте сон!»
В полях цветы не увядали,
И Гальционы в тихой час
Стенанья рощи повторяли;
А бедный юноша... погас!
И дружба слез не уронила
На прах любимца своего;
И Делия не посетила
Пустынный памятник его,
Лишь пастырь в тихий час денницы,
Как в поле стадо выгонял,
Унылой песнью возмущал
Молчанье мертвое гробницы.

К Г<НЕДИ>ЧУ

Только дружба обещает
Мне бессмертия венок;
Он приметно увядает,
Как от зноя василек.
Мне оставить ли для славы
Скромную стезю забавы? —
Путь к забавам проложен,
К славе тесен и мудрен!
Мне ль за призраком гоняться,
Лавры с скукой собирать?
Я умею наслаждаться,
Как ребенок всем играть,
И счастлив!.. Доселъ цветами
Путь ко счастью устилал,
Пел, мечтал, подчас стихами

Горесть сердца услаждал.
Пел от лени и досуга;
Муза мне была подруга;
Не был ей порабощен.
А теперь — весна, как сон
Легкокрылый, исчезает
И с собою увлекает
Прелесть песней и мечты!
Нежны мирты и цветы,
Чем прелестницы венчали
Юного певца,— завяли!
Ах! ужели наградит
Слава счастия утрату
И ко дней моих закату
Как нарочно прилетит?

К Д<АШКО>ВУ

Мой друг! я видел море зла
И неба мстительного кары;
Врагов неистовых дела,
Войну и гибельны пожары.
Я видел сонмы богачей,
Бегущих в рубищах издранных;
Я видел бледных матерей,
Из милой родины изгнанных!
Я на распутье видел их,
Как, к персям чад прижав грудных,
Они в отчаяньи рыдали
И с новым трепетом взирали
На небо рдяное кругом.
Трикраты с ужасом потом
Бродил в Москве опустошенной,
Среди развалин и могил;
Трикраты прах ее священной
Слезами скорби омочил.
И там — где зданья величавы
И башни древние царей,
Свидетели протекшей славы
И новой славы наших дней;
И там — где с миром почивали
Останки иноков святых
И мимо веки протекали,

Святыни не касаясь их;
И там,— где роскоши рукою,
Дней мира и трудов плоды,
Пред златоглавою Москвою
Воздвиглись храмы и сады,—
Лишь угли, прах и камней горы,
Лишь груды тел кругом реки,
Лишь нищих бледные полки
Везде мои встречали взоры!..
А ты, мой друг, товарищ мой,
Велишь мне петь любовь и радость,
Беспечность, счастье и покой
И шумную за чашей младость!
Среди военных непогод,
При страшном зареве столицы,
На голос мирныя цевницы
Сзывать пастушек в хоровод!
Мне петь коварные забавы
Армид и ветреных Цирцей
Среди могил моих друзей,
Утраченных на поле славы!..
Нет, нет! талант погибни мой
И лира, дружбе драгоценна,
Когда ты будешь мной забвенна,
Москва, отчизны край златой!
Нет, нет! пока на поле чести
За древний град моих отцов
Не понесу я в жертву мести
И жизнь, и к родине любовь;
Пока с израненным героем,
Кому известен к славе путь,
Три раза не поставлю грудь
Перед врагов сомкнутым строем,—
Мой друг, дотоле будут мне
Все чужды Музы и Хариты,
Венки, рукой любови свиты,
И радость шумная в вине!

ИСТОЧНИК

Буря умолкла, и в ясной лазури
Солнце явилось на западе нам;
Мутный источник, след яростной бури,

С ревом и шумом бежит по полям!
Зафна! Приближься: для девы невинной
Пальмы под тенью здесь роза цветет;
Падая с камня, источник пустынной
С ревом и пеной сквозь дебри течет!

Дебри ты, Зафна, собой озарила!
Сладко с тобою в пустынных краях!
Песни любови ты мне повторила;
Ветер унес их на тихих крылах!
Голос твой, Зафна, как утра дыханье,
Сладостно шепчет, несясь по цветам:
«Тише, источник! Прерви волнованье,
С ревом и с пеной стремясь по полям!»

Голос твой, Зафна, в душе отозвался;
Вижу улыбку и радость в очах!..
Дева любви! — я к тебе прикасался,
С медом пил розы на влажных устах!
Зафна краснеет?.. О друг мой невинной,
Тихо прижмися устами к устам!..
Будь же ты скромен, источник пустынной,
С ревом и с шумом стремясь по полям!

Чувствую персей твоих волнованье,
Сердца биенье и слезы в очах;
Сладостно девы стыдливой роптанье!
Зафна, о Зафна!.. смотри... там, в водах,
Быстро несется цветок розмаринный;
Воды умчались — цветочка уж нет!
Время быстрее, чем ток сей пустынный,
С ревом который сквозь дебри течет!

Время погубит и прелесть, и младость!..
Ты улыбнулась, о дева любви!
Чувствуешь в сердце томленье и сладость,
Сильны восторги и пламень в крови!..
Зафна, о Зафна! — там голубь невинной
С страстной подругой завидуют нам...
Вздохи любови — источник пустынной
С ревом и с шумом умчит по полям!

НА СМЕРТЬ СУПРУГИ Ф. Ф. К<ОКОШКИ>НА

Nell'età sua più bella, e più fiorita...
...E viva, e bella al ciel salita.
Petrarca *

Нет подруги нежной, нет прелестной Лилы!
Все осиротело!
Плачь, любовь и дружба, плачь, Гимен унылый!
Счастье улетело!

Дружба! ты всечасно радости цветами
Жизнь ее дарила;
Ты свою богиню с воплем и слезами
В землю положила.

Ты печальны тисы, кипарисны лозы
Насади вкруг урны!
Пусть приносит юность в дар чистейший слезы
И цветы лазурны!

Все вокруг уныло! Чуть Зефир весенний
Памятник лобзает;
Здесь, в жилище плача, тихий смерти гений
Розу обрывает.

Здесь Гимен, прикован, бледный и безгласный,
Вечною тоскою,
Гасит у гробницы свой светильник ясный
Трепетной рукою!

ПЛЕННЫЙ

В местах, где Рона протекает
По бархатным лугам,
Где мирт душистый расцветает,
Склонясь к ее водам,
Где на горах роскошно зреет

---

* В своем самом прекрасном, самом цветущем возрасте...
...И живой, и прекрасной на небо взошла.
Петрарка (ит.).

Янтарный виноград,
Златый лимон на солнце рдеет
И яворы шумят,—

В часы вечерния прохлады
Любуяся рекой,
Стоял, склоня на Рону взгляды
С глубокою тоской,
Добыча брани, русской пленный,
Придонских честь сынов,
С полей победы похищенный
Один толпой врагов.

«Шуми,— он пел,— волнами, Рона,
И жатвы орошай,
Но плеском волн — родного Дона
Мне шум напоминай!
Я в праздности теряю время,
Душою в людстве сир;
Мне жизнь — не жизнь, без славы — бремя,
И пуст прекрасный мир!

Весна вокруг живит природу,
Яснеет солнца свет,
Все славит счастье и свободу,
Но мне свободы нет!
Шуми, шуми волнами, Рона,
И мне воспоминай
На берегах родного Дона
Отчизны милый край!

Здесь прелесть — сельские девицы!
Их взор огнем горит
И сквозь потупленны ресницы
Мне радости сулит.
Какие радости в чужбине?
Они в родных краях;
Они цветут в моей пустыне,
И в дебрях, и в снегах.

Отдайте ж мне мою свободу!
Отдайте край отцов,
Отчизны вьюги, непогоду,
На родине мой кров,
Покрытый в зиму ярким снегом!

Ах! дайте мне коня;
Туда помчит он быстрым бегом
И день и ночь меня!

На родину, в сей терем древний,
Где ждет меня краса
И под окном в часы вечерни
Глядит на небеса;
О друге тайно помышляет...
Иль робкою рукой
Коня ретивого ласкает,
Тебя, соратник мой!

Шуми, шуми волнами, Рона,
И жатвы орошай;
Но плеском волн — родного Дона
Мне шум напоминай!
О ветры, с полночи летите
От родины моей,
Вы, звезды севера, горите
Изгнаннику светлей!» —

Так пел наш пленник одинокой
В виду Лионских стен,
Где юноше судьбой жестокой
Назначен долгий плен,
Он пел — у ног сверкала Рона,
В ней месяц трепетал,
И на златых верхах Лиона
Луч солнца догорал.

ГЕЗИОД И ОМИР, СОПЕРНИКИ

Посвящено
А<лексею> Н<иколаевичу>
О<ленину>, любителю древности

Народы, как волны, в Халкиду текли,
Народы счастливой Эллады!
Там сильный владыка, над прахом отца
Оконча печальны обряды,
Ристалище славы бойцам отверзал.
Три раза с румяной денницей
Бойцы выступали с бойцами на бой;

Три раза стремили возницы
Коней легконогих по звонким полям;
И трижды владетель Халкиды
Достойным оливны венки раздавал,
Но солнце на лоно Фетиды
Склонялось, и новый готовился бой.—
Очистите поле, возницы!
Спешите! Залейте студеной струей
Пылающи оси и спицы;
Коней отрешите от тягостных уз
И в стойлы прохладны ведите;
Вы, пылью и потом покрыты бойцы,
При пламени светлом вздохните.
Внемлите, народы, Эллады сыны,
Высокие песни внемлите!

Пройдя из края в край гостеприимный мир,
Летами древними и роком удрученный,
Здесь песней царь, Омир,
И юный Гезиод, Каменам драгоценный,
Вступают в славный бой.
Колебля ма́слину священную рукой,
Певец Аскреи гимн высокой начинает
(Он с лирой никогда свой глас не сочетает):

Гезиод

Безвестный юноша, с стадами я бродил
Под тенью пальмовой близ чистой Ипокрены;
Там пастыря нашли прелестные Камены,
И я в обитель их священную вступил.

Омир

Мне снилось в юности: орел-громометатель
От Мелеса меня играючи унес
На край земли, на край небес,
Вещая: ты земли и неба обладатель.

Гезиод

Там лавры хижину простую осенят,
В пустынях процветут Темпейские долины,
Куда вы бросите свой благотворный взгляд,
О нежны дочери суровой Мнемозины!

Омир

Хвала отцу богов! Как ясный свод небес
Над царством высится плачевного Эреба,

Как радостный Олимп стоит превыше неба,—
Так выше всех богов властитель их, Зевес!..

Гезиод

В священном сумраке, в сиянии Дианы,
Вы, Музы, любите сплетаться в хоровод
Или, торжественный в Олимп свершая ход,
С бессмертными вкушать напиток Гебы рьяный...

Омир

Не знает смерти он: кровь алая тельцов
Не брызнет под ножом над Зевсовой гробницей;
И кони бурные со звонкой колесницей
Пред ней не будут прах крутить до облаков.

Гезиод

А мы, все смертные, все Паркам обреченны,
Увидим области подземного Царя,
И реки спящие, Тенаром заключенны,
Не льющи дань свою в бездонные моря.

Омир

Я приближаюся к мете сей неизбежной.
Внемли, о юноша! Ты пел Труды и Дни...
Для старца ветхого уж кончились они!

Гезиод

Сын дивный Мелеса! И лебедь белоснежной
На синем Стримоне, провидя страшный час,
Не слаще твоего поет в последний раз!
Твой гений проницал в Олимп: и вечны боги
Отверзли для тебя заоблачны чертоги.
И что ж? В юдоли сей страдалец искони,
Ты роком обречен в печалях кончить дни.
Певец божественный, скитаяся, как нищий,
В печальном рубище, без крова и без пищи,
Слепец всевидящий! ты будешь проклинать
И день, когда на свет тебя родила мать!

Омир

Твой глас подобится амврозии небесной,
Что Геба юная сапфирной чашей льет.
Певец! в устах твоих поэзии прелестной
Сладчайший Ольмия благоухает мед.

Но... Муз любимый жрец!..
страшись руки злодейской,
Страшись любви, страшись Эвбеи берегов;
Твой близок час: увы! тебя Зевес Немейской
Как жертву славную готовит для врагов.

Умолкли. Облако печали
Покрыло очи их... народ рукоплескал.
Но снова сладкий бой поэты начинали
При шуме радостных похвал.
Омир, возвыся глас, воспел народов брани,
Народов, гибнущих по прихоти царей;
Приама древнего, с мольбой несуща дани
Убийце грозному и кровных, и детей;
Мольбу смиренную и быструю Обиду,
Харит и легких Ор и страшную Эгиду,
Нептуна области, Олимп и дикий Ад.
А юный Гезиод, взлелеянный Парнасом,
С чудесной прелестью воспел веселым гласом
Весну зеленую, сопутницу Гиад:
Как Феб торжественно вселенну обтекает,
Как дни и месяцы родятся в небесах;
Как нивой золотой Церера награждает
Труды годичные оратая в полях;
Заботы сладкие при сборе винограда;
Тебя, желанный Мир, лелеятель долин,
Благословенных сел, и пастырей, и стада,
Он пел. И слабый царь, Халкиды властелин,
От самой юности воспитанный средь мира,
Презрел высокий гимн бессмертного Омира
И пальму первенства сопернику вручил.
Счастливый Гезиод в награду получил
За песни, мирною Каменой вдохновенны,
Сосуды сребряны, треножник позлащенный
И черного овна, красу веселых стад.
За ним, пред ним сыны ахейские, как волны,
На край ристалища обширного спешат,
Где победитель сам, благоговенья полный,
При возлияниях, овна младую кровь
Довременно богам подземным посвящает,
И Музам светлые сосуды предлагает,
Как дар, усердный дар певца, за их любовь.
До самой старости преследуемый роком,
Но духом царь, не раб разгневанной судьбы,
Омир скрывается от суетной толпы,

Снедая грусть свою в молчании глубоком.
Рожденный в Самосе убогий сирота
Слепца из края в край, как сын усердный, водит,
Он с ним пристанища в Элладе не находит;
И где найдут его талант и нищета?

К ДРУГУ

Скажи, мудрец младой, что прочно на земли?
Где постоянно жизни счастье?
Мы область призраков обманчивых прошли,
Мы пили чашу сладострастья:

Но где минутный шум веселья и пиров?
В вине потопленные чаши?
Где мудрость светская сияющих умов?
Где твой Фалерн и розы наши?

Где дом твой, счастья дом?.. Он в буре бед исчез,
И место поросло крапивой.
Но я узнал его: я сердца дань принес
На прах его красноречивой.

На нем, когда окрест замолкнет шум градской
И яркий Веспер засияет
На темном севере,— твой друг в тиши ночной
В душе задумчивость питает.

От самой юности служитель олтарей
Богини неги и прохлады,
От пресыщения, от пламенных страстей
Я сердцу в ней ищу отрады.

Поверишь ли? Я здесь, на пепле храмин сих,
Венок веселия слагаю
И часто в горести, в волненьи чувств моих,
Потупя взоры, восклицаю:

Минутны странники, мы ходим по гробам,
Все дни утратами считаем;
На крыльях радости летим к своим друзьям,—
И что ж? их урны обнимаем.

Скажи, давно ли здесь, в кругу твоих друзей,
Сияла Лила красотою?
Благие небеса, казалось, дали ей
Все счастье смертной под луною:

Нрав тихий ангела, дар слова, тонкий вкус,
Любви и очи и ланиты;
Чело открытое одной из важных Муз
И прелесть — девственной Хариты.

Ты сам, забыв и свет и тщетный шум пиров,
Ее беседой наслаждался
И в тихой радости, как путник средь песков,
Прелестным цветом любовался.

Цветок (увы!) исчез, как сладкая мечта!
Она в страданиях почила
И, с миром в страшный час прощаясь навсегда,
На друге взор остановила.

Но, дружба, может быть, ее забыла ты!..
Веселье слезы осушило,
И тень чистейшую дыханье клеветы
На лоне мира возмутило.

Так все здесь суетно в обители сует!
Приязнь и дружество непрочно! —
Но где, скажи, мой друг, прямой сияет свет?
Что вечно, чисто, непорочно?

Напрасно вопрошал я опытность веков
И Клии мрачные скрижали,
Напрасно вопрошал всех мира мудрецов:
Они безмолвьем отвечали.

Как в воздухе перо кружится здесь и там,
Как в вихре тонкий прах летает,
Как судно без руля стремится по волнам
И вечно пристани не знает,—

Так ум мой посреди сомнений погибал.
Все жизни прелести затмились:
Мой Гений в горести светильник погашал,
И Музы светлые сокрылись.

Я с страхом вопросил глас совести моей...
И мрак исчез, прозрели вежды:
И вера пролила спасительный елей
В лампаду чистую Надежды.

Ко гробу путь мой весь как солнцем озарен:
Ногой надежною ступаю
И, с ризы странника свергая прах и тлен,
В мир лучший духом возлетаю.

МЕЧТА

Подруга нежных Муз, посланница небес,
Источник сладких дум и сердцу милых слез,
Где ты скрываешься, Мечта, моя богиня?
Где тот счастливый край, та мирная пустыня,
К которым ты стремишь таинственный полет?
Иль дебри любишь ты, сих грозных скал хребет,
Где ветр порывистый и бури шум внимаешь?
Иль в Муромских лесах задумчиво блуждаешь,
Когда на западе зари мерцает луч
И хладная луна выходит из-за туч?
Или, влекомая чудесным обаяньем
В места, где дышит все любви очарованьем,
Под тенью яворов ты бродишь по холмам,
Студеной пеною Воклюза орошенным?
Явись, богиня, мне, и с трепетом священным
Коснуся я струнам,
Тобой одушевленным!
Явися! ждет тебя задумчивый пиит,
В безмолвии ночном сидящий у лампады;
Явись и дай вкусить сердечныя отрады!
Любимца твоего, любимца Аонид,
И горесть сладостна бывает:
Он в горести — *мечтает.*

То вдруг он пренесен во Сельмские леса,
Где ветр шумит, ревет гроза,
Где тень Оскарова, одетая туманом,
По небу стелется над пенным океаном;
То с чашей радости в руках
Он с бардами поет: и месяц в облаках,

И Кромлы шумный лес безмолвно им внимает,
И эхо по горам песнь звучну повторяет.
Или в полночный час
Он слышит Скальдов глас,
Прерывистый и томный.
Зрит: юноши безмолвны,
Склоняся на щиты, стоят кругом костров,
Зажженных в поле брани;
И древний Царь певцов
Простер на арфу длани.
Могилу указав, где вождь героев спит,
«Чья тень, чья тень,— гласит
В священном исступленьи,—
Там с девами плывет в туманных облаках?
Се ты, младый Иснель, иноплеменных страх,
Днесь падший на сраженьи!
Мир, мир тебе, герой!
Твоей секирою стальной
Пришельцы гордые разбиты!
Но сам ты пал на грудах тел,
Пал, витязь знаменитый,
Под тучей вражьих стрел!..
Ты пал! И над тобой посланницы небесны,
Валкирии прелестны,
На белых, как снега Биармии, конях,
С златыми копьями в руках,
В безмолвии спустились!
Коснулись до зениц копьем своим, и вновь
Глаза твои открылись!
Течет по жилам кровь
Чистейшего эфира;
И ты, бесплотный дух,
В страны безвестны мира
Летишь стрелой... и вдруг —
Открылись пред тобой те радужны чертоги,
Где уготовали для сонма храбрых боги
Любовь и вечный пир.
При шуме горних вод и тихострунных лир,
Среди полян и свежих сеней,
Ты будешь поражать там скачущих еленей
И златорогих серн».—
Склонясь на злачный дерн
С дружиною младою,
Там снова с арфой золотою
В восторге Скальд поет

О славе древних лет;
Поет, и храбрых очи,
Как звезды тихой ночи,
Утехою блестят.—
Но вечер притекает,
Час неги и прохлад,
Глас Скальда замолкает.
Замолк — и храбрых сонм
Идет в Оденов дом,
Где дочери Веристы,
Власы свои душисты
Раскинув по плечам,
Прелестницы младые,
Всегда полунагие,
На пиршества гостям
Обильны яствы носят
И пить умильно просят
Из чаши сладкий мед.—
Так древний Скальд поет,
Лесов и дебрей сын угрюмый:
Он счастлив, погрузясь о счастьи в сладки думы!

О сладкая Мечта! о неба дар благой!
Средь дебрей каменных, средь ужасов природы,
Где плещут о скалы́ Ботнические воды,
В краях изгнанников... я счастлив был тобой.
Я счастлив был, когда в моем уединеньи
Над кущей рыбаря, в час полночи немой,
Раздастся ветров свист и вой
И в кровлю застучит и град, и дождь осенний.
Тогда на крылиях Мечты
Летал я в поднебесной;
Или, забывшися на лоне красоты,
Я сон вкушал прелестной
И, счастлив наяву, был счастлив и в мечтах!

Волшебница моя! дары твои бесценны
И старцу в лета охлажденны,
С котомкой нищему и узнику в цепях.
Заклепы страшные с замками на дверях,
Соломы жесткий пук, свет бледный пепелища,
Изглоданный сухарь, мышей тюремных пища,
Сосуды глиняны с водой,
Все, все украшено тобой!..

Кто сердцем прав, того ты век не покидаешь:
За ним во все страны́ летаешь,
И счастием даришь любимца своего.
Пусть миром позабыт! что нужды для него?
Но с ним задумчивость в день пасмурный, осенний,
На мирном ложе сна
В уединенной сени
Беседует одна.
О тайных слез неизъяснима сладость!
Что пред тобой сердец холодных радость,
Веселий шум и блеск честей
Тому, кто ничего не ищет под луною,
Тому, кто сопряжен душою
С могилою давно утраченных друзей!

Кто в жизни не любил?
Кто раз не забывался,
Любя, мечтам не предавался,
И счастья в них не находил?
Кто в час глубокой ночи,
Когда невольно сон смыкает томны очи,
Всю сладость не вкусил обманчивой Мечты?
Теперь, любовник, ты
На ложе роскоши, с подругой боязливой,
Ей шепчешь о любви и пламенной рукой
Снимаешь со груди ее покров стыдливой;
Теперь блаженствуешь, и счастлив ты — Мечтой!
Ночь сладострастия тебе дает призраки,
И не́ктаром любви кропит ленивы маки.

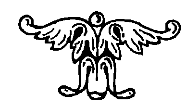
Мечтание — душа поэтов и стихов.
И едкость сильная веков
Не может прелестей лишить Анакреона;
Любовь еще горит во пламенных мечтах
Любовницы Фаона;
А ты, лежащий на цветах
Меж Нимф и сельских Граций,
Певец веселия, Гораций!
Ты сладостно мечтал,
Мечтал среди пиров и шумных и веселых
И смерть угрюмую цветами увенчал!
Как часто в Тибуре, в сих рощах устарелых,
На скате бархатных лугов,
В счастливом Тибуре, в твоем уединеньи,
Ты ждал Глицерию, и в сладостном забвеньи

Томимый негою на ложе из цветов,
При воскурении мастик благоуханных,
При пляске Нимф венчанных,
Сплетенных в хоровод,
При отдаленном шуме
В лугах журчащих вод,
Безмолвен в сладкой думе
Мечтал... и вдруг Мечтой
Восторжен сладострастной,
У ног Глицерии стыдливой и прекрасной
Победу пел любви
Над юностью беспечной,
И первый жар в крови,
И первый вздох сердечной.
Счастливец! воспевал
Цитерския забавы,
И все заботы славы
Ты ветрам отдавал!

Ужели в истинах печальных
Угрюмых стоиков и скучных мудрецов,
Сидящих в платьях погребальных
Между обломков и гробов,
Найдем мы жизни нашей сладость?
От них, я вижу, радость
Летит, как бабочка от терновых кустов,
Для них нет прелести и в прелестях природы;
Им девы не поют, сплетяся в хороводы;
Для них, как для слепцов,
Весна без радости и лето без цветов...
Увы! но с юностью исчезнут и мечтанья,
Исчезнут Граций лобызанья,
Надежда изменит — и рой крылатых снов.
Увы! там нет уже цветов,
Где тусклый опытность светильник зажигает
И время старости могилу открывает.

Но ты — пребудь верна, живи еще со мной!
Ни свет, ни славы блеск пустой,
Ничто даров твоих для сердца не заменит!
Пусть дорого глупец сует блистанье ценит,
Лобзая прах златый у мраморных палат,
Но я и счастлив и богат,
Когда снискал себе свободу и спокойство,
А от сует ушел забвения тропой!

Пусть будет навсегда со мной
Завидное поэтов свойство:
Блаженство находить в убожестве — Мечтой!
Их сердцу малость драгоценна.
Как пчелка, медом отягченна,
Летает с травки на цветок,
Считая морем — ручеек;
Так хижину свою поэт дворцом считает,
И счастлив — *он мечтает!*





Послания

МОИ ПЕНАТЫ

Послание
к Ж<уковскому> и В<яземскому>

Отечески Пенаты,
О пестуны мои!
Вы златом не богаты,
Но любите свои
Норы и темны кельи,
Где вас на новосельи
Смиренно здесь и там
Расставил по углам;
Где странник я бездомный,
Всегда в желаньях скромный,
Сыскал себе приют.
О боги! будьте тут
Доступны, благосклонны!
Не вина благовонны,
Не тучный фимиам
Поэт приносит вам,
Но слезы умиленья,
Но сердца тихий жар
И сладки песнопенья,
Богинь Пермесских дар!
О Лары! уживитесь
В обители моей,
Поэту улыбнитесь —
И будет счастлив в ней!..
В сей хижине убогой
Стоит перед окном
Стол ветхой и треногой

С изорванным сукном.
В углу, свидетель славы
И суеты мирской,
Висит полузаржавый
Меч прадедов тупой;
Здесь книги выписные,
Там жесткая постель —
Все утвари простые,
Все рухлая скудель!
Скудель!.. но мне дороже,
Чем бархатное ложе
И вазы богачей!..

Отеческие боги!
Да к хижине моей
Не сыщет ввек дороги
Богатство с суетой,
С наемною душой
Развратные счастливцы,
Придворные друзья
И бледны горделивцы,
Надутые князья!
Но ты, о мой убогой
Калека и слепой,
Идя путем-дорогой
С смиренною клюкой,
Ты смело постучися,
О воин, у меня,
Войди и обсушися
У яркого огня.
О старец, убеленный
Годами и трудом,
Трикраты уязвленный
На приступе штыком!
Двуструнной балалайкой
Походы прозвени
Про витязя с нагайкой,
Что в жупел и в огни
Летал перед полками
Как вихорь на полях,
И вкруг его рядами
Враги ложились в прах!..
И ты, моя Лилета,
В смиренный уголок
Приди под вечерок

Тайком переодета!
Под шляпою мужской
И кудри золотые,
И очи голубые,
Прелестница, сокрой!
Накинь мой плащ широкой,
Мечом вооружись
И в полночи глубокой
Внезапно постучись...
Вошла — наряд военный
Упал к ее ногам,
И кудри распущенны
Взвевают по плечам,
И грудь ее открылась
С лилейной белизной:
Волшебница явилась
Пастушкой предо мной!
И вот с улыбкой нежной
Садится у огня,
Рукою белоснежной
Склонившись на меня,
И алыми устами,
Как ветер меж листами,
Мне шепчет: «Я твоя,
Твоя, мой друг сердечной!..»
Блажен в сени беспечной,
Кто милою своей,
Под кровом от ненастья,
На ложе сладострастья,
До утренних лучей
Спокойно обладает,
Спокойно засыпает
Близ друга сладким сном!

Уже потухли звезды
В сиянии дневном,
И пташки теплы гнезды,
Что свиты под окном,
Щебеча покидают
И негу отрясают
Со крылышек своих;
Зефир листы колышет,
И все любовью дышит
Среди полей моих;
Все с утром оживает,

А Лила почивает
На ложе из цветов...
И ветер тиховейной
С груди ее лилейной
Сдул дымчатый покров...
И в локоны златые
Две розы молодые
С нарциссами вплелись;
Сквозь тонкие преграды
Нога, ища прохлады,
Скользит по ложу вниз...
Я Лилы пью дыханье
На пламенных устах,
Как роз благоуханье,
Как нектар на пирах!..
Покойся, друг прелестной,
В объятиях моих!
Пускай в стране безвестной,
В тени лесов густых,
Богинею слепою
Забыт я от пелен,
Но дружбой и тобою
С избытком награжден!
Мой век спокоен, ясен;
В убожестве с тобой
Мне мил шалаш простой,
Без злата мил и красен
Лишь прелестью твоей!

Без злата и честей
Доступен добрый Гений
Поэзии святой,
И часто в мирной сени
Беседует со мной.
Небесно вдохновенье,
Порыв крылатых дум!
(Когда страстей волненье
Уснет... и светлый ум,
Летая в поднебесной,
Земных свободен уз,
В Аонии прелестной
Сретает хоры Муз!)
Небесно вдохновенье,
Зачем летишь стрелой
И сердца упоенье

Уносишь за собой? —
До розовой денницы
В отрадной тишине,
Парнасские царицы,
Подруги будьте мне!
Пускай веселы тени
Любимых мне певцов,
Оставя тайны сени
Стигийских берегов
Иль области эфирны,
Воздушною толпой
Слетят на голос лирный
Беседовать со мной!..
И мертвые с живыми
Вступили в хор един!..
Что вижу? ты пред ними,
Парнасский исполин,
Певец героев, славы,
Вслед вихрям и громам,
Наш лебедь величавый,
Плывешь по небесам.
В толпе и Муз, и Граций,
То с лирой, то с трубой,
Наш Пиндар, наш Гораций
Сливает голос свой.
Он громок, быстр и силен,
Как Суна средь степей,
И нежен, тих, умилен,
Как вешний соловей.
Фантазии небесной
Давно любимый сын,
То повестью прелестной
Пленяет Карамзин,
То мудрого Платона
Описывает нам
И ужин Агатона,
И наслажденья храм,
То древню Русь и нравы
Владимира времян
И в колыбели славы
Рождение славян.
За ними Сильф прекрасной,
Воспитанник Харит,
На цитре сладкогласной
О Душеньке бренчит;

Мелецкого с собою
Улыбкою зовет
И с ним, рука с рукою,
Гимн радости поет!..
С Эротами играя,
Философ и пиит,
Близ Федра и Пильпая
Там Дмитриев сидит;
Беседуя с зверями,
Как счастливый дитя,
Парнасскими цветами
Скрыл истину шутя.
За ним в часы свободы
Поют среди певцов
Два баловня природы,
Хемницер и Крылов.
Наставники-пииты,
О Фебовы жрецы!
Вам, вам плетут Хариты
Бессмертные венцы!
Я вами здесь вкушаю
Восторги Пиерид,
И в радости взываю:
О Музы! я пиит!

А вы, смиренной хаты
О Лары и Пенаты!
От зависти людской
Мое сокройте счастье,
Сердечно сладострастье
И негу и покой!
Фортуна, прочь с дарами
Блистательных сует!
Спокойными очами
Смотрю на твой полет:
Я в пристань от ненастья
Челнок мой проводил
И вас, любимцы счастья,
Навеки позабыл...
Но вы, любимцы славы,
Наперсники забавы,
Любви и важных муз,
Беспечные счастливцы,
Философы-ленивцы,
Враги придворных уз,

Друзья мои сердечны!
Придите в час беспечный
Мой домик навестить —
Поспорить и попить!
Сложи печалей бремя,
Ж<уковский> добрый мой!
Стрелою мчится время,
Веселие стрелой!
Позволь же дружбе слезы
И горесть усладить
И счастья блеклы розы
Эротам оживить.
О В<яземский>! цветами
Друзей твоих венчай.
Дар Вакха перед нами:
Вот кубок — наливай!
Питомец Муз надежный,
О Аристиппов внук!
Ты любишь песни нежны
И рюмок звон и стук!
В час неги и прохлады
На ужинах твоих
Ты любишь томны взгляды
Прелестниц записных.
И все заботы славы,
Сует и шум, и блажь
За быстрый миг забавы
С поклонами отдашь.
О! дай же ты мне руку,
Товарищ в лени мой,
И мы... потопим скуку
В сей чаше золотой!
Пока бежит за нами
Бог времени седой
И губит луг с цветами
Безжалостной косой,
Мой друг! скорей за счастьем
В путь жизни полетим;
Упьемся сладострастьем
И смерть опередим;
Сорвем цветы украдкой
Под лезвеем косы
И ленью жизни краткой
Продлим, продлим часы!
Когда же Парки тощи

Нить жизни допрядут
И нас в обитель нощи
Ко прадедам снесут,—
Товарищи любезны!
Не сетуйте о нас,
К чему рыданья слезны,
Наемных ликов глас?
К чему сии куренья,
И колокола вой,
И томны псалмопенья
Над хладною доской?
К чему?.. Но вы толпами
При месячных лучах
Сберитесь и цветами
Усейте мирный прах;
Иль бросьте на гробницы
Богов домашних лик,
Две чаши, две цевницы
С листами повилик;
И путник угадает
Без надписей златых,
Что прах тут почивает
Счастливцев молодых!

ПОСЛАНИЕ Г<РАФУ> В<ИЕЛЬГОРСКО>МУ

О ты, владеющий гитарой Трубадура,
Эраты голосом и прелестью Амура,
Воспомни, милый граф, счастливы времена,
Когда нас юношей увидела Двина!
Когда, отвоевав под знаменем Беллоны,
Под знаменем Любви я начал воевать
И новый регламéнт, и новые законы
В глазах прелестницы читать!
Заря весны моей, тебя как не бывало!
Но сердце в той стране с любовью отдыхало,
Где я узнал тебя, мой нежный Трубадур!
Обетованный край! где ветреный Амур
Прелестным личиком любезный пол дарует,
Под дымкой на груди лилеи образует
(Какими б и у нас гордилась красота!),

Вливает томный огнь и в очи, и в уста,
А в сердце юное любви прямое чувство.
Счастливые места, где нравиться искусство
Не нужно для мужей,
Сидящих с трубками вкруг угольных огней,
За сыром выписным, за гамбургским журналом,
Меж тем как жены их, смеясь под опахалом,
«Люблю, люблю тебя!» — пришельцу говорят
И руку жмут ему коварными перстами!

О мой любезный друг! Отдай, отдай назад
Зарю прошедших дней и с прежними бедами,
С любовью и войной!
Или, волшебник мой,
Одушеви мое музы́кой песнопенье;
Вдохни огонь любви в холодные слова,
Еще отдай стихам потерянны права
И камни приводить в движенье,
И горы, и леса!
Тогда я с Сильфами взлечу на небеса
И тихо, как призра́к, как луч от неба ясной,
Спущусь на берега пологие Двины
С твоей гитарой сладкогласной:
Коснусь волшебныя струны,
Коснусь... и Нимфы гор при месячном сияньи,
Как тени легкие, в прозрачном одеяньи,
С Сильванами сойдут услышать голос мой.
Наяды робкие, всплывая над водой,
Восплещут белыми руками,
И майский ветерок, проснувшись на цветах,
В прохладных рощах и садах,
Повеет тихими крилами;
С очей прелестных дев он свеет тихий сон,
Отгонит легки сновиденья
И с тихим шепотом им скажет: «Это он!
Вы слышите его знакомы песнопенья!»

ПОСЛАНИЕ К Т<УРГЕНЕ>ВУ

О ты, который средь обедов,
Среди веселий и забав
Сберег для дружбы кроткий нрав,

Для дел — характер честный дедов!
О ты, который при дворе,
В чаду успехов или счастья,
Найти умел в одном добре
Души прямое сладострастье!
О ты, который с похорон
На свадьбы часто поспеваешь,
Но, бедного услыша стон,
Ушей не затыкаешь!
Услышь, мой верный доброхот,
Певца смиренного моленье,
Доставь крупицу от щедрот
Сироткам двум на прокормленье!
Замолви слова два за них
Красноречивыми устами:
«*Лишь дайте им!*» — промолви — вмиг
Оне очутятся с сергами.
Но кто *оне?* Скажу точь-в-точь
Всю повесть их перед тобою.
Оне — вдова и дочь,
Чета, забытая судьбою.
Жил некто в мире сем <*Поп*>*ов*,
Царя усердный воин.
Был беден. Умер. От долгов
Он следственно спокоен.
Но в мире он забыл жену
С грудным ребенком; и одну
Суму оставил им в наследство...
Но здесь не все для бедных бедство!
Им добры люди помогли
  Согрели, накормили,
И, словом, как могли,
  Сироток приютили.
Прекрасно! славно! — спору нет!
  Но... здешний свет
Не рай — мне сказывал мой дед.
Враги нахлынули рекою,
С землей сравнялася Москва...
  И бедная вдова
Опять пошла с клюкою...
А между тем все дочь растет,
И нужды с нею подрастают.
День за день все идет, идет,
Недели, месяцы мелькают;
Старушка клонится, а дочь

Пышнее розы расцветает,
И стала... Грация точь-в-точь!
Прелестный взор, глаза большие,
Румянец Флоры на щеках,
И кудри льняно-золотые
На алебастровых плечах.
Что слово молвит — то приятство,
Что ни наденет — все к лицу!
Краса (увы!) ее богатство
И все приданое к венцу,
А крохи нет насущной хлеба!
Т<ургенев>, друг наш! ради неба —
Приди на помощь красоте,
Несчастию и нищете!
Оне пред образом, конечно,
Затеплят чистую свечу,—
За чье здоровье — умолчу:
Ты угадаешь, друг сердечной!

ОТВЕТ Г<НЕДИ>ЧУ

Твой друг тебе навек отныне
С рукою сердце отдает;
Он отслужил слепой богине,
Бесплодных матери сует.
Увы, мой друг! я в дни младые
Цирцеям также отслужил,
В карманы заглянул пустые,
Покинул мирт и меч сложил.
Пускай, кто честолюбьем болен,
Бросает с Марсом огнь и гром;
Но я — безвестностью доволен
В *Сабинском* домике моем!
Там глиняны свои Пенаты
Под сенью дружней съединим,
Поставим брашны небогаты,
А дни мечтой позолотим.
И если к нам любовь заглянет
В приют, где дружбы храм святой...
Увы! твой друг не перестанет
Еще ей жертвовать собой! —
Как гость, весельем пресыщенный,

Роскошный покидает пир,
Так я, любовью упоенный,
Покину равнодушно мир!

К Ж<УКОВСКО>МУ

Прости, Балладник мой,
Белёва мирный житель!
Да будет Феб с тобой,
Наш давний покровитель!
Ты счастлив средь полей
И в хижине укромной.
Как юный соловей
В прохладе рощи темной
С любовью дни ведет,
Гнезда не покидая,
Невидимый поет,
Невидимо пленяя
Веселых пастухов
И жителей пустынных,—
Так ты, краса певцов,
Среди забав невинных
В отчизне золотой
Прелестны гимны пой!
О! пой, любимец счастья,
Пока веселы дни
И розы сладострастья
Кипридою даны,
И роскошь золотая,
Все блага рассыпая
Обильною рукой,
Тебе подносит вины
И портер выписной,
И сочны апельсины,
И с трюфлями пирог,—
Весь Амальтеи рог,
Вовек неистощимый,
На жирный твой обед!
А мне... покоя нет!
Смотри! неумолимый
Домашний Гиппократ,
Наперсник Парки бледной,

Попов слуга усердной,
Чуме и смерти брат,
Поклявшися латынью
И практикой своей,
Поит меня полынью
И супом из костей;
Без дальнего старанья
До смерти запоит
И к вам писать посланья
Отправит за Коцит!
Все в жизни изменило,
Что сердцу сладко льстило,
Все, все прошло, как сон:
Здоровье легкокрыло,
Любовь и Аполлон!
Я стал подобен тени,
К смирению сердец,
Сух, бледен, как мертвец;
Дрожат мои колени,
Спина дугой к земле,
Глаза потухли, впали,
И скорби начертали
Морщины на челе;
Навек исчезла сила
И доблесть прежних лет.
Увы! мой друг, и Лила
Меня не узнает.
Вчера с улыбкой злою
Мне молвила она
(Как древле Громобою
Коварный Сатана):
«Усопший! мир с тобою!
Усопший, мир с тобою!» —
Ах! это ли одно
Мне роком суждено
За древни прегрешенья?..
Нет, новые мученья,
Достойные бесов!
Свои стихотворенья
Читает мне Свистов;
И с ним певец досужий,
Его покорный бес,
Как он, на рифмы дюжий,
Как он, головорез!
Поют и напевают

С ночи до бела дня;
Читают и читают,
И до смерти меня,
Убийцы, зачитают!

ОТВЕТ Т<УРГЕНЕ>ВУ

Ты прав! Поэт не лжец,
Красавиц воспевая.
Но часто наш певец,
В восторге утопая,
Рассудка строгий глас
Забудет для Армиды,
Для двух коварных глаз;
Под знаменем Киприды
Сей новый Дон-Кишот
Проводит век с мечтами:
С химерами живет,
Беседует с духами,
С задумчивой луной,
И мир смешит собой!
Для света равнодушен,
Для славы и честей,
Одной любви послушен,
Он дышит только ей.
Везде с своей мечтою,
В столице и в полях,
С поникшей головою,
С унынием в очах,
Как призрак бледный бродит;
Одно твердит, поет:
Любовь, любовь зовет...
И рифмы лишь находит!
Так! верно, Аполлон
Давно с любовью в ссоре,
И мститель Купидон
Судил поэтам горе.
Все Нимфы строги к нам
За наши псалмопенья,
Как Дафна к богу пенья;
Мы лавр находим там
Иль кипарис печали,

Где счастья роз искали,
Цветущих не для нас.
Взгляните на Парнас:
Любовник строгой Лоры
Там в горести погас;
Скалы и дики горы
Его лишь знали глас
На берегах Воклюзы;
Там Душеньки певец,
Любимец нежной Музы
И пламенных сердец,
Любил, вздыхал всечасно,
Везде искал мечты,
Но лирой сладкогласной
Не тронул красоты.
Лесбосская певица,
Прекрасная в женах,
Любви и Феба жрица,
Дни кончила в волнах...
И я — клянусь глазами,
Которые стихами
Мы взапуски поем,
Клянуся Хлоей в том,
Что русские поэты
Давно б на берег Леты
Толпами перешли,
Когда б скалу Левкада
В болота Петрограда
Судьбы перенесли!

К П<ЕТИ>НУ

О любимец бога брани,
Мой товарищ на войне!
Я платил с тобою дани
Богу славы не одне:
Ты на кивере почтенном
Лавры с миртом сочетал;
Я в углу уединенном
Незабудки собирал.
Помнишь ли, питомец славы,
Индесальми? страшну ночь?

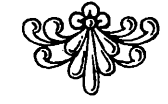
«Не люблю такой забавы»,—
Молвил я,— и с музой прочь!
Между тем как ты штыками
Шведов за лес провожал,
Я геройскими руками...
Ужин вам приготовлял.
Счастлив ты, шалун любезный,
И в Цитерской стороне;
Я же — всюду бесполезный,
И в любви, и на войне,
Время жизни в скуке трачу
(За крылатый счастья миг!) —
Ночь зеваю... утром плачу
Об утрате снов моих.
Тщетны слезы! Мне готова
Цепь, сотканна из сует;
От родительского крова
Я опять на море бед.
Мой челнок Любовь слепая
Правит детскою рукой;
Между тем как Лень, зевая,
На корме сидит со мной.
Может быть, как быстра младость
Убежит от нас бегом,
Я возьмусь за ум... да радость
Уживется ли с умом? —
Ах! почто же мне заране,
Друг любезный, унывать? —
Вся судьба моя в стакане!
Станем пить и воспевать:
«Счастлив! счастлив, кто цветами
Дни любови украшал,
Пел с беспечными друзьями,
А о счастии... мечтал!
Счастлив он, и втрое боле,
Всех вельможей и царей!
Так давай в безвестной доле,
Чужды рабства и цепей,
Кое-как тянуть жизнь нашу,
Часто с горем пополам,
Наливать полнее чашу
И смеяться дуракам!»

ПОСЛАНИЕ И. М. М<УРАВЬЕВУ>-А<ПОСТОЛУ>

Ты прав, любимец Муз! от первых впечатлений,
От первых, свежих чувств заемлет силу гений
И им в теченье дней своих не изменит!
Кто б ни был: пламенный оратор иль пиит,
Светильник мудрости, науки обладатель,
Иль кистью естества немого подражатель,
Наперсник Муз,— познал от колыбельных дней,
Что должен быть жрецом парнасских олтарей.
Младенец счастливый, уже любимец Феба,
Он с жадностью взирал на свет лазурный неба,
На зелень, на цветы, на зыбку сень древес,
На воды быстрые и полный мрака лес.
Он, к лону матери приникнув, улыбался,
Когда веселый Май цветами убирался
И жаворонок вился над зеленью полей.
Златая ль радуга, пророчица дождей,
Весь свод лазоревый подернет облистаньем? —
Ее приветствовал невнятным лепетаньем,
Ее манил к себе младенческой рукой.
Что видел в юности, пред хижиной родной,
Что видел, чувствовал, как новый мира житель,
Того в душе своей до поздних дней хранитель
Желает в песнях Муз потомству передать.
Мы видим первых чувств волшебную печать
В твореньях гения, испытанных веками:
Из мест, где Мантуа красуется лугами
И Минций в камышах недвижимый стоит,
От милых Лар своих отторженный пиит,
В чертоги Августа судьбой перенесенной,
Жалел о вас, ручьи отчизны незабвенной,
О древней хижине, где юность провождал
И Титира свирель потомству передал.
Но там ли, где всегда роскошная природа
И раскаленный Феб с безоблачного свода
Обилием поля счастливые дарит,
Таланта колыбель и область Пиерид?
Нет! Нет! И в Севере любимец их не дремлет,
Но гласу громкому самой природы внемлет,
Свершая славный путь, предписанный судьбой.
Природы ужасы, стихий враждебный бой,
Ревущие со скал угрюмых водопады,
Пустыни снежные, льдов вечные громады,

Иль моря шумного необозримый вид —
Все, все возносит ум, все сердцу говорит
Красноречивыми, но тайными словами
И огнь поэзии питает между нами.
Близ Колы пасмурной, средь диких рыбарей
В трудах воспитанный, уже от юных дней,
Наш Пиндар чувствовал сей пламень потаенный,
Сей огнь зиждительный, дар бога драгоценный,
От юности в душе Небесного залог,
Которым Фебов жрец исполнен, как пророк.
Он сладко трепетал, когда сквозь мрак тумана
Стремился по зыбям холодным океана
К необитаемым, бесплодным островам
И мрежи расстилал по новым берегам.
Я вижу мысленно, как отрок вдохновенной
Стоит в безмолвии над бездной разъяренной
Среди мечтания и первых сладких дум,
Прислушивая волн однообразный шум...
Лице горит его, грудь тягостно вздыхает,
И сладкая слеза ланиту орошает,
Слеза, известная таланту одному!
В красе божественной любимцу своему,
Природа! ты не раз на Севере являлась
И в пламенной душе навеки начерталась.
Исполненный всегда виденьем первых лет,
Как часто воспевал восторженный поэт:
«Дрожащий, хладный блеск полунощной Авроры
И льдяные, в морях носимы ветром, горы,
И Уну, спящую средь звонких камышей,
И день, чудесный день, без ночи, без зарей!..»
В Пальмире Севера, в жилище шумной славы,
Державин камские воспоминал дубравы,
Отчизны сладкий дым и древний град отцов.
На тучны пажити приволжских берегов
Как часто Дмитриев, расторгнув светски узы,
Водил нас по следам своей счастливой Музы,
Столь чистой, как струи царицы светлых вод,
На коих в первый раз зрел солнечный восход
Певец сибирского Пизарра вдохновенный!..
Так, свыше нежною душою одаренный,
Пиит, от юности до сребряных власов,
Лелеет в памяти страну своих отцов.
На жизненном пути ему дарует гений
Неиссякаемый источник наслаждений
В замену счастия и скудных мира благ:

С ним Муза тайная живет во всех местах
И в мире дивный мир любимцу созидает.
Пускай свирепый рок по воле им играет:
Пускай незнаемый, без злата и честей,
С главой поникшею он бродит меж людей;
Пускай Фортуною от детства удостоен
Он будет судия, министр иль в поле воин,—
Но Музам и себе нигде не изменит.
В самом молчании он будет все пиит.
В самом бездействии он с деятельным духом,
Все сильно чувствует, все ловит взором, слухом,
Всем наслаждается, и всюду, наконец,
Готовит Фебу дань его грядущий жрец.





Смесь

ХОР

для выпуска благородных девиц
Смольного монастыря

Один голос

Прости, гостеприимный кров,
Жилище юности беспечной!
Где время средь забав, веселий и трудов
Как сон промчалось скоротечной.

Хор

Прости, гостеприимный кров,
Жилище юности беспечной!

Подруги! сердце в первый раз
Здесь чувства сладкие познало;
Здесь дружество навек златою цепью нас,
Подруги милые, связало.
Так! сердце наше в первый раз
Здесь чувства сладкие познало.

Виновница счастливых дней!
Прими сердец благодаренья:
К тебе летят сердца усердные детей
И тайные благословенья.
Виновница счастливых дней!
Прими сердец благодаренья!

Наш царь, подруги, посещал
Сие жилище безмятежно:
Он сам в глазах детей признательность читал
К его родительнице нежной.
Монарх великий посещал
Жилище наше безмятежно!

Простой, усердной глас детей
Прими, о боже, покровитель!
Источник новый благ и радости пролей
На мирную сию обитель.
И ты, о боже, глас детей
Прими, всесильный покровитель!

Мы чтили здесь от юных лет
Закон твой, благости зерцало;
Под сенью олтарей, тобой хранимый цвет,
Здесь юность наша расцветала.
Мы чтили здесь от юных лет
Закон твой, благости зерцало.

Финал

Прости же ты, священный кров,
Обитель юности беспечной,
Где время средь забав, веселий и трудов
Как сон промчалось скоротечной!
Где сердце в жизни в первый раз
От чувств веселья трепетало,
И дружество навек златою цепью нас,
Подруги милые, связало!

ПЕСНЬ ГАРАЛЬДА СМЕЛОГО

Мы, други, летали по бурным морям,
От родины милой летали далеко!
На суше, на море мы бились жестоко;
И море, и суша покорствуют нам!
О други! как сердце у смелых кипело,
Когда мы, содвинув стеной корабли,
Как птицы неслися станицей веселой
Вкруг пажитей тучных Сиканской земли!..
А дева русская Гаральда презирает.

О други! Я младость не праздно провел!
С сынами Дронтгейма вы помните сечу?
Как вихорь пред вами я мчался навстречу
Под камни и тучи свистящие стрел.
Напрасно сдвигались народы; мечами
Напрасно о наши стучали щиты:
Как бледные класы под ливнем, упали
И всадник, и пеший; владыка, и ты!..
А дева русская Гаральда презирает.

Нас было лишь трое на легком челне;
А море вздымалось, я помню, горами;
Ночь черная в полдень нависла с громами,
И Гела зияла в соленой волне.
Но волны напрасно, яряся, хлестали:
Я черпал их шлемом, работал веслом:
С Гаральдом, о други, вы страха не знали
И в мирную пристань влетели с челном!
А дева русская Гаральда презирает.

Вы, други, видали меня на коне?
Вы зрели, как рушил секирой твердыни,
Летая на бурном питомце пустыни
Сквозь пепел и вьюгу в пожарном огне?
Железом я ноги мои окриляя,
И лань упреждаю по звонкому льду;
Я, хладную влагу рукой рассекая,
Как лебедь отважный по морю иду...
А дева русская Гаральда презирает.

Я в мирных родился полночи снегах;
Но рано отбросил доспехи ловитвы —
Лук грозный и лыжи — и в шумные битвы
Вас, други, с собою умчал на судах.
Не тщетно за славой летали далеко
От милой отчизны по диким морям;
Не тщетно мы бились мечами жестоко:
И море, и суша покорствуют нам!
А дева русская Гаральда презирает.

ВАКХАНКА

Все на праздник Эригоны
Жрицы Вакховы текли;
Ветры с шумом разнесли
Громкий вой их, плеск и стоны.
В чаще дикой и глухой
Нимфа юная отстала:
Я за ней — она бежала
Легче серны молодой.—
Эвры волосы взвивали,
Перевитые плющом;
Нагло ризы поднимали
И свивали их клубком.

Стройный стан, кругом обвитый
Хмеля желтого венцом,
И пылающи ланиты
Розы ярким багрецом,
И уста, в которых тает
Пурпуровый виноград,—
Все в неистовой прельщает!
В сердце льет огонь и яд!
Я за ней... она бежала
Легче серны молодой; —
Я настиг; она упала!
И тимпан под головой!
Жрицы Вакховы промчались
С громким воплем мимо нас;
И по роще раздавались
Эвоэ! и неги глас!

СОН ВОИНОВ

Из поэмы «Иснель и Аслега»

Битва кончилась: ратники пируют вокруг зажженных дубов...

...Но вскоре пламень потухает
И гаснет пепел черных пней,
И томный сон отягощает
Лежащих воев средь полей.
Сомкнулись очи; но призраки
Тревожат краткий их покой:
Иный лесов проходит мраки,
Зверей голодных слышит вой;
Иный на лодке легкой реет
Среди кипящих в море волн;
Веслом десница не владеет,
И гибнет в бездне бренный челн;
Иный места узрел знакомы,
Места отчизны, милый край!
Уж слышит псов домашних лай
И зрит отцов поля, и долы,
И нежных чад своих... Мечты!
Проснулся в бездне темноты!
Иный чудовище сражает —
Бесплодно меч его сверкает;
Махнул еще, его рука
Подъята вверх... окостенела;

Бежать хотел — его нога
Дрожит недвижима, замлела;
Встает, и пал! Иный плывет
Поверх прозрачных, тихих вод
И пенит волны под рукою;
Волна, усиленна волною,
Клубится, пенится горой
И вдруг обрушилась, клокочет; —
Несчастный борется с рекой,
Воззвать к дружине верной хочет,
И голос замер на устах!
Другой бежит на поле ратном,
Бежит, глотая пыль и прах; —
Трикрат сверкнул мечом булатным,
И в воздухе недвижим меч!
Звеня, упали латы с плеч...
Копье рамена прободает,
И хлещет кровь из них рекой;
Несчастный раны зажимает
Холодной, трепетной рукой!
Проснулся он... и тщетно ищет
И ран, и вражьего копья.—
Но ветр шумит и в роще свищет;
И волны мутного ручья
Подошвы скал угрюмых роют,
Клубятся, пенятся и воют
Средь дебрей снежных и холмов...

РАЗЛУКА

Гусар, на саблю опираясь,
В глубокой горести стоял;
Надолго с милой разлучаясь,
Вздыхая, он сказал:

«Не плачь, красавица! слезами
Кручине злой не пособить!
Клянуся честью и усами
Любви не изменить!

Любви непобедима сила!
Она мой верный щит в войне;
Булат в руке, а в сердце Лила,—
Чего страшиться мне?

Не плачь, красавица! слезами
Кручине злой не пособить!
А если изменю... усами
Клянусь наказан быть!

Тогда мой верный конь споткнися,
Летя во вражий стан стрелой,
Уздечка браная порвися
И стремя под ногой!

Пускай булат в руке с размаха
Изломится, как прут гнилой,
И я, бледнея весь от страха,
Явлюсь перед тобой!»

Но верный конь не спотыкался
Под нашим всадником лихим;
Булат в боях не изломался,—
И честь гусара с ним!

А он забыл любовь и слезы
Своей пастушки дорогой
И рвал в чужбине счастья розы
С красавицей другой.

Но что же сделала пастушка?
Другому сердце отдала.
Любовь красавицам игрушка;
А клятвы их — слова!

Все здесь, друзья! изменой дышит,
Теперь нет верности нигде!
Амур, смеясь, все клятвы пишет
Стрелою на воде.

ЛОЖНЫЙ СТРАХ

Подражание Парни

Помнишь ли, мой друг бесценный!
Как с Амурами тишком,
Мраком ночи окруженный,
Я к тебе прокрался в дом?
Помнишь ли, о друг мой нежной!
Как дрожащая рука

От победы неизбежной
Защищалась — но слегка?
Слышен шум! — ты испугалась!
Свет блеснул и вмиг погас;
Ты к груди моей прижалась,
Чуть дыша... блаженный час!
Ты пугалась — я смеялся.
«Нам ли ведать, Хлоя, страх!
Гименей за все ручался,
И Амуры на часах.
Все в безмолвии глубоком,
Все почило сладким сном!
Дремлет Аргус томным оком
Под Морфеевым крылом!»
Рано утренние розы
Запылали в небесах...
Но любви бесценны слезы,
Но улыбка на устах,
Томно персей волнованье
Под прозрачным полотном,
Молча новое свиданье
Обещали вечерком.
Если б Зевсова десница
Мне вручила ночь и день,
Поздно б юная денница
Прогоняла черну тень!
Поздно б солнце выходило
На восточное крыльцо;
Чуть блеснуло б и сокрыло
За лес рдяное лицо;
Долго б тени пролежали
Влажной ночи на полях;
Долго б смертные вкушали
Сладострастие в мечтах.
Дружбе дам я час единой,
Вакху час и сну другой.
Остальною ж половиной
Поделюсь, мой друг, с тобой!

СОН МОГОЛЬЦА

Басня

Могольцу снилися жилища Елисейски:
Визирь блаженный в них
За добрые дела житейски,

В числе угодников святых,
Покойно спал на лоне Гурий.
Но сонный видит ад,
Где, пламенем объят,
Терзаемый бичами Фурий,
Пустынник испускал ужасный вопль и стон.
Моголец в ужасе проснулся,
Не ведая, что значит сон.
Он думал, что пророк в сих мертвых обманулся
Иль тайну для него скрывал;
Тотчас гадателя призвал,
И тот ему в ответ: «Я не дивлюсь нимало,
Что в снах есть разум, цель и склад.
Нам небо и в мечтах премудрость завещало...
Сей праведник, Визирь, оставя двор и град,
Жил честно и всегда любил уединенье;
Пустынник на поклон таскался к Визирям».

С гадателем сказав, что значит сновиденье,
Внушил бы я любовь к деревне и полям.
Обитель мирная! в тебе успокоенье
И все дары небес даются щедро нам.

Уединение, источник благ и счастья!
Места любимые! Ужели никогда
Не скроюсь в вашу сень от бури и ненастья?
Блаженству моему настанет ли чреда?
Ах! кто остановит меня под мрачной тенью?
Когда перенесусь в священные леса?
О музы! сельских дней утеха и краса!
Научите ль меня небесных тел теченью?
Светил блистающих несчетны имена
Узнаю ли от вас? Иль, если мне дана
Способность малая и скудно дарованье,
Пускай пленит меня источников журчанье
И я любовь и мир пустынный воспою!
Пусть Парка не прядет из злата жизнь мою
И я не буду спать под бархатным наметом;
Ужели через то я потеряю сон?
И меньше ль по трудах мне будет сладок он?
Зимой близь огонька, в тени древесной летом,
Без страха двери сам для Парки отопру,
Беспечно век прожив, спокойно и умру.

ЛЮБОВЬ В ЧЕЛНОКЕ

Месяц плавал над рекою,
Все спокойно! ветерок
Вдруг повеял, и волною
Принесло ко мне челнок.

Мальчик в нем сидел прекрасный;
Тяжким правил он веслом.
«Ах, малютка мой несчастный!
Ты потонешь с челноком!»

«Добрый путник, дай помóгу;
Я не справлю, сидя в нем.
На весло! и понемногу
Мы к ночлегу доплывем».

Жалко мне малютки стало;
Сел в челнок — и за весло!
Парус ветром надувало,
Нас стрелою понесло.

И вдоль берега помчались,
По теченью быстрых вод;
А на берег собирались
Стаей Нимфы в хоровод.

Резвые смеялись, пели
И цветы кидали в нас;
Мы неслись, стрелой летели...
О беда! о страшный час!..

Я заслушался, забылся,
Ветер с моря заревел;
Мой челнок о мель разбился,
А малютка... улетел!

Кое-как на голый камень
Вышел с горем пополам;
Я обмок — а в сердце пламень:
Из беды опять к бедам!

Всюду Нимф ищу прекрасных,
Всюду в горести брожу,
Лишь в мечтаньях сладострастных
Тени милых нахожу.

Добрый путник! в час погоды
Не садися ты в челнок!
Знать, сии опасны воды;
Знать, малютка... страшный бог!

СЧАСТЛИВЕЦ

Слышишь! мчится колесница
Там по звонкой мостовой!
Правит сильная десница
Коней сребряной браздой!

Их копыта бьют о камень;
Искры сыплются струей;
Пышет дым, и черный пламень
Излетает из ноздрей!

Резьбой дивною и златом
Колесница вся горит.
На ковре ее богатом
Кто ж, Лизета, кто сидит?

Временщик, вельмож любимец,
Что на откуп город взял...
Ах! давно ли он у крылец
Пыль смиренно обметал?

Вот он с нами поравнялся
И едва кивнул главой;
Вот уж молнией промчался,
Пыль оставя за собой!

Добрый путь! пока лелеет
В колыбели счастье вас!
Поздно ль? рано ль? но приспеет
И невзгоды страшный час.

Ах, Лизета! льзя ль прельщаться
И теперь его судьбой?
Не ему счастливым зваться
С развращенною душой!

Там, где хитростью искусства
Розы в зиму расцвели;

Там, где все пленяет чувства —
Дань морей и дань земли;

Мрамор дивный из Пароса
И кораллы на стенах;
Там, где в роскоши Пафоса
На узорчатых коврах

Счастья шаткого любимец
С нимфами забвенье пьет,—
Там же слезы сей счастливец
От людей украдкой льет.

Бледен ночью Крез несчастный
Шепчет тихо, чтоб жена
Не вняла сей глас ужасный:
«Мне погибель суждена!»

Сердце наше — кладезь мрачной:
Тих, покоен сверху вид;
Но спустись ко дну... ужасно!
Крокодил на нем лежит!

Душ великих сладострастье,
Совесть! зоркий страж сердец!
Без тебя ничтожно счастье;
Гибель — злато и венец!

РАДОСТЬ

Любимца Кипридина
И миртом, и розою
Венчайте, о юноши
И девы стыдливые!
Толпами сбирайтеся,
Руками сплетайтеся
И, радостно топая,
Скачите и прыгайте!
Мне лиру Тиискую
Камены и Грации
Вручили с улыбкою:
И песни веселию
Приятнее не́ктара
И слаще амврозии,

Что пьют небожители,
В блаженстве беспечные,
Польются со струн ее!
Сегодня — день радости:
Филлида суровая
Сквозь слезы стыдливости
«Люблю!» — мне промолвила.
Как роза, кропимая
В час утра Авророю,
С главой, отягченною
Бесценными каплями,
Румяней становится,—
Так ты, о прекрасная!
С главою поникшею,
Сквозь слезы стыдливости,
Краснея, промолвила:
«Люблю!» тихим шепотом.
Все мне улыбнулося;
Тоска и мучения,
И страхи и горести
Исчезли — как не было!
Киприда, влекомая
По воздуху синему
Меж бисерных облаков
Цитерскими птицами
К Цитере иль Пафосу,
Цветами осыпала
Меня и красавицу.
Все мне улыбнулося! —
И солнце весеннее,
И рощи кудрявые,
И воды прозрачные,
И холмы Парнасские! —
Любимца Кипридина,
В любви победителя,
И миртом, и розою
Венчайте, о юноши
И девы стыдливые!

К Н<ИКИТЕ>

Как я люблю, товарищ мой,
Весны роскошной появленье
И в первый раз над муравой

Веселых жаворонков пенье:
Но слаще мне среди полей
Увидеть первые биваки
И ждать беспечно у огней
С рассветом дня кровавой драки.
Какое счастье, рыцарь мой!
Узреть с нагорныя вершины
Необозримый наших строй
На яркой зелени долины!
Как сладко слышать у шатра
Вечерней пушки гул далекой
И погрузиться до утра
Под теплой буркой в сон глубокой.
Когда по утренним росам
Коней раздастся первый топот
И ружей протяженный грохот
Пробудит эхо по горам,—
Как весело перед строями
Летать на ухарском коне
И с первыми в дыму, в огне,
Ударить с криком за врагами!
Как весело внимать: «Стрелки,
Вперед! Сюда, донцы! Гусары!
Сюда, летучие полки,
Башкирцы, горцы и татары!»
Свисти теперь, жужжи свинец!
Летайте ядры и картечи!
Что вы для них? для сих сердец,
Природой вскормленных для сечи?
Колонны сдвинулись, как лес.
И вот... о зрелище прекрасно!
Идут — безмолвие ужасно!
Идут — ружье наперевес;
Идут... ура! и все сломили,
Рассеяли и разгромили:
Ура! Ура! — и где же враг?..
Бежит, а мы, в его домах,
О, радость храбрых! киверами
Вино некупленное пьем
И под победными громами
«*Хвалите господа*» поем!..

Но ты трепещешь, юный воин,
Склонясь на сабли рукоять:
Твой дух встревожен, беспокоен;

Он рвется лавры пожинать:
С Суворовым он вечно бродит
В полях кровавыя войны,
И в вялом мире не находит
Отрадной сердцу тишины.
Спокойся: с первыми громами
К знаменам славы полетишь;
Но там, о, горе, не узришь
Меня, как прежде, под шатрами!
Забытый шумною молвой,
Сердец мучительницей милой,
Я сплю, как труженик унылой,
Не оживляемый хвалой.

ЭПИГРАММЫ, НАДПИСИ И ПР<ОЧЕЕ>

I

Всегдашний гость, мучитель мой,
О, Балдус! долго ль мне зевать, дремать с тобой?
Будь крошечку умней, или — дай жить в покое!
Когда жестокий рок сведет тебя со мной —
Я не один и нас не двое.

II

Как трудно Бибрису со славою ужиться!
Он пьет, чтобы писать, и пишет, чтоб напиться!

III

Памфил забавен за столом,
Хоть часто и назло рассудку:
Веселостью обязан он желудку,
А памяти — умом.

IV

Совет эпическому стихотворцу

Какое хочешь имя дай
Твоей поэме полудикой:
Петр длинный, Петр большой, но только Петр Великой —
Ее не называй.

V

Мадригал новой Сафе

Ты Сафо, я Фаон; об этом и не спорю:
Но, к моему ты горю,
Пути не знаешь к морю.

VI

Надпись к портрету Н. Н.

И телом и душой ты на Амура схожа:
Коварна, и умна, и столько же пригожа.

VII

К цветам нашего Горация

Ни вьюги, ни морозы
Цветов твоих не истребят.
Бог лиры, бог любви и музы мне твердят:
В саду Горация не увядают розы.

VIII

Надпись к портрету Жуковского

Под знаменем Москвы, пред падшею столицей,
Он храбрым гимны пел, как пламенный Тиртей;
В дни мира, новый Грей,
Пленяет нас задумчивой цевницей.

IX

Надпись к портрету графа
Эммануила Сен-При

От родины его отторгнула судьбина;
Но Лилиям отцов он всюду верен был:
И в нашем стане воскресил
Баярда древний дух и доблесть Дюгесклина.

X

Надпись на гробе пастушки

Подруги милые! в беспечности игривой
Под плясовой напев вы ре́звитесь в лугах.
И я, как вы, жила в Аркадии счастливой;
И я, на утре дней, в сих рощах и лугах,
Минутны радости вкусила:
Любовь в мечтах златых мне счастие сулила;
Но что ж досталось мне в прекрасных сих местах?
Могила!

XI

Мадригал Мелине, которая называла себя Нимфою

Ты Нимфа, Ио; нет сомненья!
Но только... после превращенья!

XII

На книгу под названием «Смесь»

По чести, это *смесь:*
Тут проза, и стихи, и авторская спесь.

СТРАНСТВОВАТЕЛЬ И ДОМОСЕД

Объехав свет кругом,
Спокойный домосед, перед моим камином
Сижу и думаю о том,
Как трудно быть своих привычек властелином;
Как трудно век дожить на родине своей
Тому, кто в юности из края в край носился,
Все видел, все узнал — и что ж? из-за морей
Ни лучше, ни умней
Под кров домашний воротился:
Поклонник суетным мечтам,
Он осужден искать... чего — не знает сам!
О страннике таком скажу я повесть вам.

Два брата, Филалет и Клит, смиренно жили
В предместии Афин под кровлею одной;
В довольстве? Не скажу, но с бодрою душой
Встречали день и ночь спокойно проводили,
Затем что по трудах всегда приятен сон.
Вдруг умер дядя их, афинский Гарпагон,
И братья-бедняки — о радость! — получили
Не помню сколько мин монеты золотой
Да кучу серебра: сосуды и амфоры
Отделки мастерской.—
Наследственным добром свои насытя взоры,
Такие завели друг с другом разговоры:
«Как думаешь своей казной расположить? —
Клит спрашивал у брата,—
А я так дом хочу купить
И в нем тихохонько с женою век прожить
Под сенью отчего Пената.

Землицы уголок не будет лишний нам:
От детства я любил ходить за виноградом,
Возиться знаю с стадом
И детям я мой плуг в наследство передам;
А ты как думаешь?» — «О! я с тобой несходен;
Я пресмыкаться не способен
В толпе граждан простых
И с помощью наследства
Для дальних замыслов моих,
Благодаря богам, теперь имею средства!» —
«Чего же хочешь ты?» — «Я?.. славен быть хочу».
— «Но чем?» — «Как чем? — умом, делами,
И красноречьем, и стихами,
И мало ль чем еще? Я в Мемфис полечу
Делиться мудростью с жрецами:
Зачем сей создан мир? Кто правит им и как?
Где кончится земля? Где гордый Нил родится?
Зачем под пеленой сокрыт Изиды зрак,
Зачем горящий Феб все к западу стремится?
Какое счастье, милый брат!
Я буду в мудрости соперник Пифагора! —
В Афинах обо мне тогда заговорят.
В Афинах? — что сказал! — от Нила до Босфора
Прославится твой брат, твой верный Филалет!
Какое счастье! десять лет
Я стану есть траву и нем как рыба буду;
Но красноречья дар, конечно, не забуду.
Ты знаешь, я всегда красноречив бывал
И площадь нашу посещал
Не даром.
Не стану я моим превозноситься даром,
Как наш Алкивиад, оратор слабых жен,
Или надутый Демосфен,
Кичася в пурпуре пред царскими послами.
Нет! нет! я каждого полезными речами
На площади градской намерен просвещать.
Ты сам, оставя плуг, придешь меня внимать,
С народом шумные восторги разделяя,
И слезы радости под мантией скрывая,
Красноречивейшим из греков называть,
Ты обоймешь меня дрожащею рукою,
Когда... поверишь ли? Гликерия сама
На площади с толпою
Меня провозгласит оракулом ума,
Ума и, может быть, любезности... конечно,

Любезностью сердечной
Я буду нравиться и в сорок лет еще.
Тогда афиняне забудут Демосфена,
И Кратеса в плаще,
И бочку шу́та Диогена,
Которую, смотри... он катит мимо нас!»
«Прощай же, братец, в добрый час!
Счастливого пути к премудрости желаю,—
Клит молвил краснобаю.—
Я вижу, нам тебя ничем не удержать!» —
Вздохнул, пожал плечьми и к городу опять
Пошел — домашний быт и домик снаряжать.—
А Филалет? — К Пирею,
Чтоб судно тирское застать
И в Мемфис полететь с румяною зарею.
Признаться, он вздохнул, начавши Одиссею...
Но кто не пожалел об отческой земле,
Надолго расставаясь с нею?
Семь дней на корабле,
Зевая,
Проказник наш сидел
И на море глядел,
От скуки сам с собой вполголос рассуждая:
«Да где ж Тритоны все? где стаи Нереид?
Где скрылися они с толпой Океанид?
Я ни одной не вижу в море!»
И не увидел их. Но ветер свежий вскоре
В Египет странника принес;
Уже он в Мемфисе, в обители чудес;
Уже в святилище премудрости вступает,
Как мумия сидит среди бород седых
И десять дней зевает
За поученьем их
О жертвах каменной Изиде,
Об Аписе-быке иль грозном Озириде,
О псах Анубиса, о чесноке святом,
Усердно славимом на Ниле,
О кровожадном крокодиле
И... о коте большом!..
«Какие глупости! какое заблужденье!
Клянуся По́ллуксом! нет слушать боле сил!» —
Грек молвил, потеряв и важность и терпенье,
С скамьи как бешеный вскочил
И псу священному — о, ужас! — наступил
На божескую лапу...

Скорее в руки посох, шляпу,
Скорей из Мемфиса бежать
От гнева старцев разъяренных,
От крокодилов, псов и луковиц священных,
И между греков просвещенных
Любезной мудрости искать.
На первом корабле он полетел в Кротону.
В Кротоне бьет челом смиренно Агатону,
Мудрейшему из мудрецов,
Жестокому врагу и мяса и бобов
(Их в гневе Пифагор, его учитель славный,
Проклятьем страшным поразил,
Затем что у него желудок неисправный
Бобов и мяса не варил).
«Ты мудрости ко мне, мой сын, пришел учиться? —
У грека старец вопросил
С усмешкой хитрою.— Итак, прошу садиться
И слушать пенье Сфер: ты слышишь?» — «Ничего!»
«А видишь ли в девятом мире
Духов, летающих в эфире?»
«И менее того!»
«Увидишь, попостись ты года три, четыре,
Да лет с десяток помолчи;
Тогда, мой сын, тогда обнимешь бренным взором
Все тайной мудрости лучи;
Обнимешь, я тебе клянуся Пифагором...»
«Согласен, так и быть!»
Но греку шутка ли и день не говорить?
А десять лет молчать, молчать да все поститься —
Зачем? чтоб мудрецом,
С морщинным от поста и мудрости челом,
В Афины возвратиться?
О нет!
Чрез сутки возопил голодный Филалет:
«Юпитер дал мне ум с рассудком
Не для того, чтоб я ходил с пустым желудком;
Я мудрости такой покорнейший слуга;
Прощайте ж навсегда Кротонски берега!»
Сказал и к Этне путь направил;
За делом! чтоб на ней узнать, зачем и как
Изношенный башмак
Философ Эмпедокл пред смертью там оставил.
Узнал — и с вестью сей
Он в Грецию скорей
С усталой от забот и праздности душою.

Повсюду гость среди людей,
Везде за трапезой чужою
Наш странник обходил
Поля, селения и грады,
Но счастия не находил
Под небом счастливым Эллады.
Спеша из края в край, он игры посещал,
Забавы, зрелища, ристанья,
И даже прорицанья
Без веры вопрошал;
Но хижину отцов нередко вспоминал,
В ненастье по лесам бродя с своей клюкою,
Как червем, тайною снедаемый тоскою.
Притом же кошелек
У грека стал легок;
А ночью, как он шел через Лаконски горы,
Отбили у него
И остальное воры.
Счастлив еще, что жизнь не отняли его!
«Но жизнь без денег что? — мученье нестерпимо!» —
Так думал Филалет,
Тащась полунагой в степи необозримой.
Три раза солнца свет
Сменялся мраком ночи,
Но странника не зрели очи
Ни жила, ни стези: повсюду степь и степь
Да гор в дали туманной цепь,
Илотов и воров ужасные жилища.
Что делать в горе! что начать!
Придется умирать
В пустыне одному, без помощи, без пищи.
«Нет, боги, нет! —
Терзая грудь, вопил несчастный Филалет,—
Я знаю, как покинуть свет!
Не стану голодом томиться!»
И меж кустов реку завидя вдалеке,
Он бросился к реке —
Топиться!
«Что, что ты делаешь, слепец?» —
Несчастному вскричал скептический мудрец,
Памфил седобородый,
Который над водой, любуяся природой,
Один с клюкой тихонько брел
И, к счастью, странника нашел
На крае гибельной напасти.

«Топиться хочешь ты? Согласен; но сперва
Поведай мне, твоя спокойна ль голова?
Рассудок ли тебя влечет в реку иль страсти?
Рассудок: но его что нам вещает глас?
Что жизнь и смерть равны для нас.
Равны — так незачем топиться.
Дай руку мне, мой сын, и не стыдись учиться
У старца, чей мудрец здесь может быть счастлив».
Кто жить советует — всегда красноречив:
И наш герой остался жив.
В расселинах скалы, висящей над водою,
В тени приветливой смоковниц и олив,
Построен был шалаш Памфиловой рукою,
Где старец десять лет
Провел в молчании глубоком
И в вечность проницал своим орлиным оком,
Забыв людей и свет.
Вот там-то ужин иль обед
Простой, но очень здравый,
Находит Филалет:
Орехи, желуди и травы,
Большой сосуд воды, и только. Боже мой!
Как сладостно искать для трапезы такой
В утехах мудрости приправы!
Итак, в том дива нет, что с путником Памфил
Об атараксии * тотчас заговорил.
«Все призрак! — под конец хозяин заключил: —
Богатство, честь и власти,
Болезнь и нищета, несчастия и страсти,
И я, и ты, и целый свет,—
Все призрак!» — «Сновиденье!» —
Со вздохом повторял унылый Филалет;
Но, глядя на сухой обед,
Вскричал: «Я голоден!» — «И это заблужденье,
Все грубых чувств обман; не сомневайся в том».—
Неделю попостясь с брадатым мудрецом,
Наш *призрак* Филалет решился из пустыни
Отправиться в Афины.
Пора, пора блеснуть на площади умом!
Пора с философом расстаться,
Который нас недаром научил,
Как жить и в жизни сомневаться.
Услужливый Памфил

* Душевное спокойствие.

Монет с десяток сам бродяге предложил,
Котомкой с желудьми сушеными ссудил
И в час румяного рассвета
Сам вывел по тропам излучистым Тайгета
На путь афинский Филалета.
Вот странник наш идет и день и ночь один;
Проходит Арголиду,
Коринф и Мегариду;
Вот — Аттика, и вот — дым сладостный Афин,
Керамик с рощами... предместия начало...
Там... воды Иллиса!.. В нем сердце задрожало:
Он грек, то мудрено ль, что родину любил,
Что землю целовал с горячими слезами,
В восторге, вне себя, с деревьями, с домами
Заговорил!..
Я сам, друзья мои, дань сердца заплатил,
Когда, волненьями судьбины
В отчизну брошенный из дальних стран чужбины,
Увидел наконец Адмиралтейский шпиц,
Фонтанку, этот дом... и столько милых лиц,
Для сердца моего единственных на свете!
Я сам... Но дело все теперь о Филалете,
Который, опершись на кафедру, стоит
И ждет опять денницы
На милой площади Аттической столицы.
Заметьте, милые друзья,
Что греки снаряжать тогда войну хотели,
С каким царем, не помню я,
Но знаю только то, что риторы гремели,
Предвестники народных бед.
Так речью их сразить желая, Филалет
Всех раньше на помост погибельный взмостился
И вот блеснул Авроры свет,
А с ним и шум дневной родился.
Народ зашевелился.
В Афинах, как везде, час утра — час сует,
На площадь побежал ремесленник, поэт,
Поденщик, говорун, с товарами купчина,
Софист, архонт и Фрина
С толпой невольниц и Сирен,
И бочку прикатил насмешник Диоген;
На площадь всяк идет для дела и без дела;
Нахлынули — вся площадь закипела.
Вы помните, бульвар кипел в Париже так
Народа праздными толпами,

Когда по нем летал с нагайкою козак
Иль северный Амур с колчаном и стрелами.
Так точно весь народ толпился и жужжал
    Перед ораторским амвоном.
Знак подан. Начинай! Рой шумный замолчал.
И ритор возвестил высокопарным тоном,
        Что Аттике война
        Погибельна, вредна;
    Потом — велеречиво, ясно
По пальцам доказал, что в мире быть... опасно.
«Что ж делать?» — закричал с досадою народ.
    «Что делать?..— сомневаться.
Сомненье мудрости есть самый зрелый плод.
Я вам советую, гражда́не, колебаться —
    И не мириться, и не драться!..»
    Народ всегда нетерпелив.
Сперва наш краснобай услышал легкий ропот,
Шушуканье, а там поближе громкий хохот,
А там... Но он стоит уже ни мертв ни жив,
    Разинув рот, потупив взгляды,
Мертвее во сто раз, чем мертвецы баллады.
        Еще проходит миг —
Ну что же? *продолжай!»* — Оратор все ни слова:
        От страха где язык!
Зато какой в толпе поднялся страшный крик!
        Какая туча там готова!
На кафедру летит град яблоков и фиг,
        И камни уж свистят над жертвой...
И жалкий Филалет, избитый, полумертвой,
С ступени на ступень в отчаянье летит
И падает без чувств под верную защиту
    В объятия отверсты... к Клиту!
Итак, тщеславного спасает бедный Клит,
    Простяк, неграмотный, презренный,
В Афинах дни влачить без славы осужденный!
    Он, он, прижав его к груди,
Нахальных крикунов толкает на пути,
    Одним грозит, у тех пощады просит
И брата своего, как старика Эней,
    К порогу хижины своей
        На раменах доносит.
Как брата в хижине лелеет добрый Клит!
Не сводит глаз с него, с ним сладко говорит
        С простым, но сильным чувством.
Пред дружбой ничего и Гиппократ с искусством!

В три дни страдалец наш оправился и встал,
И брату кинулся на шею со слезами;
А брат гостей назвал
И жертву воскурил пред отчими богами.
Весь домик в суетах! Жена и рой детей,
Веселых, резвых и пригожих,
Во всем на мать свою похожих,
На пиршество несут для радостных гостей,
Простой, но щедрый дар наследственных полей,
Румяное вино, янтарный мед Гимета,—
И чаша поднялась за здравье Филалета!
«Пей, ешь и веселись, нежданный сердца гость!» —
Все гости заодно с хозяином вскричали.
И что же? Филалет, забыв народа злость,
Беды, проказы и печали,
За чашей круговой опять заговорил
В восторге о тебе, великолепный Нил!
А дней через пяток, не боле,
Наскуча видеть все одно и то же поле,
Все те же лица всякой день,
Наш грек,— поверите ль? — как в клетке
стосковался.
Он начал по лесам прогуливать уж лень,
На горы ближние взбирался,
Бродил всю ночь, весь день шатался;
Потом Афины стал тихонько посещать,
На милой площади опять
Зевать,
С софистами о том, об этом толковать;
Потом... проведав он от старых грамотеев,
Что в мире есть страна,
Где вечно царствует весна,
За розами побрел — в снега Гипербореев.
Напрасно Клит с женой ему кричали вслед
С домашнего порога:
«Брат, милый, воротись, мы просим, ради бога!
Чего тебе искать в чужбине? новых бед?
Откройся, что тебе в отечестве немило?
Иль дружество тебя, жестокий, огорчило?
Останься, милый брат, останься, Филалет!»

Напрасные слова — Чудак не воротился —
Рукой махнул... и скрылся.

ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ РЕЙН
1814

Меж тем как воины вдоль идут по полям,
Завидя вдалеке твои, о Реин, волны,
Мой конь, веселья полный,
От строя отделясь, стремится к берегам,
На крыльях жажды прилетает,
Глотает хладную струю
И грудь, усталую в бою,
Желанной влагой обновляет...

О радость! я стою при Реинских водах!
И, жадные с холмов в окрестность брося взоры,
Приветствую поля и горы,
И замки рыцарей в туманных облаках,
И всю страну, обильну славой,
Воспоминаньем древних дней,
Где с Альпов, вечною струей,
Ты льешься, Реин величавой!

Свидетель древности, событий всех времен,
О Реин, ты поил несчетны легионы,
Мечом писавшие законы
Для гордых Германа кочующих племен;
Любимец счастья, бич свободы,
Здесь Кесарь бился, побеждал,
И конь его переплывал
Твои священны, Реин, воды.

Века мелькнули: мир крестом преображен;
Любовь и честь в душах суровых пробудились.—
Здесь витязи вооружились
Копьем за жизнь сирот, за честь прелестных жен;
Тут совершались их турниры,
Тут бились храбрые — и здесь
Не умер, мнится, и поднесь
Звук сладкой Трубадуров лиры.

Так, здесь, под тению смоковниц и дубов,
При шуме сладостном нагорных водопадов,
В тени цветущих сел и градов
Восторг живет еще средь избранных сынов.
Здесь все питает вдохновенье:
Простые нравы праотцев,
Святая к родине любовь
И праздной роскоши презренье.

Все, все,— и вид полей, и вид священных вод,
Туманной древности и Бардам современных,
Для чувств и мыслей дерзновенных
И силу новую, и крылья придает.
Свободны, горды, полудики,
Природы верные жрецы,
Тевтонски пели здесь певцы...
И смолкли их волшебны лики.

Ты сам, родитель вод, свидетель всех времен,
Ты сам, до наших дней спокойный, величавый,
С падением народной славы
Склонил чело, увы! познал и стыд и плен...
Давно ли брег твой под орлами
Аттилы нового стенал,
И ты,— уныло протекал
Между враждебными полками?

Давно ли земледел вдоль красных берегов,
Средь виноградников заветных и священных,
Полки встречал иноплеменных
И ненавистный взор зареинских сынов?
Давно ль они, кичася, пили
Вино из синих хрусталей
И кони их среди полей
И зрелых нив твоих бродили?

И час судьбы настал! Мы здесь, сыны снегов,
Под знаменем Москвы, с свободой и с громами!..
Стеклись с морей, покрытых льдами,
От струй полуденных, от Каспия валов,
От волн Улеи и Байкала,
От Волги, Дона и Днепра,
От града нашего Петра,
С вершин Кавказа и Урала!..

Стеклись, нагрянули, за честь твоих граждан,
За честь твердынь, и сел, и нив опустошенных,
И берегов благословенных,
Где расцвело в тиши блаженство россиян;
Где ангел мирный, светозарной,
Для стран полуночи рожден
И провиденьем обречен
Царю, отчизне благодарной.

Мы здесь, о Реин, здесь! ты видишь блеск мечей!
Ты слышишь шум полков и новых коней ржанье,

«Ура» победы и взыванье
Идущих, скачущих к тебе богатырей.
Взвивая к небу прах летучий,
По трупам вражеским летят
И вот — коней лихих поят,
Кругом заставя дол зыбучий.

Какой чудесный пир для слуха и очей!
Здесь пушек светла медь сияет за конями,
И ружья длинными рядами,
И стяги древние средь копий и мечей.
Там шлемы воев оперенны,
Тяжелой конницы строи,
И легких всадников рои —
В текучей влаге отраженны!

Там слышен стук секир, и пал угрюмый лес!
Костры над Реином дымятся и пылают!
И чаши радости сверкают!
И клики воинов восходят до небес!
Там ратник ратника объемлет;
Там точит пеший штык стальной;
И конный грозною рукой
Крылатый дротик свой колеблет.

Там всадник, опершись на светлу сталь копья,
Задумчив и один, на береге высоком
Стоит и жадным ловит оком
Реки излучистой последние края.
Быть может, он воспоминает
Реку своих родимых мест —
И на груди свой медный крест
Невольно к сердцу прижимает...

Но там готовится, по манию вождей,
Бескровный жертвенник средь гибельных трофеев,
И богу сильных Маккавеев
Коленопреклонен служитель олтарей:
Его, шумя, приосеняет
Знамен отчизны грозный лес;
И солнце юное с небес
Олтарь сияньем осыпает.

Все крики бранные умолкли, и в рядах
Благоговение внезапу воцарилось,
Оружье долу преклонилось,

И вождь, и ратники чело склонили в прах:
Поют владыке вышней силы,
Тебе, подателю побед,
Тебе, незаходимый свет!
Дымятся мирные кадилы.

И се подвигнулись — валит за строем строй!
Как море шумное, волнуется все войско;
И эхо вторит клик геройской,
Досель неслышанный, о Реин, над тобой!
Твой стонет брег гостеприимной,
И мост под воями дрожит!
И враг, завидя их, бежит,
От глаз в дали теряясь дымной!..

УМИРАЮЩИЙ ТАСС

Элегия

...E come alpestre e rapido torrente,
Come acceso baleno
In notturno sereno,
Come aura o fumo, o come stral repente,
Volan le nostre fame: ed ogni onore
Sembra languido fiore!
Che più spera, o che s'attende omai?
Dopo trionfo e palma
Sol qui restano all'alma
Lutto e lamenti; e lagrimosi lai
Che più giova amicizia o giova amore!
Ahi lagrime! ahi dolore!

«Torrismondo». Trag. di T. Tasso *

Какое торжество готовит древний Рим?
Куда текут народа шумны волны?
К чему сих аромат и мирры сладкий дым,

---

* ...И как горный и быстрый поток,
Как яркая вспышка молнии
В ясной ночи,
Как дуновение ветра или дым, или как внезапная стрела,
Проносится наша слава: и каждая почесть
Похожа на хрупкий цветок!
На что надеешься или чего ждешь теперь?
После триумфа и пальмовых ветвей
Одно осталось душе —
Горе и жалобы и слезные пени.
Что пользы отныне в дружбе, что пользы в любви!
О слезы! о скорбь!

«Торрисмондо». Траг<едия> Т. Тассо (ит.)

Душистых трав кругом кошницы полны?
До Капитолия от Тибровых валов,
Над стогнами всемирныя столицы,
К чему раскинуты средь лавров и цветов
Бесценные ковры и багряницы?
К чему сей шум? К чему тимпанов звук и гром?
Веселья он или победы вестник?
Почто с хоругвией течет в молитвы дом
Под митрою апостолов наместник?
Кому в руке его сей зыблется венец,
Бесценный дар признательного Рима;
Кому триумф? Тебе, божественный певец!
Тебе сей дар... певец Ерусалима!

И шум веселия достиг до кельи той,
Где борется с кончиною Торквато:
Где над божественной страдальца головой
Дух смерти носится крылатой.
Ни слезы дружества, ни иноков мольбы,
Ни почестей столь поздние награды —
Ничто не укротит железныя судьбы,
Не знающей к великому пощады.
Полуразрушенный, он видит грозный час,
С веселием его благословляет,
И, лебедь сладостный, еще в последний раз
Он, с жизнию прощаясь, восклицает:

«Друзья, о! дайте мне взглянуть на пышный Рим,
Где ждет певца безвременно кладбище.
Да встречу взорами холмы твои и дым,
О древнее квиритов пепелище!
Земля священная героев и чудес!
Развалины и прах красноречивый!
Лазурь и пурпуры безоблачных небес,
Вы, тополы, вы, древние оливы,
И ты, о вечный Тибр, поитель всех племен,
Засеянный костьми граждан вселенны —
Вас, вас приветствует из сих унылых стен
Безвременной кончине обреченный!

Свершилось! Я стою над бездной роковой
И не вступлю при плесках в Капитолий;
И лавры славные над дряхлой головой
Не усладят певца свирепой доли.
От самой юности игралище людей,

Младенцем был уже изгнанник;
Под небом сладостным Италии моей
Скитаяся, как бедный странник,
Каких не испытал превратностей судеб?
Где мой челнок волнами не носился?
Где успокоился? где мой насущный хлеб
Слезами скорби не кропился?
Сорренто! колыбель моих несчастных дней,
Где я в ночи, как трепетный Асканий,
Отторжен был судьбой от матери моей,
От сладостных объятий и лобзаний:
Ты помнишь, сколько слез младенцем пролил я!
Увы! с тех пор, добыча злой судьбины,
Все горести узнал, всю бедность бытия.
Фортуною изрытые пучины
Разверзлись подо мной, и гром не умолкал!
Из веси в весь, из стран в страну гонимый,
Я тщетно на земли пристанища искал:
Повсюду перст ее неотразимый!
Повсюду — молнии, карающей певца!
Ни в хижине оратая простого,
Ни под защитою Альфонсова дворца,
Ни в тишине безвестнейшего крова,
Ни в дебрях, ни в горах не спас главы моей,
Бесславием и славой удрученной,
Главы изгнанника, от колыбельных дней
Карающей богине обреченной...

Друзья! но что мою стесняет страшно грудь?
Что сердце так и ноет и трепещет?
Откуда я? какой прошел ужасный путь
И что за мной еще во мраке блещет?
Феррара... Фурии... и зависти змия!..
Куда? куда, убийцы дарованья!
Я в пристани. Здесь Рим. Здесь братья и семья!
Вот слезы их и сладки лобызанья...
И в Капитолии — Виргилиев венец!
Так я свершил назначенное Фебом.
От первой юности его усердный жрец,
Под молнией, под разъяренным небом
Я пел величие и славу прежних дней,
И в узах я душой не изменился.
Муз сладостный восторг не гас в душе моей,
И гений мой в страданьях укрепился.
Он жил в стране чудес, у стен твоих, Сион,

На берегах цветущих Иордана;
Он вопрошал тебя, мятущийся Кедрон,
Вас, мирные убежища Ливана!
Пред ним воскресли вы, о герои древних дней,
В величии и в блеске грозной славы:
Он зрел тебя, Готфред, владыко, вождь царей,
Под свистом стрел спокойный, величавый;
Тебя, младый Ринальд, кипящий как Ахилл,
В любви, в войне счастливый победитель:
Он зрел, как ты летал по трупам вражьих сил
Как огнь, как смерть, как ангел-истребитель...

И Тартар низложен сияющим крестом!
О, доблести неслыханной примеры!
О, наших праотцев, давно почивших сном,
Триумф святой! победа чистой Веры!
Торквато вас исторг из пропасти времен:
Он пел — и вы не будете забвенны —
Он пел: ему венец бессмертья обречен,
Рукою Муз и славы соплетенный.
Но поздно! я стою над бездной роковой
И не вступлю при плесках в Капитолий,
И лавры славные над дряхлой головой
Не усладят певца свирепой доли!»

Умолк. Унылый огнь в очах его горел,
Последний луч таланта пред кончиной;
И умирающий, казалося, хотел
У Парки взять триумфа день единой.
Он взором все искал Капитолийских стен,
С усилием еще приподнимался;
Но, мукой страшною кончины изнурен,
Недвижимый на ложе оставался.
Светило дневное уж к западу текло
И в зареве багряном утопало;
Час смерти близился... и мрачное чело,
В последний раз, страдальца просияло.
С улыбкой тихою на запад он глядел...
И, оживлен вечернею прохладой,
Десницу к небесам внимающим воздел,
Как праведник, с надеждой и отрадой.
«Смотрите,— он сказал рыдающим друзьям,—
Как царь светил на западе пылает!
Он, он зовет меня к безоблачным странам,
Где вечное Светило засияет...

Уж ангел надо мной, вожатай оных мест;
Он осенил меня лазурными крилами...
Приближьте знак любви, сей тáинственный крест...
Молитеся с надеждой и слезами...
Земное гибнет все... и слава, и венец...
Искусств и муз творенья величавы:
Но там все вечное, как вечен сам Творец,
Податель нам венца небренной славы!
Там все великое, чем дух питался мой,
Чем я дышал от самой колыбели.
О братья! о друзья! не плачьте надо мной:
Ваш друг достиг давно желанной цели.
Отыдет с миром он и, верой укреплен,
Мучительной кончины не приметит:
Там, там... о счастие!.. средь непорочных жен,
Средь ангелов, Элеонора встретит!»

И с именем любви божественный погас;
Друзья над ним в безмолвии рыдали.
День тихо догорал... и колокола глас
Разнес кругом по стогнам весть печали.
«Погиб Торквато наш! — воскликнул с плачем Рим, —
Погиб певец, достойный лучшей доли!..»
Наутро факелов узрели мрачный дым;
И трауром покрылся Капитолий.

ПРИМЕЧАНИЕ К ЭЛЕГИИ «УМИРАЮЩИЙ ТАСС»

Не одна история, но живопись и поэзия неоднократно изображали бедствия Тасса. Жизнь его, конечно, известна любителям словесности: мы напомним только о тех обстоятельствах, которые подали мысль к этой элегии.

Т. Тасс приписал свой «Иерусалим» Альфонсу, герцогу Феррарскому (o magnanimo Alfonso!..); и великодушный покровитель, без вины, без суда, заключил его в больницу св. Анны, то есть в дом сумасшедших. Там его видел Монтань, путешествовавший по Италии в 1580 году. Странное свидание в таком месте первого мудреца времен новейших с величайшим стихотворцем!.. Но вот что Монтань пишет в «Опытах»: «Я смотрел на Тасса еще с большею досадою нежели сожалением; он пережил себя; не узнавал ни себя, ни творений своих. Они без его ведома, но при нем, но почти в глазах его, напечатаны неисправно, безобразно». Тасс, к дополнению несчастия, не был совершенно сумасшедший и, в ясные минуты рассудка, чувствовал всю горесть своего

положения. Воображение, главная пружина его таланта и злополучий, нигде ему не изменило. И в узах он сочинял беспрестанно. Наконец, по усильным просьбам всей Италии, почти всей просвещенной Европы, Тасс был освобожден (заключение его продолжалось семь лет, два месяца и несколько дней). Но он недолго наслаждался свободою. Мрачные воспоминания, нищета, вечная зависимость от людей жестоких, измена друзей, несправедливость критиков; одним словом, все горести, все бедствия, какими только может быть обременен человек, разрушили его крепкое сложение и привели по терниям к ранней могиле. Фортуна, коварная до конца, приготовляя последний решительный удар, осыпала цветами свою жертву. Папа Климент VIII, убежденный просьбами кардинала Цинтио, племянника своего, убежденный общенародным голосом всей Италии, назначил ему триумф в Капитолии: «Я вам предлагаю венок лавровый,— сказал ему папа,— не он прославит вас, но вы его!» Со времен Петрарка (во всех отношениях счастливейшего стихотворца Италии), Рим не видал подобного торжества. Жители его, жители окрестных городов желали присутствовать при венчании Тасса. Дождливое осеннее время и слабость здоровья стихотворца заставили отложить торжество до будущей весны. В апреле все было готово, но болезнь усилилась. Тасс велел перенести себя в монастырь св. Онуфрия; и там, окруженный друзьями и братией мирной обители, на одре мучения ожидал кончины. К несчастию, вернейший его приятель Константини не был при нем, и умирающий написал к нему сии строки, в которых, как в зеркале, видна вся душа певца «Иерусалима»: «Что скажет мой Константини, когда узнает о кончине своего милого Торквато? Не замедлит дойти к нему эта весть. Я чувствую приближение смерти. Никакое лекарство не излечит моей новой болезни. Она совокупилась с другими недугами и, как быстрый поток, увлекает меня... Поздно теперь жаловаться на Фортуну, всегда враждебную (не хочу упоминать о неблагодарности людей!). Фортуна торжествует! Нищим я доведен ею до гроба, в то время как надеялся, что слава, приобретенная наперекор врагам моим, не будет для меня совершенно бесполезною. Я велел перенести себя в монастырь св. Онуфрия, не потому единственно, что врачи одобряют его воздух, но для того, чтобы на сем возвышенном месте, в беседе святых отшельников, начать мои беседы с небом. Молись богу за меня, милый друг, и будь уверен, что я, любя и уважая тебя в сей жизни, и в будущей — которая есть настоящая — не премину все совершить, чего требует истинная, чистая любовь к ближнему. Поручаю тебя благости небесной и себя поручаю. Прости! — Рим.— Св. Онуфрий». Тасс умер 10 апреля на пятьдесят первом году, исполнив долг христианский с истинным благочестием.

Весь Рим оплакивал его. Кардинал Цинтио был неутешен и желал великолепием похорон вознаградить утрату триумфа. По его приказанию,— говорит Женгене в «Истории литературы италиянской»,— тело Тассово было облечено в римскую тогу, увенчано лаврами и выставлено

всенародно. Двор, оба дома кардиналов Альдобрандини и народ многочисленный провожали его по улицам Рима. Толпились, чтобы взглянуть еще раз на того, которого гений прославил свое столетие, прославил Италию и который столь дорого купил поздние, печальные почести!..

Кардинал Цинтио (или Чинцио) объявил Риму, что воздвигнет поэту великолепную гробницу. Два оратора приготовили надгробные речи, одну латинскую, другую италиянскую. Молодые стихотворцы сочиняли стихи и надписи для сего памятника. Но горесть кардинала была непродолжительна, и памятник не был воздвигнут. В обители св. Онуфрия смиренная братия показывает и поныне путешественнику простой камень с этой надписью: «Torquati Tassi ossa hic jacent» [1]. Она красноречива.

БЕСЕДКА МУЗ

Под тению черемухи млечно́й
И золотом блистающих акаций
Спешу восстановить олтарь и Муз и Граций,
Сопутниц жизни молодой.

Спешу принесть цветы, и ульев сот янтарный,
И нежны первенцы полей:
Да будет сладок им сей дар любви моей
И гимн поэта благодарный!

Не злата молит он у жертвенника Муз:
Они с фортуною не дружны.
Их крепче с бедностью заботливой союз,
И боле в шалаше, чем в тереме, досужны.

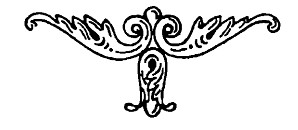
Не молит Славы он сияющих даров:
Увы! талант его ничтожен.
Ему отважный путь за стаею орлов,
Как пчелке, невозможен.

Он молит Муз: душе, усталой от сует,
Отдать любовь утраченну к искусствам,
Веселость ясную первоначальных лет
И свежесть — вянущим беспрестанно чувствам.

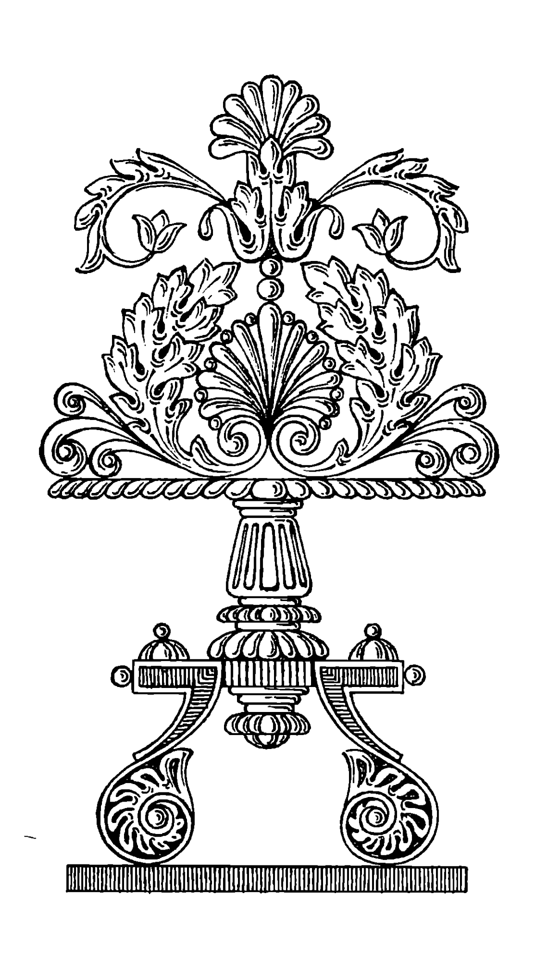
[1] Здесь лежат кости Торквато Тассо (*лат.*).

Пускай забот свинцовый груз
В реке забвения потонет,
И время жадное в сей тайной сени Муз
Любимца их не тронет:

Пускай и в сединах, но с бодрою душой,
Беспечен, как дитя всегда беспечных Граций,
Он некогда придет вздохнуть в сени густой
Своих черемух и акаций.




Произведения, не вошедшие
в „Опыты в стихах и прозе“





ОБ ИСКУССТВЕ ПИСАТЬ

Почерпнуто из Бюффона

Во все времена находились люди, которые умели властвовать над другими силою слова, но в одни только просвещенные века хорошо говорили и писали. Истинное красноречие неразлучно с образованием гения и разума. Оно различествует от сей природной способности изъясняться, которая ничто иное есть, как дарование, качество, свойственное тем людям, которых страсти сильны, органы гибки и воображение быстро. Сии люди чувствуют живо, живо поражаются предметам и сильно оное изъявляют; они механически передают другим восторг свой и страсти. Это тело, говорящее телу: все движения, все знаки к тому споспешествуют. Что нужно для увлечения толпы? Что нужно для убеждения большей части людей? Страстный и пылкий тон, частые выразительные мановения, слова быстрые и громкие. Но для малого числа образованных рассудительных слушателей, у которых вкус нежен и чувства верны, которые мало уважают голос, мановения и тщетный звук слов — для тех нужны мысли и доводы, которые надобно уметь представить, оттенить, расположить. Уметь поражать слух — не довольно; должно уметь действовать над душой, уметь тронуть сердце, говоря с рассудком.

Слог есть расположение и действие, в которое мы приводим свои мысли. Если мы их стесним, то и слог сделается силен и краток. Если мы их распустим, а свяжем одними словами, хотя и благозвучными, то слог будет растянут, вял и мертв.

Но прежде отыскания порядка, в котором представим мысли свои, мы должны изобресть оный в обширнейшем

виде. Он предполагает первые обозрения, первые идеи. Назначь их место на первом плане, и предмет твой будет окружен, и ты познаешь его меру и пространство. Не выпускай из виду сии первые границы, и познаешь верные расстояния, разделяющие побочные и средние идеи, долженствующие оные наполнить. Сила гения представит тебе все общие и частные идеи с истинной точки зрения, тонкость рассуждения заставит тебя отличить мысли бесплодные от мыслей обильных; чрез рассудительность — которая приобретается от большого упражнения в искусстве писать — ты предузнаешь плоды ума твоего. Если предмет и обширен, и многосложен, то редко можно обнять его одним взглядом или проникнуть в первых усилиях ума, даже и по частом рассуждении редко, очень редко можно угадать все отношения. Итак, им должно заниматься ежечасно! Вот единственный способ усилить, распространить, возвысить мысли свои. Чем более им дают силы и тела размышлением, тем более оживают впоследствии выражения.

План сей не есть еще слог, но есть его основа. Он поддерживает, направляет его действия; он дает ему законы — без сего лучший писатель блуждает. Перо его идет без путеводителя и почерпывает беспорядочные, несогласные между собою фигуры.— Пусть краски его будут живы, части исполнены красот, но целое не явственно, а потому похоже на неоконченное здание. Мы будем удивляться силе разума сочинителя, а усумнимся в даровании. Потому-то те, которые пишут, как говорят, хотя б и говорили хорошо, пишут дурно. По сей же причине те, которые отдаются на произвол первому огню воображения, принимают тон, который впоследствии трудно выдержать. Те, которые боятся потерять частные мимоходящие мысли и которые в различные времена пишут отрывками, не могут их впоследствии тесно соединить между собою по причине великих промежутков, одним словом, по сей причине так много творений составных и так мало отлитых в один раз.

Всякой предмет имеет единство и, несмотря на обширность свою, может быть заключен в единой речи. Препинания, отдыхи, отсечения должны употребляться в предметах, различных между собою, или когда мы говорим о предметах важных, затруднительных, несообразных (disparates); тогда ход гения преткновен обилием предметов и прерван обстоятельствами: иначе великое число разделений не токмо не сплотит здания, но разрушит его

единство. Книга сделается яснее, но намерение творца покроется темнотою. Творец не может действовать иначе на разум читателя, как последовательным развитием нити, согласным отношением мыслей; развитием постепенным, восхождением мерным, которое всякое преткновение разрушает или ослабляет.

Зачем творения природы столь совершенны? — Потому что всякое творение составляет нечто целое, ибо она трудится по плану вечному, от которого никогда не уклоняется. Она в безмолвии приготовляет семена своих произведений, она предначертывает единожды первобытный образ всякого живого творения, она заставляет продумать, усовершенствывает беспрестанным действием в течение предписанного времени. Ее творения удивляют нас, но что причиняет это чувство? — Печать божественной творческой руки! Разум человеческий ничего создать не может; его плодотворность зависит от опыта и глубокого размышления. Его познания суть имена его произведений. Но если он будет подражать природе в ее ходе, в ее трудах, если он созерцанием оной возвысится к истинам небесным, если он их соединит, образует нечто целое, приведет их в систему силою размышления — тогда только основать может на подобных седалищах вечные памятники.

Ежели умный человек не знает, как и чем начать свое сочинение, то это происходит оттого, что он не предначертал плана и не обдумал своего предмета. Ему вдруг представляется тьма мыслей, и предпочесть одну другой не может, ибо он их ниже сравнил одну с другою, ниже поработил размышлению — и сомнение им обладало! Но если он сочинит план, если единожды соберет и приведет в порядок мысли свои, то легко почувствует минуту, в которую должен будет взяться за перо; он поспешит дать ей жизнь, он даже будет писать с чувством сердечного удовольствия: мысли будут постепенно следовать одна за другою.

МЫСЛИ

Молчание есть украшение и щит юности.

Скупые на похвалу доказывают, что они не богаты достоинствами.

Путешественник имеет много хозяев и мало друзей.

Не делай ничего такого, чего б не должен знать твой неприятель.

Если ты хочешь взвесить услугу и обиду, то отними весу у одной, прибавь отнятое к другой — и будешь справедлив.

Что есть благодарность? — Память сердца.

Добродетель идет мимо счастия и злополучия, на то и на другое бросая презрительные взоры.

Боги! — даруйте мне мудрость, остальное — все вам!

Философия господствует над протекшим и будущим; *настоящее* убивает ее.

Любовь стареется, почтение также.

Великие люди предпринимают великие дела, потому что они велики; а дураки — потому, что считают их безделками.

Великие мысли истекают из сердца.

Кондильяк говорит, что чтение стихотворцев образует лучше способность мыслить верно, нежели чтение философов. В трагедиях Расиновых более логики, нежели в Сенеке, и проч.

ОПЫТЫ В ПРОЗЕ

Нужно ли поэту уединение? Вот вопрос, который не трудно разрешить. Предложим два другие: Должно ли поэту знать совершенно свет? Должно ли поэту обращаться в кругу людей светских, или в кругу собратий?

Я становлюсь на сторону тех, которые скажут, что совершенное, глубокое, тонкое познание света вредно для стихотворца. Кого видит он в свете? Людей, которых нравы испорчены, сердце грубо, чувства — если смею повторить в прозе выражение нашего Пиндара * — чувства черствы, ум развязан и тонок; но сей-то ум или остроумие разочаровывает предметы, смотрит на них с какой-то точки, вовсе не выгодной любимцу Муз; ибо она представляет предмет в наготе и отнимает от него тайную прелесть, без которой нет поэзии. Большая опытность, знание приличностей, знание нравов, светских нравов, которые столь отличны от нравов пиитических времен, как герои Гомеровы от Прусских генералов; одним словом, вся эта светская наука сушит сердце и душу; а они суть истинные, неистощимые ключи поэзии; без них-то

* Г. Р. Державина.

стихии лишаются прелести и — как цветы без животворных соков земли — вянут преждевременно.

Напротив того, созерцание природы питает душу, окрыляет мысли поэта, которые становятся мужественнее, сильнее, свободнее; там, где все безмолвствует, где мрак лесов питает задумчивость, где река свободная и светлая, текущая меж нив и садов, являет образ счастливого смертного, где нравы грубых, но счастливых поселян напоминают нам о нравах златого века,— одним словом, в уединении все предметы становятся стихотворными. Мало-помалу душа привыкает наслаждаться красотами природы. Мрачная и бурная ночь, дождливый и туманный день, тихое утро, торжественный закат солнца,— все оставляет глубокие следы в сердце! В уединении, говорит Томас, время принадлежит мудрецу и мудрец сам себе; в уединении, прибавлю я, все принимает важный и торжественный вид.

И что делать молодому писателю в свете (я говорю особенно о писателях русских) — собирать лавры? Но кто будет раздавать их? — Неужели женщины, которые клянутся г-жою Сталь и презирают все, что написано не гальскими Музами; мужчины? — (ни слова о невеждах) мужчины, которые думают, что стихотворец, бедняк и чудак все одно и то же, что написать поэму столь же бесполезно для общества, как привесть в порядок родословную,— одним словом, что поэт награжден, и с избытком, этим вопросом: вы пишете, я слышал, стишки?

Есть еще другая опасность в свете. В нем все будет разочаровывать поэта, как я сказал и прежде. Сладостные мечтания о невинности сердца, о тайной прелести, соединенной с красотою, или о пылких порывах великой души ко благу общественному — все это мало-помалу исчезнет, и стихотворец через год удивится (может быть, с ужасом) своей собственной опытности. Через год скажет он: как люди или как я переменился!

Вот и примеры:

Лиза прелестна! Стан ее — стан Нимфы; волосы и глаза младшей из трех Граций, стыдлива, как любовница Зефира, мила... одним словом, все в ней прелесть! — Равно мила, когда молчит, когда говорит (а она чаще молчит, нежели говорит); равно мила, когда в беспечности, подобно деве берегов Альбиона, в Английском саду между цветов и кустарников бегает с резвыми подружками; смотрите! как прелестно кисейная косынка ее и каштановые волосы развеваются дыханием Зефира!.. Равно

мила, когда на бале вместе с своей матерью проходит между толпы молодых людей, не поднимая глаз, притая дыхание...

Raccolte gli occhi, andò nel vel ristretta
Con ischive maniere e generose..... *

Ты увидел ее, сын Муз, увидел, и довольно. Беги же в свое уединение, сокройся в нем на долгое время! Где лира твоя? где кисти? Пой, счастливец! образ Лизы дышать будет в твоих картинах; она даст жизнь бездушным струнам лиры твоей; она украсит неизъяснимою, какою-то чудесною сладостию все твои мечтания; она будет с тобою и во сне и наяву. Но если — увлеченный красотою (которая, по словам мудрых Греков, сильнее Марса, а мы, стихотворцы, верим в Греков) — захочешь ты видеть Лизу чаще, то прости и Аполлон и Музы! Ты, бедный, потеряешь ум, ибо влюбленный и безумный одно и то же; спокойствие души твоей исчезнет, и может быть, навеки, а с ним исчезнут и песни: ибо я не могу поверить, чтобы несчастный мог петь согласно и стройно, страдая под гнетом рока. Ты будешь несчастлив или откроешь пороки, которые разочаруют тебя надолго. Эта Лиза, эта скромная Лиза, которую Милон сравнивал с стыдливою Дианою или с какою-то *девою святой любови*, Лиза, которой ресницы, опущенные вниз, осеняют два глаза, принадлежащие самой невинности, эта Лиза... поверите ли? насмешница, колкая, злая! Ее невинность — ложь, стыдливость — притворство. Она кокетствует молча, она... (о ужас! о преступление!..) надо мной смеялась; она тихонько сказала сестре своей, что я... *невежда*!!! — Завеса упала! я — вижу один порок.

Знакомы ли вы с Аристом, с этим великим человеком, которого хозяин модного дома встречает у порога, хозяйка ласкает, как на подряд; с этим Аристом, который говорит только для одной *пользы* слушателей, которого слова как солнце в небесах, которого ум глубок и обширен, ибо угадывает *падения царств*? — Я увидел Ариста и, как Диоген, погасил фонарь мой перед великим! Я увидел его и побежал в свой маленький приют воспевать славу Ариста под именем *истинного* мудреца. Любовь к ближнему исполнила грудь мою чистейшими восторгами, слезы умиления омочили лиру, прославлявшую друга человече-

---

* Она идет, завернувшись в покрывало, взор ее исполнен достоинства, манеры скромны и благородны (*ит.*).

ства... я был счастлив! Через несколько дней пришед к Аристу, я застал его — отгадайте за каким упражнением? — Он расставлял три мышеловки своего изобретения по углам комнаты. Спустя неделю, я услышал, что мой филантроп поссорил мужа с женою и женился в пятьдесят лет на молодой девушке, дочери откупщика NN затем, чтоб излить золото своего тестя *на страждущее человечество*.— И ода моя неоконченная предана всесожжению!

И каких обязанностей, тягостных и скучных, не требует от нас общество! здесь условное свидание, там ужин, там погребение! Притом же известно, что в обществе вас принимают всегда на счет выгод, или богатства, или дарований. Горе вам, если у порога встретят вас как сочинителя! С вами не станут говорить ни слова или станут говорить о стихах — что еще хуже! — Какой-то богач вздумал пригласить на обед трех известных стихотворцев. Обед начался; хозяин вслушивался прилежно в каждое слово, замечал каждое телодвижение новых гостей своих и, наконец, не примечая в них ничего *сверхъестественного*, с нетерпением спросил у своего соседа: *когда начнут они?* — т. е. увеселять его. Этот анекдот всем известен.— И так общество налагает на вас особенные пени, требует от стихотворца неистощимого остроумия, резких, колких ответов, тонких замечаний; словом — требует того, чего ни один поэт не в силах исполнить: ибо какое-то спокойное простодушие есть истинный характер любимца Муз, а простодушие в обществе сначала смешно, а потом и скучно.

Но писателю должно быть *иногда* в большом свете, который есть единственная школа учтивости и так называемого хорошего тона. Это истина, и неоспоримая! Стихотворец, который век свой провел на пыльной кафедре, будет всегда грешить против вкуса, школьное варварство — болезнь почти неизлечимая. Муза его, захочет ли быть важною — и будет угрюма; захочет ли быть нежною — и будет жеманною. Заглянем в древность: Гомер в странствиях своих, верно, угощаем был гостеприимными Царями; у какого-нибудь Алкиноя он имел случай видеть прелестную Навзикаю. Виргилий и Овидий жили в Августовых палатах. Гораций — в Утике и в Тиволи имел прекрасные убежища; там-то он пил вино, современное Туллиеву консульству; там-то счастливый поэт наш воспевал славу красавиц Римских и, увенчанный лилиями, *живущими один миг*, в кругу учтивых царедворцев Августовых, за чашей фалернского вина *все печали*

отдавал ветрам! Горациев пример нам весьма важен; ибо поэта сего мы называем поэтом вкуса.

Я описал и зло и добро, которые неразлучны с обществом для писателя. Что ж ему надлежит начать? Держаться среднего пути, и от Сциллы не попасть к Харибде. Один из новейших писателей * сказал, что общества большого света имеют свойство старых вин: излишнее употребление оных вредно, умеренное полезно и необходимо.

Но писателю обращаться в кругу собратий и нужно и должно. Положим, что он встретится иногда и с Бавием, который, с подзобком на груди подогнув колена, почитает себя выше Горация; и с Мевием, написавшим огромную поэму, в которой нет ни смысла, ни связи (может быть, потому, что он за ними не гоняется, занят будучи нанизыванием Славянских слов); и с Балдусом, который скрепя сердце превозносит своих соперников, желая их сделать покровителями покойных своих драм. Положим, что он встретится иногда и с высокопарным Даманом, который самые нежные цветы Анакреоновы прикосновением волшебного пера своего превратил, как могучий чародей, в мак и терние. Что нужды! — встретится и пройдет мимо. Но в обществе молодого Филона найдет он то, чего искал, то есть откровенность и дружество; но острый Милон научит его шутить остро и приятно!

Поистине, когда авторы не воюют перьями, когда вражда не бросит в их общество золотого яблока, когда личные достоинства других не успели им показаться обидными: тогда они с радостию, с каким-то невинным чувством чистосердечия подают один другому руку. И можно ли им не иметь склонности друг ко другу, когда предметы их разговоров, предметы их трудов и тайных помышлений одни и те же: науки, искусства, поэзия. Беседы их поучительны и даже необходимы для молодого дарования; они дают ему силу, пробуждают леность, оживляют его всегда новым и приятным образом. «Ах, я жалею о том человеке, который, занимаясь литературой, не имеет знающего друга!» — сказал один из лучших наших писателей, и опытности его мы должны верить. Самое дружество, сия страсть душ благородных, становится в их обществе живее, прелестнее. «Отнимите,— говорит Г. Гара (Garat),— зависть и клевету, которая очернила столько писателей-клеветников, не затмив ни

* Виже, если не ошибаюсь.

одного истинного таланта, и я их счастие предпочту даже самой славе».

Итак, друзья мои, скажем, скажем единодушно, что мы должны жить вместе и в мире для общей пользы и славы! Скажем единодушно в мирных своих убежищах: «Невинность и тихое сердечное удовольствие! живите вместе в бедном доме, где нет ни бронзы, ни драгоценных сосудов, где скатерть постлана гостеприимством, где сердце на языке, где Фортуны не чествуют в почетном углу; но где мы перед Музами, подобно древним, делаем излияния из чаш, увенчанных розами»... по крайней мере, я вас издали приветствую!

ЛАВИНИЯ

Историческая повесть

Два юных грека, Филон и Демокарт, возвращались из Рима в Афины, их отечество. Охота к наукам и забавам страсти, свойственные юности, сопрягли сердца двух путешественников теснейшими узами дружбы. Они жили в несчастном веке для Греции, в веке порабощения, во время царствования Нерона, под железным скипетром которого стенала увядающая Греция, ибо какой народ не трепетал от одного имени Сенекина воспитанника? — Но любовь к наукам, верное чувство красот изящного, народные зрелища, беспечный, ветреный, но любезный характер и в сии плачевные времена отличал афинян от прочих народов; и они были счастливее тяжелых, задумчивых Веотийцев, строгих Спартян, женоподобных Коринфян и прочих жителей Греции, которые страдали под игом Римской всесокрушающей политики.

Юные друзья наши, насытившись зрелищами роскоши и разврата древнего Рима, преплыли благополучно море, разделяющее Грецию от Италии, и вступили на берега Эпира. Облобызав отечественную землю и принесши несколько возлияний вина в жертву Юпитеру — покровителю странников, они шли спокойно и весело под тению миртовых и кипарисовых дерев, которыми Эпирские берега издревле славились. Весна улыбалась путешественникам: класы начинали зеленеть и поля покрывались душистыми травами. Все прельщало взоры и. . . . .

. . . .

ПРЕДСЛАВА И ДОБРЫНЯ

Старинная повесть

Древний Киев утопал в веселии, когда гонец принес весть о победе над печенегами.

Скачет всадник за всадником, и последний возвещает приближение победоносного войска. Шумными толпами истекают киевцы чрез врата северные; радостный глас цевниц и восклицаний народных раздается по холмам и долинам, покрытым снегом и веселою апрельскою зеленью. Пыльное облако уже показалось в отдалении: оно приблизилось, рассеялось и обнажило стальные доспехи и распущенные стяги войска, пылающие от лучей утреннего солнца. Владимир, счастливый Владимир ведет рать свою, и красные девы сыплют перед конем его цветы и травы весенние. В устройстве ратном проходит дружина, тихо и торжественно, ряд за рядом, и шумные толпы восторженных киевцев беспрерывно восклицают: «*Да здравствует победитель печенегов храбрый Владимир!*»

Герой, по обычаю древнему, преклонил меч свой к земле, благосклонно поклонился народу и сказал богатырским голосом: «Честь и слава Добрыне! Он избавитель мой!» Богатырь, сидящий на борзом коне своем, отрешил златую запону забрала, снял шелом и открыл голову перед народом и Владимиром — в знак почтения и благодарности. Слезы блистали в очах его; черные кудри, колеблемые дыханием ветра, развевались по плечам, и правая рука его лежала на сердце. Восторженные киевляне снова воскликнули: «Честь и слава Добрыне и всей дружине Русской!» Цветы посыпались на юношу из разных кошниц прекрасных жен и дев киевских, и эхо разнесло по благоуханной долине, где видны были развалины храма, посвященного вечно юной Зимцерле: «*Честь и слава дружине!*»

Супруга Владимира, прекрасная царевна Анна, и дочь ее, Предслава, выходят навстречу к великому князю. Он простирает к ним свои руки, попеременно прижимает к стальной броне, под которой билось нежное сердце, то супругу, то дочь свою, и все труды ратные забыты в сию сладкую минуту свидания! Владимир указывает им на Добрыню: «Вот избавитель мой!» — говорит он, обращаясь к супруге, к царедворцам и седовласым мудрецам греческим, притекшим с царевною из Царяграда.— «Вот избавитель мой! — продолжает великий князь.— Когда единоборство с исполином печенегским кончилось побе-

дою, когда войска мои ринулись вослед бегущим врагам, тогда я, увлеченный победою, скакал по грудам тел и вторгся в толпу отчаянных врагов. Мечи их засверкали надо мною, стрелы пробили шелом и щит; смерть была неизбежна. Но Добрыня рассеял толпы врагов, вторгся в средину ужасной сечи: он спас меня! Чем и как заплачу ему?»

Слезы благодарности заблистали в очах прекрасной Анны; она подала супругу своему и Добрыне правую и левую руку и повела их по узорчатым коврам в высокий терем княжеский. Предслава взглянула на Добрыню, и ланиты ее запылали, подобно алой заре пред утренним солнцем; и длинные ресницы ее покрылись влагою,— как у стыдливой девы, взглянувшей на жениха своего при блеске брачных светильников.

Прекрасна ты была, княжна киевская! Осененная длинною фатою, ты была подобна стыдливому месяцу, когда он сквозь тонкий туман смотрит на безмолвные долины и на синий Днепр, сверкающий в просеках дубовых. Но отчего сильно бьется девическое сердце твое под парчами и златою дымкою? Отчего белая грудь твоя волнуется, как лебедь на заливах Черного моря, когда полуденный ветер расколыхает воды его? Отчего глаза твои блистают огнем, когда они невольно обращаются на прекрасного витязя?

Ах, и Добрыня давно любил тебя! Давно носил твой образ в сердце, в пламенной груди своей, покрытой тщетно стальною кольчугою! Повсюду образ твой, как тайный призрак, за ним следовал: и на потешных играх, где легкие копья ломаются в честь красных жен и дев киевских, и на войне против ляхов и половцев, на страшных битвах, где стрелы свистят, как вихри, и острые мечи, ударяя по шеломам, наносят глубокие раны. Давно уже богатырь любил красавицу; но никогда не являлась она ему столь прелестною, как в сии минуты славы и радостей народных. Тщетная любовь, источник слез и горести! Все разлучает тебя с возлюбленной: и высокий сан ее, и слава Владимира, и слава предков красавицы, повелителей Царяграда!

Ты знаешь сие, несчастный Добрыня, знаешь и — любишь. Но сердце твое чуждо радостей, чело твое мрачно посреди веселий и торжеств народных. Как дерево, которого соки погибли от морозов и непогод зимних, не воскресает с весною, не распускает от вешнего дыхания молодых листков и почек, но стоит уныло посреди холмов

и долин бархатных, где все нежится и пирует: так и ты, о витязь, часто мрачен и безмолвен стоишь посреди шумной гридницы, опершись на булатное копье. Всё постыло для тебя: и красная площадь, огражденная высоким тыном (поприще словутых подвигов), и столы дубовые, на которых блестят кубки и златые чары с медом искрометным и заморскими винами; всё постыло для тебя: турий рог недвижим в руке богатырской, и унылые взоры твои ничем не прельщаются, ниже плясками юных гречанок *, подруг Предславиных, которые, раскинув черные кудри свои по плечам, подобным в белизне снегам Скандинавии, и сплетясь рука с рукою, увеселяют слух и взоры Владимира разнообразными хороводами и нежным, протяжным пением. Они прекрасны, подруги Предславины... Но что звезды вечерние перед красным месяцем, когда он выходит из-за рощей в величии и в полной славе?

Долго ли таиться любви, когда она взаимна, когда все питает ее, даже самая робость любовников? Когда сердца подобны двум, ручьям, которые невольно, как будто влекомые тайною силою, по покатам долин и отлогих холмов ищут друг друга, сливаются воедино, и дружные воды их составляют единую реку, тихую и прозрачную, которая по долгом и счастливом течении исчезает в морях неизмеримых. Счастливы они, если не найдут преграды в своем течении!

Так красавица и рыцарь невольно, неумышленно прочитали во взорах, в молчании и в словах отрывистых, им одним понятных, взаимную страсть. Они не видели под цветами ужасной пропасти, навеки их разлучающей, ибо она засыпана была руками двух сильных волшебниц, руками *любви и надежды!* Предслава не помышляла об опасности. Добрыня тогда только ужасался своей страсти, тогда только сердце его заливалось кровью, когда прекрасная Анна, мать его возлюбленной, обращала к нему приветливую речь или когда Владимир выхвалял послам чуждых народов силу и храбрость своего избавителя. Юноша страшился неблагодарности.

Терем младой княжны был отделен от высоких тере-

---

* Известно по истории, что в княжение Владимира I находилось множество греков при его дворе. Скажем мимоходом, что мы не позволяли себе больших отступлений от истории; но просим читателя не забыть, что повесть не летопись. Здесь вымысл позволен. Относительно к басням rien n'est beau que le vrai, le vrai seul est aimable <Только истинное прекрасно, любезна одна только истина (*фр.*).> принимается в другом значении.

мов Владимира. Длинные деревянные переходы, украшенные резьбой, соединяли сии здания. Вековые дубы, насаженные руками отважного Кия,— как говорит предание,— осеняли уединенную обитель красавицы. Часто весенние вечера она просиживала на высоком крыльце, опершись рукою на дубовые перилы; часто взоры ее стремились в синюю даль, где высокие холмы величественно возвышались один над другим, неприметно сливались с небесной лазурью; часто, отдалив усердных прислужниц, одна среди безмолвия ночного, она предавалась сладким мечтаниям девического сердца, мечтаниям, которые невольно украшались образом Добрыни. Когда месяц осребрял высокие верхи дубов и кленов и тихое дыхание полночи колебало листы, перебирая их один после другого, тогда Предславу обнимал ужас. Ей мечталось видеть Добрыню. Она вперяла прилежно слух и взоры; но все было тихо, безмолвно, мечта исчезала, а с ней и тайный, но сладостный страх. Так младая княжна питала тоску и любовь свою, когда Добрыня воевал печенегов с великим князем Владимиром. Она переносилась мысленно на поля, обагренные кровью: опасности, окружающие отца ее, ужасали сердце красавицы; но при мысли, что Добрыня падет под мечом или булавою варвара, сердце ее обливалось кровью, тяжко поднималась высокая грудь и слезы падали обильною росою на злотошвейные ткани.

Теперь сии деревянные переходы, осененные тению столетних дубов, сия тайная обитель невинности, учинилась свидетельницею ее радости. Страстный витязь позабыл и страх, и благодарность: все забыто, когда сердце любит. Витязь, в часы туманной полуночи, приходил к княжне, и там, у ног ее поверял ей сердечную тоску и мучения, клялся в верности и утопал в счастии. Но любовники были скромны. Тих и ясен ручей при истоке, но скоро, возрастая собственными водами, становится быстр, порывист, мутен. Такова любовь при рождении, таковы и наши любовники.

Между тем все народы покорялись великому князю. И воинственные жители Дуная, и дикие хорваты, сыны густых лесов и пустыней, и печенеги, пиющие вино из черепов убиенных врагов на сражении,— все платили дань христианскому владыке. Народы стран северных, жители туманных берегов Варяжского моря, обитатели неизмеримой и бесплодной Биармии страшились и почитали Владимира. Многие владельцы желали вступить

в брак с Предславою, желали, но тщетно, ибо они были все служители идолов или поклонники Магомета.

Часто на холмах, окружающих Киев, неизвестный витязь становил златоглавый шатер и вызывал на единоборство богатырей киевских. Ристалище открывалось, и пришлец, почти всегда побежденный, со стыдом удалялся в свое отечество. Витязи иноплеменные ежедневно увеличивали двор Владимиров. Меж ними блистали красотой и храбростью Горислав Ляхский, юноша прекрасный, как солнце весеннего утра, храбрый Стефан Угорский и сильный Андроник Чехский, покрытый косматой кожей медведя, которого он задавил собственными руками в бесплодных пустынях, орошенных Вислою. Все они требовали руки Предславиной, все состязалися с богатырями киевскими и угощаемы были под богатыми наметами гостеприимным Владимиром. «Не наживу друзей сребром и золотом,— говорил он,— нет, а друзьями наживу, по примеру деда и отца моего, сокровища и славу!»

Но ужасная туча сбиралась над главами наших любовников. *Радмир*, сын князей Болгарских, владыка христианского поколения, спешит заключить союз с народом Русским и тайно требует руки Предславиной. Владимир принимает богатые дары его и дает ласковый ответ посланнику болгарскому: Радмир вскоре является на берегах Днепровских. Десять ставок, одна другой богатее, блистают при восходе солнечном, и сии ставки принадлежат Радмиру, который, окруженный блистательной толпою витязей Дунайских, вступает в терема княжеские. Вид его был величествен, но суров; взоры проницательны, но мрачны; стройный стан его был препоясан искривленным мечом; руки обнажены; грудь покрыта легкою кольчугой, а вниз рамен висела кожа ужасного леопарда. Предслава увидела незнакомца, и сердце ее затрепетало от тайного предчувствия. Невольный румянец, заменяемый смертною бледностию, обнажал страсти, волнующие грудь красавицы. Взоры ее искали Добрыни, который безгласен, бледен стоял в толпе царедворцев; но надменный Радмир толковал в свою пользу явное смущение красавицы, и, ободренный своим заблуждением: «Повелитель земли Русской,— сказал он,— тебе известны храбрые поколения Болгаров, населяющих обильные берега Дуная. Меч храбрых Славен не один раз притуплялся о сие железо (*указывая на свой меч*); не один раз лилась кровь обоих народов, народов равно славных и воинственных, от которых трепетал и Запад, и поколения

северные: ибо где неизвестна храбрость Болгар и Славен! Храбрые Россы унизили надменные стены Царяграда: ты рассеял в прах стены Корсунские. Мечом предков моих избиты бесчисленные полчища Греков, ими выжжен град, носивший имя древнего Ореста. Мудрые предки мои приняли веру истинного бога *, и ты, Владимир, отверг служение идолов, и ты капища претворил во храмы. Я желаю твоего союза, о повелитель земли Русской! Соединенные народы наши воедино удивят подвигами вселенную, расширят за Урал пределы твоего владычества... У твоего знамени будут сражаться мои воины. Меч мой будет твоим мечом... Но да введу в дом престарелого отца моего твою дочерь, да назову Предславу супругою!.. Владимир, я ожидаю благосклонного ответа!»

Царедворцы и младые витязи Русские с негодованием взирали на гордого Радмира: они с нетерпением ожидали решительного отказа. Но те из них, которые поседели не на поле ратном, а в служении *гридницы*, лучше знали сердце своего владыки: они прочитали во взорах его совершенное согласие, и хитрая их улыбка одобрила речь надменного Радмира. Решительность в битвах, пылкая храбрость и дух величия болгарского владыки, дух, алкающий славы и подвигов, давно были известны Владимиру; гордые слова, гордый и величавый вид его напоминали ему о годах его юности, и наконец союз двух народов, доселе неприязненных, но равно храбрых и сильных, союз двух народов, скрепленных браком Предславы, долженствовал возвеличить княжество Русское,— и мудрый Владимир подал руку свою в знак согласия. Красавица безмолвна, бледна, как жертва, обреченная року, склонясь на руку прекрасной Анны, робкими, медленными шагами приближалась к своему отцу, который подал ей *чашу пиршества*, исполненную сладкого меда. Совершается древний обряд праотцев: жених принимает чашу из рук стыдливой невесты и выпивает до дна сладостный напиток.

Десять дней сряду солнце киевское освещает радушные пиры в теремах княжеских. Десять дней сряду все торжествует и радуется. Но красавица проливает слезы на лоно матери: единственное утешение в горести! Часто

---

* Болгары были магометанского исповедания, но не все, ибо император Михаил, победив их, принудил принять христианскую веру (смотри Нестора). Они же разорили Адрианополь, носивший в древности имя основателя своего Ореста (и об этом упоминает Нестор).

ужасная тайна готова вылететь из груди ее и всегда замирает на робких устах. Анна приписывает к нежности сердечной тоску дочери своей, и слезы ее текут с слезами красавицы. Но гордый Радмир, познавший в первый раз любовь, близок проникнуть ужасную тайну. С негодованием взирает на слезы и силится подавить в глубине сердца своего ужасную страсть — ревность, спутницу пламенной любви.

Между тем настает великий день, посвященный играм богатырским. При восходе лучезарного солнца голос бранной трубы раздается в заповедных лугах, и на возвышенном месте, устланном коврами вавилонскими (похищенными при взятии Корсуня), возвышается высокий намет княжеский. Там восседает Владимир с супругою и прекрасною Предславой. Там, под другими шатрами, заседают старцы и жены киевские. Из них старейшины называются судьями *тризны*, ибо награда *храброго* искони принадлежала мудрости и красоте. Народ стекается за ставками, и бесчисленные толпы его покрывают ближние возвышения. Посреди ратного места пешие и конные витязи ожидали знака для начатия игр. Грозный Роальд, витязь Новгородский, возвышался меж ними, как древний дуб посреди низкого кустарника. Юный Переяслав, богатырь низкого рода, но низвергнувший разъяренного вола, Переяслав, победивший исполина печенегов, гордился чудесною силою. Он был пеш; кожа безобразного зверя, им растерзанного, развевалась на широких его раменах. Тяжелая секира, которую и три воина нашего века едва ли поднять могут, лежала на правом плече богатыря. Он ожидал борца и громким голосом вызывал на поединок всех витязей, вызывал — тщетно! Всякой страшится неестественной его силы. Гордый Свеналь, древле пришедший с отлогих берегов озера Нево, Свенальд, воевода Владимиров, являлся в толпе витязей в броне вороненой, в железном шеломе, на котором ветер развевал широкие крылья орлиные. Израненная грудь его, на которой струилась седая брада, черный шелом, исполинское копье и щит величины необычайной напоминали киевцам о товарище отважного Святослава. Но меж вами, о витязи, находилась славная воительница, притекшая с берегов баснословного Термодона *. Высокая грудь ее, где розы сочетались со свежими лилиями, грудь ее, подобная двум холмам чистейшего снега, покрыта

---

* Конечно, Царь-девица.

была легкою тканью. Черные власы красавицы, едва удержанные златою повязкой, развевались волною по плечам, за которыми звенел резной тул, исполненный стрел. Нетерпеливый конь ее, легкий как ветер, был покрыт кожею ужасного леопарда; ноги его воздымали облако праха; златые бразды его, омоченные пеною, громко звенели, и он, казалось, гордился своею всадницею. Меч, кованный в Дамаске, блистал в правой руке ее, а левая покрыта была щитом сребра литого. Всё в ней обличало деву, и гибкий стан, подобный пальме или стеблю лилейному, и маленькая нога, обутая в багряный полусапог; но рука ее, о страх врагам и дерзким витязям! Киевцы, пораженные новым для них зрелищем, громко выхваляли красавицу, и сердце, гордое сердце девицы, сильно билось от радости.

Но Добрыня явился, и все взоры на него обратились, и ланиты Предславы запылали розами. Витязь вошел в толпу одетый тонким панцирем, на котором блистала голубая повязка, тайный подарок его любезной. Белые перья развевались на его шеломе. Меч-кладенец висел на широком поясе у левой бедры. По поданному знаку из шатра княжеского, юные гридни подвели ему коня, на котором Владимир воевал в молодости. Давно уже никто не седлал его, давно уже на свободе топтал он траву в заповедных лугах киевских. Предание говорит, что конь сей был некогда посвящен Световиду и имел дар пророчества *. В знак дружбы своей Владимир его отдает витязю. Добрыня смело вложил ногу в златое стремя; конь почувствовал седока, преклонил смиренно дикую свою голову и радостным ржанием огласил луга и долины.

Знак был подан старейшинами, и взоры устремились на высокую мету, поставленную на конце поприща. К ней был привязан быстрокрылый сокол. Стрелки отделились, и в числе их прекрасная воительница. Златый лук зазвенел в ее руках, и стрела помчалась по воздуху; но тщетное острие ударилось о дерево, зашаталось, и устрашенная птица затрепетала крыльями. Юный Горислав вынул каленую стрелу, и пернатая, пущенная из сильных рук его, рассекла воздух пламенною стезею. Так пролетает молния или звезда воздушная по синему небу! Стрела перерезала нити, которыми был привязан сокол, и птица,

---

* Конь бога *Световида* имел дар пророчества. Смотри «Мифологию славян» г. Кайсарова.

свободная от уз, быстро полетела над главами зрителей. Добрыня натягивает лук свой, пускает меткую стрелу... И сокол лежит у ног Предславы, и народ восклицает: «Честь и слава Добрыне!» А сердце красавицы утопало в веселии.

Изводят на поприще дикого вола, воспитанного на пажитях Черкасских: ужасная глава его, вооруженная крутыми рогами, поникла к земле; взоры дикие и мутные обращены были на толпу, которая раздалась в ту и другую сторону. Андроник, дерзкий витязь, желая разъярить чудовище, вонзил в ребра его легкое копье; острие впилось, древко зашаталось, и черная кровь хлынула рекою. Разъяренный вол бросается на толпу; тяжелые ноги его вздымают к небесам облако праха и пыли; пышет черный дым, искры сыплются из глубоких его ноздрей, и страшный рев, подобный грому, оглушает устрашенных зрителей. Между тем отрок Переяслав исторгается из толпы и сильными мышцами ухватывает за рога дикого зверя. Начинается ужасная борьба. Трижды разъяренный вол опрокидывал богатыря и давил его своею громадою; трижды богатырь опрокидывал зверя, и ноги его, подобные столбам тяжелого здания, глубоко входили в песок. Наконец храбрый юноша, уже близкий к погибели, вскакивает на хребет его, обхватывает жилистыми руками... и чудовище, изрыгая ручьи кровавой пены, падает бездыханно. Богатырь, покрытый пылью и потом, одним махом секиры своей отрубает ужасную голову чудовища, приподымает ее за крутые рога и бросает к ставке княжеской. Прекрасные княжны ужаснулись, а киевцы, удивленные сим новым и чудесным зрелищем, провозглашают богатыря победителем.

Радмир, сохраняя глубокое молчание, стоял близь ставки княжеской. Он желает сорвать пальму победы, требует позволения войти в толпу *храбрых* и в тайне сердца своего полагает совершить победу над Добрынею.

Начинаются игры не менее опасные, но в которых сила и храбрость должны уступить искусству; всадники разделяются на две стороны; каждый из них выбирает соперника; Радмир назначил Добрыню, и витязь благословляет сей выбор! В руках его и жизнь и слава соперника; в руках Предславы награда победителю — златый кубок, чудо искусства Греческих художников.

Разъезжаются по широкой равнине: легкие кони

летят, как вихри, один навстречу другому, копья ударились в щиты. Добрыня удвояет удары, и Радмир, простертый на земле, глотает пыль и прах! Русский витязь покидает коня своего, меч сверкает в руке Болгара, удары сыплются на доспехи любовника Предславы, звонкие иверни летят с кольчуги,— мщение и гнев владеют рукою витязей, равно храбрых и искусных... Но Владимир подает знак — и *витязи остановились.*

Ибо внезапу воздух помрачился тучами. Зашумели вихри, и гром трижды ударил над главами зрителей. Сердца малодушных жен и старцев, которые втайне поклонялись мстительному Чернобогу, исполнились ужасом. Празднество кончилось; мечи и копья витязей опустились долу; но дождь и снег беспрестанно шумели и наполняли внезапными ручьями путь и окрестную равнину. Порывистый вихрь сорвал воткнутые древки и разметал далеко наметы княжеские. Народ укрывался под развалинами древних капищ и толпами бежал к городу. Анна прижала к груди своей Предславу и робкою, но поспешною стопою, ведомая Владимиром и окруженная верными гриднями, удалялась в терем свой. Гласы бегущего народа, топот скачущих по полям всадников, свист разъяренных вихрей, дождь, падающий реками,— всё сие устрашало прекрасную княжну. Омоченные власы рассыпались по высокому челу ее, вихрь сорвал легкие покровы с главы, дыхание ее прерывалось от скорого бега, и она, изнемогая, почти бездыханна, упала на пути, в дальнем расстоянии от Киева. Анна и Владимир спешили к ней на помощь, и Радмир предложил ей коня своего. Сердце Добрыни, в свою очередь, запылало ревностью: он желал бы сам проводить княжну, желал бы... Тщетное желание! Ненавистный Болгар, жених ее, он один имеет сие право. Между тем служитель Радмиров подводил коня за звучащие бразды; Предслава приближалась к нему... Она увидела беспокойство Добрыни, прочитала в глазах витязя глубокую печаль его, и горестный вздох вылетел из груди прекрасной девицы. Жених ей подал свою руку... О, счастие! Нетерпеливый конь, устрашенный шумною толпою, вырвался из рук клеврета и стрелою исчез в мраке. Болгарский князь, снедаемый гневом, бросился вслед за ним: тщетны были его старания, и ревность на крилах ветра заставила его возвратиться к Предславе. Но Добрыня, по приказанию Владимира, сидел уже на коне с княжною; уже борзый конь вихрем уносил счастливую чету, и великое пространство поля отделяло любовников

от ревнивца. Сладкие минуты для Добрыни! Красавица обнимала его лилеиными руками, сердце ее билось, билось так близко его сердца; нежная грудь ее прикасалась к стальной кольчуге, дыхание ее смешивалось с его дыханием (ибо витязь беспрестанно обращал к ней голову свою), и лицо ее, омоченное хладными ручьями дождя и снега, разгорелось, как сильное пламя... Конь мчался вихрем... И витязь в первый раз в жизни сорвал продолжительный, сладостный поцелуй с полуотверстых уст милой всадницы. Гибельный поцелуй! Он разлился, как огнь, глубоко проник в сердце и затмил светлые очи красавицы облаком любви и сладострастия. Она невольно преклонила голову свою на плечо витязя, подобно нежному маку, отягченному излишними каплями майской росы. Благовонные власы ее, развеваемые дыханием ветров, касались ланит счастливого любовника; он осыпал их сладкими поцелуями, осушал их своим дыханием, и упоение обоих едва ли кончилось, когда быстрый конь примчался к терему Владимира, когда он трижды ударил нетерпеливым копытом о землю, и прислужницы княжеские вышли им навстречу с пылающими светильниками.

Владимир возвратился в высокие терема и там нашел печальную и бледную Предславу. Ах, если б матерь ее, которой ласковые руки осушали омоченные волосы дочери, если б матерь знала, какая буря свирепствовала в ее сердце, отчего лилии покрыли бледностию чело и ланиты, отчего высокая грудь красавицы столь томно волнуется под покровами!!!

Но вскоре княжна, окруженная подругами, скрылась в терем свой, ибо глубокая ночь уже давно покрывала землю. Добрыня, увлеченный любовию, забыв и долг, и собственную безопасность, Добрыня, пользуясь ночным мраком, поспешил к терему красавицы. Все начинало вкушать сон в чертогах княжеских, но буря не умолкала. Ужасно скрипели древние дубы, осеняющие мирную обитель красоты, и град шумел беспрестанно, падая на деревянный кров терема. Тусклый свет ночной лампады едва мерцал сквозь густые ветви, и богатырь, стоящий на сырой земле, сохранял глубокое молчание. Он желал отличить образ Предславы, мелькающий в окнах терема, приблизился и увидел ее. Там, в тайном уединении, освещенная лучом лампады, являлась она посреди своих прислужниц, подобно деве, посвященной служению *Знича*, подобно жрице, когда она в глубокую ночь,

уклонившись в Муромские убежища, медленно приближается к жертвеннику, на котором пылает неугасимое пламя, медленно снимает перед тайным божеством девственные покровы и совершает неисповедимые обряды.

Как билось сердце твое, храбрый юноша, когда красавица, отдалив подруг, отрешила узлы таинственных покровов! Как билось сердце твое, несчастный и вместе счастливейший из смертных, когда рука ее обнажила белую грудь, подобную двум глыбам чистейшего снега, когда волосы ее небрежно рассыпались по высокому челу и по алебастровым плечам! Нет, не в силах язык человеческий изобразить страстей, пылающих в груди нашего рыцаря! Но вы, пламенные любовники, перенеситесь мыслями в те времена страстей и блаженства, когда случай или любовь, властительница мира (ибо и случай ей покорствует), когда любовь открывала пред вами свои таинства; вы, счастливцы, можете чувствовать блаженство Добрыни!

Робкий голос его называл имя *Предславы*, и ветер трижды заглушал его. Наконец, красавица услышала: встревоженна, приблизилась к окну и при бледном луче светильника узнала его. Долго смотрела она, как ветер развевал черные его кудри, как снег сыпался медленно на открытую голову возлюбленного; долго в недоумении глядела она... и наконец, сожаление (предание говорит: любовь), владея робкою рукой, тихонько отодвинуло железные притворы терема — и витязь упал к ее ногам! «Что ты делаешь? — сказала прекрасная.— Что ты делаешь, несчастный? Беги от меня, сокройся, пока мстительный бог... Ах, я навеки твоей не буду! Небо разлучает нас».— «Люди разлучают нас,— прервал ее Добрыня,— люди разлучают два сердца, созданные одно для другого в один час, под одной звездою, созданные, чтобы утопать в блаженстве или глубоко, глубоко лежать в сырой земле, но лежать вместе, неразлучно!» — «Удались, заклинаю тебя»...— «Ах, Предслава, ты моя навсегда... Жених твой, сей Болгар, должен упасть от меча храброго!» — «Ах, что ты хочешь предпринять? А судьба матери моей, а гнев, неукротимый гнев великого князя?..» — «Так, Предслава: я вижу ты меня не любишь. Брак с повелителем обильных стран Дунайских льстит твоему честолюбию. Вероломная женщина, ты не любишь Добрыни, ты забыла священнейший долг, клятвы любви... Но смерть мне остается в награду за верность!..»

Сияющий меч висел на бедре героя, правая рука его лежала на златой рукояти; но Предслава, слабая и вместе великодушная, Предслава бросилась в его объятия; горячие слезы текли из глаз ее, слезы любви, растворенные сердечною тоскою. Любовники долго безмолвствовали. Сама любовь запечатлевала стыдливые уста красавицы: вскоре слезы сладострастия заблистали, как перлы, на длинных ее ресницах, розы запылали на щеках, грудь, изнемогая под бременем любви, едва, едва волновалась, и прерывистый, томный вздох, подобный шептанию майского ветерка, засыпающего на цветах, вылетел из груди ее, вылетел... и замер на пламенных устах любовника.

Быстро мчится время на крилах счастия; любовь осыпает розами своих любимцев, но время прикосновением хладных крил своих вскоре и самые розы сладострастия превращает в терны колючие! Всё безмолвствовало в обители красавицы. Светильник, догорая, изредка бросал пламень свой... и она проснулась от очарования среди мрака бурной ночи. Напрасно витязь прижимал печальную к груди своей, напрасно пламенные уста его запечатлевали тихое, невольное роптание: рука ее трепетала в руке любовника, слезы лились обильными ручьями, и хладный ужас застудил последний пламень в крови печальной любовницы.

Наконец, горестный поцелуй прощания соединил на минуту души супругов. Красавица вырвалась из объятий витязя. Добрыня надвинул сияющий шелом свой, открыл двери терема, ведущие на длинные переходы... О, ужас!.. он увидел, при сумнительном блеске месяца, который едва мелькал сквозь облако, увидел ужасный призрак... вооруженного рыцаря! — и сердце его, незнакомое со страхом, затрепетало — не за себя, за красавицу. Предслава упала бездыханная на праг светлицы. Но меч уже сверкал в руке незнакомца, страшный голос его раздавался во мраке: «*Вероломные, мщение и смерть!*» Добрыня, лишенный щита и брони, вооруженный одним шлемом и острым мечом своим, тщетно отбивал удары: тайный враг нанес ему тяжелую рану, и кровь ударилась ручьями. Богатырь, пылая мщением, поднял меч свой обеими руками; незнакомец уклонился — удар упал на перилы; щепы и искры посыпались, столпы здания зашатались в основаниях, и сердце незнакомца исполнилось ужасом. Красавица, пробужденная от омрака, бросилась в объятия Добрыни; тщетно дрожащая рука ее удерживала его руку, тщетно

слезы и рыдания умоляли соперника: ревность и мщение кипели в лютом его сердце. Он бросился на Добрыню, и витязь, прижав к окровавленной груди своей плачущую супругу, долго защищал ее мечом своим. От частых ударов его разбился шелом соперника, иверни падали с кольчуги, гибель его была неизбежна... Но правая нога изменяет несчастному Добрыне, он скользит по помосту, омоченному ручьями дождя и крови, несчастный падает, защищая красавицу, и хладный меч соперника трижды по самую рукоять впивается в его сердце.

Светильники, принесенные устрашенными девами, стекающимися из терема, осветили плачевное зрелище... Радмир (ибо это был он, сей незнакомец, завлеченный ревностию к терему Предславы), Радмир довершал свое мщение. Добрыня, плавая в крови своей, устремил последний, умирающий взор свой на красавицу; улыбка, печальная улыбка, потухла в очах его, и имя Предславы вместе с жизнию замерло на устах несчастного.

Нет ни жалоб, ни упрека в устах красавицы. Нет слез в очах ее. Хладна как камень, безответна как могила, она бросила печальный, умоляющий взор на притекшего Владимира, на отчаянную матерь и, прижав к нагой груди своей сердце супруга, пала бездыханная на оледенелый его труп... как лилия, сорванная дыханием непогод, как жертва, обреченная любви и неизбежному року.

Насилу досказал!

1810 года. Августа. Деревня.

АНЕКДОТ О СВАДЬБЕ РИВАРОЛЯ

«Нет ни одного человека,— говорит Вольтер,— который бы в жизни своей не сделал одного дурачества, и самого чудесного! Герцог Иоркский, разбитый при Дункерке и при Гельдере (в Голландии), воображал себя героем; Неккер думал о себе, что он сотворен для политики, для преобразования земель; а дочь его мечтала быть прекраснейшею из всех женщин».— Дурачество Ривароля состояло в том, что он воображал себя дворянином, и дворянином самым крупным.

В Версальи он назывался аббатом Парсье и жил маленьким пенсионом; потом, переходя из одного звания в другое и получа место дядьки в доме некоторого вельможи, преобразовал имя свое и из *Ривароота* сделался *Риваролем.* Последнее ему показалось *благозвучнее.* Сколько было и есть стихотворцев, присвоивших себе имена деревень, которые осчастливлены их рождением — для блага народов!

Фортуна улыбнулась господину Риваролю. Желая блеснуть в большом свете, проказник наш однажды, лежа на постели и

Покояся еще под авторским наметом,

провозгласил себя велегласно сиятельным графом, облагородил все свое семейство, назначил цвет и галуны ливреи, раскрасил герб свой и приложил к оному все знаки, каковыми могли гордиться его родственники со стороны женского колена. Потом славный г. Ривароль должен был вопреки своим *метафорам,* по примеру бедных дворян, приняться за убогой завтрак; ибо мы, сыны персти,

Похлебкою живем, не красными словами.

Однажды с тощим желудком прогуливаясь в Люксамбурге, он увидел женщину большого роста, одетую почти в лохмотья, но важную, осанистую, настоящую театральную царицу. Сиятельный граф вступил с нею в разговор. «Вы не догадываетесь, государь мой,— сказала ему почтенная дама после несколька учтивых слов,— вы не догадываетесь, с какою особою теперь говорите... Я происхожу по прямой линии от Иакова II, короля английского, которого зять и родная дочь столь нагло и насильственно лишены престола. Георг III мой неприятель; королева Анна есть младшая дочь Иакова, а я происхожу от старшего колена; посудите сами, справедливы ли мои требования?»

«Черты лица вашего,— отвечал с благоговением Ривароль,— черты лица вашего обнаруживают высокий сан предков.

И мир тебя своей владычицей нарек!

Я и сам... и это известно всем и каждому,— я имею неоспоримые права на герцогство Тосканское, ибо происхожу от знаменитых *Риваролей,* потомков великого Сципиона. Сядем, принцесса!»

«С удовольствием, герцог!»

И светлейшие собеседники сели друг подле друга на соломенные стулья.

Разговор продолжался. Принцесса и герцог пересчитали по пальцам все славные фамилии в Европе, и все они казались им низкими в сравнении с высокою породою Ривароля и наследницы короля Иакова. Потом заговорили о физическом и нравственном зле, обитающем на сем малом земноводном шаре; потом многоречивый оратор начал, по обыкновению своему, изливать потоками *мысли*: «Идеи,— сказал он,— ходят вокруг света, переходят из века в век, из наречия в наречие, из стиха в стих, из прозы в прозу; наконец, они являются в приличной себе одежде, в счастливом выражении и тогда-то становятся достойными принадлежать наследственно человеческому роду!»

Едва окончил он ораторский свой период, является носильщик. Глубокий вздох вылетел из груди наследницы Иакова; ей не хотелось бы возвратиться в город пешком... Но деньги... ими-то нуждались потомки великих предков... Они вознамерились медленными стопами шествовать в свои жилища и дорогою условились принести жертву на алтаре Гименея. Усердный друг, какой-то литератор, согласился быть свидетелем брачного обряда. Так Лудовик XIV в присутствии двух брадобреев, людей неизвестных в мире, вступил в союз с госпожою Ментенон в домашней церкви дюка Бургонского. Честный стихотворец, приятель новобрачных, заказал умеренный ужин в улице Мясников; он же сделал все другие приготовления к бракосочетанию сих знаменитых особ, и он же ссудил их камышевою постелью.

<ПРОГУЛКА ПО МОСКВЕ>

Ты желаешь от меня описания Москвы, любезнейший друг,— вещи совершенно невозможной (для меня, разумеется) по двум весьма важным причинам. Первое — потому, что я не в силах удовлетворить твоему любопытству за неимением достаточных сведений исторических и проч. и проч., которые необходимо нужны, ибо здесь на всяком шагу мы встречаем памятники веков протекших, но сии памятники безмолвны для невежды, а я притво-

ряться ученым не умею. Вторая причина — леность, причина весьма важная! Итак, мимоходом, странствуя из дома в дом, с гулянья на гулянье, с ужина на ужин, я напишу несколько замечаний о городе и о нравах жителей, не соблюдая ни связи, ни порядку, и ты прочтешь оные с удовольствием: они напомнят тебе о добром приятеле,

Который посреди рассеяний столицы
Тихонько замечал характеры и лицы
    Забавных москвичей;
Который с год зевал на балах богачей,
    Зевал в концерте и в собранье,
Зевал на скачке, на гулянье,
    Везде равно зевал,
Но дружбы и тебя нигде не забывал.

Теперь, на досуге, не хочешь ли со мною прогуляться в Кремль? Дорогою я невольно восклицать буду на каждом шагу: это исполинский город, построенный великанами; башня на башне, стена на стене, дворец возле дворца! Странное смешение древнего и новейшего зодчества, нищеты и богатства, нравов европейских с нравами и обычаями восточными! Дивное, непостижимое слияние суетности, тщеславия и истинной славы и великолепия, невежества и просвещения, людскости и варварства. Не удивляйся, мой друг: Москва есть вывеска или живая картина нашего отечества. Посмотри: здесь, против зубчатых башен древнего Китай-города, стоит прелестный дом самой новейшей италиянской архитектуры: в этот монастырь, построенный при царе Алексее Михайловиче, входит какой-то человек в длинном кафтане, с окладистой бородою, а там к булевару кто-то пробирается в модном фраке; и я, видя отпечатки древних и новых времен, воспоминая прошедшее, сравнивая оное с настоящим, тихонько говорю про себя: «Петр Великий много сделал и ничего не кончил».

Войдем теперь в Кремль. Направо, налево мы увидим величественные здания, с блестящими куполами, с высокими башнями, и все это обнесено твердою стеною. Здесь все дышит древностию; все напоминает о царях, о патриархах, о важных происшествиях; здесь каждое место ознаменовано печатию веков протекших. Здесь все противное тому, что мы видим на Кузнецком мосту, на Тверской, на булеваре и проч. Там книжные французские лавки, модные магазины, которых уродливые вывески заслоняют целые домы, часовые мастера, погреба и,

словом, все снаряды моды и роскоши. В Кремле все тихо, все имеет какой-то важный и спокойный вид; на Кузнецком мосту все в движении:

Корнеты, чепчики, мужья и сундуки.

А здесь одни монахи, богомольцы, должностные люди и несколько часовых. Хочешь ли видеть единственную картину? Когда вечернее солнце во всем великолепии склоняется за Воробьевы горы, то войди в Кремль и сядь на высокую деревянную лестницу. Вся панорама Москвы за рекою! Направо Каменный мост, на котором беспрестанно волнуются толпы проходящих; далее — Голицынская больница, прекрасное здание дома гр<афини> Орловой с тенистыми садами и, наконец, Васильевский огромный замок, примыкающий к Воробьевым горам, которые величественно довершают сию картину,— чудесное смешение зелени с домами, цветущих садов с высокими замками древних бояр; чудесная противуположность видов городских с сельскими видами. Одним словом, здесь представляется взорам картина, достойная величайшей в мире столицы, построенной величайшим народом на приятнейшем месте. Тот, кто, стоя в Кремле и холодными глазами смотрев на исполинские башни, на древние монастыри, на величественное Замоскворечье, не гордился своим отечеством и не благословлял России, для того (и я скажу это смело) чуждо все великое, ибо он жалостно ограблен природою при самом его рождении; тот поезжай в Германию и живи и умирай в маленьком городке, под тенью приходской колокольни с мирными германцами, которые, углубясь в мелкие политические расчеты, протянули руки и выи для принятия оков гнуснейшего рабства.

Но солнце медленно сокрывается за рощами. Взглянем еще на Кремль, которого золотые куполы и шпицы колоколен ярко отражают блистание зари вечерней. Шум городской замирает вместе с замирающим днем. Кругом нас все тихо; изредка пройдет человек. Здесь нищий отдыхает на красном крыльце, положив голову на котомку; он отдыхает беспечно у подножия палат царских, не зная даже, кому они некогда принадлежали. Теперь встает и медленно входит в монастырь, где раздается мрачное пение иноков и где целыми рядами стоят гробы великих князей и царей русских (некогда обитавших в ближних палатах). Печальный образ славы человеческой... Но мы не станем делать восклицаний вместе

с модными писателями, которые проводят целые ночи на гробах и бедное человечество пугают привидениями, духами, Страшным судом, а более всего своим слогом; мы не предадимся мрачным рассуждениям о бренности вещей, которые позволено делать всякому *в нынешнем веке меланхолии;* а пойдем потихоньку на Кузнецкий мост, где все в движении, все спешит, а куда? — посмотрим.

Эта большая дедовская карета, запряженная шестью чалыми тощими клячами, остановилась у дверей модной лавки. Вот из нее вылезает пожилая женщина в большом чепце, мадам, конечно, француженка, и три молодые девушки. Они входят в лавку — и мы за ними. «Дайте нам головных уборов, покажите нам эти шляпки, да по христианской совести, госпожа мадам!» И торговка, окинув взорами своих гостей, узнает, что они из степи, продает им лежалую старину вдвое, втрое дороже обыкновенного. Старушка сердится и покупает.

Зайдем оттуда в конфектный магазин, где жид или гасконец Гоа продает мороженое и всякие сласти. Здесь мы видим большое стечение московских франтов в лакированных сапогах, в широких английских фраках, и в очках, и без очков, и растрепанных, и причесанных. Этот, конечно,— англичанин: он, разиня рот, смотрит на восковую куклу. Нет! он русак и родился в Суздале. Ну, так этот — француз: он картавит и говорит с хозяйкой о знакомом ей чревовещателе, который в прошлом году забавлял весельчаков парижских. Нет, это старый франт, который не езжал далее Макарья и, промотав родовое имение, наживает новое картами. Ну, так это — немец, этот бледный высокий мужчина, который вошел с прекрасною дамою? Ошибся! И он русский, а только молодость провел в Германии. По крайней мере, жена его иностранка: она насилу говорит по-русски. Еще раз ошибся! Она русская, любезный друг, родилась в приходе Неопалимой Купины и кончит жизнь свою на святой Руси. Отчего же они все хотят прослыть иностранцами, картавят и кривляются? — отчего?.. Я на это буду отвечать после, а теперь прошу заметить этого пожилого человека в шпорах. Он изобрел прошлого года новые подковы для своих рысаков, дрожки о двух колесах и карету без козел. Он живет на конюшне, завтракает с любимым бегуном и ездил нарочно в Лондон, чтобы посоветоваться с известным коновалом о болезни своей английской кобылы.

Вздохнем, любезный друг, от глубины сердца и скажем с Ариостом:

Дурачься, смертных род! В луне рассудок твой!

Теперь мы видим перед собою иностранные книжные лавки. Их множество, и ни одной нельзя назвать богатою в сравнении с петербургскими. Книги дороги, хороших мало, древних писателей почти вовсе нет, но зато есть мадам Жанлис и мадам Севинье — два катехизиса молодых девушек — и целые груды французских романов — достойное чтение тупого невежества, бессмыслия и разврата. Множество книг мистических, назидательных, казуистских и проч., писанных расстригами-попами (ci-devant soit disant jésuites) * на чердаках парижских в пользу добрых женщин. Их беспрестанно раскупают и в Москве, ибо наши модницы не уступают парижским в благочестии и с жадностию читают глупые и скучные проповеди, лишь бы только они были написаны на языке *медоточивого* Фенелона, сладостного друга почтенной девицы Гион. Но мы, разговаривая, пришли в город. Какое стечение народа, какое разнообразие! Это совершенный базар восточный! Здесь мы видим грека, татарина, турка в чалме и в туфлях; там сухого француза в башмаках, искусно перескакивающего с камня на камень, тут важного персианина, там ямщика, который бранится с торговкою, здесь бедного селянина, который устремил оба глаза на великолепный цуг, между тем как его товарищ рассматривает народные картины и любуется их замысловатыми надписями. Вот и целый ряд русских книжных лавок; иные весьма бедны. Кто не бывал в Москве, тот не знает, что можно торговать книгами точно так, как рыбой, мехами, овощами и проч., без всяких сведений в словесности; тот не знает, что здесь есть фабрика переводов, фабрика журналов и фабрика романов и что книжные торгаши покупают ученый товар, то есть переводы и сочинения, на вес, приговаривая бедным авторам: не качество, а количество! не слог, а число листов! Я боюсь заглянуть в лавку, ибо, к стыду нашему, думаю, что ни у одного народа нет и никогда не бывало столь безобразной словесности.* К счастию, многие книги здесь в Москве родятся и здесь умирают или, по крайней мере, на ближайших ярмонках. Теперь мы выходим на Тверской булевар, который составляет часть обширного

* Бывшими так называемыми иезуитами (*фр.*).

вала. Вот жалкое гульбище для обширного и многолюдного города, какова Москва; но стечение народа, прекрасные утра апрельские и тихие вечера майские привлекают сюда толпы праздных жителей. Хороший тон, мода требуют пожертвований: и франт, и кокетка, и старая вестовщица, и жирный откупщик скачут в первом часу утра с дальних концов Москвы на Тверской булевар. Какие странные наряды, какие лица! Здесь вы видите приезжего из Молдавии офицера, внука этой придворной ветхой красавицы, наследника этого подагрика, которые не могут налюбоваться его пестрым мундиром и невинными шалостями; тут вы видите провинциального щеголя, который приехал перенимать моды и который, кажется, пожирает глазами счастливца, прискакавшего на почтовых с берегов Секваны в голубых панталонах и в широком безобразном фраке. Здесь красавица ведет за собою толпу обожателей, там старая генеральша болтает с своей соседкою, а возле их откупщик, тяжелый и задумчивый, который твердо уверен в том, что бог создал одну половину рода человеческого для винокурения, а другую для пьянства, идет медленными шагами с прекрасною женою и с карлом. Университетский профессор в епанче, которая бы могла сделать честь покойному Кратесу, пробирается домой или на пыльную кафедру. Шалун напевает водевили и травит прохожих своим пуделем, между тем как записной стихотворец читает эпиграмму и ожидает похвалы или приглашения на обед. Вот гулянье, которое я посещал всякий день и почти всегда с новым удовольствием. Совершенная свобода ходить взад и вперед с кем случится, великое стечение людей знакомых и незнакомых имели всегда особенную прелесть для ленивцев, для праздных и для тех, которые любят замечать физиономии. А я из числа первых и последних. Прибавлю к этому: на гулянье приезжают одни, чтоб отдыхать от забот, другие — ходить и дышать свежим воздухом; женщины приезжают собирать похвалы, мужчины — удивляться, и лица всех почти спокойны. Здесь страсти засыпают; люди становятся людьми; одно самолюбие не дремлет; оно всегда на часах; но и оно имеет здесь привлекательный вид, и оно заставляет улыбнуться старого игрока гораздо приветливее, нежели за карточным столом. Наконец, на гулянье все кажутся счастливыми, и это меня радует как ребенка, ибо я никогда не любил скучных и заботливых лиц.

Теперь мы опять вышли на улицу. Взгляни направо,

потом налево и делай сам замечания, ибо увидишь вдруг всю Москву со всеми ее противуположностями.

Вот большая карета, которую насилу тянет четверня: в ней чудотворный образ, перед ним монах с большою свечой. Вот старинная Москва и остаток древнего обряда прародителей!

Посторонись! Этот ландо нас задавит: в нем сидит щеголь и красавица; лошади, лакей, кучера — все в последнем вкусе. Вот и новая Москва, новейшие обычаи!

Взгляни сюда, счастливец! Возле огромных чертогов вот хижина, жалкая обитель нищеты и болезней. Здесь целое семейство, изнуренное нуждами, голодом и стужей — дети полунагие, мать за праслицей, отец — старый заслуженный офицер в изорванном майорском камзоле — починивает старые башмаки и ветхий плащ, затем, чтоб поутру можно было выйти на улицу просить у прохожих кусок хлеба, а оттуда пробраться к человеколюбивому лекарю, который посещает его больную дочь. Вот Москва, большой город, жилище роскоши и нищеты.

Но здесь пред нами огромные палаты с высокими мраморными столбами, с большим подъездом. Этот дом открыт для всякого, кто может сказать роскошному Амфитриону:

Joignez un peu votre inutilité
A ce fardeau de mon oisiveté *.

Хозяин целый день зевает у камина, между тем как вокруг его все в движении, роговая музыка гремит на хорах, вся челядь в галунах, и роскошь опрокинула на стол полный рог изобилия. В этом человеке все страсти исчезли, его сердце, его ум и душа износились и обветшали. Самое самолюбие его оставило. Он, конечно, великий философ, если совершенное равнодушие посреди образованного общества можно назвать мудростию. Он окружен ласкателями, иностранцами и шарлатанами, которых он презирает от всей души, но без них обойтиться не может. Его тупоумие невероятно. Пользуясь всеми выгодами знатного состояния, которым он обязан предкам своим, он даже не знает, в каких губерниях находятся его деревни; зато знает по пальцам все подробности двора Людови-

---

* Прибавьте немножко вашей бесполезности
К бремени моей праздности (*фр.*).

ка XIV по запискам Сен-Симона, перечтет всех любовниц его и регента, одну после другой, и назовет все парижские улицы. Его дом можно назвать гостиницей праздности, шума и новостей, посреди которых хозяин осужден на вечную скуку и вечное бездействие. Вот следствие роскоши и праздности в сей обширнейшей из столиц, в сем малом мире!

Я думаю, что ни один город не имеет ниже малейшего сходства с Москвою. Она являет редкие противуположности в строениях и нравах жителей. Здесь роскошь и нищета, изобилие и крайняя бедность, набожность и неверие, постоянство дедовских времен и ветреность неимоверная, как враждебные стихии, в вечном несогласии, и составляют сие чудное, безобразное, исполинское *целое*, которое мы знаем под общим именем: *Москва*. Но праздность есть нечто общее, исключительно принадлежащее сему городу; она более всего приметна в каком-то беспокойном любопытстве жителей, которые беспрестанно ищут нового рассеяния. В Москве *отдыхают*, в других городах трудятся менее или более, и потому-то в Москве знают скуку со всеми ее мучениями. Здесь хвалятся гостеприимством, но — между нами — что значит это слово? Часто — любопытство. В других городах вас узнают с хорошей стороны и приглашают навсегда; в Москве сперва пригласят, а после узнают. Музыка прошлой зимы вскружила всем головы; вся Москва пела: я думаю, от скуки. Ныне вся Москва танцует — от скуки. Здесь все влюблены или стараются влюбляться: я бьюсь об заклад, что это делается от скуки. Молодые женщины играют на театре, а старухи ездят по монастырям — от скуки, и это всякому известно. Карусель, который стоил столько издержек, родился от скуки. Одним словом, здесь скуку можно назвать великою пружиною: она поясняет много странных обстоятельств. Для жителей московских необходимо нужны новые гулянья, новые праздники, новые зрелища и новые лица. Здесь славная актриса Жорж принята была с восторгом и скоро наскучила большому свету. Сию холодность к дарованию издатель «Русского вестника» готов приписать к патриотизму; он весьма грубо ошибается.

Москва есть большой провинциальный город, единственный, несравненный: ибо что значит имя столицы без двора? Москва идет сама собою к образованию, ибо на нее почти никакие обстоятельства влияния не имеют. Здесь всякой может дурачиться как хочет, жить и умереть

чудаком. Самый Лондон беднее Москвы по части нравственных карикатур. Какое обширное поле для комических авторов, и как они мало чувствуют цену собственной неистощимой руды! Надобно еще заметить, что здесь семейственная жизнь, которую можно назвать хранительницею нравов, придает какое-то добродушие и откровенность всем поступкам. Это заметил мне англичанин-путешественник, который называл Москву прелестнейшим городом в мире и прощался с нею со слезами.

Но время летит, и почти час обеда приходит. Мы опоздали зайти в этот дом, которого наружность вовсе непривлекательна. Здесь большой двор, заваленный сором и дровами; позади огород с простыми овощами, а под домом большой подъезд с перилами, как водилось у наших дедов. Войдя в дом, мы могли бы увидеть в прихожей слуг оборванных, грубых и пьяных, которые от утра до ночи играют в карты. Комнаты без обоев, стулья без подушек, на одной стене большие портреты в рост царей русских, а напротив — Юдифь, держащая окровавленную голову Олоферна над большим серебряным блюдом, и обнаженная Клеопатра с большой змиею — чудесные произведения кисти домашнего маляра. Сквозь окны мы можем видеть накрытый стол, на котором стоят щи, каша в горшках, грибы и бутылки с квасом. Хозяин в тулупе, хозяйка в салопе; по правую сторону приходский поп, приходский учитель и шут, а по левую — толпа детей, старуха-колдунья, мадам и гувернер из немцев. О! это дом старого москвича, богомольного князя, который помнит страх божий и воеводство. Пойдем далее. Вот маленький деревянный дом, с палисадником, с чистым двором, обсаженным сиренями, акациями и цветами. У дверей нас встречает учтивый слуга, не в богатой ливрее, но в простом опрятном фраке. Мы спрашиваем хозяина: войдите! Комнаты чисты, стены расписаны искусной кистию, а под ногами богатые ковры и пол лакированный. Зеркала, светильники, кресла, диваны — все прелестно и кажется отделано самим богом вкуса. Здесь и общество совершенно противно тому, которое мы видели в соседнем доме. Здесь обитает приветливость, пристойность и людскость. Хозяйка зовет нас к столу: мы сядем, где хотим, без принуждения, и, может быть развеселенный старым вином, я скажу, только не вслух:

Налейте мне еще шампанского стакан,
Я сердцем славянин — желудком галломан!

Вот ударило шесть часов: мы можем идти в театр. Я скажу тебе, что я видел в Петербурге дурных актеров, слышал на сцене нестройные крики, провинциальное наречие, видел кривляния, подлые жесты и самые дурные навыки, видел, что актер не умел и не хотел понимать своей роли, читал в глазах его самое глубокое невежество; одним словом, я видел русскую комедию, русскую трагедию и оперу; видел и сказал: «может ли что быть хуже этого?» Теперь, побывав в московском театре, могу смело отвечать самому себе: «может! — и есть хуже!» Здесь опера не хороша, комедия еще хуже, а трагедия и еще хуже комедии. Но французские актеры не лучше русских. Я видел Тезея, которому мне хотелось сказать: «Братец, вычисти мне сапоги!» Я бьюсь об заклад, что он был честный артист-décrotteur * и, постепенно переходя из состояния в состояние, сделался, наконец, актером, вопреки уму и природе, и теперь весьма спокойно тиранит стихи Ивана Расина в белокаменной Москве. Я видел Ипполита, сего дикого скифа, которому в уста бессмертный автор Федры вложил прекраснейшие стихи, я видел сего гордого Ипполита, в самом жалком положении: черные его волосы, которые до сих пор, падая по высокому стройному челу, вились кудрями, подобно кудрям Аполлона Бельведерского, сии волосы — порыжели! чистые пламенные глаза его сделались от времени свинцовыми. Конечно, наш скиф немного поразвратился. Ноги и руки жалким образом высохли и пожелтели. Голос звонкий, чистый, голос девственника Ипполита сделался вял, тяжел и совершенно охрип. Одним словом, Ипполит Расинов или Эврипидов превратился в бедного Фаржа, француза, который живет на Кузнецком мосту в магазине духов и помад.

Занавес поднимается. Ты можешь поверить мои замечания или, лучше, не дождавшись конца французской трагедии, воспользоваться прекрасным майским вечером на Пресне.

Пруды украшают город и делают прелестное гулянье. Там сбираются те, которые не имеют подмосковных, и гуляют до ночи. Посмотри, как эти мосты и решетки красивы. Жаль, что берега, украшенные столь миловидными домами и зеленым лугом, не довольно широки. Большое стечение экипажей со всех концов обширного

* Чистильщик сапог (*фр.*).

города, певчие и роговая музыка делают сие гульбище одним из приятнейших. Здесь те же люди, что на булеваре, но с большею свободою. Какое множество прелестных женщин! Москву поистине можно назвать Цитерою. Посмотри! Этой малютке четырнадцать лет, и она так невинно улыбается! Но вот идет красавица: ее все знают под сим названием, теперь она первая по городу. За ней толпа — а муж, спокойно зевая позади, говорит о турецкой войне и о травле медведей. Супруга его уронила перчатку, и молодой человек ее поднял. Жаль, что этого не видал старый болтун N..., отставной полковник, который промышляет новостями. Посторонитесь! Посторонитесь! Дайте дорогу куме-болтунье-спорщице, пожилой бригадирше, жарко нарумяненной, набеленной и закутанной в черную мантилью. Посторонитесь, вы, господа, и вы, молодые девушки! Она ваш Аргус неусыпный, ваша совесть, все знает, все замечает и завтра же поедет рассказывать по монастырям, что такая-то наступила на ногу такому-то, что этот побледнел, говоря с той, а та накануне поссорилась с мужем, потому что сегодня, разговаривая с его братом, разгорелась, как роза. Какой это чудак, закутанный в шубу, в бархатных сапогах и в собольей шапке? За ним идет слуга с термометром. О, это человек, который более полувека как все простужается! Заметим этих щеголей; они так заняты собою! Один в цветном платочке с букетом цветов, с лорнетом, так нежно улыбается, и в улыбке его виден след труда. Другой молчит, завсегда молчит: он умеет одеваться, ерошить волосы, а говорить не мастер. Там вдали, на лавке, сидит красавица полупоблеклая. Она вздохнула... еще раз... о том, что ее место заступила новая, которая идет мимо ее и гордо улыбается. Постой, прелестница! Еще две весны, и ты, в свою очередь, будешь сидеть одна на лавке; ты идешь, и время за тобою. Куда спешит этот пожилой холостяк? Он задыхается от жиру, и пот с него катится ручьями. Он спешит в Английский клуб пробовать нового повара и заморский портер. А этот гусар о чем призадумался, опершись на свою саблю! О, причина важная! Вчера он был один во всей Москве,— теперь явился другой гусар, во сто раз милее и любезнее: по крайней мере, так говорят в доме княгини N..., которая по произволению раздает ум и любезность — и его, бедного, забыла! Но кто это болтает палкою в пруде с большим успехом, ибо на него посмотрели две мимоидущие старухи, две столетние парки! О! не мешайте ему. Это тот важный, глубокомысленный чело-

век, который мутил в делах государственных и теперь пузырит воду. Вот два чудака: один из них бранит погоду — а время очень хорошо; другой бранит людей — а люди все те же; и оба бранят правительство, которое в них нужды не имеет и, что всего досаднее, не заботится о их речах. Оба они недовольные. Они очень жалки! Один имеет сто тысяч доходу, и желудок его варить не может. Другой прожился на фейерверках и называет людей неблагодарными за то, что они не собираются в его сад в глубокую полночь. Но кто этот пожилой человек, высокий и бледный, как покойный капитан Хин-Хилла? Старый щеголь, великий мастер делать визиты, который на погребениях и на свадьбах является как тень, как памятник времен екатерининских; он человек праздный, говорун скучный, ибо лгать не умеет за недостатком воображения, а молчать не может за недостатком мысленной силы.

Это гульбище имеет великое сходство с полями Елисейскими. Здесь мы видим тени великих людей, которые, отыграв важные роли в свете, запросто прогуливаются в Москве. Многие из них пережили свою славу. Eheu, fugaces!.. *

Но заря потухает. Все разъехались. Прости, до будущей прогулки!

ВОСПОМИНАНИЕ О ПЕТИНЕ

Уваров написал послание «о выгодах умереть в молодости». Предмет обильный в красивых и возвышенных чувствах! Конечно, утро жизни, молодость, есть лучший период нашего странствования по земле. Напрасно красноречивый римлянин желает защитить старость,— все цветы красноречия его вянут при одном воззрении на дряхлого человека: опираясь на клюки свои, старость дрожит над могилою и страшится измерить взором ее неприступные мраки. Опытность должна бы отучать от жизни, но в некоторые лета мы видим тому противное. Одна религия может согреть сердце старика и *отучить его от жизни* — тягостной, бедной, но милой до последнего дыхания. «Это есть благо Провидения», говорят некото-

* Увы, быстротекущие!.. *(лат.)*

рые философы. Может быть: но зато великие движения души, глубокие чувствования, божественные пожертвования самим собою, сильные страсти и возвышенные мысли принадлежат молодости, деятельность — зрелым летам, старости — одни воспоминания и любовь к жизни. И что теряет юноша, умирая на заре своей, подобно цвету, который видел одно восхождение солнца и увянул прежде, нежели оно потухло? Что теряем мы, умирая в полноте жизни на поле чести, славы, в виду тысячи людей, разделяющих с нами опасность? — Несколько наслаждений кратких, но зато лишаемся с ними и терзаний честолюбия, и сей опытности, которая встречает нас на средине пути, подобно страшному призраку. Мы умираем, но зато память о нас долго живет в сердце друзей, не помраченная ни одним облаком, чистая, светлая, как розовое утро майского дня.

Такими рассуждениями я желаю утешить себя об утрате И. А. Петина, погибшего на 26-м году жизни на полях Лейпцига. Но при одном имени сего любезного человека все раны сердца моего растворяются, ибо тесно была связана его жизнь с моею. Тысячи воспоминаний, смутных и горестных, теснятся в сердце и облегчают его. Сердце мое с некоторого времени любит питаться одними воспоминаниями.

В 1807 году мы оставили оба столицу и пошли в поход. Я верю симпатии, ибо опыт научил верить неизъяснимым таинствам сердца. Души наши были сродны. Одни пристрастия, одни наклонности, та же пылкость и та же беспечность, которые составляли мой характер в первом периоде молодости, пленяли меня в моем товарище. Привычка быть вместе, переносить труды и беспокойства воинские, разделять опасности и удовольствия теснили наш союз. Часто и кошелек, и шалаш, и мысли, и надежды у нас были общие.

Тысячи прелестных качеств составляли сию прекрасную душу, которая вся блистала в глазах молодого Петина. Счастливое лицо, зеркало доброты и откровенности, улыбка беспечности, которая исчезает с летами и с печальным познанием людей, все пленительные качества наружности и внутреннего человека досталися в удел моему другу. Ум его был украшен познаниями и способен к науке и рассуждению, ум зрелого человека и сердце счастливого ребенка: вот в двух словах его изображение.

Он воспитывался в Московском университетском пан-

сионе и потом в Пажеском корпусе и в обоих училищах отличался редким прилежанием и примерным поведением; матери ставили его в пример детям своим, и наставники хвалились им, как лучшим плодом своих попечений. Несколько басен, написанных им в ребячестве, и переводов из книг математических показывали редкую гибкость ума, способного на многое; словесность требует воображения, науки — внимания и точности. Вот что он принес в гвардейский егерский полк, и к этому — еще лучшее сокровище: доброе сердце, редкое сердце, которое ему приобрело и сохранило любовь товарищей. Оно, по собственному его признанию, спасало его в буре страстей и посреди обольщений света. Ни опытность, ни горестное познание людей, ничто не могло изгладить первых даров природы. Но сия доброта сердечная впоследствии времени соединилась с размышлением и сделалась общею рассудку и сердцу: редкое качество в столь нежном возрасте. Вот доказательство. Мы были ранены (в 1807 году), я — сперва, он — после, и увиделись в Юрбурге. Не стану описывать моей радости. Меня поймут только те, которые бились под одним знаменем, в одном ряду и испытали все случайности военные. В тесной лачуге на берегах Немана, без денег, без помощи, без хлеба (это не вымысел), в жестоких мучениях, я лежал на соломе и глядел на Петина, которому перевязывали рану... Кругом хижины толпились раненые солдаты, пришедшие с полей несчастного Фридланда, и с ними множество пленных. Под вечер двери хижины отворились, и к нам вошло несколько французов, с страшными усами, в медвежьих шапках и с гордым видом победителей.

Петин был в отсутствии, и мы пригласили пленных разделить с нами кусок гнилого хлеба и несколько капель водки; один из моих товарищей поделился с ними деньгами и из двух червонцев отдал один (истинное сокровище в таком положении). Французы осыпали нас ласками и фразами — по обыкновению, и Петин вошел в комнату в ту самую минуту, когда наши болтливые пленные изливали свое красноречие. Посудите о нашем удивлении, когда наместо приветствия, опираясь на один костыль, другим указал он двери нашим гостям. «Извольте идти вон,— продолжал он,— здесь нет места и русским: вы это видите сами». Они вышли не прекословя, но я и товарищи мои приступили к Петину с упреками за нарушение гостеприимства. «Гостеприимства! — повторял он, крас-

нея от досады,— гостеприимства!» — «Как! — вскричал я, приподнимаясь с моего одра,— ты еще смеешь издеваться над нами?» — «Имею право смеяться над вашею безрассудною жестокостию».— «Жестокостию? Но не ты ли был жесток в эту минуту?» — «Увидим. Но сперва отвечайте на мои вопросы! Были ли вы на Немане у переправы?» — «Нет».— «Итак, вы не могли видеть того, что там происходит?» — «Нет! Но что имеет Неман общего с твоим поступком?» — «Много, очень много. Весь берег покрыт ранеными; множество русских валяется на сыром песку, на дожде, многие товарищи умирают без помощи, ибо все дома наполнены; итак, не лучше ли призвать сюда воинов, которые изувечены с нами в одних рядах? не лучше ли накормить русского, который умирает с голоду, нежели угощать этих ненавистных самохвалов? спрашиваю вас. Что же вы молчите?»

Вот другой случай, который еще разительнее изображает его. По окончании шведской войны мы были в Москве (1810). Петин лечился от жестоких ран и свободное время посвящал удовольствиям общества, которого прелесть военные люди чувствуют живее других. Не один вечер мы просидели у камина в сих сладких разговорах, которым откровенность и веселость дают чудесную прелесть. К ночи мы вздумали ехать на бал и ужинать в собрании. Проезжая мимо Кузнецкого моста, пристяжная оторвалась, и между тем как ямщик заботился около упряжки, к нам подошел нищий, *ужасный плод войны*, в лохмотьях, на костылях. «Приятель,— сказал мне Петин,— мы намеревались ужинать в собрании; но лучше отдадим серебро наше этому бедняку и возвратимся домой, где найдем простой ужин и камин». Сказано — сделано. Это безделка, если хотите, но ее не надобно презирать. «От малого пожертвования до большого один шаг»,— скажет наблюдатель сердца. Это безделка, согласен; но молодой человек, который умеет пожертвовать удовольствием другому, чистейшему, есть герой в моральном смысле. Меня поймут благородные души.

Возвратимся к военной жизни. В 1808 году один баталион гвардейских егерей был отряжен в Финляндию. Близ озера Саймы, в окрестностях Куопио, он встретил неприятеля. Стычки продолжались беспрестанно, и Петин, имевший под начальством роту, отличался беспрестанно; день проходил в драке, а вечер посвящал он на сочинение своего военного журнала: полезная привычка

для офицера, который любит свою должность и желает себя усовершенствовать. Полковник Потемкин, командовавший баталионом, уважал молодого офицера, и самые блестящие и опаснейшие посты доставались ему в удел как лучшее награждение. К несчастию, другие ротные командиры получили Георгиевские кресты, а Петин был обойден. Все офицеры единодушно сожалели и обвиняли судьбу, часто несправедливую, но молодой Петин, более чувствительный к лестному уважению товарищей, нежели к неудаче своей, говорил им с редким своим добродушием: «Друзья, этот крест не уйдет от офицера, который имеет счастие служить с вами: я его завоюю; но заслужить ваше уважение и приязнь — вот чего желает мое сердце, и оно радуется, видя ваши ласки и сожаления».

Мы подвинулись вперед. Под Индесальми шведы напали в полночь на наши биваки, и Петин с ротой егерей очистил лес, прогнал неприятеля и покрыл себя славою. Его вынесли на плаще, жестоко раненного в ногу. Генерал Тучков осыпал его похвалами, и молодой человек забыл и болезнь и опасность. Радость блистала в глазах его, и надежда увидеться с матерью придавала силы. Мы расстались и только через год увиделись в Москве.

С каким удовольствием я обнял моего друга! с каким удовольствием просиживали мы целые вечера и не видели, как улетало время! Посвятив себя военной жизни, Петин и в мирное время не выпускал из рук военных книг, и я часто заставал его за картой в глубоком размышлении. Откровенный с приятелем наедине, застенчивый, как девица в обществе, он питал в груди своей честолюбие благородной души, желание быть отличным офицером и полезным членом сословия храбрых, но часто, по излишней скромности своей, таил свои занятия и хотел казаться рассеянным. Казалось, что его прекрасная душа страшилась обнаружить свое преимущество перед товарищами. Но нам известно, что посреди рассеяния, мирных трудов военного ремесла и балов он любил уделять несколько часов науке, требующей самого постоянного внимания, и обогащал «Военный журнал», издаваемый покойным полковником Рахмановым (пламенным любовником математики), прекрасными переводами по части артиллерии, егерских эволюций и практики полевой. Словесность не была забыта, и однажды — этот день никогда не выйдет из моей памяти — он пришел ко мне с свитком

бумаг. «Опять математика?» — спросил я улыбаясь. «О нет! — отвечал он, краснея более и более,— это... стихи, прочитай их и скажи мне твое мнение». Стихи были писаны в молодости, и весьма слабы, но в них приметны были смысл, ясность в выражении и язык довольно правильный. Я сказал, что думал, без прикрасы, и добрый Петин прижал меня к сердцу. Человек, который не обидится подобным приговором, есть добрый человек; я скажу более: в нем, конечно, тлеется искра дарования, ибо, что ни говорите, сердце есть источник дарования; по крайней мере, оно дает сию прелесть уму и воображению, которая нам всего более нравится в произведениях искусства.

Два года спустя я получил от него письмо из армии, с поля Бородинского, накануне битвы. Мы находились в неизъяснимом страхе в Москве, и я удивился спокойствию душевному, которое являлось в каждой строке письма, начертанного на барабане в роковую минуту. В нем описаны были все движения войска, позиция неприятеля и проч. со всею возможною точностию: о самых важнейших делах Петин, свидетель их, говорил хладнокровно, как о делах обыкновенных. Так должен писать истинно военный человек, созданный для сего звания природою и образованный размышлением; все внимание его должно устремляться на ратное дело, и все побочные горести и заботы должны быть подавлены силою души. На конце письма я заметил несколько строк, из которых видно было его нетерпение сразиться с врагом, впрочем, ни одного выражения ненависти. Счастливый друг, ты пролил кровь свою на поле Бородинском, на поле славы и в виду Москвы, тебе любезной, а я не разделил с тобой этой чести. В первый раз я позавидовал тебе, милый товарищ, в первый раз с чувством глубокого прискорбия и зависти смотрел я на почтенную рану твою! * Долго я страшился за него, ибо рана была опасна; но молодость, искусство лекаря и — что всего целебнее — попечительность нежной матери, которая имела счастие ходить за раненым сыном своим в собственном его поместье, избавили его от смерти или продолжительного страдания. Но русские уже были за Неманом, и нетерпеливый Петин, едва вставший с постели, вырвался из объятий матери своей и поспешил в Богемию по призванию строгого долга чести и, может быть, честолюбия, которое час от часу

* В Володимире, во время бегства из Москвы.

более усиливалось в его душе, чуждой только низких пристрастий. Напрасно благословения матери сопровождали сына, опору и надежду преклонных лет; напрасно прижимала его к горячему сердцу; простым языком чувства — глас матери всегда красноречив и силен — повторяла она: «Друг мой, сын мой, скажи мне, зачем ты так добр и умен? Зачем не оскорбишь меня чем-нибудь и не отучишь меня любить тебя так горячо, так сильно?»

На высотах Кульма я снова обнял его посреди стана военного, после победы. Несколько часов мы провели наедине, и я заметил, что сердце его не было спокойно. Ни шум и деятельность военной жизни, ни блестящая победа при Кульме, где каждое место напоминало воинам цепь свежих подвигов и чудес храбрости и где Петин (уже полковник) участвовал с баталионом егерей, ни обещание новой награды и надежды расширить поприще честей,— ничто не могло рассеять его тоски душевной. Конечно, воспоминание о матери, оставленной в слезах, и три тяжелые раны, ослабившие его здоровье, имели влияние на его душу. Или Провидение, которого пути неисповедимы, посылает сие уныние и смутное предчувствие, как вестник страшного события или близкой кончины, затем чтобы сердца ему любезные приуготовлялись к таинствам новой жизни или укрепились глубоким размышлением к новой победе над судьбою или собственными страстями? Часто мы просиживали на высотах Шлосберга посреди романических развалин и любовались необозримым лагерем, который расстилался под нашими ногами от башен Теплица вдоль по необозримой долине, огражденной лесистыми, неприступными утесами Богемии. Вечернее солнце и звезды ночи заставали в сладкой задумчивости или в сих откровеннейших излияниях два сердца, сродные и способные чувствовать разлуку. Часто мы бродили по лагерю рука в руку посреди пушек, пирамид, ружей и биваков и веселились разнообразием войск, столь различных и одеждою, и языком, и рождением, но соединенных нуждою победить. Никогда лагерь не являл подобного зрелища, и никогда сии краткие минуты наслаждения чистейшего посреди забот и опасностей, как будто вырванные из рук скупой судьбины, не выйдут из моей памяти. И окрестности Дрездена и Теплица, и живописные горы Богемии, и победа при Кульме, и подвиги наших спартанцев сливаются в душе моей с воспоминанием о незабвенном товарище.

В Альтенбурге, на походе, он навестил меня и, прощаясь, крепко сжимал мою руку. Слабость раненой ноги его была так сильна, что он с трудом мог опираться на стремя и, садясь на лошадь, упал. «Дурной знак для офицера»,— сказал он, смеясь от доброго сердца. Он удалился, и с тех пор я его не видал. 4-го октября началась ужасная битва под Лейпцигом. Я находился при генерале Раевском и с утра в жестоком огне, но сердце мое было спокойно насчет моего Петина: я знал, что гвардия еще не вступила в дело. В четвертом часу, на том пункте, где гренадеры железною грудью удержали стремление целой армии неприятельской, генерал был ранен пулею в грудь и, оборотясь ко мне, велел привести лекаря. Я поскакал к резервам, которые начинали двигаться вправо, по направлению к деревне Госсе, и встретил гвардейских егерей, но, к несчастию, не мог видеть Петина: он был в голове всей колонны, в дальнем расстоянии, и мне время было дорого. На другой день поутру, на рассвете, генерал поручил мне объехать поле сражения там, где была атака гвардейских гусаров, и отыскать тело его брата, которого мы полагали убитым. С другим товарищем я поехал по дороге к Аунгейну (где мы остановились в первый день битвы) для исполнения печального долга. Какое-то непонятное, мрачное предчувствие стесняло мое сердце; мы встречали множество раненых, и в числе их гвардейских егерей. Первый мой вопрос — о Петине; ответ меня ужаснул: полковник ранен под деревнею — это еще лучшее из худшего! Другой егерь меня успокоил (по крайней мере, я старался успокоиться его словами), уверив, что полковник его жив, что он видел его сию минуту в лагере и проч., но раненый офицер, который встретился немного далее, сказал мне, что храбрый Петин убит и похоронен в ближайшем селе, которого видна колокольня из-за лесу: нельзя было сомневаться более.

Этот день почти до самой ночи я провел на поле сражения, объезжая его с одного конца до другого и рассматривая окровавленные трупы. Утро было пасмурное. Около полудня полился дождь реками; все усугубляло мрачность ужаснейшего зрелища, которого одно воспоминание утомляет душу, зрелища свежего поля битвы, заваленного трупами людей, коней, разбитыми ящиками и проч. В глазах моих беспрестанно мелькала колокольня, где покоилось тело лучшего из людей, и сердце мое исполнилось горестию несказанной, которую ни одна слеза не облегчила. Проезжая через деревню Госсу, я остановил

лошадь и спросил у егеря, обезображенного страшными ранами: «Где был убит ваш полковник?» — «За этим рвом, там, где столько мертвых». Я с ужасом удалился от рокового места.

На третий день по взятии Лейпцига я проезжал по дороге, ведущей к местечку Роте, и встретил верного слугу моего приятеля, который возвращался в Россию с его верховыми лошадьми: несчастный вестник величайшего злополучия для сердца матери. Он привел меня на могилу доброго господина. Я видел сию могилу, из свежей земли насыпанную; я стоял на ней в глубокой горести и облегчил сердце мое слезами. В ней сокрыто было навеки лучшее сокровище моей жизни — дружество. Я просил, умолял почтенного и престарелого священника того селения сохранить бренный памятник — простой деревянный крест, с начертанием имени храброго юноши, в ожидании прочнейшего — из мрамора или гранита. Несколько могил окружали могилу Петина. Священные могилы храбрых товарищей на поле битвы и неразлучных в утробе земной до страшного и радостного дня воскресения! Я оставил сии бренные остатки в глубоком унынии и, при громе отдаленных выстрелов, воскликнул от глубины сердца с поэтом, который сильно чувствует и сильно выражает горесть:

Уже не придут в сонм друзей,
Не станут в ратном строе!
Уж для врага их грозный лик
Не будет вестник мщенья,
И не помчит их мощный клик
Дружину в пыл сраженья!
Их празден меч, безмолвен щит,
Их ратники унылы,
И сир могучих конь стоит
Близ тихой их могилы!

Конечно, сияющая слава не была бы призраком для душ благородных, если бы она не доставалась иногда в удел порочным и недостойным. Часто слепая судьба раздает ее по своему произволу, и добродетель и лучшие качества души обрекает на вечное забвение. Имя молодого Петина изгладится из памяти людей. Ни одним блестящим подвигом он не ознаменовал течения своей краткой жизни, но зато ни одно воспоминание не оскорбит его памяти. Исполняя свой долг, был он добрым сыном, верным другом, неустрашимым воином: это-

го мало для земного бессмертия. Конечно, есть другая жизнь за пределом земли и другое правосудие; там только ничто доброе не погибнет: есть бессмертие на небе!

Каменец. Ноября 9-го

ВОСПОМИНАНИЕ МЕСТ, СРАЖЕНИЙ И ПУТЕШЕСТВИЙ

Добрый человек может быть счастлив воспоминанием протекшего. В молодости мы все переносим в будущее время; в некоторые лета начинаем оглядываться.

Часто предмет маловажный — камень, ручей, лошадь, на свободе гуляющая по лугам, отдаленный голос человека или звон почтового колокольчика, шум ветра, запах цветка полевого, вид облаков и неба, одним словом,— все, даже безделка, пробуждают во мне множество приятнейших воспоминаний. Я весь погружаюсь в протекшее, и сердце мое отдыхает от забот. Я чувствую облегчение от бремени настоящего, которое, как свинец, лежит на сердце.

Здесь, в Каменце, я вижу развалины замка и укреплений турецких, польских и русских; прогуливаюсь по ветхим бастионам и замечаю их живописные стороны. Виды развалин старой крепости и новых укреплений прелестны. Это большие башни, остроконечные, полуразрушенные, поросшие мохом и полынью, весьма высокою в полуденных краях; укрепления, раскаты, окруженные или, вернее сказать, опоясанные быстрою рекою, которая в иных местах образует красивые водопады и шумом и сверканием волн смягчает угрюмость воинскую и однообразие крепостного строения. Здесь шумит мельница; там брод, по которому пробирается великое стадо; немного подалее источник, падающий с каменной крутизны; вокруг его множество детей и женщин с коромыслами и толпы евреев, наклоненных на белые трости, в самом живописном положении. За рекою ряды домов с цветущими садами: веселая картина изобилия, промышленности, жизни общественной, в противоположность к хладным развалинам,— одним словом,— множество живых картин на малом пространстве, картин, напоминающих свежие ландшафты Руисдаля, *отдыхи*

(haltes) Вовермана, своенравные черты Сальватора Розы и величественные вымыслы самого Пуссеня. Целые часы я стою, облокотясь на зубцы башенные, и взоры мои с неизъяснимою радостию скользят по крутизне каменной стены или бродят по волнам кипящего Смотрича. Несколько раз стены сии переходили из рук в руки. Турки брали их у поляков, поляки у турок, и, наконец, русские отбили их у гордых республиканцев. Повсюду древние следы войны и времени. Там ядро оторвало край стены, здесь врезалось в камни и заросло плющом. Укрепления сии часто были осаждаемы смелым и беспокойным Хмельницким, который, в смутные времена республики, внезапно являлся в Подолии, разорял цветущие села и плодоносные берега древнего Тираса, осаждал Каменец, грозил Варшаве и исчезал, как призрак. На дальних холмах, за рекою, стояло его войско, усиленное толпами татар. Сколько воспоминаний исторических!.. Правда! Но «мое воображение хозяин в доме», как говорит Монтань. Я забываю невольно и вождей польских, и гетмана, окруженного мурзами, и переношусь в Богемию, в Теплиц, к развалинам Бергшлосса и Гайерсберга, около которых стоял наш лагерь после Кульмской победы.

Одно воспоминание рождает другое, как в потоке одна струя рождает другую. Весь лагерь воскресает в моем воображении, и тысячи мелких обстоятельств оживляют мое воображение. Сердце мое утопает в удовольствии: я сижу в шалаше моего Петина, у подошвы высокой горы, увенчанной развалинами рыцарского замка. Мы одни. Разговоры наши откровенны; сердца на устах; глаза не могут насмотреться друг на друга после долгой разлуки. Опасность, из которой мы исторглись невредимы, шум, движение и деятельность военной жизни, вид войска и снарядов военных, простое угощение и гостеприимство в ставке приятеля, товарища моей юности, бутылка богемского вина на барабане, несколько плодов и кусок черствого хлеба, parca mensa, умеренная трапеза, но приправленная лаской,— все это вместе веселило нас, как детей. Мы говорили о Москве, о наших надеждах, о путешествии на Кавказ и мало ли о чем еще! Время пролетало в разговорах, и месяц, выходя из-за гор, отделяющих Богемию от долины дрезденской, заставал нас, беспечных и счастливых, посреди сердечных излияний откровеннейшей дружбы, дружбы, которой одно воспоминание мне драгоценнее и честей и славы.

Вот что рождают во мне башни и развалины Каменца: сладкие воспоминания о лучших временах жизни! Приятель мой уснул геройским сном на кровавых полях Лейпцига. Время изгладило его из памяти холодных товарищей, но дружество и благодарность запечатлели его образ в душе моей. Я ношу сей образ в душе, как залог священный; он будет путеводителем к добру; с ним неразлучный, я не стану бледнеть под ядрами, не изменю чести, не оставлю ее знамени. Мы увидимся в лучшем мире; здесь мне осталось одно воспоминание о друге, воспоминание, прелестный цвет посреди пустыней, могил и развалин жизни.





Из книги «Пантеон итальянской словесности»

СЛАВА И БЛАЖЕНСТВО ИТАЛИИ

Из г-жи Сталь

Италия, царство солнца, Италия, владычица мира, Италия, колыбель искусств и племен! о, сколько раз человеческий род тебе покорялся! сколько раз был данником твоим искусствам, твоему оружию и твоему сладостному небу!

Некий бог покинул Олимп и в полях Авзонии поселился; в них все питает мечту о добродетелях века золотого: счастливый смертный или не знал, или забыл здесь о падении праотцев.

Гений Рима покорил вселенную; он властвовал свободою. Характер римский напечатлелся на лице мира. Варвары разрушили Италию — и вселенная погрузилась во мрак.

Но Италия воспрянула с небесными дарами, принесенными в недра ее изгнанниками из Ахаии; небо открыло ей законы свои; великодушная дерзость сынов ее открыла новый свет: так. Италия царствовала над областию мыслей; и что же? Оливовый скипетр ее учинил неблагодарных.

Но сила воображения возвратила ей утраченный мир: кисть и лира создали ей землю, Олимп, ад и небо. И какой бог похитит пламенник гения из рук Италии, сего нового Прометея?

Капитолий! зачем Корина в стенах твоих? зачем смиренное чело женщины украшено венком Петрарка, венком, не истлевшим на могильном кипарисе злополучного Тасса? Затем, что вы любите славу, о сограждане мои! и награждаете служение оной наравне с успехами таланта.

Вы любите сию славу, которая часто приносит в жертву венчанных ею; если вы обожаете славу,— то помысли-

те с гордостию о веках, возродивших искусства! Данте, Омир новых времен, священный орган таинств религии, герой мысли, Данте погрузил гений свой в воды Стикса, чтобы безвредно сойти на берега Тартара. И глубина души его неизмерима, как оные бездны, им столь живо описанные.

Италия воскресла вся в Данте, как во дни силы своей. Поэт и воин Данте, одушевленный свободою, вдыхает жизнь в хладную область могилы,— и тени встают и движутся и действуют сильнее, чем мы, обреченные смерти.

Их преследуют воспоминания жизни; страсти без цели и направления бушуют в их сердцах; все прошедшее воскресает, и оно для них непреложнее будущего.

Нам кажется, что Данте, изгнанный из земли своей, перенес в область воображения всю горесть и тоску, грызущие собственное его сердце. Тени его наведываются беспрестанно о живых, как поэт вопрошал об отечестве. Он изобразил ад в виде ужасной обители изгнания.

Все в очах его облекается в одежду Флоренции; тени древних являются ему тосканцами. Не границы ума его стесняют мир, нет! сила души его влечет вселенную в область его мыслей.

По тайному Дедалу кругов и сфер он шествует из ада в чистилище, из чистилища в рай небесный. Верный повествователь чудесного видения своего, он озаряет яркими лучами мрачнейшие области Тартара — и мир, созданный в таинственной поэме его, есть мир целый, исполненный жизни, сияющий, как новая планета в лазури небесной.

Он поет — и все на земле в поэзию обращается. Предметы, идеи, законы, феномены составили по гласу его новый Олимп, богами населенный. Но вся мифология его исчезает пред сиянием Рая, сего океана света, горящего звездами, исполненного любви, мира и добра.

Волшебный язык нашего Данте есть призм вселенной. Все чудеса ее в оном отражаются. Звуки подражают краскам, краски сливаются в общую гармонию; рифма, звонкая или странная, быстрая или медленная, есть следствие пиитического восторга, сего восторга, коего прозорливое око умеет открывать в природе все сношения ее с сердцем человеческим.

Данте надеялся, что поэма его положит конец изгнанию; он надеялся, что слава будет посредницею между им и отчизною: но смерть лишила его желанной пальмы из рук признательной Флоренции. Часто жизнь челове-

ская истощевается в бедствиях; если слава и одержит победу, если мы и пристанем у счастливейшего берега, то могила разверзается в пристанище и судьба многовидная часто в возврате счастия таит конец жизни.

Подобная участь постигла Тасса. Злополучный от первых дней юности, прекрасный, чувствительный, рыцарь душою, исполненный мечтаний о славе, разлученный любовию, которую воспевал столь сладостно, Торквато приближался к стенам Рима с благоговением и благодарностию, как древние рыцари его приближались к стенам Иерусалима; но смерть накануне триумфа потребовала жертву свою. Конечно, небеса с завистию взирают на землю: они неожиданно вызывают своих любимцев с обманчивых берегов времени.

В лучшем, в свободнейшем веке Петрарка был также певцом вольности, независимости италиянской. Одна любовь его славна в землях чуждых; но здесь важные воспоминания окружают его гробницу. Отечество лучше самой Лауры служило ему вдохновением.

Он воскресил древность трудами. Воображение не было ему преградою в глубокой учености. Воображение, сия зиждительная сила, подчиняла ему времена будущие и открыла таинство веков протекших. Он испытал, что знание есть ключ к изобретению. Гений его был оригинален, ибо, подобно Вечному, гений его был соприсутствен всем временам, всем народам.

Голубое небо, легкий воздух, веселый климат нашей Италии были вдохновениями Ариоста. Он явился, подобно радуге, вслед за бурями военными. Сияющий, разнообразный, во всем подобный небесной вестнице, пророчице ясных дней, Ариост, кажется нам, играет с жизнию: веселость его легкая и кроткая; его улыбка Природы, а не улыбка смертного, сына печали и раскаяния.

Микель-Анджело, Рафаель, Перголез, Галилей и вы, неустрашимые странствователи, вы, жадные созерцатели новых земель (хотя природа вам ни одной лучше Италии не открыла)! слейте вашу славу со славою поэтов! Художники, ученые и философы! вы все, подобно поэтам, сыны того же солнца, которое то пробуждает воображение, сосредоточивает мысли, вдыхает смелость и терпение, то усыпляет в счастии, ослепляет надеждою или погружает в тихое забвение.

Знаете ли ту землю, где благоухают лимоны, которую небо с любовию наделяет плодами? Слыхали ли томное

бряцание мандолины в сладкой тишине ясной и безветренной ночи? Упивались ли благовонием цветов, разлитым в воздухе, сладостном и прозрачном? Отвечайте, отвечайте мне, иноземцы! природа в землях ваших столько ли прекрасна и благодетельна?

Ах! в странах ваших, когда несчастие начинает терзать народы, смертные в ужасе полагают, что их покинуло Божество. Но здесь мы всегда чувствуем благое покровительство Небес; здесь Небеса не перестают лелеять человека, лучшее, благороднейшее создание в мире.

Не одними класами и багряным гроздием венчается наша природа; она изобильною рукою расточает под стопами человека, как на празднествах древних победителей, тысячи ярких цветов и растений — не на службу, на радость очам его!

И дары ее не напрасно рассыпаются. Мы умеем наслаждаться ими; мы довольствуемся простою пищею: не упиваемся у источника вина, изобилием источенного. Мы любим наше солнце, искусства, памятники; мы любим нашу землю, усеянную обломками и прахом древности и цветами весенними. Ни утонченные удовольствия общества, ни грубое веселие народов северных нам не известны.

Здесь все чувства сливаются с идеями; жизнь почерпается у одного общего источника, и душа, подобно воздуху, носится под небом ясным, над веселою землею. Здесь гений шествует свободно; ибо мечтание его сладостно: и пускай не находит цели — зато находит тысячу мечтаний! и пускай люди его терзают — но Природа принимает его в свои объятия!..

ОЛИНД И СОФРОНИЯ

Отрывок из II-й песни «Освобожденного Иерусалима»

Между тем как тиран приготовляет воинство к новой брани, Исмен ему является, Исмен, который извлекает волшебными словами тела усопших из заклепов мраморных и дает им жизнь и чувство, Исмен, который ужасает Плутона во глубине преисподней, располагает по воле его демонами, разрешает их и связует. Некогда служитель Христа, ныне поклоняется он Магоммеду, но древних обрядов и истин святой веры не мог отринуть совершенно, и часто безбожный волхвователь обе веры сливает воедино. Вызванный народною опасностию из пустынь, где, скрываясь от взоров любопытства, он со-

вершал страшные чары, спешит ныне к своему владыке: злобного царя советник злобный!

«Государь,— вещает он,— быстро приближается победоносное воинство; исполним долг наш: и небо, и мир придут нам в помощь. Ты вручил царям и вождям охранение града: все устроил, все предвидел, и если каждый подобно тебе исполнит долг свой, то горе врагам! Земля сия поглотит их воинство. Наступило время трудов и опасностей, и я прибегаю на помощь. Все, что могу в преклонных летах принести в дань тебе, приношу: и совет, и искусство дивное волхва, которое принудит ангелов, отринутых небом, содействовать нам. Где и когда начну совершать чары — возвещу тебе. Теперь знай, что во храме христиан таится под землею олтарь, и на оном лик той, которую ослепленный народ именует своею богинею, матерью Бога, Бога рожденного и погребенного! Пред иконою, покровенною пеленой, пылает неугасимо лампада, и кругом во множестве зрятся дары, приносимые суеверными поклонниками. Спеши, о владыко, похитить сей образ и собственною рукою постанови его в мечети! Удвою, утрою волхвования и клянусь тебе, что доколе сей образ останется во храме пророка нашего, дотоле, как, охраненное незыблемыми стенами, пребудет нерушимо царство твое!»

Вещал и убедил. В нетерпении царь спешит к дому Божию и принуждает священнослужителей открыть его. Рукою святотатственною похищает священный лик и вносит его торжественно в капище, в капище лжепророка, где невинные раздражают Небеса преступным и бессмысленным поклонением; там, в сей обители нечестия, волхв нашептывает на святом образе неизреченные клятвы и хуления.

Но с утренней зарею стража не узрела иконы на том месте, где водрузил ее царь, и тщетны были ее поиски! С страхом извещает раздраженного владыку, который всю вину похищения на христиан возлагает. Неизвестно, рука ли правоверного похитила образ, или то было деяние Неба, Неба, которое с отвращением зрело, что лик Владычицы его покоится во гнусной обители нечестия, и молва не знает, кому приписать событие дивное — делу рук человеческих или силе чудесной! О, сколь слабо усердие человеческое, когда и сей подвиг отнести должно небу, а не поборникам бога истинного!

Между тем прозорливый царь повелевает осматривать и церкви, и все жилища; он грозит похитителю гневом

и местию: Исмен чародействами испытует открыть истину. Напрасное старание! Небеса, к стыду его науки, осеняют истину непроницаемою завесою. Тайная ненависть царева воспрянула при новом проступке правоверных; он вскипел гневом неукротимым, безмерным. Забывает последнее уважение к человечеству, желает мести, желает утолить жажду ее в крови неповинных. «Не напрасен будет гнев мой,— взывает он,— не напрасен! Погибнет с толпою народа преступник неизвестный. Не спасет себя виновный; с ним да погибнет правый и невинный! Правый? Что вещал я! Каждый виновен, каждый есть враг наш, каждый преступен, и если не теперь, то прежде был виновен пред нами. Спешите, спешите вы, слуги мои верные, уничтожьте, истребите их огнем и мечом!»

Так вещал толпе клевретов своих разъяренный Аладдин, и быстрая молва разнесла веления его в жилищах правоверных. Устрашились они; недвижимо, в трепете ожидали грозящей гибели. Никто не дерзает ни скрыться, ни оправдать себя, ниже просить. Но робкие, нерешительные спасены неожиданно. Меж ними находилась дева возраста уже зрелого, исполненная и мыслей и чувств возвышенных. Она сияла красотою чудесною, но, беспечная к прелестям своим, не гордилась даром небес благосклонных. В стенах мирной обители таилась от взоров кипящей юности, скрывалась от суетных хвалений. Но позволит ли любовь утаить красоту небесную, утешение и сладость очей? Любовь — то слепец, то Аргус, то с повязкою на глазах, то с открытым и быстрым взором, любовь, ты проникаешь сквозь стражу в тайные девические убежища и указуешь ее взорам пылкого юноши! Ей имя — Софрония, ему — Олинд. Жители одного града, они поклоняются одному богу. Он столько же скромен, сколь она прелестна. Он желает пламенно, мало надеется, ничего не требует, не умеет открыться в любви своей или не смеет: она его презирает, или не видит, или не примечает. Так до сих пор страдал несчастный, незнаемый Софронией или отверженный.

Но повсюду гремит ужасная весть: приготовляется казнь правоверному племени, и Софрония, великодушная дева, помышляет о его спасении. Смелая мысль рождается в ее сердце, но стыд и робость девическая ее останавливают: она борется с собою. Наконец добродетель побеждает робость, укрепляет ее, дает новую силу и смелость. И вот проходит красавица сквозь толпы народные, не покрыла

прелестей своих, но открыла их взорам. Она потупила ясные очи; она осенила чело тончайшим покровом, и поступь ее была свободна и величественна. Трудно решить: искусство или милая небрежность — ее украшения; казалось, что все в ней, даже и сия прелестная небрежность, есть дар щедрой природы, любви или Небес благосклонных. Зримая всеми, никого не видит гордая красавица и прямо шествует ко трону царскому. Бесстрашно взирает на разгневанного тирана, твердым, но умильным голосом вещает: «Укроти, укроти гнев свой, обуздай разъяренный народ свой, о царь всемогущий! Я пришла открыть и представить пред лицо правосудия преступника, тебя столь сильно оскорбившего».

При виде непорочной и гордой девицы, при внезапном сиянии прелестей небесных, царь, пораженный, смущенный, обуздал гнев свой, укротил разъяренное чело. Так, если бы он имел сердце и чувство и встретил хотя один благосклонный взор Софронии, то воспылал бы любовию вечною... Но суровые взгляды ее не победили суровой души варвара. Не любовь, не сострадание, но удивление и тайная, сильная прелесть красоты склонили его внимание. «Поведай,— воскликнул он,— все поведай; я ручаюсь, что меч не коснется главы поклонников Христа». «Ты желаешь, чтобы я вещала? Итак, внимай... Преступница пред тобою. Сия рука похитила образ; я — та, которую ищешь повсюду, та, которую казнить должно».

Так для спасения народного жертвовала собою Софрония; так желала обрушить на себя гнев царский. О ложь великодушная! Какую истину во всей красоте и сиянии можно уподобить тебе!

Удивился жестокий владыка. Гнев долго не мог овладеть его душою. Он снова вопросил: «Открой, кто подал совет тебе, кого имела сообщником?» — «Нет, никому не желала уделить от славы моей. Сама себе была сообщницею, советовалась с собою и одна совершила отважное дело».— «Итак, на тебя одну обрушится гнев мой?» — «И справедливо. Одна получила славу, одна заслуживаю и казнь».— «Но где же таишь образ?» — воскликнул тиран, коего ярость более и более возрастала. «Не утаила его, но предала огню и учинила дело, не противное небесам. Нечестивый не занесет на него святотатственной руки своей! Итак, грозный владыко, не требуй похищенного: оно исчезло навеки; требуй похитителя: он пред тобою!.. Но я не хищница, нет, я небесам возвратила то, что было несправедливо похищено».

Тиран дрожал от гнева, и ярость его была необузданная. Ах, не надейся прощения, красота чистейшая, душа возвышенная! Напрасно любовь сама вооружила тебя прелестию: и красота — не защита от гнева царского! Он повелевает предать ее на костре мучительной смерти; уже совлекают и кровы и одежды чистейшие; нежные руки жестоким вервием связуют. Она безмолвна. Девственная грудь ее легкими вздохами едва-едва волнуема; изменилось прекрасное лицо: румянец его исчез, но то была не бледность, а белизна прелестная *.

Между тем печальная весть раздается в городе: уже толпами народ стекается, и с ними Олинд. Ему известно, что образ похищен; но кто похитил его? «Если она?» — думает он. И что же?.. Видит прелестную узницу, осужденную и клевретами тирана влекомую на страшную казнь. Быстро раздвигая шумную толпу народа: «Нет, нет, она не преступница! — восклицает юноша, приближаясь к царю.— Она безумно похваляется похищением иконы. Ни осмелиться помыслить, ни приступить к делу не могла девица безопытная. Каким образом обманула стражу? Как похитила икону? Пусть объявит. Но что сказать ей? Я, я — хищник иконы! Так! — продолжал пламенный юноша.— Туда, где высокая мечеть приемлет свет солнечный, я достиг, сокровенный ночною темнотою, сквозь узкое отверстие, и я прошел путем непроходимым. Мне честь, мне казнь! Да не похитит она сладостных мучений! Вы, клевреты, отдайте мне цепи ее; они — мои; для меня несите светочи, для меня костер уготовляйте!»

Софрония обратила к нему прелестные взоры, исполненные сострадания: «Что делаешь, несчастный и вместе невинный! Какое исступление влечет тебя на гибель неминуемую? Или без тебя не могу выдержать гнева человеческого! И я имею мужество и для смерти не требую товарища».

Так вещала страстному любовнику; но слезы ее были напрасны: жестокий не переменил мысли. О, великое божественное зрелище! Здесь ведут спор между собою любовь и великодушная добродетель! Здесь награда победителю — смерть, казнь побежденному — жизнь!

Так обвиняли себя великодушные соперники, и ярость

---

* Это напоминает стих Петрарки:

Pallida no, ma piu che neve bianca.

<Не бледность, но скорее какая-то снежная белизна (*ит.*).>

тирана возрастала более и более. Ему казалось, что весь стыд обрушился на его голову, что, презирая мучения, они власть его презирают. «Обоим верю,— воскликнул он,— обоим вручаю пальму победы, достойную обоих». Дает страшный знак клевретам своим; сии спешат с узами к бестрепетному юноше. И он и дева прикованы к этому столбу одними узами, но не видят друг друга; лица их обращены в разные стороны. Заранее сооружен высокий костер, и мехи раздувают в нем смертоносное пламя. Юноша не мог долго таить горести в стесненной груди своей и в рыданиях воскликнул: «Такими ли узами надеялся соединить с тобою жизнь мою? Такой ли огонь должен был воспламенять сердца наши? Ах, другое пламя, другие узы обещала любовь; судьба судила иначе. Она разлучила нас в течении жизни и для смерти только, жестокая, соединяет. Но мне, осужденному на смерть, сладостно быть твоим супругом на роковом костре. Ах, Софрония, участь твоя сокрушает сердце мое; моя достойна зависти: я умираю с тобою. Как сладка была бы кончина моя, как сладостны были бы жестокие мучения мои, когда бы позволили соединить нам грудь с грудию и всю душу мою вдохнуть в уста твои, и мне, при последнем часе, исчерпать слабеющее твое дыхание!» — Так говорит страдалец, заливаясь горькими слезами. Софрония отвечала ему, и сладостен был голос ее: «Других помышлений, других жалоб требует сей важный час, о друг мой! Помысли о душе своей, помысли о награде, обещанной праведнику Богом земли и неба! Страдай во имя его, надейся на радости и награды небесные, и мучения твои будут легки и сладостны. Воззри на небо: как оно прекрасно! Воззри на солнце: как оно величественно! Небо и солнце призывают нас в обитель горнюю. Они утешают нас в мучениях».

При сих словах рыдания и громкий плач раздавались в толпе неверных. Тихо плакали устрашенные христиане. Но что чувствует жестокий Аладдин! Неизвестное ему чувство, жалость проникла в жестокое сердце его... Напрасно! Он заглушает голос нежный сострадания, отвращает взоры свои и удаляется быстрыми шагами. Все рыдает, все в отчаянии! Ты одна спокойна, о Софрония, ты одна, оплаканная всеми, слез не проливаешь!

Между тем приближается воин роста великого, осанки благородной; оружие и одежда чужеземные являют воина-героя стран отдаленных. Изваянный тигр, ужасный,

ослепляющий очи, покрывает шлем его: известное знамение Клоринды на поле брани; по нем узнают славную ратницу.

От самого младенчества Клоринда презирала нравы и обычаи нежного пола. К трудам Арахны, к игле и веретену не приложила гордой руки своей. Для стана воинского, обители строгой честности, покинула она одеяние и сокровенные жилища слабых жен, вооружила строгостию чело свое. Но и в суровости была прелестна. В младенчестве слабою десницею смиряла коня ретивого, в младенчестве привыкла действовать копьем и мечом, в борьбе укрепила мышцы и в беге быстрые ноги свои. В пустынях отдаленных, по скалам кремнистым устремлялась за грозными львами, за яростными медведями. Являлась со славою на поле брани, и воинам и зверям равно ужасная. Она покинула обширные поля персидские и желает снова сразиться с христианами. Доселе поля и источники Азии обагрялись кровию врагов Магоммеда от руки божественной Клоринды. Она вступает во град осажденный, и что поражает ее взоры? Страшные приуготовления к смертной казни. Нетерпеливая героиня желает увидеть, узнать вину осужденных, и быстрый конь несет прелестную всадницу сквозь шумные толпы народные.

Видит двух страдальцев на роковом костре и останавливает коня своего, видит смиренное безмолвие девы, слышит страдания юноши: твердость духа слабой жены удивляет ее. Но юноша плачет от сострадания: не о себе плачет он, о милой узнице. Сия безмолвствует; очи ее устремлены на небо. Кажется, дух ее отделился от земли сей и в обители горней витает. Жалость проникла в твердое сердце, слезы навернулись на прекрасных очах героини. Она была тронута участью мужественной девы, ее молчанием более, нежели плачем и слезами юноши, и немедленно попросила старца, близ ней стоящего: «Вещай, кто сии страдальцы и кто повергает их на костер мучительный? Слепая судьба или их преступление?»

Так вопрошала его, и ответ старца был краток и справедлив. Клоринда ужаснулась. Яснее солнца казалась ей невинность любовников. Просьбою или оружием решилась спасти их. Повелевает отъять гибельные светочи, пылающие в руках стражи, и обращает речь свою к клевретам царским: «Да не дерзнет никто из вас приступить к ужасному делу, доколь я не узрю царя вашего. Не стра-

шитесь! Ваша медленность не раздражит его: я, я в том порукою». Клевреты, пораженные величественною осанкою героини, в безмолвии повиновались. Она полетела к царю на быстром коне и на половине пути узрела его, идущего навстречу. «Я Клоринда! — вещала она.— Тебе, может быть, известно имя сие, государь! Я притекла защищать с тобою веру праотцев и царство твое. На все готова; повелевай: я совершу твои повеления. Великих предприятий не страшусь, малыми не гнушаюсь. На чистом поле или на стенах града велишь сражаться? Вот рука моя!»

«Есть ли такая страна,—воскликнул Аладдин,—страна, столь отдаленная от Азии или от пути солнечного, где бы не гремела твоя слава! О дева, честь правоверных! Чего страшиться, когда меч твой за меня? Он надежнее, вернее целого воинства. Ныне медленность Годофреда мне тягостною становится. Пускай приходит он: ты со мною! Тебя достойны одни великие опасности, великие предприятия! Тебе вручаю воинов моих, да повинуются и побеждают». Так вещал он, и Клоринда благодарила владыку Солима: «Странно требовать воздаяния за дела, не совершa их; но я полагаюсь на доброту сердца твоего. Желаю, чтобы ты за будущие подвиги мои вручил мне сих преступников; требую их в награду. Преступление их сомнительно, наказание ужасно. Умалчиваю о признаках невинности их, но должна объявить, что слух о похищении иконы поклонниками ее — слух несправедливый. Советы волхва преступны и пагубны. Как во храме Бога нашего ставить идолы, чуждых богов изображения? Итак, припишите Магоммеду сие дело: он совершил его в знамение воли своей. Пускай Исмен совершает чары свои, пускай действует он посредством мрачной науки своей: мы, воины, станем действовать железом. Вот вся наука и надежда наша!»

Клоринда умолкла. Царь, не знающий жалости, изъявил согласие на просьбы славной воительницы. Ее слова и советы рассудка убедили его. «Жизнь и свободу возвращаю им,— сказал Аладдин,— ибо в чем могу отказать такому заступнику?»

Они свободны. Судьба Олинда чудесна поистине: доселе нелюбимый, теперь обожаем Софрониею, с костра идет к жертвеннику брачному!

ИССТУПЛЕНИЕ ОРЛАНДА

Конец песни XXIII-й и начало XXIV-й *

Кто осмелится занести ногу свою в сети любовные, немедленно пойман бывает; напрасно желает исторгнуть ее, напрасно: в сетях коварных и крылья оставит. Любовь есть забвение себя, вещают мудрые. Если не каждый любовник доходит до бешенства Орландова, то все как-нибудь свое дурачество обнажает, ибо не есть ли дурачество, друзья мои, забвение себя для гордой красавицы?

Различные последствия, но дурачество одно у любовников. Подобно страннику в диком и дремучем лесу, они туда, сюда, здесь и там во мраках блуждают и не видят конца своему странствию. Скажу в заключение: тому, кто предается погибельной страсти, мало мучений известных, мало цепей и вериг тяжелых! Конечно, и мне вы молвить вправе: — Приятель, на других указываешь перстом, а как ты сам поступаешь? — Справедливо, друзья мои! Я предаюсь мудрости на малое время; но я стараюсь исправиться, отдохнуть душою и вырваться из вихря любовного. А теперь — скажу вам краснея — не могу сего сделать: любовь, жестокая любовь еще управляет мною и день и ночь мое сердце терзает...

Но возвратимся к Орланду. Он два дни преследовал Срацина. Изнуренный усталостию, останавливается на берегу кристального ручья, кругом которого расстилается веселая долина, испещренная яркими цветами, осененная зеленым кустарником. Легкое веяние ветерка прохлаждало палящий зной полуденный и оживляло стада и пастырей, едва покрытых одеждою; но Орландо под тяжелым панцирем, шлемом и щитом не мог наслаждаться веянием прохлады. Посреди прелестной пустыни утомленный витязь желает укрепиться кратковременным отдыхом и печальное, гибельное избрал убежище в сей день, для него стократ злополучный! Бросая взоры свои вдоль по сенистому берегу, видит начертания на коре кудрявых кустарников. Всматривается, и что же? Познает в начертаниях сих руку богини своей, незабвенной Анжелики. Сие убежище нередко посещала царевна китайская с юным Медором, с счастливым юношей, когда обитали они в простой хижине соседнего пастыря. Имена их, имена *Анжелики* и *Медора*, он видит на коре древес бесчисленных,

* Желая сохранить единство в рассказе, мы осмелились сделать некоторые перестановки.

и каждое слово, каждая черта проницают глубоко в его сердце. Желает обмануть себя, желает не верить ненавистным свидетелям измены. «Другая Анжелика,— повторяет он,— другая начертала имя свое на сей коре предательской. Я видал подобные начертания, читал подобные слова; может быть, имя Медора есть вымысел; под ним мое имя скрывается». Так обманывает себя несчастный рыцарь, так питает в душе смутную надежду. Но, желая погасить жестокую ревность, более и более распаляет свой гнев. Так неосторожная птица, запутавшись в тайной сети, чем более трепещет крылами, чем более желает выбиться, тем сильнее запутывается в тенетах коварных. Орландо следует по течению ручья туда, где каменная гора, подобно луку, сгибается над пенистою влагою и пещеру скалами образует. Там едера и виноградник, переплетяся густо кривыми корнями, украсили убежище любви и некогда своею тению покрывали счастливых любовников. Там повсюду каждый камень, каждая кора древесная имена их сохранили; уголь, мел и острие железа — все служило им орудием для начертания любовной повести.

Несчастный граф Анжерский сошел с коня своего и увидел при входе в пещеру новые слова, Медором написанные в счастливые минуты любви и наслаждения. На языке арабском изъясняли они свое блаженство, в стихах прелестных — без сомнения, ибо любовь — вы знаете — всегда красноречива:

«Древа тенистые, долины злачные, ручьи студеные и ты, хладная пещера, обильная тенями гостеприимными, где Анжелика, дочь Галафрона, втуне обожаемая моими соперниками, в моих объятиях покоилась! Чем может воздать вам бедный Медор? Хвалою вечною и вечною признательностию.

Счастливые любовники, рыцари смелые, девы прелестные, жители сих долин счастливых и вы, прохожие, волей или случаем сюда завлеченные! Умоляю вас, скажите, скажите, приветствуя сие убежище: «Травы и тени зеленые, источники мирные, пещера тенистая, да будут вам благодатны солнце и месяц небесный, и нимфы полевые да удалят пастухов с стадами шумными от сих убежищ заветных!»

К несчастию, ученый витязь понимал язык арабский совершенно, как язык латинский. Сие знание было некогда полезно и в земле срацинов избавляло его от многих встреч неприятных, а ныне — гибельное знание, горький

плод учения! Три раза, четыре и шесть и более все перечитал несчастный ревнивец, желая находить не то, что ясно было начертано; но истина при новом чтении ярче и ярче блистала, и сердце его сжималось льдяною рукою. Безмолвен, мрачен, вперил неподвижные очи в хладный камень; горесть несказанная, как свинец, лежала на сердце, и все чувства замерли. О вы, испытавшие подобное несчастие, вы знаете, сколь оно горестно! Ах, вы знаете, что оно все муки адские превышает!

О Орландо, некогда столь гордый и мужественный! Что с тобою сделалось? Чело твое поникло на грудь, уста скованы горестию, и ни одна слеза не облегчает ее! Так вода, заключенная в широком сосуде, но имеющем узкое горло, с силою будучи внезапно опрокинута, с силою желает вырваться, но, с трудом протекая чрез тесное отверстие, редкими каплями упадает на землю. Снова прибегает к рассудку рыцарь наш, снова себя вопрошает и старается заглушить голос истины. «Может быть,— мечтает он,— кто-нибудь желал повредить имени моей любезной, может быть, тайный соперник желает обрушить на меня все бремя свинцовой ревности и сокрушить мое сердце? Так, злодейская рука подражала начертаниям Анжелики!» Слабый луч надежды проницает в его душу и дает ей новую силу. Граф садится на верного Златогрива и быстро удаляется.

Солнце уступало место задумчивой сестре своей. Недалече от полей пагубных путешественник видит курящийся дым гостеприимных хижин, слышит протяжный лай псов, мычание стад и к селу приближается. Там покидает верного Златогрива на руки попечительного слуги и сам в глубокой печали желает сбросить с себя тяжелые латы. Ласковый хозяин и дети его обезоруживают высокого гостя: кто снимает златые шпоры, кто прах с тяжелого шлема и щита его сметает. Но где находился он? Под тем кровом, где Медор лечил рану свою в объятиях царевны прекрасной. Орландо, снедаемый тоскою, бросается на мягкое ложе, но покой очей его убегает. Все умножает горесть. Опять имена ненавистные всюду начертаны, и двери, и окна, и стены ими исписаны. Желает спросить, и невольно уста его сжимаются: страшится обнаружить страшную тайну и в туманах неизвестности ее заключает. Но к чему обманывать себя? Каждый готов открыть всем известное. Гостеприимный пастырь, видя гостя своего столь пасмурного и печального, желая развеселить его веселою повестью — о двух любовниках, без

злого умысла начинает рассказывать: каким образом, по просьбе Анжелики прекрасной, он принял раненого Медора в свою хижину, каким образом она вылечила его тяжелую рану в короткое время; но любовь и ее сразила: любовь воспламенила ее сердце, и ничто не могло затушить ее страсти. Наконец, увлеченная, ослепленная любовию, она забывает высокое рождение свое, забывает, что она дочь первого, сильнейшего царя на востоке, и отдает руку свою — кому же? бедному, неизвестному юноше. Пастух в заключение своего рассказа приносит показать драгоценный перстень, который, отъезжая, вручила ему Анжелика в знак своей благодарности.

Сей удар был последний удар жертве от руки жестокого Амура. Орландо желает скрывать мучения, но печаль превышает его усилия; она против воли вырывается из груди его глубокими вздохами, и невольные слезы заструились из очей грозного паладина.

Пастух удаляется. Орландо, находясь без свидетелей, предается всей тоске, и слезы снова частым градом падают на грудь его. Рыдая, как младенец, ищет постели своей, повергается на нее; но покой убегает его: мягкое ложе кажется ему тверже голого камня, острее дикого терния.

Ах, он воображает, что на нем покоилась неблагодарная в объятиях любовника своего! Встревоженный сею мыслью, вскакивает с постели быстрее селянина, который, желая отдохнуть на зеленой поляне, лег нечаянно на змию ядовитую.

И ложе, и дом, и пастырь ему столь противны, столь ненавистны, что, не дождавшись месяца или зари утренней, хватает оружие, вскакивает на коня и удаляется в густоту угрюмого леса. Там ужасные крики и вопль отчаянного раздаются по всей обширности дикой пустыни. Всю ночь, весь день продолжает стенать; убегает селений и следов человеческих; ночью на хладную землю повергается и сам дивится себе, что очи его столько слез, сердце столько горести вмещает; сам себе говорит несчастный: «Нет, не вздохи вылетают из груди моей, а пламень, разжженный любовию. Жестокая любовь, зачем не прерываешь жизнь мою, зачем продолжаешь мои страшные мучения!.. Нет, нет, я не то, чем кажусь: Орландо погиб уже; он в земле, несчастный! Его погубила жестокая своею неверностию; она, она его умертвила! Я — дух злополучного Орланда, низверженного в мрачный тартар, я — дух бесплотный, но должен служить

примером для живых, для тех из смертных, которые на любовь полагают надежды свои!»

В течение всей ночи он скитался по излучинам мрачного леса, и судьба привела его на рассвете к источнику, над коим Медор вырезал гибельную надпись. Ужасное зрелище! Оно вдруг уничтожило весь рассудок его, все чувства, кроме ненависти, гнева, ярости. Меч засверкал в руке, и надпись и твердый гранит от ударов сильных и быстрых вдребезги разлетаются.

Несчастная пещера, убежище сладострастия, исполненное Медора и Анжелики! Ты не будешь укрывать в тени своей ни пастырей, ни стада их! Источник прохладный и ясный, как лазурь небесная, исчезнет вся прелесть твоя! Ветви, и камни, и кочки, и глыбы земные повергает в него неистовый; возмущает от дна до поверхности и всю ясность его уничтожает. Силы его не могут выдержать всей тягости мрачного гнева, кипящей ярости, ненависти несказанной; они истощаются. Вне себя, покрытый холодным потом, повергается на сырой дерн и, устремя на небо смутные, неподвижные взоры, от глубины сердца вздыхает.

Три раза солнце всходило и садилось за черный лес, а Орландо, все безмолвен, без пищи, без сна, лежит на земле в одном положении. Горесть его час от часу умножалась, и рассудок вовсе затмился. На третий день в ужасном исступлении сдирает с груди своей крепкие латы. Туда, сюда кидает шлем, и щит, и меч, все оружие по роще разметывает; наконец, свергает с себя последние покровы и могучие плечи и мохнатую грудь свою обнажает. Обуянный страшным бешенством, неслыханным от века, лишается последней памяти и забывает огромный меч свой, которым бы много чудес к чудесам своим прибавил. Но к чему и меч и секира с такою исполинскою силою? Десница его вырывает с корнями высокую сосну, как слабый укроп или злак огородный; исторгает, одно за другим, то вяз, то липу, то вековой дуб: так птицелов очищает от кустарника и камышей топкий берег болотный, чтобы раскинуть на нем коварные сети.

Пастухи, любопытствуя узнать причину необычайного шума и треска, покидают стада свои посреди мрачного леса и со всех сторон сбегаются; но, увидя странные дела бешеного, его силу чудесную, желают укрыться, и страх удерживает им ноги. Между тем он быстро за ними гонится, настигает одного и срывает ему с плеч голову, как с ветки яблоко или спелую сливу. Земледельцы, устра-

шенные участию товарищей своих, оставляют в полях серпы, косы и плуги и, видя, что под тенью вязов и лип укрыться не можно, спасаются на кровы домов и храмов. Оттуда смотрят, содрогаясь от страха, на бешенство графа Анжерского, как он кулаками, зубами, ногтями, ногами, грудью коней и волов побивает и раздирает. О, счастлив, кто мог найти спасение в бегстве! Между тем в соседних селениях раздается плач, стон и вой, звук рогов, сельских труб и звон колоколов беспрестанный. Вооруженные дрекольями, древними бердышами, копьями и пращами, на звон шумного набата бесчисленные толпы селян спускаются с гор, обходят излучинами долины и спешат сделать сельское нападение на бешеного героя.

Как восточный ветер, вначале слегка играя, с поверхности моря медленно приближает соленую волну к песчаному берегу, поднимает другую выше первой и третью еще сильнее, час от часу волны усиливаются, возрастают и терзают стонущий берег,— так усиливаются толпы возмущенного народа, так сходят они с гор и наводняют долину. Но Орландо убивает десять, еще десять из тех, которые в беспорядке на него нападают. Печальный опыт товарищей научал действовать издали; но стрелы и камни сыплются напрасно: Орландо неуязвим. Его спасает благодать небесная, которая предназначила его быть некогда защитником святой веры. Без сей милости небесной он пал бы, без сомнения, под тяжкими ударами толпы разъяренной, ибо, безумный, отбросив оружие свое, копье и меч, в одной храбрости искал защиты!

Видя, что все нападения безуспешны, толпы начали рассеиваться, и Орландо беспрепятственно идет в ближнее селение. Там от мала до велика все спасались, все оставили хижины свои на произвол судьбе. Рыцарь, томимый голодом, изнуренный трудами и бессонницею, находит пищу сельскую: желуди и хлеб, сырое и вареное мясо — поглощает одно за другим. Вскоре покидает опустошенное селение, блуждает там и здесь, нападает на людей, нападает на зверей пустынных. Иногда, пробегая лесами, он похищает на бегу легких серн и оленей; часто сражается с кровожадными медведями, с лютыми вепрями и одним ударом руки низлагает их и пожирает.

МОРОВАЯ ЗАРАЗА ВО ФЛОРЕНЦИИ

(Из Боккачьо)

В 1338 году по Рождестве Христовом, во Флоренции, одном из великолепнейших городов Италии, показалась ужасная моровая зараза, в наказание за грехи наши правосудным небом посланная. За несколько пред тем годов она появилась в странах восточных: там, погубив несчетное множество народа, не останавливаясь нигде, из края в край разливалась и, наконец, пришла на запад. Несмотря на предосторожности и на всю человеческую прозорливость, в начале весны 48-го года страшным, чудесным образом начала свои опустошения. Напрасно градоначальники очищали Флоренцию; напрасно вход в оную воспрещен был зараженным и все пособия искусства врачебного для сохранения здоровия истощены в городе и в окрестностях; напрасно беспрестанные моления возносились к небесам и крестные ходы совершались благочестивыми людьми и служителями церкви! *

Ни искусство лекарей, ни лекарства не могли принести исцеления сему недугу. Свойство ли самой заразы противилось врачеванию, или невежество врачей, не умевших истребить начала оной, только число страждущих умножалось беспрестанно. К несчастию, кроме тех, кои посвятили себя врачебной науке, многие мужчины и женщины, не имея ни малейшего понятия о лекарствах, брались за лечение: малое число избежало неминуемой гибели! Почти все на третий день (кто ранее, кто позже) по открытии смертельных признаков, без малейшей лихорадки или других недугов, лишались и сил и жизни. Зараза беспрестанно усиливалась. Она сообщалась здоровым с чудесною быстротою, как огонь захватывает сухие или горючие вещества. Не только разговор или обращение с больными, но даже малейшее прикосновение к их одеждам, к тем вещам, которые прошли чрез их руки, сообщало болезнь и смерть. Чудесное дело я должен объявить вам!

---

* На востоке признаки ее были отличны от здешних. Там кровотечение из носу было непреложным вестником смерти. Здесь у мужчин и женщин вначале рождались или в пахах, или под мышкой некоторые наросты, у иных с обыкновенное яблоко, у других с яйцо: иногда менее, иногда более. По образовании сих нарывов, повсюду равномерно опасных, начиналась разливаться материя, появлялись то черные, то желтые пятна вдоль рук, лядвий и по другим частям тела; у иных в большем виде, но редкие; у иных малые, но весьма частыми гнездами: и нарывы и пятна сии были знаками смерти.

Если бы другие, и с ними я сам, не были тому очевидцами, то не только не осмелился написать, едва поверил бы даже свидетельству человека, достойного уважения и правдивого. Сила заразительная столь была ужасна, что одно прикосновение к одеждам больного убивало зверей домашних. Между прочим, я видел собственными глазами двух свиней, которые, нашед на площади рубище зараженного, по обыкновению своему, начали оборачивать добычу и трясти в челюстях; но вдруг закружились, как будто отравленные сильным ядом, упали и издохли.

От сих зрелищ и тому подобных ужасов родились различные страхи и ожесточили сердца. Почти все хотели убегать больных и не касаться вещей, им принадлежащих. Иные, полагая, что жизнь умеренная есть лучшее средство от заразы, собирались в малые общества и заключались в домах своих, прерывали сношения с городом, употребляя с умеренностию легкую, здоровую пищу и отборные вина. Другие, противного тому мнения, утверждая, что пьянство и веселие, удовлетворение прихотливости и страстей, наконец, веселое презрение смерти суть лучшие предохранения от заразы, проводили дни и ночи в пьянстве неумеренном, в смехе и пляске, посещая то одну, то другую гостиницу, а всего чаще домы и общества, совершенно незнакомые. И легко было сие делать: каждый, полагая, что жить более не должен, от себя и собственности отрекался. Многие дома совсем запустели, и посторонний распоряжал в них как хозяин.

Посреди сих бедствий города нашего все уважение к законам божественным и человеческим исчезло. Сами блюстители законов или вымерли, или боролись со смертию, или, окруженные погибающим семейством, не в силах были исправлять и легкую должность. Каждый делал что хотел, что ему вздумалось: собственная воля была законом.

Многие избирали середину из двух крайностей: не ограничивая себя ни в питии, ни в яствах, не предавались вину и сладострастию, но, удовлетворяя нуждам своим по обыкновению, выходили из домов, нося в руках цветы, благовонные травы и нюхая крепкие ароматы. Они уверены были, что ароматический запах есть лучший способ укреплять мозговые нервы и предохранять от заразы. Вся атмосфера отягощена была смрадом от умирающих и умерших и курений лекарственных. Иные и без причины, ища спасения в бегстве, с жестокосердием покидали сокровища, дома свои, родину, ближних, друзей и в края

чужие удалялись. Гнев божий (говорили они, убегая) не будет их преследовать: он весь обрушился на сей город, на тех, которые обитают в преступных стенах Флоренции; здесь ни один не спасет себя от гибели; здесь каждый обречен смерти.

Рассуждая столь разнообразно, вначале не все умирали и не все спасали себя от лютой язвы; но вскоре те, которые, будучи в силах, не спешили на помощь болящим и подавали другим пример гнусного жестокосердия, сами лежали без призрения. Гражданин убегал гражданина, сосед не подавал руки помощи соседу, родственники или редко, или никогда не посещали родственника: столь великий был ужас, столь опасность возрастала повсюду! Наконец, брат покидал брата, дядя — племянника, сестра — брата, всего чаще жена — мужа своего. И что всего ужаснее, всего невероятнее, отцы и матери забывали детей своих и уклонялись от них, как от чуждых! Между тем число больных мужчин и женщин всякого возраста и состояния так увеличилось, что и помощь учинилась редкою. Одни сострадательные и верные друзья (таковых было не много), одни корыстолюбивые слуги, и то за неимоверную цену, подавали слабую помощь. Не привыкшие ходить за больными, большею частию люди из последнего состояния, необразованные, грубые, оставались при одре богатых; вся услуга их состояла в том, что они подавали что больной требовал или смотрели, как он умирал. Многие из слуг учинились жертвою корыстолюбия и сами с золотом в руках погибали. Случалось, что, покинутые со всех сторон друзьями, ближними, родственниками, молодые и прекрасные женщины (дело неслыханное!) брали в услужение мужчину, старого или молодого без разбору, и ему открывали тело свое, изнуренное болезнию. Таковые женщины теряли стыдливость, лучшее украшение пола, и по выздоровлении их мы приметили вольность осудительную в их обращении.

Итак, многие погибали за неимением помощи, и число умирающих днем и ночью возрастало более и более; страшно было слышать о нем, не только быть очевидцем бедствий Флоренции. От сих несчастий последовало во нравах великое изменение. По древнему обычаю, который и поныне существует, женщины, родственники и ближние собираются в дом умершего и с детьми его оплакивают общую потерю. К ним присоединяются соседи, именитые граждане и, смотря по званию умершего, в большем или

меньшем числе приходят служители алтаря; гроб, окруженный пылающими свечами и факелами, при унылом пении священников, вносится в церковь, им назначенную. Все сии обряды при ожесточении сердец изменились, или уничтожились, или заменились другими. Многие умирали без свидетелей, в совершенном одиночестве, малое число удостоилось слез приближенных и друзей. Часто на место плача и рыданий раздавался смех и дикая радость окружающих. Женщины, полагая, что веселие есть лучшее лекарство, первые забывали сострадание, столь свойственное их полу. Редко видели мы, чтобы тело покойника провожали десять или двенадцать человек из его ближних. Не родственники, а наемные погребатели приходили за гробом, второпях хватали его и скорыми шагами уносили не в ту церковь, которую покойный назначил, умирая, а в ближайшую. Несколько священников, иногда четыре, иногда шесть (а чаще менее), провожали гроб с одною свечою, иногда вовсе без огня, без молитв, без пения, и, пришед на кладбище, бросали в первую яму. Такова была участь богатых; но простой народ и люди среднего состояния являли зрелище и более плачевное! Удержанные нуждою или надеждою в тесных и душных домах своих, они тысячами заражались в одни сутки. Без помощи, без врачебных пособий, они умирали беспрестанно; днем и ночью, на площади, на улице настигала их неотвратимая гибель. О смерти их соседи узнавали по страшному смраду загнившихся трупов. Одним словом, все умирало или умерло, и трупы валялись на трупах.

Более страх, чтобы не умножилась зараза, нежели уважение к мертвым, заставляли помышлять о погребении тел, лежащих у дверей и пред окнами домов. Жители оных сами или с помощию наемных носильщиков всечасно уносили покойных, за недостатком носилок бросали на столы. Случалось, что один гроб заключал троих и более; случалось, что муж и жена, два или три брата или отец с сыном в одном гробу уносились на кладбище. Священники, идущие за покойным с распятием в руках, встречали носильщиков; те примыкали к ним с гробами людей неизвестных, и наместо одного погребалось семь, восемь, а часто и более. И ни слезы, ниже малейшая скорбь не зрелась на лицах погребающих: ни дети, ни друзья не провожали усопшего в жилище вечное. Наконец ожесточение столь было велико, что о людях заботились столь же мало, как о животных, погибающих в лесах

и пустынях. Телам, выносимым ежеминутно, недостало священного места в ограде кладбища. За оградою изрывались глубокие, пространные рвы, и покойники повергались в оные десятками и сотнями. Подобно как на кораблях кладут товары плотно один на другой, так сперва опускался один труп, на него бросали горсть земли,— там другой, там и третий и так далее, доколе вся яма была наполнена!

Бедствия в городе превзошли меру; но зараза не останавливалась и опустошала окрестности. Так и замки, и селы, и деревни достались ей на пожрание. В бедных хижинах, на распутиях, посреди полей и нив своих несчастные земледельцы, лишенные всякой помощи врачебной, погибали целыми семействами. Нравы их, подобно городским, развратились. И дом и дела сельские были забыты. Встречая каждый день, как последний день жизни, не помышляли о трудах настоящих, не помышляли собирать плоды от трудов протекших и спешили поглощать то, что у них было перед глазами. Волы, ослы, овцы, все звери и птицы домашние, самые собаки, столь верные человеку, изгнанные из домов и хлевов, бродили там и сям, посреди полей недожатых или недопаханных. Влекомые навыком, они сами собою возвращались ночью к домам и криком и воем тревожили умирающих.

Скажу в заключении: столь ужасен был гнев божеский и отчасти ожесточение и виновная беззаботливость людей, что с марта до июля погибло более ста тысяч в стенах одной Флоренции, а до сей ужасной эпохи никто не полагал, чтоб и все число ее жителей было столь велико.

О, сколько великолепных дворцов, огромных домов дворянских, замков, некогда населенных знаменитыми гражданами, красотою и юностию, внезапно опустошились заразою, и все в них, даже до последнего слуги, вымерло! Сколько славных поколений, богатых наследств и сокровищ несметных осталось без наследников! Сколько людей достойных, женщин прелестных, юношей любезных и образованных, которых бы Галлией и Иппократ нашли в полном и цветущем здравии, обедали поутру с товарищами, родственниками, друзьями, а к ночи, уже в другом мире, вечеряли с праотцами!..

ПИСЬМО БЕРНАРДА ТАССА К ПОРЦИИ О ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ *

Я желал бы сам превратиться в это письмо и лететь к тебе, милая и бесценная супруга: мое присутствие и тебя и меня осчастливило бы совершенно. Довольствуйся одним желанием, которое к горести моей не могу исполнить. Будь уверена, что на крыльях любви чистой и постоянной я часто посылаю к тебе мои сокровеннейшие мысли: они живут при тебе неразлучно. Я надеюсь, я почти уверен, что моя Порция то же делает: итак, мысли наши встречаются на дороге. Знаю, сколь тягостна тебе разлука наша; чувствую в моем сердце печаль твою, тем более что мне известно, с какою живостию ты предаешься ей — не от малодушия, нет, от излишества любви к несчастному изгнаннику. Но если лучшая награда за любовь есть любовь равномерная, то можешь быть покойна: я люблю тебя, как только может любить смертный — всем сердцем, всей душою. Надеюсь, что наше свидание будет скорее, нежели ты полагаешь, но медленнее твоих желаний. Не хочу и не могу писать — когда именно, ибо это зависит от воли чуждой; но оно тем более будет радостно, чем менее ожиданно тобою. В случае, если Бог продлит разлуку нашу (положимся на волю его без ропота!), я должен тебе объяснить мои мысли о воспитании милых малюток наших.

Так! мы должны показать свету, сколько они драгоценны нам пользою, которую принесут им наши попечения. К несчастию, по молодости твоей ты не имеешь еще сей опытности, необходимой для воспитания детей. Спешу подать некоторые советы, частию из древних, частию из новых философов почерпнутые. Управляясь оными, ты можешь, с помощию Бога, успокоить некогда почтенную старость твою в объятиях их добродетельной юности.

Образование или *воспитание* (как говорится на языке материнском) разделяется на две части: *на нравы* и *учение*. Нравственность подлежит попечению отца и матери, учение — более отцу. Итак, я стану говорить о первой, предоставляя себе — если будет угодно Небесам продлить жизнь мою — попечение о науках нашего Торквата. Молодость его не позволяет еще склонить его под тяжкое ярмо учения. Если любовь родительская меня не ослепляет, и сколько судить можно по такому нежному возрасту,

* Писанное отцом знаменитого Тасса.

я полагаю, что он одарен прелестным телом и душою прекрасною. Но этого мало для желаемого нами совершенства; это все требует образования! Нет земли столь дикой и бесплодной, которая бы от стараний не удобрилась, не сделалась мягкою, плодотворной; нет земли плодоносной, которая бы при запущении не сделалась дикою, твердою. Подобно сему ум, от природы самый дикий и своенравный, от воспитания делается нежным и гибким, а самый гибкий и нежный — без образования портится и все небесное теряет. Навык превращается в натуру. Итак, нужно заранее приучать к учению. Пока деревцо нежно и гибко, заранее наклоняй ветви *мыслей* к благотворной стороне добра и чести. Литтеры, вырезанные на мягкой коре юного дерева, с ним мало-помалу вырастают и живут до смерти его: так сии примеры добра, сие беспрестанное поучение добродетели сильно врезываются в молодую память и вырастают с душою. Затверделого в пороках и лености нельзя обратить к добру и учению, подобно как обод колеса распрямить и привести в первое состояние.

Наша Корнелия уже выходит из отроческих лет. Душа и тело ее растут ежедневно, ум становится живее и быстрее. Пора, милый друг, посеять в нем некоторые семена, достойные нас. Нет семян, которые бы приносили лучшие плоды, нет семян, которые бы сильнее истребляли жажду светских, суетных радостей, как семена страха и любви к Богу. Итак, нужно тебе стараться всеми силами запечатлеть в сей невинной душе любовь и мысли о Боге, о вечном Творце, который даровал ей и жизнь и все, что есть прекрасного в жизни настоящей и будущей. Старайся внушить ей страх божий, не низкий, не рабский — величию Творца такой не угоден,— но страх благородный, чистый, спокойный, который бы так тесно был связан с любовию, что ничто, никакая сила их разлучить не могла: так чтобы от тесного союза страха и любви родилась религия!

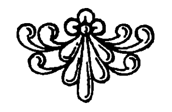
Как тень позволяет иногда в области своей зарождаться вредным травам, но не дает им вырастать и приносить горьких плодов, так и религия не допускает порокам гнездиться в душе, расплодиться и приносить плоды ужасных преступлений. Теперь надобно объяснить, что значит слово *нравы*: сохранять во всем, что говоришь и делаешь, скромность и приличие. Навык к этому от юности дает некоторый порядок и прочный блеск всем поступкам; он дает им прелесть неизъяснимую и которая

имеет силу нравиться людям образованным и самых простолюдинов пленяет. Нравы разделяются на те, которым нас наставляет учение и время. Первые от наставников запечатлеваются в юной душе, вторые суть плоды собственной опытности и рассудка. Итак, спеши научить тому, что от тебя зависит, милая супруга! Два способа учения: один — рассуждением и доводами, другой — примером. Чувство зрения быстрее слуха. Надлежит являть себя детям, какими их желаешь видеть: безмолвное наставление, наставление примером всего сильнее. Желать наставить детей, чему сам не следуешь, не то ли же, что, показав ближайшую дорогу приятелю, самому идти по другой? И отец и мать должны быть нрава кроткого, степенного и беспрестанно заботиться о благе детей; они должны облечь добродетелию детей своих, напитать ею их зрение, и слух, и ум, и сердце. Едва юный ум начинает поверхностно рассуждать и отчасти соображать вещи, то немедленно обращает проницательные взоры на поступки родителей, с великим вниманием ловит и замечает все, что они делают, все, что они говорят. Постоянное созерцание родительских добродетелей не есть ли лучшее поощрение идти по следам их?

Более всего пекись о благонравии домашних. Старайся, чтобы ни одно слово неблагопристойное, грубое или безбожное не оскорбило детского слуха, ни один поступок бесстыдный или бесчестный не представился бы взорам их. Это дело твое, ибо они будут неразлучны с тобою. У тебя научатся говорить и действовать, на лице твоем привыкнут читать долг свой. Не вводи их в такие домы, где благонравие и пристойность часто нарушаются. В странах здоровых и воздух благоприятен; в жилище добродетели и благих нравов все питает их, все добру научает. Хотя благонравие, чуждыми примерами запечатленное в голове детской, не есть еще добродетель истинная, но нечто ей подобное, близкое, однако в течение времени (столь велика сила навыка!) они одушевляются сими примерами, как хладный мрамор Пигмалионов одушевился Богом. Страшись впасть в заблуждение матерей, которые по излишней привязанности к детям уступают их воле, часто безрассудной, и не только не останавливают их, но даже не терпят, чтобы посторонние люди им противоречили. Таким образом, приучая к наслаждениям, сами отдают их во власть порокам. И не смею думать, чтобы ты желала управлять ими посредством страха и наказаний. Те, которые во гневе наказывают детей, похожи на не-

истовых, поднимающих руку на образа божеские! Добродетель не должна внушаться отроку ни лозою, ни страхом, ибо страх есть слабый и ничтожный блюститель оной. Но сохранить во всем золотую середину должно, ибо если опасно строгостию уничтожить любовь к родителям, то равномерно опасно излишним снисхождением ослабить уважение и почтение к священному их сану. Если дети впадают иногда в малые погрешности, то лучше не замечай их; если они значительны, то увещевай их, но кротко и ласково; большие проступки наказывай суровым взглядом, холодностию, укоризнами. Если случится, что подобный проступок учинит слуга домашний, то наказывай его при виновном ребенке и дай почувствовать ему в душе вину и наказание.

Я мог бы предложить еще несколько правил, но страшусь излишеством рассеять твое внимание. Кажется, говорил о всех важных пунктах, а частные случаи ты можешь сама согласовать с ними. Учение Торквата предоставляю себе, когда он придет в надлежащий возраст. Тебе, как матери, поручаю Корнелию: кто лучше тебя наставит ее в добродетели? Будь счастлива, милая Порция! Пускай присутствие детей наших, которые тебе столь живо напоминают меня, усладит отчасти томную печаль разлуки!





Стихотворения



ПОСЛАНИЕ К СТИХАМ МОИМ

Sifflez-moi librement, je
vous le rends, mes frères.

Voltaire *

Стихи мои! опять за вас я принимаюсь!
С тех пор как с музами, к несчастью, обращаюсь,
Покою ни на час... О, мой враждебный рок!
Во сне и наяву Кастальский льется ток!
Но с страстию писать не я один родился:
Чуть стопы размерять кто только научился,
За славою бежит — и бедный рифмотвор
В награду обретет не славу, но позор.
Куда ни погляжу, везде стихи марают,
Под кровлей песенки и оды сочиняют.
И бедный Стукодей, что прежде был капрал,
Не знаю для чего, теперь поэтом стал:
Нет хлеба ни куска, а роскошь выхваляет
И грациям стихи голодный сочиняет;
Пьет воду, а вино в стихах льет через край;
Филису нам твердит: «Филиса, ты мой рай!»
Потом, возвысив тон, героев воспевает:
В стихах его и сам Суворов умирает!
Бедняга! удержись... брось, брось писать совсем!
Не лучше ли тебе маршировать с ружьем!
Плаксивин на слезах с ума у нас сошел:
Все пишет, что друзей на свете не нашел!
Поверю: ведь с людьми нельзя ему ужиться,
И так не мудрено, что с ними он бранится.
Безрифмин говорит о милых... о сердцах...
Чувствительность души твердит в своих стихах;

* Освистывайте меня без стеснения, я вам отвечу тем же, собратья мои. *Вольтер (фр.)*.

Но книг его — увы! — никто не покупает,
Хотя и <Глазунов> в газетах выхваляет.
Глупон за деньги рад нам всякого бранить,
И даже он готов поэмой уморить.
Иному в ум придет, что вкус восстановляет:
Мы верим все ему — кругами утверждает!
Другой уже спешит нам драму написать,
За коей будем мы не плакать, а зевать.
А третий, наконец... Но можно ли помыслить —
Все глупости людей в подробности исчислить?..
Напрасный будет труд, но в нем и пользы нет:
Сатирою нельзя переменить нам свет.
Зачем с Глупоном мне, зачем всегда браниться?
Он также на меня готов вооружиться.
Зачем Безрифмину бумагу не марать?
Всяк пишет для себя: зачем же не писать?
Дым славы, хоть пустой, любезен нам, приятен;
Глас разума — увы! — к несчастию, не внятен,
Поэты есть у нас, есть скучные врали;
Они не вверх летят, не к небу, но к земли.

Давно я сам в себе, давно уже признался,
Что в мире, в тишине мой век бы провождался,
Когда б проклятый Феб мне не вскружил весь ум;
Я презрел бы тогда и славы тщетный шум
И жил бы так, как хан во славном Кашемире,
Не мысля о стихах, о музах и о лире.
Но нет... Стихи мои, без вас нельзя мне жить,
И дня без рифм, без стоп не можно проводить!
К несчастью моему, мне надобно признаться,
Стихи как женщины: нам с ними ли расстаться?..
Когда не любят нас, хотим мы презирать,
Но все не престаем прекрасных обожать!

МЕЧТА

Первая редакция

О, сладостна мечта, дщерь ночи молчаливой,
Сойди ко мне с небес в туманных облаках
Иль в милом образе супруги боязливой,
С слезой блестящею во пламенных очах!
Ты, в душу нежную поэта
Лучом проникнув света,

Горишь, как огнь зари, и красишь песнь его,
Любимца чистых сестр, любимца твоего,
И горесть сладостна бывает,
Он в горести мечтает.
То вдруг он пренесен во Сельмские леса,
Где ветр шумит, ревет гроза,
Где тень Оскарова, одетая туманом,
По небу стелется над пенным океаном;
То с чашей радости в руках
Он с бардом песнь поет — и месяц в облаках,
И Кромлы шумный лес, безмолвствуя, внимает,
И эхо вдалеке песнь звучну повторяет.
О, сладостна мечта, ты красишь зимний день,
Цветами и зиму печальную венчаешь,
Зефиром по цветам летаешь
И между светлых льдин являешь миртов тень!

Богиня ты, мечта! Дары твои бесценны
Своим невольникам в слезах.
Цепями руки отягченны,
Замки чугунны на дверях
Украшены мечтой... Какое утешенье
Украсить заключенье,
Оковы променять на цепь веселых роз!..
Подругу ль потерял, источник вечных слез,
Ступай ты в рощицу унылу,
Сядь на плачевную могилу,
Задумайся, вздохни — и друг души твоей,
Одетый ризою прозрачной, как туманом,
С прелестным взором, стройным станом,
Как нимфа легкая полей,
Прижмется с трепетом сердечным,
Прижмется ко груди пылающей твоей.
Стократ мы счастливы мечтаньем скоротечным!

Мечтанье есть душа поэтов и стихов.
И едкость сильная веков
Не может прелестей сокрыть Анакреона,
Любовь еще горит во Сафиных мечтах.
А ты, любимец Аполлона,
Лежащий на цветах
В забвенье сладостном, меж нимф и нежных граций,
Певец веселия, Гораций,
Ты в песнях сладостно мечтал,
Мечтал среди пиршеств и шумных и веселых,

И смерть угрюмую цветами увенчал!
Найдем ли в истинах мы голых
Печальных стоиков и твердых мудрецов
Всю жизни бренной сладость?
От них эфирна радость
Летит, как бабочка от терновых кустов,
Для них прохлады нет и в роскоши природы;
Им девы не поют, сплетяся в хороводы;
Для них, как для слепцов,
Весна без прелестей и лето без цветов.
Увы, но с юностью исчезнут и мечтанья,
Исчезнут граций лобызанья!
Как светлые лучи на темных облаках,
Веселья на крылах
Дни юности стремятся:
Не долго на цветах
В беспечности валяться.
Весеннею порой
Лишь бабочка летает,
Амуров нежный рой
Морщин не лобызает.
Крылатые мечты
Не сыплют там цветы,
Где тусклый опытность светильник зажигает.

Счастливая мечта, живи, живи со мной!
Ни свет, ни славы блеск пустой
Даров твоих мне не заменят.
Глупцы пусть дорого сует блистанье ценят,
Лобзая прах златой у мраморных крыльцов!
Но счастию певцов
Удел есть скромна сень, мир, вольность
и спокойство,
Души поэтов свойство:
Идя забвения тропой,
Блаженство находить мечтой.
Их сердцу малость драгоценна:
Как бабочка влюбленна
Летает с травки на цветок,
Считая морем ручеек,
Так хижину свою поэт дворцом считает
И счастлив!.. Он мечтает.

БОГ

На вечном троне Ты средь облаков сидишь
И сильною рукой гром мещешь и разишь.
Но бури страшные и громы Ты смиряешь
И благость на земли реками изливаешь.
Начало и конец, средина всех вещей!
Во тьме Ты ясно зришь и в глубине морей.
Хочу постичь Тебя, хочу — не постигаю.
Хочу не знать Тебя, хочу — и обретаю.

Везде могущество Твое напечатленно.
Из сильных рук Твоих родилось всё нетленно.
Но всё здесь на земли приемлет вид другой:
И мавзолеи где гордилися собой,
И горы вечные где пламенем курились,
Там страшные моря волнами вдруг разлились:
Но прежде море где шумело в берегах,
Сияют класы там златые на полях
И дым из хижины пастушечьей курится.
Велишь — и на земли должно всё измениться.
Велишь — как в ветер прах, исчезнет смертных род!
Всесильного чертог, небесный чистый свод,
Где солнце, образ твой, в лазури нам сияет
И где луна в ночи свет тихий проливает,
Туда мой скромный взор с надеждою летит!
Безбожный лжемудрец в смущеньи на вас зрит.
Он в мрачной хижине тебя лишь отвергает:
В долине, где журчит источник и сверкает
В ночи, когда луна нам тихо льет свой луч
И звезды ясные сияют из-за туч
И Филомелы песнь по воздуху несется,—
Тогда и лжемудрец в ошибке признается
Иль на горе, когда ветр северный шумит,
Скрипит столетний дуб, ужасно гром гремит,
Паляща молния по облаку сверкает,
Тут в страхе он к Тебе, Всевышний, прибегает,
Клянет себя, клянет и разум тщетный свой,
И в страхе скажет он: «Смиряюсь пред Тобой.
Тебя — тварь бренная — еще не понимаю,
Но что Ты милостив, велик,— теперь то знаю!»

ЭЛЕГИЯ

Как счастье медленно приходит,
Как скоро прочь от нас летит!
Блажен, за ним кто не бежит,
Но сам в себе его находит!
В печальной юности моей
Я был счастлив — одну минуту,
Зато, увы! и горесть люту
Терпел от рока и людей!
Обман надежды нам приятен,
Приятен нам хоть и на час!
Блажен, кому надежды глас
В самом несчастье сердцу внятен!
Но прочь уже теперь бежит
Мечта, что прежде сердцу льстила;
Надежда сердцу изменила,
И вздох за нею вслед летит!
Хочу я часто заблуждаться,
Забыть неверную... но нет!
Несносной правды вижу свет,
И должно мне с мечтой расстаться!
На свете все я потерял,
Цвет юности моей увял:
Любовь, что счастьем мне мечталась,
Любовь одна во мне осталась!

ПОСЛАНИЕ К ХЛОЕ

Подражание

Решилась, Хлоя, ты со мною удалиться
И в мирну хижину навек переселиться.
Веселий шумных мы забудем дым пустой:
Он скуку завсегда ведет лишь за собой.
За счастьем мы бежим, но редко достигаем,
Бежим за ним вослед — и в пропасть упадаем!
Как путник, огнь в лесу когда блудящий зрит,
Стремится к оному, но призрак прочь бежит,
В болота вязкие его он завлекает
И в страшной тишине в пустыне исчезает,—
Таков и человек! Куда ни бросим взгляд,
Узрим тотчас, что он и в счастии не рад.
Довольны все умом, фортуною — нимало.
Что нравилось сперва, теперь то скучно стало;

То денег, то чинов, то славы он желает,
Но славы посреди и денег он — зевает!
Из хижины своей брось, Хлоя, взгляд на свет:
Четыре бьет часа — и кончился обед:
Из дому своего Глицера поспешает,
Чтоб ехать,— а куда? — беспечная не знает.
Карета подана, и лошади уж мчат.
«Постой!» — она кричит, и лошади стоят.
К Лаисе входит в дом, Лаису обнимает,
Садится, говорит о модах — и зевает;
О времени потом, о карточной игре,
О лентах, о пере, о платье и дворе.
Окончив разговор, который истощился,
От скуки уж поет. Глупонов тут явился,
Надутый, как павлин, с пустою головой,
Глядится в зеркало и шаркает ногой.
Вдруг входит Брумербас; все в зале замолкает.
Вступает в разговор и голос возвышает:
«Париж я верно б взял,— кричит из всех он сил,—
И Амстердам потом, гишпанцев бы разбил...»
Тут вспыхнет, как огонь, затопает ногами,
Пойдет по комнате широкими шагами;
Вообразит себе, что неприятель тут,
Что режут, что палят, кричат «ура!» и жгут.
Заплюет всем глаза герой наш плодовитый,
Но вдруг смиряется и бросит вид сердитый;
Начнет рассказывать, как турка задавил,
Как роту целую яны́чаров убил,
Турчанки нежные в него как все влюблялись,
Как турки в полону от злости запыхались,
И битые часа он три проговорит!..
Никто не слушает, а он кричит, кричит!
Но в зале разговор тут общим становится,
Всяк хочет говорить и хочет отличиться,
Какой ужасный шум! Нельзя ничто понять,
Нельзя и клевету от правды различать.
Но вдруг прервали крик и вдруг все замолчали,
Ни слова не слыхать! Немыми будто стали.
Придите, карты, к нам: все спят уже без вас!
Без карт покажется за век один и час.
К зеленому столу все гости прибегают
И жадность к золоту весельем прикрывают.
Окончили игру и к ужину спешат,
Смеются за столом, с соседом говорят:
И бедный человек живее становится,

За пищей, кажется, он вновь переродится.
Какой я слышу здесь чуднейший разговор!
Какие глупости! Какая ложь и вздор!
Педант бранит войну и вместе мир ругает,
Сердечкин тут стихи любовные читает,
Тут старые Бурун нам новости твердит,
А здесь уже Глупон от скуки чуть не спит!
И так-то, Хлоя, век свой люди провождают,
И так-то целый день в бездействии теряют,
День долгий, тягостный ленивому глупцу,
Но краткий, напротив, полезный мудрецу.
Сокроемся, мой друг, и навсегда простимся
С людьми и с городом: в деревне поселимся,
Под мирной кровлею дни будем провождать:
Как сладко тишину по буре нам вкушать!

ПЕРЕВОД 1-й САТИРЫ БОАЛО

Бедняга и поэт и нелюдим несчастный,
Дамон, который нас стихами все морил,
Дамон, теперь презрев и славы шум напрасный,
Заимодавцев всех своих предупредил.
Боясь судей, тюрьмы, он в бегство обратился,
Как новый Диоген, надел свой плащ дурной,
Как рыцарь, посохом своим вооружился
И, связку навязав сатир, понес с собой.
Но в тот день, из Москвы как в путь он собирался,
Кипя досадою и с гневом на глазах,
Бледнее, чем Глупон, который проигрался,
Свой гнев истощевал почти что в сих словах:
«Возможно ль здесь мне жить? Здесь честности не знают!
Проклятая Москва! Проклятый скучный век!
Пороки все тебя лютейши поглощают,
Незнаем и забыт здесь честный человек.
С тобою должно мне навеки распроститься,
Бежать от должников, бежать из всех мне ног
И в тихом уголке надолго притаиться.
Ах! если б поскорей найти сей уголок!..
Забыл бы в нем людей, забыл бы их навеки.
Пока дней парка нить еще моих прядет,
Спокоен я бы был, не лил бы слезны реки.
Пускай за счастием, пускай иной идет,
Пускай найдет его Бурун с кривой душою,
Он пусть живет в Москве, но здесь зачем мне жить?

Я людям ввек не льстил, не хвастал и собою,
Не лгал, не сплетничал, но чтил, что должно чтить.
Святая истина в стихах моих блистала
И музой мне была, но правда глаз нам жжет.
Зато фортуна мне, к несчастью, не ласкала.
Богаты подлецы, что наполняют свет,
Вооружились все против меня и гнали
За то, что правду я им вечно говорил.
Глупцы не разумом, не честностью блистали,
Но золотом одним. А я чтоб их хвалил!..
Скорее я почту простого селянина,
Который пóтом хлеб кропит насущный свой,
Чем этого глупца, большого господина,
С презреньем давит что людей на мостовой!
Но кто тебе велит (все скажут мне) браниться?
Немудрено, что ты в несчастии живешь;
Тебе никак нельзя, поверь, с людьми ужиться:
Ты беден, чином мал — зачем же не ползешь?
Смотри, как Сплетнин здесь тотчас обогатился,
Он князем уж давно... Таков железный век:
Кто прежде был в пыли, тот в знати очутился!
Фортуна ветрена, и этот человек,
Который в золотой карете разъезжает,
Без помощи ее на козлах бы сидел
И правил лошадьми,— теперь повелевает,
Теперь он славен стал и сам в карету сел.
А между тем Честон, который не умеет
Стоять с почтением в лакейской у бояр,
И беден, и презрен, ступить шага не смеет;
В грязи замаран весь, он терпит холод, жар.
Бедняга с честностью забыт людьми и светом:
Итак, не лучше ли в стихах нам всех хвалить?
Зато богатым быть, в покое жить нагретом,
Чем добродетелью своей себя морить?
То правда, государь нам часто помогает
И музу спящую, лишь взглянет,— оживит,
Он Феба из тюрьмы нередко извлекает.
Чего не может царь!..— Захочет — и творит.
Но Мецената нет, увы! — и Август дремлет.
Притом захочет ли мне кто благотворить?
Кто участь в жалобах несчастного приемлет
И можно ли толпу просителей прибить,
Толпу несносную сынов несчастных Феба?
За оду просит тот, сей песню сочинил,
А этот — мадригал. Проклятая от неба,

Прямая саранча! Терпеть нет боле сил!..
И лучше во сто раз от них мне удалиться.
К чему прибегнуть мне? Не знаю, что начать?
Судьею разве быть, в приказные пуститься?
Судьею?.. Боже мой? Нет, этому не быть!
Скорее Стукодей бранить всех перестанет,
Скорей любовников Лаиса отошлет
И мужа своего любить как мужа станет,
Скорей Глицера свой, скорей язык уймет,
Чем я пойду в судьи! Не вижу средства боле,
Как прочь отсюдова сейчас же убежать
И в мире тихо жить в моей несчастной доле,
В Москву проклятую опять не заезжать.
В ней честность с счастием всегда почти бранится,
Порок здесь царствует, порок здесь властелин,
Он в лентах, в орденах повсюду ясно зрится,
Забыта честность, но фортуны милый сын,
Хоть плут, глупец, злодей, в богатстве утопает,
И даже он везде... Не смею говорить...
Какого стоика сие не раздражает?
Кто может, не браня, здесь целый век прожить?
Без Феба всякий здесь хорошими стихами
Опишет город вам, и в гневе стихотвор
На гору не пойдет Парнас с двумя холмами.
Он правдой удивит без вымыслов убор.
«Потише,— скажут мне,— зачем так горячиться?
Зачем так свысока? Немного удержись!
Ведь в гневе пользы нет: не лучше ли смириться?
А если хочешь врать, на кафедру взберись,
Там можно говорить и хорошо и глупо,
Никто не сердится, спокойно всякий спит.
На правду у людей, поверь мне, ухо тупо».
Пусть светски мудрецы, пусть так все рассуждают!
Противен, знаю, им всегда был правды свет.
Они любезностью пороки закрывают,
Для них священного и в целом мире нет.
Любезно дружество, любезна добродетель,
Невинность чистая, любовь, краса сердец,
И совесть самая, всех наших дел свидетель,
Для них — мечта одна! Постой, о лжемудрец!
Куда влечешь меня? Я жить хочу с мечтою.
Постой! Болезнь к тебе, я вижу, смерть ведет,
Уж крылия ее простерты над тобою.
Мечта ли то теперь? Увы, к несчастью, нет!
Кого переменю моими я словами?

Я верю, что есть ад, святые, дьявол, рай,
Что сам Илья гремит над нашими главами.
А здесь в Москве... Итак, прощай, Москва, прощай!..

К ФИЛИСЕ

Подражание Грессету

Qu'heureux est le mortel qui, du monde ignoré,
Vit content de lui-même en un coin retiré,
Que l'amour de ce rien qu'on nomme renommée
N'a jamais enivré d'une vaine fumée...[1]

Что скажу тебе, прекрасная,
Что скажу в моем послании?
Ты велишь писать, Филиса, мне,
Как живу я в тихой хижине,
Как я строю замки в воздухе,
Как ловлю руками счастие.
Ты велишь — и повинуюся.

Ветер воет всюду в комнате
И свистит в моих окончинах,
Стулья, книги — все разбросано:
Тут Вольтер лежит на Библии,
Календарь на философии.
У дверей моих мяучит кот,
А у ног собака верная
На него глядит с досадою.
Посторонний, кто взойдет ко мне,
Верно, скажет: «Фебом проклятый,
Здесь живет поэт в унынии».

Правда, что воображение
Убирает все рукой своей,
Сыплет розаны на терние,
И поэт с душой спокойною
Веселее Креза с золотом.
Независимость любезную
Потерять на цепь золочену!..
Я счастлив в моей беспечности,

---

[1] Блажен смертный, который, неведомый миру,
Живет, довольный самим собой, в укромном уголке,
Которому любовь к тому тлену, что зовется славой,
Никогда не кружила головы своим суетным угаром *(фр.)*.

Презираю гордость глупую,
Не хочу кумиру кланяться
С кучей глупых обожателей.
Пусть змиею изгибаются
Твари подлые, презренные,
Пусть слова его оракулом
Чтут невежды и со трепетом
Мановенья ждут руки его!

Как пылинка вихрем поднята,
Как пылинка вихрем брошена,
Так и счастье наше чудное
То поднимет, то опустит вдруг.
Часто бегал за фортуною
И держал ее в руках моих:
Чародейка ускользнула тут
И оставила колючий терн.
Славу, почести мы призраком
Называем, если нет у нас;
Но найдем — прощай, мечтание!
Чашу с ними пьем забвения
(Суета всегда прелестна нам),
И мудрец забудет мудрость всю.
Что же делать нам?.. Бранить людей?..
Нет, найти святое дружество,
Жить покойно в мирной хижине;
Нелюдим пусть ненавидит нас:
Он несчастлив — не завидую.

Страх и ужас на лице его,
Ходит он с главой потупленной,
И спокойствие бежит его!
Нежно дружество с улыбкою
Не согреет сердца хладного,
И слеза его должна упасть,
Не отертая любовию!
Посмотри, Дамон как мудрствует.
Он находит зло единое.
«Добродетель,— говорит Дамон,—
Добродетель — суета одна,
Добродетель — призрак слабых душ.
Предрассудок в мире царствует,
Людям всем он ослепил глаза».
Он не долго будет думать так,
Хладна смерть к нему приблизится:

Он увидит заблуждение,
Он увидит. Совесть страшная
Прилетит к нему тут с зеркалом;
Волоса ее растрепаны,
На глазах ее отчаянье,
А в устах — упреки, жалобы.
Полно! Бросим лучше дале взгляд.

Посмотри, как здесь беспечная
В скуке дни влечет Аталия.
День настанет — нарумянится,
Раза три зевнет — оденется.
«Ах!.. зачем так время медленно!» —
Скажет тут в душе беспечная,
Скажет с вздохом и заснет еще!

Бурун ищет удовольствия,
Ездит, скачет... увы! — нет его!
Оно там, где Лиза нежная
Скромно, мило улыбается?..
Он приходит к ней — но нет его!..
Скучной Лиза ему кажется.
Так в театре, где комедия
Нас смешит и научает вдруг?
Но и там, к несчастью, нет его!
Так на бале?.. Не найдешь его:
Оно в сердце должно жить у нас...

Сколько в час один бумаги я
Исписал к тебе, любезная!
Все затем, чтоб доказать тебе,
Что спокойствие есть счастие,
Совесть чистая — сокровище,
Вольность, вольность — дар святых небес.
Но уж солнце закатилося,
Мрак и тени сходят на землю,
Красный месяц с свода ясного
Тихо льет свой луч серебряный,
Тихо льет, но черно облако
Помрачает светлый луч луны,
Как печальны вспоминания
Помрачают нас в веселый час.

В тишине я ночи лунныя
Как люблю с тобой беседовать!

Как приятно мне в молчании
Вспоминать мечты прошедшие!
Мы надеждою живем, мой друг,
И мечтой одной питаемся.
Вы, богини моей юности,
Будьте, будьте навсегда со мной!

Так, Филиса моя милая,
Так теперь, мой друг, я думаю.
Я счастлив — моим спокойствием,
Я счастлив — твоею дружбою...

ПЕРЕВОД ЛАФОНТЕНОВОЙ ЭПИТАФИИ

Иван и умер, как родился,—
Ни с чем; он в жизни веселился
И время вот как разделял:
Во весь день — пил, а ночью спал.

ПОСЛАНИЕ К Н. И. ГНЕДИЧУ

Что делаешь, мой друг, в полтавских ты степях?
И что в стихах
Украдкой от друзей на лире воспеваешь?
С Фингаловым певцом мечтаешь
Иль резвою рукой
Венок красавице сплетаешь?
Поешь мечты, любовь, покой,
Улыбку томныя Корины
Иль страстный поцелуй шалуньи Зефирины?
Все, словом, прелести Цитерских уз —
Они так дороги воспитаннику Муз —
Поешь теперь, а твой на Севере приятель,
Веселий и любви своей летописатель,
Беспечность полюбя, забыл и Геликон.
Терпенье и труды ведь любит Аполлон —
А друг твой славой не прельщался,
За бабочкой, смеясь, гонялся,
Красавицам стихи любовные шептал
И, глядя на людей — на пестрых кукл,— мечтал:
«Без скуки, без забот не лучше ль
жить с друзьями,
Смеяться с ними и шутить,

Чем исполинскими шагами
За славой побежать и в яму поскользить?»
Охоты, право, не имею
Чрез то я сделаться смешным,
И умным, и глупцом, и злым,
Иль, громку лиру взяв, пойти вослед Алкею,
Надувшись пузырем, родить один лишь дым,
Как Рифмин, закричать: «Ликуй, земля, со мною!
Воспряньте, камни, лес! Зрю муз перед собою!
Восторг! Лечу на Пинд!.. Простите, что упал:
Ведь я Пиндару подражал!»
Что в громких песнях мне? Доволен я мечтами,
В покойном уголке тихонько притаясь,
Но с светом вовсе не простясь:
Играя мыслями, я властвую духами.

Мы, право, не живем
На месте всё одном,
Но мыслями летаем;
То в Африку плывем,
То на развалинах Пальмиры побываем,
То трубку выкурим с султаном иль пашой,
Или, пленяся вдруг султановой женой,
Фатимой томной, молодой,
Тотчас дарим его рогами;
Смеемся муфтию, деремся с визирями,
И после, убежав (кто в мыслях не колдун?),
Увидим стройных Нимф, услышим звуки струн,
И где ж очутимся? На бале и в Париже!
И так мечтанием бываем к счастью ближе,
А счастие лишь там живет,
Где нас, безумных, нет.
Мы сказки любим все, мы — дети, но большие.
Что в истине пустой? Она лишь ум сушит,
Мечта все в мире золотит,
И от печали злыя
Мечта нам щит.
Ах, должно ль запретить и сердцу забываться,
Поэтов променя на скучных мудрецов!
Поэты не дают с фантазией расстаться,
Мы с ними посреди Армидиных садов,
В прохладе рощ тенистых,
Внимаем пению Орфеев голосистых.
При шуме ветерков на розах нежных спим
И возле Нимф вздыхаем,

С богами даже говорим,
А с мудрецами лишь болтаем,
Браним несчастный мир да, рассердясь... зеваем.
. . . .
Так, сердце может лишь мечтою услаждаться!
Оно все хочет оживить:
В лесу на утлом пне друидов находить,
Укрывшихся под ель, рукой времян согбенну;
Услышать Барда песнь священну,
С Мальвиною вздохнуть на берегу морском
О ратнике младом.
Все сердцу в мире сем вещает.
И гроб безмолвен не бывает,
И камень иногда пустынный говорит:
«Герой здесь спит!»

Так, сердцем рождена, поэзия любезна,
Как нектар сладостный, приятна и полезна.
Язык ее — язык богов;
Им дивный говорил Омир, отец стихов.
Язык сей у творца берет Протея виды.
Иной поет любовь: любимец Афродиты,
С свирелью тихою, с увенчанной главой,
Вкушает лишь покой,
Лишь радости одни встречает
И розами стезю сей жизни устилает.
Другой,
Как славный Тасс, волшебною рукой
Являет дивный храм природы
И всех чудес ее тьмочисленные роды:
Я зрю то мрачный ад,
То счастия чертог, Армидин дивный сад;
Когда же он дела героев прославляет
И битвы воспевает,
Я слышу треск и гром, я слышу стон и крик...
Таков поэзии язык!

Не много ли с тобой уж я заговорился?
Я чересчур болтлив: я с Фебом подружился,
А с ним ли бедному поэту сдобровать?
Но, чтоб к концу привесть начатое маранье,
Хочу тебе сказать,
Что пременить себя твой друг имел старанье,
Увы, и не успел! Прими мое признанье!
Никак я не могу *одним* доволен быть,

И лучше розы мне на терны пременить,
Чем розами всегда одними восхищаться.
    Итак, не должно удивляться,
        Что ветреный твой друг —
        Поэт, любовник вдруг
И через день потом философ с грозным тоном,
    А больше дружен с Аполлоном,
    Хоть и нейдет за славы громом,
        Но пишет все стихи,
        Которы за грехи,
Краснеяся, друзьям вполголоса читает
    И первый сам от них зевает.

⟨НА СМЕРТЬ И. П. ПНИНА⟩

Que vois-je, c'en est fait;
je t'embrasse, et tu meurs.
Voltaire *

Где друг наш? Где певец? Где юности красы?
Увы, исчезло все под острием косы!
Любимца нежных муз осиротела лира,
Замолк певец: он был, как мы, лишь странник мира!
Нет друга нашего, его навеки нет!
    Недолго мир им украшался:
    Завял, увы, как майский цвет,
И жизни на заре с друзьями он расстался!

Пнин чувствам дружества с восторгом предавался;
Несчастным не одно он золото дарил...
Что в золоте одном? Он слезы с ними лил.
    Пнин был согражданам полезен,
Пером от злой судьбы невинность защищал,
    В беседах дружеских любезен,
    Друзей в родных он обращал.
И мы теперь, друзья, вокруг его могилы
    Объемлем только хладный прах,
    Твердим с тоской и во слезах:
    Покойся в мире, друг наш милый,
Питомец граций, муз, ты жив у нас в сердцах!
Когда в последний раз его мы обнимали,

---

* Что вижу я, все кончено; я тебя обнимаю, и ты умираешь. *Вольтер (фр.)*.

Казалось, с нами мир грустил,
И сам Амур в печали
Светильник погасил:
Не кипарисну ветвь унылу,
Но розу на его он положил могилу.

*

Безрифмина совет:
Без жалости все сжечь мое стихотворенье!
Быть так! Его ж, друзья, невинное творенье
Своею смертию умрет!

IMPROMPTU
СТАРОЙ ДАМЕ, КОТОРАЯ ПРОСИЛА ПОДДЕРЖАТЬ ЕЕ ОПАХАЛО

О Зевс! создавый нас
В сердитой час!
Скажи, зачем Руфилл за трусость Генералом,
Зачем в журналах славен Красс,
А я — лишь с опахалом?

К МАЛЬВИНЕ

Ах! чем красавицу мне должно,
Как не цветочком, подарить?
Ее, без всякой лести, можно
С приятной розою сравнить.

Что розы может быть славнее? —
Ее Анакреон воспел.
Что розы может быть милее? —
Амур из роз венок имел.

Ах, мне ль твердить, что вянут розы,
Что мигом их краса пройдет,
Что лишь появятся морозы,
Листок душистый опадет.

Но что же, милая, и вечно
В печальном мире сем цветет?
Не только розы скоротечно,
И жизнь — увы! — и жизнь пройдет.

Но Грации пока толпою
Тебе, Мальвина, вслед идут,
Пока они еще с тобою
Играют, пляшут и поют,

Пусть розы нежные гордятся
На лилиях груди твоей!
Ах, смею ль, милая, признаться?
Я розой умер бы на ней.

СОВЕТ ДРУЗЬЯМ

Faut-il être tant volage,
Ai-je dit au doux plaisir...*

Подайте мне свирель простую,
Друзья! и сядьте вкруг меня
Под эту вяза тень густую,
Где свежесть дышит среди дня;
Приближьтесь, сядьте и внемлите
Совету музы вы моей:
Когда счастливо жить хотите
Среди весенних кратких дней,
Друзья! оставьте призрак славы,
Любите в юности забавы
И сейте розы на пути.
О юность красная! цвети!
И, током чистым окропленна,
Цвети хотя немного дней,
Как роза, миртом осененна,
Среди смеющихся полей;
Но дай нам жизнью насладиться,
Цветы на тернах находить!
Жизнь — миг! не долго веселиться,
Не долго нам и в счастье жить!
Не долго — но печаль забудем,
Мечтать во сладкой неге будем:
Мечта — прямая счастья мать!
Ах! должно ли всегда вздыхать
И в майский день не улыбаться?
Нет, станем лучше наслаждаться,
Плясать под тению густой

* Нужно ли быть столь мимолетным? — сказал я сладостному наслаждению *(фр.)*.

С прекрасной нимфой молодой,
Потом, обняв ее рукою,
Дыша любовию одною,
Тихонько будем воздыхать
И сердце к сердцу прижимать.

Какое счастье! Вакх веселый
Густое здесь вино нам льет,
А тут в одежде тонкой, белой
Эрата нежная поет:
Часы крылаты! не летите,
Ах! счастье мигом хоть продлите!

Но нет! бегут счастливы дни,
Бегут, летят стрелой они;
Ни лень, ни сердца наслажденья
Не могут их сдержать стремленья,
И время сильною рукой
Губит и радость и покой!

Луга веселые, зелены!
Ручьи прозрачны, милый сад!
Ветвисты ивы, дубы, клены,
Под тенью вашею прохлад
Ужель вкушать не буду боле?
Ужели скоро в тихом поле
Под серым камнем стану спать?
И лира и свирель простая
На гробе будут там лежать!
Покроет их трава густая,
Покроет, и ничьей слезой
Прах хладный мой не окропится!
Ах! Должно ль мне о том крушиться?
Умру, друзья! — и всё со мной!
Но Парки темною рукою
Прядут, прядут дней тонку нить...
Корина и друзья со мною, —
О чем же мне теперь грустить?

Когда жизнь наша скоротечна,
Когда и радость здесь не вечна,
То лучше в жизни петь, плясать,
Искать веселья и забавы
И мудрость с шутками мешать,
Чем, бегая за дымом славы,
От скуки и забот зевать.

ПАСТУХ И СОЛОВЕЙ

Басня

Владиславу Александровичу Озерову

Любимец строгой Мельпомены,
Прости усердный стих безвестному Певцу!
Не лавры к твоему венцу,
Рукою дерзкою сплетенны,
Я в дар тебе принес. К чему мой фимиам
Творцу Димитрия, кому бессмертны Музы,
Сложив признательности узы,
Открыли славы храм?
А храм сей затворен для всех зоилов строгих,
Богатых завистью, талантами убогих.
Ах, если и теперь они своей рукой
Посмеют к твоему творенью прикасаться,
А ты, наш Эврипид, чтоб позабыть их рой,
Захочешь с Музами расстаться
И боле не писать,
Тогда прошу тебя рассказ мой прочитать.

Пастух, задумавшись в ночи безмолвной мая,
С высокого холма вокруг себя смотрел,
Как месяц в тишине великолепно шел,
Лучом серебряным долины освещая,
Как в рощах липовых чуть легким ветерком
Листы колеблемы шептали
И светлые ручьи, почив с природой сном,
Едва меж берегов струей своей мелькали.
Из рощи соловей
Долины оглашал гармонией своей,
И эхо песнь его холмам передавало.
Всё душу пастуха задумчиво пленяло,
Как вдруг Певец любви на ветвях замолчал.
Напрасно наш пастух просил о песнях новых.
Печальный соловей, вздохнув, ему сказал:
«Недолго в рощах сих дубовых
Я радость воспевал!
Пройдет и петь охота,
Когда с соседнего болота
Лягушки кваканьем как бы назло глушат;
Пусть эта тварь поет, а соловьи молчат!»
«Пой, нежный соловей,— пастух сказал Орфею,—

Для них ушей я не имею.
Ты им молчаньем петь охоту придаешь:
Кто будет слушать их, когда ты запоешь?»

К ТАССУ *

Позволь, священна тень! безвестному Певцу
Коснуться к твоему бессмертному венцу
И сладость пения твоей Авзонской Музы,
Достойной берегов прозрачной Аретузы,
Рукою слабою на лире повторить
И новым языком с тобою говорить! **

Среди Элизия, близь древнего Омира
Почиет тень твоя, и Аполлона лира
Еще согласьем дух Поэта веселит.
Река забвения и пламенный Коцит
Тебя с любовницей, о Тасс, не разлучили: ***
В Элизии теперь вас Музы съединили,
Печали нет для вас, и скорбь протекших дней,
Как сладостну мечту, объемлете душей...
Торквато, кто испил все горькие отравы
Печалей и любви и в храм бессмертной славы,
Ведомый Музами, в дни юности проник,—
Тот преждевременно несчастлив и велик! ****
Ты пел, и весь Парнас в восторге пробудился,
В Феррару с Музами Феб юный ниспустился,
Назонову тебе он лиру *сам* вручил
И Гений крыльями бессмертья осенил.
Воспел ты бурну брань, и бледны Эвмениды
Всех ужасов войны открыли мрачны виды:
Бегут среди полей и топчут знамена,
Светильником вражды их ярость разжжена,
Власы растрепанны и ризы обагренны,
Я сам среди смертей... и Марс со мною медный...

---

* Сие послание предположено было напечатать в заглавии перевода *«Освобожденного Иерусалима»*.

** Кажется, до сих пор у нас нет перевода Тассовых творений в стихах.

*** Торквато был жертвою любви и зависти. Всем любителям словесности известна жизнь его.

**** Тасс десяти лет от роду писал стихи и, будучи принужден бежать из Неаполя с отцом своим, сравнивал себя с молодым Асканием. До тридцатилетнего возраста кончил он бессмертную поэму *«Иерусалима»*, написал *«Аминту»*, много рассуждений о словесности и пр.

Но ужасы войны, мечей и копий звук
И гласы Марсовы как сон исчезли вдруг:
Я слышу вдалеке пастушечьи свирели,
И чувствия душой иные овладели.
Нет более вражды, и бог любви младой
Спокойно спит в цветах под миртою густой.
Он встал, и меч опять в руке твоей блистает!
Какой Протей тебя, Торквато, пременяет,
Какой чудесный бог чрез дивные мечты
Рассеял мрачные и нежны красоты?
То скиптр в его руках или перун зажженный,
То розы юные, Киприде посвященны,
Иль факел Эвменид, иль луч златой любви.
В глазах его — любовь, вражда — в его крови;
Летит, и я за ним лечу в пределы мира,
То в ад, то на Олимп! У древнего Омира
Так шаг один творил огромный бог морей
И досягал другим краев подлунной всей.
Армиды чарами, средь моря сотворенной,
Здесь тенью миртовой в долине осененной,
Ринальд, младой герой, забыв воинский глас,
Вкушает прелести любови и зараз...
А там что зрят мои обвороженны очи?
Близь стана воинска, под кровом черной ночи,
При зареве бойниц, пылающих огнем,
Два грозных воина, вооружась мечом,
Неистовой рукой струят потоки крови...
О, жертва ярости и плачущей любови!..
Постойте, воины!.. Увы!.. один падет...
Панкред в враге своем Клоринду узнает,
И морем слез теперь он платит, дерзновенной,
За каплю каждую сей крови драгоценной...*

Что ж было для тебя наградою, Торкват,
За песни стройные! Зоилов острый яд,
Притворная хвала и ласки царедворцев,
Отрава для души и самых стихотворцев.
Любовь жестокая, источник зол твоих,
Явилася тебе среди палат златых,

---

* Gli occhi tuoi pagheran...
Di quel sanque ogni stilla un mar di pianto.
La Gierusalemme. Canto XII.

<За каждую каплю этой крови твои глаза заплатят морем слез. *Иерусалим*. Песнь XII.> *(ит.)*.

И ты из рук ее взял чашу ядовиту,
Цветами юными и розами увиту,
Испил и, упоен любовною мечтой,
И лиру и себя поверг пред красотой.
Но радость наша — ложь, но счастие — крылато;
Завеса раздрана! Ты узник стал, Торквато!
В темницу мрачную ты брошен, как злодей,
Лишен и вольности, и Фебовых лучей.
Печаль глубокая Поэтов дух сразила,
Исчез талант его и творческая сила,
И разум весь погиб! О вы, которых яд
Торквату дал вкусить мучений лютых ад,
Придите зрелищем достойным веселиться
И гибелью его таланта насладиться!
Придите! Вот Поэт превыше смертных хвал,
Который говорить героев заставлял,
Проникнул взорами в небесные чертоги,—
В железах стонет здесь... О, милосердны боги!
Доколе жертвою, невинность, будешь ты
Бесчестной зависти и адской клеветы?

Имело ли конец несчастие Поэта?
Железною рукой печаль и быстры лета
Уже безвременно белят его власы,
В единобразии бегут, бегут часы,
Что день, то прежня скорбь, что ночь — мечты ужасны...
Смягчился наконец завет судьбы злосчастной.
Свободен стал Поэт, и солнца луч златой
Льет в хладну кровь его отраду и покой:
Он может опочить на лоне светлой славы.
Средь Капитолия, где стены обветшалы
И самый прах еще о римлянах твердит,
Там ждет его триумф... Увы!.. там смерть стоит!
Неумолимая берет венок лавровый,
Поэта увенчать из давних лет готовый.
Премена жалкая столь радостного дни!
Где знамя почестей, там смертны пелены,
Не увенчание, но лики погребальны...
Так кончились твои, бессмертный, дни печальны!

Нет более тебя, божественный Поэт!
Но славы Тассовой исполнен ввеки свет!
Едва ли прах один остался древней Трои,
Не знаем и могил, где спят ее герои,

Скамандр божественный вертепами течет,
Но в памяти людей Омир еще живет,
Но человечество Певцом еще гордится,
Но мир ему есть храм... И твой не сокрушится!

<ОТРЫВОК ИЗ I ПЕСНИ «ОСВОБОЖДЕННОГО ИЕРУСАЛИМА»> *

Пустынник Петр говорил в верховном совете.
Он предложил Готфреда в вожди

Скончал пустынник речь... Небесно вдохновенье!
Не скрыто от тебя сердечное движенье,
Ты в старцовы уста глагол вложило сей
И сладость оного влило в сердца князей,
Ты укротило в них бунтующие страсти,
Дух буйной вольности, любовь врожденну к власти:
Вильгельм и мудрый Гелф, первейший из вождей,
Готфреда нарекли вождем самих царей.

И плески шумные избранье увенчали!
«Ему единому,— все ратники вещали,—
Ему единому вести ко славе нас!
Законы пусть дает его единый глас;
Доселе равные! его послушны воле,
Под знаменем святым пойдем на бранно поле,
Поганство буйное святыне покорим.
Награда небо нам: умрем иль победим!»

Узрели воины начальника избранна
И властию почли достойно увенчанна.
Он плески радостны от войска восприял.
Но вид величия спокойного являл.
Клялися все его повиноваться воле.
Наутро он велел полкам сбираться в поле,
Чтоб рать под знамена священны притекла.
И слава царское веленье разнесла.

Торжественней в сей день явилось над морями
Светило дня, лучи лиющее реками!

---

* Может быть, охотники до стихов с снисхождением прочитают опыт перевода некоторых октав из бессмертной Тассовой поэмы. Если не найдут высоких пиитических мыслей, красоты выражений, плавности стихов, то вина переводчика: подлинник бессмертен.

Христово воинство в порядке потекло
И дол обширнейший строями облегло.
Развились знамена, и копья заблистали,
Скользящие лучи сталь гладку зажигали;
Но войско двинулось: перед вождем течет
Тяжела конница и ей пехота вслед.

О память светлая! тобою озаренны
Протекши времена и подвиги забвенны,
О память, мне свои хранилища открой!
Чьи ратники сии? Кто славный их герой?
Повеждь, да слава их, утраченна веками,
Твоими возблестит небренными лучами!
Увековечи песнь нетлением своим,
И время сокрушит железо перед ним!

Явились первые неустрашимы Галлы:
Их грудь облечена в слиянные металлы,
Оружие звенит тяжелое в руках.
Гуг, царский брат, сперва был во́ждем в сих полках;
Он умер, и хоругвь трех лилий благородных
Не в длани перешла ее царей природных,
Но к мужу, славному по доблести своей:
Клотарий избран был в преемники царей.

Счастливый Иль-де-Франс, обильный, многоводный,
Вождя и ратников страною был природной.
Нормандцы грозные текут сим войскам вслед:
Роберт, их кровный царь, ко брани днесь ведет.
На Галлов сходствует оружье их и нравы;
Как Галлы, не щадят себя для царской славы.
Вильгельм и Адемар их войски в брань ведут,
Народов пастыри за веру кровь лиют.

Кадильницу они с булатом сочетали
И длинные власы шеломами венчали.
Святое рвение! Их меткая рука
Умеет поражать врагов издалека.
Четыреста мужам, в Орангии рожденным,
Вильгельм предшествует со знаменем священным;
Но равное число идет из Пуйских стен,
И Адемар вождем той рати наречен.

Се идет Бодоин с Болонцами своими:
Покрыты чела их шеломами златыми.

Готфреда воины за ними вслед идут,
Вождем своим теперь царева брата чтут.
Корнутский граф потом, вождь мудрости избранный,
Четыреста мужей ведет на подвиг бранный;
Но трижды всадников толикое число
Под Бодоиновы знамена притекло.
Гелф славный возле них покрыл полками поле,
Гелф славен счастием, но мудростию боле.
Из дома Эстского сей витязь родился,
Воспринят Гелфом был и Гелфом назвался;
Каринтией теперь богатой обладает
И власть на ближние долины простирает,
По коим катит Рейн свой сребряный кристалл:
Свев дикий искони там в детстве обитал.

<ОТРЫВОК ИЗ XVIII ПЕСНИ «ОСВОБОЖДЕННОГО ИЕРУСАЛИМА»>

Адские духи царствуют в очарованном лесе; Ринальд, по повелению Готфреда, шествует туда, дабы истребить чары Исменовы

Се час божественный Авроры золотой:
Со светом утренним слиялся мрак ночной,
Восток румяными огнями весь пылает,
И утрення звезда во блесках потухает.
Оставя по траве, росой обмытой, след,
К горе Оливовой Ринальд уже течет.
Он в шествии своем светилы зрит небренны,
Руками вышнего на небесах возжженны,
Зрит светлый свод небес, раскинут как шатер,
И в мыслях говорит: «Колико ты простер,
Царь вечный и благий, сияния над нами!
В день солнце, образ твой, течет под небесами,
В ночь тихую луна и сонм бессчетных звезд
Лиют утешный луч с лазури горних мест.
Но мы, несчастные, страстями упоенны,
Мы слепы для чудес: красавиц взор влюбленный,
Улыбка страстная и вредные мечты
Приятнее для нас нетленной красоты».
На твердые скалы в сих мыслях востекает
И там чело свое к лицу земли склоняет.
Но духом к вечному на небеса парит.

К востоку обратясь, в восторге говорит:
«Отец и царь благий, прости мне ослепленье,
Кипящей юности невольно заблужденье,
Прости и на меня излей своей рукой
Источник разума и благости святой!»
Скончал молитву он. Уж первый луч Авроры
Блистает сквозь туман на отдаленны горы;
От пурпурных лучей героев шлем горит.
Зефир, спорхнув с цветов, по воздуху парит
И грозное чело Ринальда лобызает;
Ниспадшею росой оружие блистает,
Щит крепкий, копие, железная броня
Как золото горят от солнечна огня.
Так роза блеклая, в час утра оживая,
Красуется, слезой Аврориной блистая;
Так, чешуей гордясь, весною лютый змей
Вьет кольца по песку излучистой струей.
Ринальд, блистанием оружья удивленный,
Стопами смелыми — и свыше вдохновенный —
Течет в сей мрачный лес, самих героев страх.
Но ужасов не зрит: в прохладе и тенях
Там нега с тишиной, обнявшись, засыпают:
Зефиры горлицей меж тростников вздыхают,
И с томной сладостью журчит в кустах ручей.
Там лебедь песнь поет, с ним стонет соловей,
И гласы сельских Нимф и арфы тихострунной
Несутся по лесу, как хор единошумной.
Не Нимф и не Сирен, не птиц небесных глас,
Не царство сладкое и неги, и зараз
Мечтал найти Ринальд, но ад и мрак ужасный,
Подземные огни и трески громогласны.
Восторжен, удивлен, он шаг умерил свой
И путь остановил над светлою рекой.
Она между лугов, казалось, засыпала
И в зеркальных водах брега образовала,
Как цепь чудесная, вкруг леса облегла.
Пространство все ее текуща кристалá
Древа, соплетшися ветвями, осеняли,
Питались влагою и берег украшали.
На сводах мраморных мост дивный, весь златой,
Явил через реку герою путь прямой.
Ринальд течет по нем, конца уж достигает,
Но свод, обрушившись, мост с треском низвергает.
Кипящие валы несут его с собой.
Не тихая река, но ток сей, что весной,

Снегами наводнен, текущими с вершины,
Шумит и пенится в излучинах долины,
Представился тогда Ринальдовым очам.
Герой спешит оттоль к безмолвным сим лесам,
В вертепы мрачные, обильны чудесами,
Где всюду под его рождалися стопами
(О, призрак волшебства и дивные мечты!)
Ручьи прохладные и нежные цветы.
Влюбленный здесь нарцисс в прозрачный ток глядится,
Там роза, цвет любви, на терниях гордится;
Повсюду древний лес красуется, цветет,
Вид юности кора столетних лип берет,
И зелень новая растения венчает.
Роса небесная на ветвиях блистает,
Из толстыя коры струится светлый мед.
Любовь живит весь лес, с пернатыми поет,
Вздыхает в тростниках, журчит в ручьях кристальных,
Несется песнями, теряясь в рощах дальных,
И тихо с ветерком порхает по цветам.
Герой велик и мудр, не верит он очам
И адским призракам в лесу очарованном.
Вдруг видит на лугу, душистом и пространном,
Высокий мирт, как царь, между дерев других.
Красуется его чело в ветвях густых,
И тень прохладная далеко вкруг ложится.
Из дуба ближнего Сирена вдруг родится,
Волшебством создана. Чудесные мечты
Прияли гибкий стан и образ красоты.
Одежда у нее, поднятая узлами,
Блестит, раскинута над белыми плечами.
Сто Нимф из ста дерев внезапу родились
И все лилейными руками сплелись.
На мертвом полотне так — кистию чудесной
Изображенный — зрим под тению древесной
Лик сельских, стройных дев, собрание красот:
Играют резвые, сплетяся в хоровод,
Их ризы, как туман, и перси обнаженны,
Котурны на ногах, власы переплетенны.
Так лик чудесных Нимф наместо грозных стрел
Златыми цитрами и арфами владел.
Одежды легкие они с рамен сложили
И с пляской, с пением героя окружили.
«О ратник юноша, счастлив навеки ты,
Любим владычицей любви и красоты!
Давно, давно тебя супруга ожидала,

Отчаянна, одна, скиталась и стенала.
Явился — и с тобой расцвел сей дикой лес,
Чертог уныния, отчаянья и слез».
Еще нежнейший глас из мирта издается
И в душу ратника, как нектар сладкий, льется.
В древнейши, баснями обильные века,
Когда и низкий куст, и малая река
Дриаду юную иль Нимфу заключали,
Столь дивных прелестей внезапу не рождали.
Но мирт раскрыл себя... О призрак, о мечты!
Ринальд Армиды зрит стан, образ и черты,
К нему любовница взор страстный обращает,
Улыбка на устах, в очах слеза блистает,
Все чувства борются в пылающей груди,
Вздыхая, говорит: «Друг верный мой, приди,
Отри рукой своей сих слез горячих реки,
Отри и сердце мне свое отдай навеки!
Вещай, зачем притек? Блаженство ль хочешь пить,
Утешить сирую и слезы осушить,
Или вражду принес? Ты взоры отвращаешь,
Меня, любовницу, оружием стращаешь...
И ты мне будешь враг!.. Ужели для вражды
Воздвигла дивный мост, посеяла цветы,
Ручьями скрасила вертеп и лес дремучий
И на пути твоем сокрыла терн колючий?
Ах, сбрось сей грозный шлем, чело дай зреть очам,
Прижмись к груди моей и к пламенным устам,
Умри на них, супруг!.. Сгараю вся тобою —
Хоть грозною меня не отклони рукою!»
Сказала. Слез ручей блестит в ее очах,
И розы нежные бледнеют на щеках.
Томится грудь ее и тягостно вздыхает;
Печаль красавице приятства умножает,
Из сердца каменна потек бы слез ручей —
Чувствителен, но тверд герой в душе своей.
Меч острый обнажил, чтоб мирт сразить ударом;
Тут, древо защитив, рекла Армида с жаром:
«Убежище мое, о варвар, ты разишь!
Нет, нет, скорее грудь несчастныя пронзишь,
Упьешься кровию твоей супруги страстной...»
Ринальд разит его... И призрак вдруг ужасной,
Гигант, чудовище явилося пред ним,
Армиды прелести исчезнули, как дым.
Сторукий исполин, покрытый чешуею,
Небес касается неистовой главою.

Горит оружие, звенит на нем броня,
Исполнена гортань и дыма и огня.
Все Нимфы вкруг его Циклопов вид прияли,
Щитами, копьями ужасно застучали.
Бесстрашен и велик средь ужасов герой!
Стократ волшебный мирт разит своей рукой:
Он вздрогнул под мечом и стоны испускает.
Пылает мрачный лес, гром трижды ударяет,
Исчадья адские явились на земле,
И серны молнии взвились в ужасной мгле.
Ни ветр, ни огнь, ни гром не ужаснул героя...
Упал волшебный мирт и, бездны ад закроя,
Ветр бурный усмирил и бурю в облаках,
И прежняя лазурь явилась в небесах.

ВОСПОМИНАНИЕ

〈*Полный текст стихотворения*〉

Мечты! — повсюду вы меня сопровождали
И мрачный жизни путь цветами устилали!
Как сладко я мечтал на Гейльсбергских полях,
        Когда весь стан дремал в покое
И ратник, опершись на копие стальное,
Смотрел в туманну даль! Луна на небесах
        Во всем величии блистала
И низкий мой шалаш сквозь ветви освещала.
Аль светлый чуть струю ленивую катил
И в зѐркальных водах являл весь стан и рощи:
Едва дымился огнь в часы туманной нощи
Близ кущи ратника, который сном почил.
О Гейльсбергски поля! О хо̀лмы возвышенны!
Где столько раз в ночи, луною освещенный,
Я, в думу погружен, о родине мечтал;
О Гейльсбергски поля! в то время я не знал,
Что трупы ратников устелют ваши нивы,
Что медной челюстью гром грянет с сих холмов,
        Что я, мечтатель ваш счастливый,
        На смерть летя против врагов,
        Рукой закрыв тяжелу рану,
Едва ли на заре сей жизни не увяну.—
И буря дней моих исчезла, как мечта!..
        Осталось мрачно вспоминанье...
Между протекшего есть вечная черта:
        Нас сблизит с ним одно мечтанье.

Да оживлю теперь я в памяти моей
Сию ужасную минуту,
Когда, болезнь вкушая люту
И видя сто смертей,
Боялся умереть не в родине моей!
Но небо, вняв моим молениям усердным,
Взглянуло оком милосердным;
Я, Неман переплыв, узрел желанный край
И, землю лобызав с слезами,
Сказал: «Блажен стократ, кто с сельскими богами,
Спокойный домосед, земной вкушает рай
И, шага не ступя за хижину убогу,
К себе богиню быстроногу
В молитвах не зовет!
Не слеп ко славе он любовью,
Не жертвует своим спокойствием и кровью:
Могилу зрит свою и тихо смерти ждет».
Семейство мирное, ужель тебя забуду
И дружбе и любви неблагодарен буду?
Ах, мне ли позабыть гостеприимный кров,
В сени домашних где богов
Усердный эскулап божественной наукой
Исторг из-под косы и дивно исцелил
Меня, борющегось уже с смертельной мукой!
Ужели я тебя, красавица, забыл,
Тебя, которую я зрел перед собою,
Как утешителя, как ангела небес!
На ложе горести и слез
Ты, Геба юная, лилейною рукою
Сосуд мне подала: «Пей здравье и любовь!»
Тогда, казалося, сама природа вновь
Со мною воскресала
И новой зеленью венчала
Долины, холмы и леса.
Я помню утро то, как слабою рукою,
Склонясь на костыли, поддержанный тобою,
Я в первый раз узрел цветы и древеса...
Какое счастие с весной воскреснуть ясной!
(В глазах любви еще прелестнее весна.)
Я, восхищен природой красной,
Сказал Эмилии: «Ты видишь, как она,
Расторгнув зимний мрак, с весною оживает,
С ручьем шумит в лугах и с розой расцветает;
Что б было без весны?.. Подобно так и я
На утре дней моих увял бы без тебя!»

Тут, грудь ее кропя горючими слезами,
    Соединив уста с устами,
Всю чашу радости мы выпили до дна.

Увы, исчезло все, как прелесть сладка сна!
Куда девалися восторги, лобызанья
И вы, таинственны во тьме ночной свиданья,
Где, заключа ее в объятиях моих,
Я не завидовал судьбе богов самих!..
    Теперь я, с нею разлученный,
Считаю скукой дни, цепь горестей влачу,
Воспоминания, лишь вами окриленный,
        К ней мыслию лечу
    И в час полуночи туманной,
        Мечтой очарованный,
Я слышу в ветерке, принесшем на крылах
        Цветов благоуханье,
        Эмилии дыханье;
        Я вижу в облаках
Ее, текущую воздушною стезею...
Раскинуты власы красавицы волною
        В небесной синеве,
Венок из белых роз блистает на главе,
    И перси дышат под покровом...
        «Души моей супруг! —
        Мне шепчет горний дух,—
        Там в тереме готовом
        За светлою Двиной
        Увижуся с тобой!..
Теперь прости...» И я, обманутый мечтой,
В восторге сладостном к ней руки простираю,
Касаюсь риз ее... и тень лишь обнимаю!

СТИХИ Г. СЕМЕНОВОЙ

E in si bel corpo più cara venia *.
Тасс. V песнь «Освобожденного Иерусалима».

Я видел красоту, достойную венца,
Дочь добродетельну, печальну Антигону,
Опору слабую несчастного слепца;
Я видел, я внимал ее сердечну стону —

* В прекрасном теле прекраснейшая душа *(ит.)*.

И в рубище простом почтенной нищеты
Узнал богиню красоты.

Я видел, я познал ее в Моине страстной,
Средь сонма древних бард, средь копий и мечей,
Ее глас сладостный достиг души моей,
Ее взор пламенный, всегда с душой согласный,
Я видел — и познал небесные черты
Богини красоты.

О дарование, одно другим венчанно! *
Я видел Ксению, стенящу предо мной:
Любовь и строгий долг владеют вдруг княжной;
Боренье всех страстей, в ней к ужасу слиянно,
Я видел, чувствовал душевной полнотой
И счастлив сей мечтой!

Я видел и хвалить не смел в восторге страстном;
Но ныне, истиной священной вдохновен,
Скажу: красот собор в ней явно съединен —
Душа небесная во образе прекрасном
И сердца доброго все редкие черты,
Без коих ничего и прелесть красоты.

Ярославль,
Сентября 6

КНИГИ И ЖУРНАЛИСТ

Крот мыши раз шепнул: «Подруга! ну зачем
На пыльном чердаке своем
Царапаешь, грызешь и книги раздираешь:
Ты крошки в них ума и пользы не сбираешь?»
«Не об уме и хлопочу,
Я есть хочу».
Не знаю, впрок ли то, но эта мышь уликой
Тебе, обрызганный чернилами Арист.
Зубами ты живешь, голодный журналист,
Да нужды жить тебе не видим мы великой.

* Дарование поэта и актрисы.

ЭПИГРАММА НА ПЕРЕВОД ВИРГИЛИЯ

Вдали от храма муз и рощей Геликона
Феб мстительной рукой Сатира задавил *,
Воскрес урод и отомстил:
Друзья, он душит Аполлона!

* * *

Пафоса бог, Эрот прекрасной
На розе бабочку поймал
И, улыбаясь, у несчастной
Златые крылья оборвал.
«К чему ты мучишь так, жестокий?» —
Спросил я мальчика сквозь слез.
«Даю красавицам уроки»,—
Сказал — и в облаках исчез.

ВИДЕНИЕ НА БРЕГАХ ЛЕТЫ

Ma muse sage et discrete
Saif de L'homme d'honneur le poète.

Boileau **

Вчера, Бобровым утомленный,
Я спал и видел чудный сон!
Как будто светлый Аполлон,
За что, не знаю, прогневленный,
Поэтам нашим смерть изрек;
Изрек — и все упали мертвы,
Невинны Аполлона жертвы!
Иной из них окончил век,
Сидя на чердаке высоком
В издранном шлафроке широком,
Голоден, наг и утомлен
Упрямой рифмой к *светлу небу*.
Другой, в Цитеру пренесен,
Красу, умильную как Гебу,
Хотел для нас насильно... петь

---

* Всем известна участь Марсия.
** Моя муза, осмотрительная и осторожная,
Умеет, высмеивая поэта, не затронуть чести человека.
Буало (фр.)

И пал без чувств в конце эклоги;
Везде, о милосердны боги!
Везде пирует алчна смерть,
Косою острой быстро машет,
Богату ниву аду пашет
И губит Фебовых детей,
Как ветр осенний злак полей!
Меж тем в Элизии священном,
Лавровым лесом осененном,
Под шумом Касталийских вод,
Певцов нечаянный приход
Узнал почтенный Ломоносов,
Херасков, честь и слава россов,
Честолюбивый Фебов сын,
Насмешник, грозный бич пороков,
Замысловатый Сумароков
И, Мельпомены друг, Княжнин.
И ты сидел в толпе избранной,
Стыдливо Грацией венчанный,
Певец прелестныя мечты,
Между Психеи легкокрылой
И бога нежной красоты;
И ты там был, наездник хилой
Строптива девственниц седла,
Трудолюбивый, как пчела,
Отец стихов «Телемахиды»,
И ты, что сотворил обиды
Венере девственной, Барков!
И ты, о мой певец незлобный,
Хемницер, в баснях бесподобный! —
Все, словом, коих бог певцов
Венчал бессмертия лучами,
Сидели там олив в тени,
Обнявшись с прежними врагами;
Но спорили еще они
О том о сем — и не без шума
(И в рае, думаю, у нас
У всякого своя есть дума,
Рассудок свой, и вкус, и глаз).
Садились все за пир богатый,
Как вдруг Маинин сын крылатый,
Присланный вышним божеством,
Сказал сидящим за столом:
«Сюда, на берег тихой Леты,
Бредут покойные поэты;

Они в реке сей погрузят
Себя и вместе юных чад.
Здесь опыт будет правосудный:
Стихи и проза безрассудны
Потонут вмиг: так Феб судил!» —
Сказал Эрмий — и силой крил
От ада к небу воспарил.

«Ага! — Фонвизин молвил братьям,—
Здесь будет встреча не по платьям,
Но по заслугам и уму».—
«Да много ли,— в ответ ему
Шептал, смеяся, Сумароков,—
Певцов найдется без пороков?
Поглотит Леты всех струя,
Поглотит всех, иль я не я!»
«Посмотрим,— продолжал вполгласа
Поэт, проклятый от Парнаса,—
Егда прийдут...» Но вот они,
Подобно как в осенни дни
Поблеклы листвия древесны,
Что буря в долах разнесла,—
Так теням сим не весть числа!
Идут толпой в ущелья тесны,
К реке забвения стихов,
Идут под бременем трудов;
Безгласны, бледны, приступают,
Любезных чад своих купают...
И более не зрят в волнах!
Но тут Минос, певцам на страх,
Старик угрюмый и курносый,
Чинит жестокие вопросы:

«Кто ты, вещай?» — «Я тот поэт,
По счастью, очень плодовитый
(Был тени маленькой ответ),
Я тот, венками роз увитый
Поэт-философ-педагог,
Который задушил Вергилья,
Алкею окоротил крылья.
Я здесь, *сего бо хощет бог*
И долг священныя природы...» *

---

* Полустишие, взятое из прекрасного сочинения Мерзлякова «Тень Кукова», которое никто не понимает.

«Кто ж ты, болтун?» — «Я... Мер-зля-ков!»
«Ступай и окунися в воды!»
«Иду... во мне вся мерзнет кровь...
Душа всего... душа природы,
Спаси, спаси меня, любовь!
Авось...» — «Нет, нет, болтун несчастный,
Довольно я с тобою выл! *—
Сказал ему Эрот прекрасный,
Который тут с Психеей был.
Ступай!» Нырнул — и нет педанта.

«Кто ты?» — спросил допросчик тень,
Несущу связку фолианта.
«Увы, я целу ночь и день
Писал, пишу и вечно буду
Писать; все прозой, *без еров*.
Невинен я; на эту груду
Смотри, здесь тысячи листов,
Священной пылию покрытых,
Печатью мелкою убитых
И нет *ера* ни одного.
Да, я!..» — «Скорей купать его!»

Но тут явились лица новы
Из белокаменной Москвы.
Какие странные обновы!
От самых ног до головы
Обшиты платья их листами,
Где прозой детской и стихами
Иной кладбище, мавзолей,
Другой журнал души своей,
Другой Меланию, Зюльмису,
Глафиру, Хлою, Милитрису,
Луну, Веспера, голубков,
Баранов, кошек и котов **
Воспел в стихах своих унылых
На всякий лад для женщин *милых*
(О, век железный!..). А оне
Не только въяве, но во сне
Поэтов не видали бедных.
Из этих лиц уныло-бледных

---

* Г. Мерзляков продолжал, как видно, *Душеньку*, если неудачно, то пространно. Амур у него на 70 страницах плачет.

** Свидетельствуюсь московскими журналами.

Один, причесанный в тупей,
Поэт присяжный, князь вралей,
На суд явил творенья новы.
«Кто ты?» — «Увы, я пастушок,
Вздыхатель, завсегда готовый;
Вот мой венок и посошок,
Вот мой букет цветов тафтяных,
Вот список всех красот упрямых,
Которыми дышал и жил,
Которым я насильно мил.
Вот мой Амур, моя Аглая» *,—
Сказал и, тягостно зевая,
Спросонья в Лету поскользнул!
«Уф! я устал, подайте стул,
Позвольте мне, я очень славен.
Бессмертен я, пока забавен».
«Кто ж ты?» — «*Я Русский и поэт.*
Бегом бегу, лечу за славой,
Мне враг чужой рассудок здравый.
Для Русских прав мой толк кривой,
И в том клянусь моей сумой».
«Да кто же ты?» — «Жан-Жак я *Русский.*
Расин, и Юнг, и Локк я *Русский,*
Три драмы *Русских* сочинил
Для *Русских;* нет уж боле сил
Писать для Русских драмы слезны;
Труды мои все бесполезны!
Вина тому — разврат умов»,—
Сказал — в реку! и был таков!
Тут Сафы русские печальны,
Как бабки наши повивальны,
Несли расплаканных детей.
Одна — прости бог эту даму! —
Несла уродливую драму,
Позор себе и для мужей,
У коих сочиняют жены.
«Вот мой Густав, герой влюбленный...»
«Ага! — судья певице сей,—
Названья этого довольно:
Сударыня! мне очень больно,
Что вы, забыв последний стыд,
Убили драмою Густава.

* Аглая, несчастная Грация, вовсе не дева, а журн<ал>кн. Шаликова.

В реку, в реку!» О, жалкий вид!
О, тщетная поэтов слава!
Исчезла Сафо наших дней
С печальной драмою своей;
Потом и две другие дамы,
На дам живые эпиграммы,
Нырнули в глубь туманных вод.
«Кто ты?» — «Я — виноносный гений.
Поэмы три да сотню од,
Где всюду ночь, где всюду тени,
Где роща ржуща ружий ржот *,
Писал с заказу Глазунова
Всегда на срок... Что вижу я?
Здесь реет между вод ладья,
А там, в разрывах черна крова,
Урания — душа сих сфер
И все титаны ледовиты,
Прозрачной мантией покрыты,
Слезят!» — Иссякнул изувер
От взора грозныя Эгиды.

Один отец «Телемахиды»
Слова сии умел понять.
На том брегу реки забвенья
Стояли тени в изумленье
От речи сей: «Изволь купать
Себя и всех своих уродов»,—
Сказал, не слушая доводов,
Угрюмый ада судия.
«Да всех поглотит вас струя!..»
Но вдруг на адский берег дикий
Призрак чудесный и великий
В огромном дедовском возке
Тихонько тянется к реке.
Наместо клячей запряженны,
Там люди в хомуты вложенны
И тянут кое-как, гужом!
За ним, как в осень трутни праздны,
Крылатым в воздухе полком
Летят толпою тени разны
И там и сям. По слову «*Стой!*»
Кивнула бледна тень главой
И вышла с кашлем из повозки.

* Этот стих слово в слово г. Боброва, я ничего не хочу присваивать.

«Кто ты? — спросил ее Минос,—
И кто сии?» На сей вопрос:
«Мы все с Невы поэты росски»,—
Сказала тень. «Но кто сии
Несчастны, в клячей превращенны?»
«Сочлены юные мои,
Любовью к славе вдохновенны,
Они Пожарского поют
И *тянут* старца Гермогена;
Их мысль на небеса вперенна,
Слова ж из Библии берут;
Стихи их хоть немножко жестки,
Но истинно варяго-росски».
«Да кто ты сам?» — «Я также *член;*
Кургановым писать учен;
Известен стал не пустяками,
Терпеньем, потом и трудами;
Аз есмь зело *славенофил*»,—
Сказал и пролог растворил.

При слове сем в блаженной сени
Поэтов приподнялись тени;
Певец любовныя езды
Осклабил взор *усмешкой блудной* *
И рек: «О муж, умом не скудный!
Обретший редки красоты
И смысл в моей «Деидамии»,
Се ты! се ты!..» — «Слова пустые»,—
Угрюмый судия сказал
И в реку путь им показал.
К реке все двинулись толпою,
Ныряли всячески в водах;
Тот книжку потопил в струях,
Тот целу книжищу с собою.
Один, один *славенофил*,
И то повыбившись из сил,
За всю трудов своих громаду,
За твердый ум и за дела
Вкусил бессмертия награду.
Тут тень к Миносу подошла
Неряхой и в наряде странном,
В широком шлафроке издранном,
В пуху, с нечесаной главой,

---

* В «Езде на остров любви» истолкована *блудная усмешка.*

С салфеткой, с книгой под рукой.
«Меня врасплох,— она сказала,—
В обед нарочно смерть застала,
Но с вами я опять готов
Еще хоть сызнова отведать
Вина и адских пирогов:
Теперь же час, друзья, обедать,
Я — вам знакомый, я — Крылов!» *

«Крылов, Крылов»,— в одно вскричало
Собранье шумное духов,
И эхо глухо повторяло
Под сводом адским: *«Здесь Крылов!»*
«Садись сюда, приятель милый!
Здоров ли ты?» — «И так и сяк».
«Ну, что ж ты делал?» — «Все пустяк —
Тянул тихонько век унылый,
Пил, сладко ел, а боле спал.
Ну, вот, Минос, мои творенья,
С собой я очень мало взял:
Комедии, стихотворенья
Да басни,— все купай, купай!»
О, чудо! — всплыли все, и вскоре
Крылов, забыв житейско горе,
Пошел обедать прямо в рай.

Еще продлилось сновиденье,
Но ваше длится ли терпенье
Дослушать до конца его?
Болтать, друзья, неосторожно —
Другого и обидеть можно.
А боже упаси того!

ЭПИТАФИЯ

Не нужны надписи для камня моего,
Пишите просто здесь: он был, и нет его!

* Он познакомился с духами через «Почту».

НА ПЕРЕВОД «ГЕНРИАДЫ», ИЛИ ПРЕВРАЩЕНИЕ ВОЛЬТЕРА

«Что это! — говорил Плутон,—
Остановился Флегетон,
Мегера, Фурии и Цербер онемели,
Внимая пенью твоему,
Певец бессмертный Габриели?
Умолкни!.. Но сему
Безбожнику в награду
Поищем страшных мук, ужасных даже аду,
Соделаем его
Гнуснее самого
Сизифа злова!»
Сказал и превратил — о ужас! — в Ослякова.

ОТЪЕЗД

Ты хочешь, горсткой фимиама
Чтоб жертвенник я твой почтил?
Для Граций Муза не упряма,
И я им лиру посвятил.

Я вижу, вкруг тебя толпятся
Вздыхатели — шумливый рой!
Как пчелы на цветок стремятся
Иль легки бабочки весной.

И Марс высокий, в битвах смелый,
И Селадон плаксивый тут,
И юноша еще незрелый
Тебе сердечну дань несут.

Один — я видел — все вздыхает,
Другой как мраморный стоит,
Болтун сорокой не болтает,
Нахал краснеет и молчит.

Труды затейливой Арахны,
Сотканные в углу тайком,
Не столь для мух игривых страшны,
Как твой для нас волшебный дом.

Но я один, прелестна Хлоя,
Платить сей дани не хочу
И, осторожности удвоя,
На тройке в Питер улечу.

К МАШЕ

О, радуйся, мой друг, прелестная Мария!
Ты прелестей полна, любови и ума,
С тобою грации, ты грация сама.
Пусть Парки век прядут тебе часы златые!
Амур тебя благословил,
А я — как ангел говорил.

ОДА XIX
К АРИСТУ ФУСКУ

Беспорочный житьем и чистый от злодеяний
Не нуждается Маврскими дротиками, ни луком,
Ни ядовитыми обремененными стрелами,
О Фуск, колчаном.

Хотя чрез мели путь кипящие
Или делает чрез негостеприимный
Кавказ, или те места, кои баснословный
Лижет Гидасп.

Либо от меня волк в лесу Сабинском
Пока мою пел Лалагу, и далее
Предела попечениям бродил свободен
Бежал безоружного:

Такого чудовища ни воинственная
Дауния в обширных питала дубах,
Ни Юбы земля родила, львов
Бесплодная кормилица.

Поставь меня в ленивых полях, где никакое
Древо горячим не освежается зефиром,
Которую страну света туманы и худой
Воздух гнетут,

Поставь под колесницу слишком приближенного
Солнца, в земле, жилищем отказанной,—
Сладостно смеющуюся Лалагу буду любить,
Сладостно говорящую.

* * *

У Волги-реченьки сидел
В кручинушке унылой
Солдат израненной и хилой.
Вздохнул, на волны поглядел
И песенку запел:

«Там, там в далекой стороне
Ты, родина святая! —
Отец и мать моя родная,
Вас не увидеть боле мне
В родимой стороне».

«Куда летите, паруса?» —
На родину святую.
«Зачем вы, пташки, в цепь густую,
Зачем взвились под небеса?» —
В родимые леса.

«Все в родину летит свою,
А я бреду насилу.
Сквозь слезы песенку унылу
Путем-дорогою пою
Про родину мою.

Несу котомку на плечах,
На саблю подпираюсь,
Как сирот<иноч>ка, скитаюсь
В лесах дремучих и песках
На волжских берегах.

. . . .

О, смерть в боях не так страшна,
Как страннику в чужбине.
Там пуля смерть, а здесь в кручине
Томись без хлеба и без сна,
Пока при<дет> она.

. . . .

Жена останется вдовой,
  А дети сиротами.
Вам сердце молвит: за горами
В стране далекой и чужой,
  Знать, умер наш родной.

. . . .

Зачем, зачем, ре<ка> Дунай,
  Меня не поглотила!
Зачем ты, пуля, изменила...»

. . . .

СТИХИ НА СМЕРТЬ ДАНИЛОВОЙ, ТАНЦОВЩИЦЫ С.-ПЕТЕРБУРГСКОГО ИМПЕРАТОРСКОГО ТЕАТРА *

Вторую Душеньку или еще прекрасней,
Еще, еще опасней,
Меж Терпсихориных любимиц усмотрев,
Венера не могла сокрыть жестокий гнев:
С мольбою к Паркам приступила
И нас Даниловой лишила.

С.-Петербург.

* * *

Известный откупщик Фадей
Построил богу храм... и совесть успокоил,
И впрямь! На всё цены удвоил:
Дал богу медный грош, а сотни взял рублей
С людей.

* * *

«Теперь, сего же дня,
Прощай, мой экипаж и рыжих четверня!
Лизета! ужины!.. Я с вами распрощался
Навек для мудрости святой!»
«Что сделалось с тобой?
«Безделка!.. Проигрался!»

---

* Она представляла Психею в славном балете «Амур и Психея».

ИСТИННЫЙ ПАТРИОТ

«О хлеб-соль русская! о прадед Филарет!
О милые останки,
Упрямство дедушки и ферези прабабки!
Без вас спасенья нет!
А вы, а вы забыты нами!» —
Вчера горланил Фирс с гостями
И, сидя у меня за лакомым столом,
В восторге пламенном, как истый витязь русский,
Съел соус, съел другой, а там сальмис французский,
А там шампанского хлебнул с бутылку он,
А там... подвинул стул и сел играть в бостон.

СРАВНЕНИЕ

«Какое сходство Клит с Суворовым имел?»
«Нималого!» — «Большое».
«Помилуй! Клит был трус, от выстрела робел
И пекся об одном желудке и покое;
Великий вождь вставал с зарей для ратных дел,
А Клит спал часто по неделе».
«Все так! да умер он, как вождь сей... на постеле».

ИЗ АНТОЛОГИИ

Сот меда с молоком —
И Маин сын тебе навеки благосклонен!
Алкид не так-то скромен:
Дай две ему овцы, дай козу и с козлом;
Тогда он на овец прольет благословенье
И в снедь не даст волкам.
Храню к богам почтенье,
А стада не отдам
На жертвоприношенье.
По совести! Одна мне честь,
Что волк его сожрал, что бог изволил съесть.

НА СМЕРТЬ ЛАУРЫ

Из Петрарки *

Колонна гордая! о лавр вечнозеленый!
Ты пал! — и я навек лишен твоих прохлад!
Ни там, где Инд живет, лучами опаленный,
Ни в хладном Севере для сердца нет отрад!

Все смерть похитила, все алчная пожрала —
Сокровище души, покой и радость с ним!
А ты, земля, вовек корысть не возвращала,
И мертвый нем лежит под камнем гробовым!

Все тщетно пред тобой — и власть, и волхвованья...
Таков судьбы завет!.. Почто ж мне доле жить?
Увы, чтоб повторять в час полночи рыданья
И слезы вечные на хладный камень лить!

Как сладко, жизнь, твое для смертных обольщенье!
Я в будущем мое блаженство основал,
Там пристань видел я, покой и утешенье —
И все с Лаурою в минуту потерял!

ВЕЧЕР

Подражание Петрарке

В тот час, как солнца луч потухнет за горою,
Склонясь на посох свой дрожащею рукою,
Пастушка, дряхлая от бремени годов,
Спешит, спешит с полей под отдаленный кров
И там, пришед к огню, среди лачуги дымной
Вкушает трапезу с семьей гостеприимной,
Вкушает сладкий сон, в замену горьких слез!
А я, как солнца луч потухнет средь небес,
Один в изгнании, один с моей тоскою,
Беседую в ночи с задумчивой луною!

Когда светило дня потонет средь морей
И ночь, угрюмая владычица теней,
Сойдет с высоких гор с отрадной тишиною,
Оратай острый плуг увозит за собою
И, медленной стопой идя под отчий кров,

---

* Сонет «Rotta è l'alta colonna e'l verde lauro».

Поет простую песнь в забвенье всех трудов;
Супруга, рой детей оратая встречают
И брашна сельские поспешно предлагают.
Он счастлив — я один с безмолвною тоской
Беседую в ночи с задумчивой луной.

Лишь месяц сквозь туман багряный лик уставит
В недвижные моря — пастух поля оставит,
Простится с нивами, с дубравой и ручьем
И гибкою лозой стада погонит в дом.
Игралище стихий среди пучины пенной,
И ты, рыбарь, спешишь на брег уединенной!
Там, сети приклонив ко утлой ладие
(Вот все от грозных бурь убежище твое!),
При блеске молнии, при шуме непогоды
Заснул... И счастлив ты, угрюмой сын природы!

Но се бледнеет там багряный небосклон,
И медленной стопой идут волы в загон
С холмов и пажитей, туманом орошенных.
О песнопений мать, в вертепах отдаленных,
В изгнанье горестном утеха дней моих,
О лира, возбуди бряцаньем струн златых
И холмы спящие, и кипарисны рощи,
Где я, печали сын, среди глубокой нощи,
Объятый трепетом, склонился на гранит...
И надо мною тень Лауры пролетит!

ЭЛИЗИЙ

О, пока бесценна младость
Не умчалася стрелой,
Пей из чаши полной радость
И, сливая голос свой
В час вечерний с тихой лютней,
Славь беспечность и любовь!
А когда в сени приютной
Мы услышим смерти зов,
То, как лозы винограда
Обвивают тонкий вяз,
Так меня, моя отрада,
Обними в последний раз!

Так лилейными руками
Цепью нежною обвей,
Съедини уста с устами,
Душу в пламени излей!
И тогда тропой безвестной,
Долу, к тихим берегам,
Сам он, бог любви прелестной,
Проведет нас по цветам
В тот Элизий, где все тает
Чувством неги и любви,
Где любовник воскресает
С новым пламенем в крови,
Где, любуясь пляской Граций,
Нимф, сплетенных в хоровод,
С Делией своей Гораций
Гимны радости поет.
Там, под сенью миртов зыбкой,
Нам любовь сплетет венцы
И приветливой улыбкой
Встретят нежные певцы.

МАДАГАСКАРСКАЯ ПЕСНЯ

Как сладко спать в прохладной тени,
Пока долину зной палит
И ветер чуть в древесной сени
Дыханьем листья шевелит!

Приближьтесь, жены, и, руками
Сплетяся дружно в легкий круг,
Протяжно, тихими словами
Царя возвеселите слух!

Воспойте песни мне девицы,
Плетущей сети для кошниц,
Или как, сидя у пшеницы,
Она пугает жадных птиц.

Как ваше пенье сердцу внятно,
Как негой утомляет дух!
Как, жены, издали приятно
Смотреть на ваш сплетенный круг!

Да тихи, медленны и страстны
Телодвиженья будут вновь,
Да всюду, с чувствами согласны,
Являют негу и любовь!

Но ветр вечерний повевает,
Уж светлый месяц над рекой,
И нас у кущи ожидает
Постель из листьев и покой.

СКАЛЬД

«Воспой нам песнь любви и брани,
О скальд, свидетель древних лет,
Твой меч тяжел для слабой длани,
Но глас века переживет!»
«Отцов великих славны чада!—
Егил героям отве́чал,—
Священных скальдов песнь — награда
Тому, кто в битвах славно пал:
И щит его, и метки стрелы —
Они спасут от алчной Гелы.
Ах, мне ли петь? Мой глас исчез,
Как бури усыпленный ропот,
Который, чуть колебля лес,
Несет в долины томный шепот.
Но славны подвиги отцов
Живут в моем воспоминаньи;
При тусклом зарева мерцаньи
Прострите взор на ряд холмов,
На ветхи стены и могилы,
Покры<ты> мхом,— там ветр унылый
С усопших прахом говорит;
Там меч, копье и звонкий щит
Покрыты пылью и забвенны...
Остатки храброго священны!
Я их принес на гроб друзей,
На гроб Аскара и Елои!..
А вы, о юноши-герои,
Внемлите повести моей».

ФИЛОМЕЛА И ПРОГНА *

Из Лафонтена

Когда-то Прогна залетела
От башен городских, обители своей,
В леса пустынные, где пела
Сиротка Филомела,
И так сказала ей:
«Здорово, душенька-сестрица!
Ни видом не видать тебя уж много лет!
Зачем забыла свет?
Зачем наш край не посещала?
Где пела? где жила? Куда и с кем летала?
Пора, пора и к нам
Залетом по веснам;
Здесь скучно: все леса унылы,
И колоколен нет».
«Ах, мне леса и милы!» —
Печальный был ответ.
«Кому ж ты здесь поешь,— касатка возразила,—
В такой дали от жила,
От ласточек и от людей?
Кто слушает тебя? Стада глухих зверей
Иль хищных птиц собранье?
Сестра! грешно терять небесно дарованье
В безлюдной стороне.
Признаться... здесь и страшно мне!
Смотри: песчаный бор, река, пустынны виды,
Гора, висяща над горой,
Как словно в Фракии глухой,
На мысль приводят нам Тереевы обиды.
И где же тут покой?»
«Затем-то и живу средь скучного изгнанья,
Боясь воспоминанья,
Лютейшего сто раз:
Людей боюсь у вас»,—
Вздохнув, сказала Филомела,
Потом «Прости, прости!» — взвилась и улетела
Из ласточкиных глаз.

Череповец

---

* Филомела и Прогна — дочери Пандиона. Терей, супруг последней, влюбился в Филомелу, заключил ее в замок, во Фракии находящийся, обесчестил и отрезал язык. Боги, сжалившись над участию несчастных сестер, превратили Филомелу в соловья, а Прогну в ласточку.

ПЕВЕЦ, ИЛИ ПЕВЦЫ В БЕСЕДЕ СЛАВЕНО-РОССОВ

Балладо-эпико-лиро-комико-эпизодический гимн

Певец

Друзья! все гости по домам!
От чтенья охмелели!
Конец и прозе и стихам
До будущей недели.
Мы здесь одни. Что делать? пить
Вино из полной чаши!
Давайте взапуски хвалить
Славянски оды наши!

Сотрудники

Мы здесь одни. Что делать? пить
Вино из полной чаши!
Мы станем взапуски хвалить
Славянски оды ваши!

Певец

Сей кубок чадам древних лет!
Вам слава, наши деды!
Друзья! почто покойных нет
Певцов среди Беседы?
Их вирши сгнили в кладовых,
Изглоданы мышами;
Иль продают на рынке в них
Салакушку с сельдями!
Но дух отцов воскрес в сынах!
Мы все для славы дышим;
Давно здесь в прозе и стихах
Как Тредьяковский пишем!

Члены и сотрудники

Мы все для славы дышим!

Певец

Чья тень парит под потолком
Над нашими главами?
За ним, пред ним (о страх!) кругом
Поэты со стихами!
Се Тредьяковский в парике
Насаленном, с кудрями,
С «Телемахидою» в руке,

С Роленем за плечами.
Почто на нас, о муж седой,
Вперил ты страшны очи?..
Мы все клялись! клялись тобой
С утра до полуночи
Писать, как ты, тебе служить!
Мы все с рассудком в споре.
Для славы будем пить и жить!
Нам по колено море!

Члены

Напьемся пьяны Музам в дань,
Как пили наши деды!
Рассудку гибель, вкусу брань,
Хвала сынам Беседы!
Пусть Ломоносов был умен
И нас еще умнее,
За пьянство стал бессмертен он!
А мы... его пьянее!

Члены и сотрудники

Для славы будем жить и пить!
Врагам беда и горе!
На что рассудок нам щадить?
Нам по колено море!

Певец

Друзья! большой бокал отцов
За лавку Глазунова!
Там царство вечное стихов
Шихматова лихова!
Родного крова милый свет!
Знакомые подвалы!
Златые игры первых лет,
Невинны мадригалы,
Что вашу прелесть заменит?
О лавка дорогая!
Какое сердце не дрожит,
Тебя благословляя!..

Члены

Там все знакомо для певцов!
Там наши детки милы!
Кладби́ще мирное стихов,
Бумажные могилы!

Там царство тленья и мышей!
  Там — Николев почтенный,
И древний прах календарей,
  И прах газет священный!

Певец

Да здравствует Беседы царь
  Сумбур, твоя держава!
Бумажный трон твой наш алтарь,
  Пред ним обет наш, слава!
Не изменим! мы от отцов
  Прияли глупость с кровью!
Сумбур, здесь сонм твоих сынов!
  К тебе горим любовью!
Наш каждый ратник Славянин,
  Галиматьею дышит!
Бежит предатель сих дружин
  И галлицизмы пишет!

Члены и Сотрудники

Наш каждый ратник Славянин,
  Галиматьею дышит!
Бежит предатель сих дружин
  И галлицизмы пишет!

Певец

Тот наш, кто день и ночь кадит
  И нам молебны служит;
Пусть публика его бранит,
  Но он о том не тужит!
За нас стоит гора горой!
  В Беседе не зевает,
Прямой сотрудник, брат прямой,
  И в брани помогает!

Члены

Хвала тебе, Славенофил,
  О, муж неукротимый,
Ты здесь рассудок победил
  Рукой неутомимой!
О сколь с наморщенным челом
  В Беседе ты прекрасен!
Сколь холоден перед столом
  И критикам ужасен!
Упрямство с ним старинных лет.

Хвала седому деду!
Друзья! он, он родил на свет
Славенскую Беседу!

Члены и Сотрудники

Друзья! он, он родил на свет
Славенскую Беседу!

Сотрудники

Он нас, сироток, воскормил.

Потемкин

Меня читать он учит.

Жихарев

Моих он Бардов похвалил.

Шихматов

Меня в Пиндары крючит!

Певец

Хвала тебе, о дед седой!
Хвала и многи лета!
Ошую пусть сидит с тобой
Осьмое чудо света.
Твой сын, наперсник и клеврет
Шихматов безглагольный,
Как ты, Славян краса и цвет,
Как ты, собой довольный! —
Хвала тебе, о Шаховской,
Холодных шуб родитель,
Отец талантов, муж прямой,
Ежовой покровитель! —
Телец упитанный у нас,
О ты, болван болванов,
Хвала тебе, хвала сто раз,
Раздутый Карабанов! —
Хвала, читателей тиран,
Хвостов неистощимый!
Стихи твои как барабан
Для слуха нестерпимы,
Везде с стихами — тут и там!
Везде ты волком рыщешь!
Пускаешь притчу в тыл врагам,
Стихами в уши свищешь!

Лишь за поэму — прочь идут,
  За оду — засыпают,
Лишь за посланье — все бегут
  И уши затыкают! —
Друзья! вишневки поскорей
  И выпьем в честь Весталки!
У ней давно семья детей
  И детки — очень жалки!
Сегодня оду в свет родит,
  А завтра — снова бремя!
Ей перья сам Шишков чинит
  От дел в досужно время.
За ней есть много дев других;
  Все взапуски плодятся:
Но диво в том, что чада их
  Полмертвые родятся.
Хвала, псаломщик наш, старик
  Захаров преложитель!
Ревет он, аки вол иль бык,
  Лугов пустынных житель.
Хвала тебе, протяжный Львов,
  Ковач речений смелый!
И Палицын, гроза чтецов,
  В Поповке поседелый!
Хвала, наш пасмурный Гарвей,
  Обруганный Станевич,
И с Польской Музою своей
  Холуй Анастасевич!

Члены

Друзья! широкий ковш пивной
  За здравье Соколова!
Он, право, чтец у нас лихой
  И создан для Хвостова!
В его устах стихи ревут,
  Как волны пеной плещут:
От грома их невольно тут
  Все барыни трепещут!
Хвала тебе, о наш Дьячок,
  Бездушный Политковской!
Жуешь, гнусишь — и вдруг стишок
  Родишь Варягоросской!
. . . .
. . . .

Их груди каменной хвала!
Хвала скулам железным!

Члены и Сотрудники

Их груди каменной хвала,
Хвала скулам железным!
Но месть тому, кто нас бранит
И пишет эпиграммы,
Кто пишет так, как говорит,
Кого читают дамы!

Певец-Сеид

Сей кубок мщенью! други, в строй!
И мигом перья в длани!
Сразить иль пасть, наш роковой
Обет в чернильной брани!
Вотще свои, о Карамзин,
Ты издал сочиненья;
Я, я на Пинде властелин
И жажду лишь отмщенья!

Члены и Сотрудники

Нет Логики у нас в домах,
Грамматик не бывало.
Мы Пролог в руки — гибни враг
С твоей дружиной вялой!
Отведай, дерзкий, что сильней —
Рассудок или мщенье!
Пришлец! мы в родине своей.
За глупых — Провиденье!

Певец

Друзья! прощанью сей стакан!
Уж свечки погасили:
Пробили зорю в барабан
И к завтрене звонили.
Пора домой! Пора ко сну!..
От хмеля я шатаюсь!..

Хвостов

Дай басню я прочту одну
И после распрощаюсь!

Все

Ах нет, домой, друзья, домой!
Чу!.. петухи пропели!

Прощай, Шишков, наш дед седой,
Прощай — мы охмелели;
Но ты нас в путь благослови!
А вы, друзья — лобзанья!
В завет и верныя любви,
И нового свиданья!

НА ПОЭМЫ ПЕТРУ ВЕЛИКОМУ

Не странен ли судеб устав!
Певцы Петра — несчастья жертвы:
Наш Пиндар кончил жизнь, поэмы не скончав,
Другие живы все, но их поэмы мертвы!

ПЕРЕХОД РУССКИХ ВОЙСК ЧЕРЕЗ НЕМАН 1 ЯНВАРЯ 1813 ГОДА

(Отрывок из большого стихотворения)

Снегами погребен, угрюмый Неман спал.
Равнину льдистых вод и берег опустелый
И на брегу покинутые селы
Туманный месяц озарял.
Все пусто... Кое-где на снеге труп чернеет,
И брошенных костров огонь, дымяся, тлеет,
И хладный, как мертвец,
Один среди дороги,
Сидит задумчивый беглец,
Недвижим смутный взор вперив на мертвы ноги.

И всюду тишина... И се, в пустой дали
Сгущенных копий лес возникнул из земли!
Он движется. Гремят щиты, мечи и брони,
И грозно в сумраке ночном
Чернеют знамена̀, и ратники, и кони:
Несут полки славян погибель за врагом,
Достигли Немана — и копья водрузили.
Из снега выросли бесчисленны шатры,
И на брегу зажженные костры
Все небо заревом багровым обложили.
И в стане царь младой
Сидел между вождями,
И старец-вождь пред ним, блестящий сединами
И бранной в старости красой.

СЦЕНЫ ЧЕТЫРЕХ ВОЗРАСТОВ

ПЕРВЫЙ ВОЗРАСТ

Детские пляски, игры и проч. Несколько детей, отделясь от других, приближаются к зрителям, держа недоплетенные цветочные вязи. Позади их несколько раз повторяется следующий куплет:

Сбирайте цветочки
С зеленых лугов!
Плетите веночки
Из пестрых цветов!

1-е дитя

Сегодня большой праздник для нас, милые товарищи. Сегодня возвратятся наши добрые родители.

Несколько детей

(обнимая друг друга)

Какая радость! Сегодня возвратятся они, наши милые, добрые родители!

1-е дитя

Из далекой стороны!

Несколько детей

Победителями! Победителями!

1-е дитя

Мое сердце бьется от радости! Бедная маминька и сестрицы ожидали батюшку с таким нетерпением! Они боялись, чтоб злые солдаты не убили его в сражении. Теперь нечего уже бояться.

Один ребенок

(отделясь от тех, которые толпятся вокруг жертвенника, подбегает с вязью цветов)

Полно вам болтать, милые друзья! Собирайте лучше цветы в эти корзинки; украшайте ими жертвенник в честь победителей. Может быть, они увидят его и полюбуются нашими трудами. Кроме цветов и сердец наших мы ничего не имеем: и те приносим с радостию.

Все дети вместе

Давайте собирать цветы!

Общий хор и пляска.

Сбирайте цветочки
С зеленых лугов,
Плетите веночки
Из алых цветов!

1-е дитя

Мы дети — не знаем
Заслуги отцов;
Мы их увенчаем
Венками цветов.

Хор

Скорее цветочки
Сбирайте с лугов,
Плетите веночки
Царю из цветов.

1-е дитя

О други! Спешите
Навстречу ему:
Весь путь устелите
Цветами ему.

Хор

Врагов победитель,
Он кроток душой!
Он наш покровитель,
Он ангел святой!

Несколько детей вдруг

Чу! Знать, кто-то едет? Не он ли?

(Все дети, убегая, поют.)

О други, спешите
Навстречу ему:
Весь путь устелите
Цветами ему!

ВТОРОЙ ВОЗРАСТ

(Юноши и девицы за разными занятиями поют.)

Все вкушает в жизни сладость,
Царский чувствуя приход.

Пой в восторге шумном младость,
Пой здесь счастливый народ!

Хор

Богом царь благословенный
Возвратится скоро к нам!

Царь велик, но не отринет
Скудных юности даров
И с улыбкой взоры кинет
На усердие сынов.

Хор

Богом царь благословенный,
Возвратись скорее к нам!

(Несколько юношей и девиц, отделясь от прочих, рассматривают занятия товарищей.)

1-й юноша

Трудитесь, трудитесь, милые друзья; минута торжественная приближается. Говорят, что славные наши воины недалеко: с ними, конечно, и государь. Он увидит наши занятия: плоды искусств, художеств, рукоделий и наук. Мы ему посвятим их.

2-й юноша

И он, конечно, не отринет слабых, но усердных приношений, в местах, ему от детства любезных.

(Девица аккомпанирует на арфе.)

Дуэт девиц

Он любит тени сих лесов,
Безмолвие природы,
Журчанье здешних ручейков,
Пастушечью свирель и наши хороводы.
Он любит отдыхать близь матери своей
От шума грозного Арея,
И счастье мирное полей
Монарха веселит не менее трофея.

Дуэт юношей

Он лавры похищал
Из рук неистовой Беллоны;
Царям он возвращал
И царства и короны...

Юноши и девицы

Весь мир его боготворит,
В немом поникнув изумленьи.
Он правде друг, он вере щит
И Россов утешенье.

1-й юноша

И впрямь! Какими чудесами наполнили свет наши непобедимые воины под его начальством! Взгляните на карту и удивляйтесь!

Где только ветры могут дуть,
Проступят там полки орлины!
(Ломоносов)

Хор молодых земледельцев

(в отдалении)

Язык наш прост — сердца простые,
Сильна рука в бою, в трудах;
Нас помнил царь в чужих краях
И мир принес в поля родные.

Вдали бюст государя в зеленой беседке, где за кустами занимается художник оканчиванием его, и по мере приближения той минуты, в которую будет петь следующий куплет подходящий хор девиц, мало-помалу его открывают.

Хор

Обложим вкруг, друзья, цветами
Мы образ нашего царя,
Его бессмертия заря
Венчает яркими лучами.

1-й юноша

Смотрите, какое удовольствие блистает на всех лицах! Веселая молодость вне себя от радости. Пляски, хороводы начинаются; разделим их с товарищами.

Все вкушает жизни сладость,
Царский чувствуя приход.
Пой в восторге шумном младость!
Пой здесь счастливый народ!

Хор

Богом царь благословенный
Возвратится скоро к нам!

Царь велик, но не отринет
Скудных юности даров
И с улыбкой взоры кинет
На усердие сынов.

Хор

Богом царь благословенный,
Возвратись скорее к нам!

Юноши

Придет время, и с отцами
Мы победы разделим;
К славе их пойдем следами —
Иль умрем, иль победим!
Богом царь благословенный
Нас к победам поведет!

Пляска оканчивается.

1-й юноша

Мы кончили наши занятия; возвратимся к своим родителям. Но прежде, по обыкновению нашему, принесем теплые молитвы о том, кому обязаны мы нашим благоденствием — славою отечества!

Общий хор

Молим, юноши и девы,
Сохрани, о щедрый бог!
Драгоценны дни царевы,
Счастья нашего залог!
Дни монарха, дни драгие,
Сохрани, о щедрый бог!

ТРЕТИЙ ВОЗРАСТ

Жены за разными занятиями поют.

Счастливый час соединенья,
Источник радости и слез;
Прийди, о дар благих небес,
Счастливый час соединенья!
Сподвижников царя
Несите к нам скорей, бездонные моря!
Вы, ветры, тише, тише вейте
И волны воздымать не смейте!

Хор

Сподвижников царя
На родину несут бездонные моря.

Одна

К ним жены руки простирают.
Зовет их голос чад родных.
То страх, то радость наполняет
Попеременно души их.
С полей кровавой брани
Придут ли все в страну отцов
Вкусить любви и славы дани
На лоне мирных жен, в объятиях сынов?

Одна из жен

Мир и победа возвращают их в отечество. Здесь всё ожидает их с нетерпением, и минута свидания наградит нас за горестные слезы.

Одна из жен

(перед нею младенец в колыбели)

Как сладко почивает
Младенец в тишине!
Улыбка на устах невинного играет,
Супруга милого напоминая мне.
С полей кровавой брани
Прийдет ли он в страну отцов
Вкусить любви и славы дани
В награду дивных дел и доблестных трудов?

Одна из жен

До сих пор мое сердце было исполнено и страхом и надеждою. Но успокоимся, милые подруги! Час свидания близок; в скором времени возвратятся наши герои, покрытые славою. Между тем ты, Анюта, спой нам песенку, а мы попляшем.

Одна из жен поет песенку, а другие пляшут.

Юноша

(вбегая, говорит)

Сейчас я видел гонца, который сказывал, что наши воины попутным ветром летят на парусах к пристани и многие уже вышли на берег!

Хор

О верные подруги!
Свиданья близок час.
Спешат, спешат супруги
Обнять с любовью нас.
Уже, веселья полны,
Летят чрез сини волны...
Свиданья близок час!
По суше рьяны кони
Полки героев мчат.
Звенят стальные брони,
В руке блестит булат;
Шеломы их блистают,
Знамена развевают...
Свиданья близок час!

Одна из жен

Так! Близок, близок час свидания... Но... если не обманываюсь, вдали раздаются голоса, смешанные со звуками военной музыки. Слышите ли?

Все жены покидают свои занятия и в беспокойстве слушают.

Одна из жен

Так, военная музыка... Она приближается.

Другая

Голос труб!

Хор

(вдали)

Гром победы, грома глас,
Громче, громче раздавайся!
В целом мире повторяйся:
Русский царь Европу спас!
Слава, слава государю!
Слава, слава, слава нам!

Одна из жен

Это они без всякого сомнения.

Все вместе

Они, они! Их знакомый голос.

Хор воинов

(ближе)

Нас он в битвах предводил,
Он разрушил все твердыни!
Царства злобы и гордыни
Нашей грудью сокрушил!
Слава, слава государю!
Слава, слава, слава нам!

Одна из жен

Теперь уже нет сомнения, любезные подруги: это они! Полетим навстречу!

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОЗРАСТ

Старики и старухи за разными занятиями.

1-й старик

(прочитав бумагу)

Тишина и мир царствуют во вселенной; все благословляют великое имя того, кто утешил ими страждущее человечество, и гласы радости повсюду раздаются.

1-я старуха

С каким нетерпением ожидаем мы наших внуков! Скоро, скоро обнимем их дрожащими руками!

Другая

Сердце матери бьется от радости неизъяснимой.

Инвалид

И я, дряхлый воин, еще раз обниму моих правнуков!.. Но какую весть приносишь ты нам?

1-й старик

(входит поспешно; все встают, кроме инвалида)

Радостную весть! Наши воины возвратились, и там гремят их победные песни.

Несколько стариков

(вместе)

Как? Возвратились?

Другие

О, принесем благодарение всевышнему!

Гимн хором

Ты внял, о боже, старцев глас,
Ты принял теплые молитвы,
Победою венчая битвы,
Обрадовал при гробе нас.

Храни царя, о царь небес!
Храни народ, тобой спасенной!
Он удивил страны вселенной
Величием твоих чудес.

О боже! Ты услышал глас
И старцев теплые молитвы;
Ты чад привел с кровавой битвы
Обрадовать при гробе нас.

Инвалид

Благодарю тебя, всемогущий боже, за продолжение преклонных дней моих до той счастливой минуты, в которую еще раз увижу, во всем сиянии славы, достойного правнука Петра Великого, под знаменами которого я служил в моей молодости! Я закрою глаза мои при звуке побед, побед доселе неслыханных, и угасну в радости.

Здесь слышна военная музыка.

1-й старик

Там слышна военная музыка наших воинов. Так! Это они!

(Воины, в сопровождении жен и детей, обнимают стариков и изъявляют знаки почтения дряхлому инвалиду.)

Несколько воинов

Велел нам бог еще обнять вас, почтенные родители!

Инвалид

(обнимая двух воинов)

Благословляю вас, внуки мои! Вы не уступили в доблести своим дедам.

Жены

(обнимая воинов)

С какою радостию мы обнимаем вас, покрытых славою!

Одна из жен

Ах! и наши сердца трепещут при названии славы! *(Обращаясь к своему супругу.)* Сколько раз я страшилась за тебя! Сколько раз потерею жизни моей желала я отвратить удары, на тебя устремленные; и сколько раз мое сердце наполнялось чистейшею радостию от одной мысли, что ты сражаешься под русскими знаменами за бога, за царя и за всех нас, что ты возвратишься покрытый славою; что, указывая на меня, на сына твоего, сограждане повторяют: вот жена, вот сын храброго воина! И слезы благодарности блистают в глазах их!

Дитя

И мы, дражайшие родители, мы будем со временем достойны отцов наших.

1-й воин

Радость моя неизъяснима! Чего недостает нам? Тот, который предводил нас на поле славы, разделял с нами труды и все опасности, отдыхал под нашими шатрами и в дождь и в ненастье; тот, который награждал нас щедрою рукою, ныне возвратился с нами и с нами разделяет радость нашу. - Он любит нас, как детей своих.

Кантата

Ты возвратился, благодатный!
Наш кроткий ангел, луч сердец!
Твой воссиял нам зрак прекрасный,
О царь! отечества отец!
Внемли ж усердья клики звучны:
О, сколько мы благополучны,
    Отца в монархе зря!
    Ура! Ура! Ура!

Ты мужества явил примеры,
Россию твердой спас душой!
Защитник был святыя веры

И, доблестьми прямой герой,
Явил дела великодушны!
О, сколько мы благополучны,
    Отца в монархе зря!
    Ура! Ура! Ура!

Ты возвратился, царь, нам милый,
И счастье наше возвратил,
Прогнал от нас те дни унылы
И страх, который нас томил,
Что были мы с тобой разлучны.
О, сколько мы благополучны,
    Отца в монархе зря!
    Ура! Ура! Ура!

1-й старик

Кончим торжественный день в храме всевышнего. Мы все, и стар и млад, должны благодарить его за бесчисленные милости.

Общий хор

Друзья, на время нашу радость,
Восторгов клики прекратим:
Во храм, во храм мы поспешим
Благодарить небесну благость.
Бог правды был нам в бранех щит,
    Хвала ему да возгремит!

НОВЫЙ РОД СМЕРТИ

За чашей пуншевой в политику с друзьями
Пустился Бавий наш, присяжный стихотвор.
Одомаратели все сделались судьями,
И каждый прокричал свой умный приговор,
    Как ныне водится, Наполеону:
    «Сорвем с него корону!» —
    «Повесим!» — «Нет, сожжем!» —
    «Нет, это жестоко... в Каэну отвезем
    И медленным отравим ядом».—
    «Очнется!» — «Как же быть?» —
        «Пускай истает гладом!» —
    «От жажды!..» — «Нет!» —
    вскричал насмешливый Филон,—

Нет! с большей лютостью дни изверга скончайте!
На Эльбе виршами до смерти зачитайте,
Ручаюсь: с двух стихов у вас зачахнет он!»

ЭЛЕГИЯ

Я чувствую, мой дар в поэзии погас,
И муза пламенник небесный потушила;
Печальна опытность открыла
Пустыню новую для глаз.
Туда влечет меня осиротелый гений,
В поля бесплодные, в непроходимы сени,
Где счастья нет следов,
Ни тайных радостей, неизъяснимых снов,
Любимцам Фебовым от юности известных,
Ни дружбы, ни любви, ни песней муз прелестных,
Которые всегда душевну скорбь мою,
Как лотос, силою волшебной врачевали.
Нет, нет! себя не узнаю
Под новым бременем печали!
Как странник, брошенный из недра ярых волн,
На берег дикий и кремнистый
Встает и с ужасом разбитый видит челн,
Валы ревущие и молнии змиисты,
Объявшие кругом свинцовый небосклон;
Рукою трепетной он мраки вопрошает,
Ногой скользит над пропастями он,
И ветер буйный развевает
Молений глас его, рыдания и стон...—
На крае гибели так я зову в спасенье
Тебя, последний сердца друг!
Опора сладкая, надежда, утешенье
Средь вечных скорбей и недуг!
Хранитель ангел мой, оставленный мне Богом!..
Твой образ я таил в душе моей залогом
Всего прекрасного... и благости Творца.
Я с именем твоим летел под знамя брани
Искать иль гибели, иль славного венца.
В минуты страшные чистейши сердца дани
Тебе я приносил на Марсовых полях:
И в мире, и в войне, во всех земных краях
Твой образ следовал с любовию за мною;
С печальным странником он неразлучен стал.
Как часто в тишине, весь занятый тобою,

В лесах, где Жувизи гордится над рекою
И Сейна по цветам льет сребряный кристалл,
Как часто средь толпы, и шумной, и беспечной,
В столице роскоши, среди прелестных жен,
Я пенье забывал волшебное сирен
И мыслил о тебе лишь в горести сердечной.
Я имя милое твердил
В прохладных рощах Альбиона
И эхо называть прекрасную учил
В цветущих пажитях Ричмона.
Места прелестные, и в дикости своей,
О камни Швеции, пустыни скандинавов,
Обитель древняя и доблестей и нравов!
Ты слышала обет и глас любви моей,
Ты часто странника задумчивость питала,
Когда румяная денница отражала
И дальние скалы гранитных берегов,
И села пахарей, и кущи рыбаков
Сквозь тонки, утренни туманы
На зѐркальных водах пустынной Троллетаны.
Исполненный всегда единственно тобой,
С какою радостью ступил на брег отчизны!
«Здесь будет,— я сказал,— душе моей покой,
Конец трудам, конец иციстраннической жизни».
Ах, как обманут я в мечтании моем!
Как снова счастье мне коварно изменило
В любви и дружестве... во всем,
Что сердцу сладко льстило,
Что было тайною надеждою всегда!
Есть странствиям конец — печалям никогда!
В твоем присутствии страдания и муки
Я сердцем новые познал.
Они ужаснее разлуки,
Всего ужаснее! Я видел, я читал
В твоем молчании, в прерывном разговоре,
В твоем унылом взоре,
В сей тайной горести потупленных очей,
В улыбке и в самой веселости твоей
Следы сердечного терзанья...

Нет, нет! Мне бремя жизнь! Что в ней без упованья?
Украсить жребий твой
Любви и дружества прочнейшими цветами,
Всем жертвовать тебе, гордиться лишь тобой,
Блаженством дней твоих и милыми очами,

Признательность твою и счастье находить
В речах, в улыбке, в каждом взоре,
Мир, славу, суеты протекшие и горе,
Всё, всё у ног твоих, как тяжкий сон, забыть!
Что в жизни без тебя? Что в ней без упованья,
Без дружбы, без любви — без идолов моих?..
И муза, сетуя, без них
Светильник гасит дарованья.

ЭПИТАФИЯ ВЯЗЕМСКОМУ

Писал стихи, а не пасквили
И в карты вовсе не играл:
Его не многие хвалили,
Он всех охотно прославлял.

<С. С. УВАРОВУ>

Среди трудов и важных муз,
Среди учености всемирной
Он не утратил нежный вкус;
Еще он любит голос лирной,
Еще в душе его огонь,
И сердце наслаждений просит,
И борзый Аполлонов конь
От муз его в Цитеру носит.
От пепла древнего Афин,
От гордых памятников Рима,
С развалин Трои и Солима,
Умом вселенной гражданин,
Он любит отдыхать с Эратой,
Разнообразной и живой,
И часто водит нас с собой
В страны Фантазии крылатой.
Ему легко: он награжден,
Благословен, взлелеян Фебом:
Под сумрачным родился небом,
Но будто в Аттике рожден.

К ТВОРЦУ «ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО»

Когда на играх Олимпийских,
В надежде радостных похвал,
Отец истории читал,
Как грек разил вождей азийских
И силы гордых сокрушал,—
Народ, любитель шумной славы,
Забыв ристанье и забавы,
Стоял и весь вниманье был.
Но в сей толпе многонародной
Как старца слушал Фукидид!
Любимый отрок Аонид,
Надежда крови благородной!
С какою жаждою внимал
Отцов деянья знамениты
И на горящие ланиты
Какие слезы проливал!

И я так плакал в восхищеньи,
Когда скрижаль твою читал,
И гений твой благословлял
В глубоком, сладком умиленьи...
Пускай талант — не мой удел!
Но я для муз дышал недаром,
Любил прекрасное и с жаром
Твой гений чувствовать умел.

КНЯЗЮ П. И. ШАЛИКОВУ

(при получении от него в подарок книги, им переведенной)

Чем заплачу вам, милый князь,
Чем отдарю почтенного поэта?
Стихами? Но давно я с музой рушил связь
И без нее кругом летаю света,
С востока к западу, от севера на юг —
Не там, где вы, где граций круг,
Где Аполлон с Парнасскими сестрами,
Нет, нет, в стране иной,
Где ввек не повстречаюсь с вами:
В пыли, в грязи, на тряской мостовой,

«В картузе, с козырьком, с небритыми усами»,
Как Пушкина герой,
Воспетый им столь сильными стихами.
Такая жизнь для мыслящего — ад.
Страданий вам моих не в силах я исчислить.
Скачи туда, сюда, хоть рад или не рад.
Где ж время чувствовать и мыслить?
Но время, к счастью, есть любить
Друзей, их славу и успехи
И в дружбе находить
Неизъяснимые для черствых душ утехи.
Вот мой удел, почтенный мой поэт:
Оставя отчий край, увижу новый свет,
И небо новое, и незнакомы лицы,
Везувий в пламени, и Этны вечный дым,
Кастратов, оперу, фигляров, папский Рим
И прах, священный прах всемирныя столицы.
Но где б я ни был (так я молвлю в добрый час),
Не изменюсь, душою тот же буду
И, умирая, не забуду
Москву, отечество, друзей моих и вас!

11 сентября 1818

<ИЗ ГРЕЧЕСКОЙ АНТОЛОГИИ>

1

В обители ничтожества унылой,
О незабвенная! прими потоки слез,
И вопль отчаянья над хладною могилой,
И горсть, как ты, минутных роз!
Ах, тщетно все! Из вечной сени
Ничем не призовем твоей прискорбной тени;
Добычу не отдаст завистливый Аид.
Здесь онемение; все хладно, все молчит,
Надгробный факел мой лишь мраки освещает...
Что, что вы сделали, властители небес?
Скажите, что́ краса так рано погибает!
Но ты, о мать-земля! с сей данью горьких слез
Прими почившую, поблеклый цвет весенний,
Прими и успокой в гостеприимной сени!

2

Свидетели любви и горести моей,
О розы юные, слезами омоченны!
Красуйтеся в венках над хижиной смиренной,
Где милая таится от очей!
Помедлите, венки! еще не увядайте!
Но если явится,— пролейте на нее
Все благовоние свое
И локоны ее слезами напитайте.
Пусть остановится в раздумье и вздохнет.
А вы, цветы, благоухайте
И милой локоны слезами напитайте!

3

Свершилось: Никагор и пламенный Эрот
За чашей Вакховой Аглаю победили...
О радость! Здесь они сей пояс разрешили,
Стыдливости девической оплот.
Вы видите: кругом рассеяны небрежно
Одежды пышные надменной красоты;
Покровы легкие из дымки белоснежной,
И обувь стройная, и свежие цветы.
Здесь все развалины роскошного убора,
Свидетели любви и счастья Никагора!

4

Явор к прохожему

Смотрите, виноград кругом меня как вьется!
Как любит мой полуистлевший пень!
Я некогда ему давал отрадну тень;
Завял... но виноград со мной не расстается.
Зевеса умоли,
Прохожий, если ты для дружества способен,
Чтоб друг твой моему был некогда подобен
И пепел твой любил, оставшись на земли.

5

Где слава, где краса, источник зол твоих?
Где стогны шумные и граждане счастливы?
Где зданья пышные и храмы горделивы,
Мусия, золото, сияющие в них?

Увы! погиб навек Коринф столповенчанный!
И самый пепел твой развеян по полям.
Все пусто: мы одни взываем здесь к богам,
И стонет Алкион один в дали туманной!

6

«Куда, красавица?» — «За делом, не узнаешь!» —
«Могу ль надеяться?» — «Чего?» — «Ты
понимаешь!» —
«Не время!» — «Но взгляни: вот золото, считай!» —
«Не боле? Шутишь! Так прощай».

7

Сокроем навсегда от зависти людей
Восторги пылкие и страсти упоенье.
Как сладок поцелуй в безмолвии ночей,
Как сладко тайное любови наслажденье!

8

В Лаисе нравится улыбка на устах,
Ее пленительны для сердца разговоры,
Но мне милей ее потупленные взоры
И слезы горести внезапной на очах.
Я в сумерки вчера, одушевленный страстью,
У ног ее любви все клятвы повторял
И с поцелуем к сладострастью
На ложе роскоши тихонько увлекал...
Я таял, и Лаиса млела...
Но вдруг уныла, побледнела
И — слезы градом из очей!
Смущенный, я прижал ее к груди моей:
«Что сделалось, скажи, что сделалось с тобою?»
«Спокойся, ничего, бессмертными клянусь;
Я мыслию была встревожена одною:
Вы все обманчивы, и я... тебя страшусь».

9

Тебе ль оплакивать утрату юных дней?
Ты в красоте не изменилась
И для любви моей
От времени еще прелестнее явилась.

Твой друг не дорожит неопытной красой,
Незрелой в таинствах любовного искусства.
Без жизни взор ее стыдливый и немой
И робкий поцелуй без чувства.
Но ты, владычица любви,
Ты страсть вдохнешь и в мертвый камень;
И в осень дней твоих не погасает пламень,
Текущий с жизнию в крови.

10

Увы! глаза, потухшие в слезах,
Ланиты, впалые от долгого страданья,
Родят в тебе не чувство состраданья,—
Жестокую улыбку на устах...
Вот горькие плоды любови страстной,
Плоды ужасные мучений без отрад,
Плоды любви, достойные наград,
Не участи, для сердца столь ужасной...
Увы! как молния внезапная с небес,
В нас страсти жизнь младую пожирают
И в жертву безотрадных слез,
Коварные, навеки покидают.
Но ты, прелестная, которой мне любовь
Всего — и юности и счастия дороже,
Склонись, жестокая, и я... воскресну вновь,
Как был, или еще бодрее и моложе.

11

Улыбка страстная и взор красноречивый,
В которых вся душа, как в зеркале, видна,
Сокровища мои... Она
Жестоким Аргусом со мной разлучена!
Но очи страсти прозорливы:
Ревнивец злой, страшись любви очей!
Любовь мне таинство быть счастливым открыла,
Любовь мне скажет путь к красавице моей,
Любовь тебя читать в сердцах не научила.

12

Изнемогает жизнь в груди моей остылой;
Конец борению; увы! всему конец.
Киприда и Эрот, мучители сердец!

Услышьте голос мой последний и унылый.
Я вяну и еще мучения терплю:
Полмертвый, но сгараю.
Я вяну, но еще так пламенно люблю
И без надежды умираю!
Так, жертву обхватив кругом,
На алтаре огонь бледнеет, умирает
И, вспыхнув ярче пред концом,
На пепле погасает.

13

С отвагой на челе и с пламенем в крови
Я плыл, но с бурей вдруг предстала смерть ужасна.
О юный плаватель, сколь жизнь твоя прекрасна!
Вверяйся челноку! плыви!

* * *

Ты пробуждаешься, о Байя, из гробницы
При появлении Аврориных лучей,
Но не отдаст тебе багряная денница
Сияния протекших дней,
Не возвратит убежищей прохлады,
Где нежились рои красот,
И никогда твои порфирны колоннады
Со дна не встанут синих вод.

* * *

Есть наслаждение и в дикости лесов,
Есть радость на приморском бреге,
И есть гармония в сем говоре валов,
Дробящихся в пустынном беге.
Я ближнего люблю, но ты, природа-мать,
Для сердца ты всего дороже!
С тобой, владычица, привык я забывать
И то, чем был, как был моложе,
И то, чем ныне стал под холодом годов.
Тобою в чувствах оживаю:
Их выразить душа не знает стройных слов
И как молчать об них — не знаю.

НАДПИСЬ ДЛЯ ГРОБНИЦЫ ДОЧЕРИ М<АЛЫШЕВОЙ>

О! милый гость из отческой земли!
Молю тебя: заметь сей памятник безвестный:
Здесь матерь и отец надежду погребли;
Здесь я покоюся, младенец их прелестный.
Им молви от меня: «Не сетуйте, друзья!
Моя завидна скоротечность;
Не знала жизни я,
И знаю вечность».

ПОДРАЖАНИЯ ДРЕВНИМ

1

Без смерти жизнь не жизнь: и что она? сосуд,
Где капля меду средь полыни;
Величествен сей понт! Лазурный царь пустыни,
О солнце! чудно ты, среди небесных чуд!
И на земле прекрасного столь много!
Но все поддельное иль втуне серебро:
Плачь, смертный! плачь! Твое добро
В руке у Немезиды строгой!

2

Скалы чувствительны к свирели;
Верблюд прислушивать умеет песнь любви,
Стеня под бременем; румянее крови —
Ты видишь—розы покраснели
В долине Йемена от песней соловья...
А ты, красавица... Не постигаю я.

3

Взгляни: сей кипарис, как наша степь, бесплоден —
Но свеж и зелен он всегда.
Не можешь, гражданин, как пальма дать плода?
Так буди с кипарисом сходен:
Как он, уединен, осанист и свободен.

4

Когда в страдании девица отойдет
И труп синеющий остынет,—
Напрасно на него любовь и амвру льет,
И облаком цветов окинет.
Бледна, как лилия в лазури васильков,
Как восковое изваянье;
Нет радости в цветах для вянущих перстов,
И суетно благоуханье.

5

О смертный! хочешь ли безбедно перейти
За море жизни треволненной?
Не буди горд: и в ветр попутный опусти
Свой парус, счастием надменной.
Не покидай руля, как свистнет ярый ветр!
Будь в счастье—Сципион, в тревоге брани—Петр.

6

Ты хочешь меду, сын?—так жала не страшись;
Венца победы?—смело к бою!
Ты перлов жаждешь?—так спустись
На дно, где крокодил зияет под водою.
Не бойся! Бог решит. Лишь смелым он отец,
Лишь смелым перлы, мед, иль гибель... иль венец.

ПОДРАЖАНИЕ АРИОСТУ

La verginella è simile alla rosa *

Девица юная подобна розе нежной,
Взлелеянной весной под сению надежной:
Ни стадо алчное, ни взоры пастухов
Не знают тайного сокровища лугов,
Но ветер сладостный, но рощи благовонны,
Земля и небеса прекрасной благосклонны.

---

* Девушка подобна розе (*ит.*).

<ОТРЫВОК ИЗ ШИЛЛЕРОВОЙ ТРАГЕДИИ «МЕССИНСКАЯ НЕВЕСТА»>

Донна Изабелла, дон Эммануил и дон Цезарь (ее дети)

Д. Изабелла
(выступая с сынами)

Приникни с горней высоты,
Заступница печальных смертных,
И сердце удержи мое
В границах должного смиренья!
Я матерь: в радости могу,
Взирая на сынов, забыться
И жертвой гордости упасть.
Ах, в первый жизни раз
Их совокупно обнимаю;
До сей минуты вожделенной
Таила в сердце глубоко
Горячность верную к сынам,
Равно для матери бесценным!
В объятьях одного другой
Мне должен был казаться мертвым;
Два сына мне дала судьба,
Но сердце, их любить, одно...
Ах, дети, молвите: могу ли
Вас обоих равно обнять
В восторгах радости безмерной?
(к д. Эммануилу)
Не раню ль ревность я твою,
Сжимая Цезареву руку?
(к д. Цезарю)
Скажи, обидели ль тебя
Любви моей ко брату знаки?
Я трепещу: моя любовь
В вас злобы пламень раздувает!
Чего мне ждать? Вещайте, дети!
С какою мыслию стеклись?
Иль древняя вражда воспрянет,
Непримиримая и здесь,
В дому родителей священном?
Или за прагом меч и нож
И гнев, скрежещущий зубами,
Вас ожидают, несчастливцы?
Что шаг от матери, то смерть,
Что шаг, то новы преступленья!

Хор

Мир или злоба? Жребий не вынут;
Скрыто глубоко, что будет, от нас:
Меч иль оливу братья отринут —
Мы не трепещем и станем за вас!

Д. Изабелла

Какие злобны восклицанья!
Что мужи бранные хотят?
Или войну готовят здесь
У алтарей гостеприимных?
К чему мечи, когда с любовью
Здесь матерь обняла детей?
Или в объятиях ее
Страшитесь адския измены
И змий-предателей?.. Враги —
Так, не друзья — толпы наемных,
Слепые слуги мести вашей,
Раздор несущи по следам!
Нет, не друзья, не верьте им:
Не молвят доброго совета!
Одна боязнь и вечный страх
Куют им раболепны руки,
Всегда готовые на зло.
Вы научитесь, дети, знать
Сей род и низкий и строптивый:
Он кровожадный власти червь,
Он силы тайный поядатель!
О дети, сколь опасен мир:
Он полон лести и лукавства.
Какие узы прочны здесь?
Где постоянны человеки,
Поклонники корысти бренной?
Природа лишь одна верна
На якоре своем нетленном,
И счастлив тот, кому дает
Сопутником в сей жизни брата!

Хор

Други, вещала вам правду она!
Ей вся открыта сердец глубина,
Мы же, как снасти лишенные челны,
Летим на погибель в житейские волны!

Д. Изабелла
(к д. Цезарю)

О ты, прижавший меч во длани,
Склонивший ниц ревнивый взор,
Воззри окрест и будь судья:
Кто брату красотой подобен?
(к д. Эммануилу)

Ответствуй мне: из сей толпы
Кто Цезаря затмит красою?
Вы оба, юноши, равно
Наделены рукой природы.
Молю, воззрите на себя,
Уверьтесь в истине очами!
Из тысячи твоя рука
Его, как друга бы, прижала
И братом сердце нарекло!
О, ослепление страстей,
Плод ревности и злости адской!
Когда судьбина в колыбели
Друг другом наделила вас,
Забыв родства и крови узы,
В кипящих, как волкан, страстях,
К ногам повергнув дар природы,
Клевретов нарекли друзьями,
Врагам любовью поклялись!

Д. Эммануил

О, выслушай меня!
Д. Цезарь
(вступая в речь)
Дай слово
Мне молвить, матерь...

Д. Изабелла

Нет!
Слова не укротят вражды:
Здесь месть с обидою взаимны.
Здесь ненависть таится глубоко.
Кто знает, где огонь сей адский,
Объявший пламенем сердца,
Огонь ужасный, сокровенный,
Одетый лавой древних дней?
Обида с юной жизни здесь
Растет, мужает беспрестанно,

И муж за юношу — нам враг!
Увы, от младости безумной
Вы, братья, дышите на зло!
Лета б должны обезоружить
Враждующих. Воззрите вспять:
Где ненависти первой семя?
Среди гремушек, детских игр
И лепетания младенцев,
Там зла виновное начало,
Там горести источник вечный!
Но устыдитеся, вы — мужи!
(Берет обоих за руки.)
Желанный мною час настал!
Сойдитесь, милые! Решитесь
Вины взаимные забыть!
В душе великой, благородной
Прощенье выше всех побед.
В могилу древнего отца
Повергните вражды ехидну,
Готовую известь безумных;
Любви и миру дайте жизнь
И обновитеся сердцами!
(Отступает шаг назад, как будто желая дать место братьям приблизиться взаимно; но они оба неподвижны, взоры их устремлены в землю.)

Хор

Братья, почтите матери волю!
Слово святое вам зарекла:
Кончить годину мести и зла.
Братья, иль снова к ратному полю?
Слепо мы делим ваши судьбы:
Вы — властелины, мы же — рабы.

Д. Изабелла
(В молчании, несколько минут напрасно ожидая примирения братьев, говорит с чувством глубокой горести.)

Довольно! силу слов
И заклинаний истощила!
В могиле тот, кто мог владеть
Строптивыми сынов сердцами.
Что я? Увы, печальная вдова!
Мой глас — бессильный глас молитвы!
Довольно! Полная свобода:
Отдайтесь демону вражды

На гнев, на новые обиды!
Чего стыдиться вам? Жены,
Сих стен, сих алтарей безмолвных?
Под сенью их, где ваши колыбели
На радость некогда стояли,
Братоубийством осквернитесь,
Облейтесь кровию своей
И грудь на грудь, в неистовом пылу,
Как Полиник, как Этеокл проклятый,
Друг друга задушите вы
В объятиях, достойных ада... *

Хор

О, ужас, что матерь вам здесь зарекла!
Годину печали, тревоги и зла,
А в жизни грядущей и скрежет и муки!
Да будут же чисты от гибели руки,
Да с миром вас примет родителей дом!
Смиритесь, о братья, есть на небе гром!

Д. Цезарь
(не смотря на брата)

Ты — старший брат, начни же речь,
Я отвечать тебе готов!

Д. Эммануил
(в подобном положении)

Сам молви ласковое слово,
Ты — младший, дай любви пример!

Д. Цезарь

Не потому, что я виновен
Иль брата старшего слабей?

Д. Эммануил

Всем доблесть рыцаря известна:
Ты скромен, следственно, не слаб.

Д. Цезарь

Или так мыслишь ты о брате
Воистину?

---

* Здесь нескольких стихов недостает. *(Прим. П. А. Вяземского.)*

Д. Эммануил

Не знаю лжи;
Как ты, душою выше чванства.

Д. Цезарь

Презренья не могу снести;
Но ты в пылу жестокой распри
О брате низко не вещал!

Д. Эммануил

Моей ты смерти не алкал.
Я знаю: ты казнил монаха,
Что мне готовил тайно яд.

Д. Цезарь

О, если б брата прежде знал!
Что было... верно б не случилось!

Д. Эммануил

Не зная сердца твоего,
Я матерь горестно обидел.

Д. Цезарь

Ты мне жестоким был описан.

Д. Эммануил

Несчастие: князей клевреты
Владеют тайно их душой!

Д. Цезарь
(быстро)

Всему виновники они...

Д. Эммануил

Два сердца разлучивши злобой...

Д. Цезарь

Наветом, хитрой клеветой...

Д. Эммануил

И ядом лести и коварства...

Д. Цезарь

Питая яростную рану...

Д. Эммануил

Нас сделали рабами их...

Д. Цезарь

Игралищем страстей чужих.

Д. Эммануил

Так, правда! чуждый друг неверен!

Д. Цезарь

Опасный: матерь нам вещала.

Д. Эммануил

Так дай же руку, милый брат!

Д. Цезарь

Она твоя навеки, брат!

Д. Эммануил

Чем боле на тебя смотрю,
Тем боле, с сладким удивленьем,
Сретаю матери черты...

Д. Цезарь

Вглядись, как сходен ты со мной:
Бесценное для брата сходство!

Д. Эммануил

Ты ль это, брат? Твои ли речи
И ласки к младшему, скажи?

Д. Цезарь

Ты ль это, юноша прелестный,
Столь злобный некогда мне враг?

Д. Эммануил

Как права, требуя коней
Из славного отца наследства,
Ты рыцаря прислал за ними,
И я дал рыцарю отказ.

Д. Цезарь

Они твои, не мыслю боле...

Д. Эммануил

Нет! нет! твои — и колесница...
Прими как брата первый дар!

Д. Цезарь

Приму, но ты сей твердый замок,
Воздвигнутый над морем шумным,
Вражды источник обоюдный,
Прими как дань любви моей!

Д. Эммануил

Я не приму, но вместе там,
Как братья, станем жить отныне!

Д. Цезарь

Ты прав, к чему добром делиться,
Когда два сердца заодно?

Д. Эммануил

Союзом будем мы сильнее;
Против врагов, против судьбины
Нам дружба неизменный щит!

Д. Цезарь

Отныне мой ты стал навеки!

Хор

Но что мы, клевреты, стоим в неприязни?
Примеры благие дают нам князья:
Сомкнем же десницы без низкой боязни
И будем отныне навеки друзья!

* * *

Жуковский, время все проглотит,
Тебя, меня и славы дым,
Но то, что в сердце мы храним,
В реке забвенья не потопит!
Нет смерти сердцу, нет ее!
Доколь оно для блага дышит!..
А чем исполнено твое,
И сам Плетаев не опишет.

* * *

Ты знаешь, что изрек,
Прощаясь с жизнию, седой Мельхиседек?
Рабом родится человек,
Рабом в могилу ляжет,
И смерть ему едва ли скажет,
Зачем он шел долиной чудной слез,
Страдал, рыдал, терпел, исчез.

* * *

Храни ее, святое Провиденье!
Как ясный день, чиста она душой!
Да будет с ней твое благословенье!
Да будет с ней небесный Ангел твой!

В святом кругу своей семьи прекрасной
На радость нам пускай цветет она!
В ее судьбе, с ее душой согласной,
Пусть будет все любовь и тишина!

Мы ждем тебя, день завтрашний, священный!
К нам гением надежды ниспустись!
Прекрасного символ будь неизменный!
И ясен к нам стократно возвратись!

ПОДРАЖАНИЕ ГОРАЦИЮ

Я памятник воздвиг огромный и чудесный,
Прославя вас в стихах: не знает смерти он!
Как образ милый ваш и добрый и прелестный
(И в том порукою наш друг Наполеон),
Не знаю смерти я. И все мои творенья,
От тлена убежав, в печати будут жить.
Не Аполлон, но я кую сей цепи звенья,
В которые могу вселенну заключить.
Так первый я дерзнул в забавном русском слоге
О добродетели Елизы говорить,
В сердечной простоте беседовать о боге
И истину царям громами возгласить.
Царицы, царствуйте, и ты, императрица!

Не царствуйте, цари: я сам на Пинде царь!
Венера мне сестра, и ты моя сестрица.
А Кесарь мой — святой косарь.

НАДПИСЬ К ПОРТРЕТУ ГРАФА БУКСГЕВДЕНА, ШВЕДСКОГО И ФИНСКОГО. ТА ЖЕ НАДПИСЬ К ОБРАЗУ ГРАФА ХВОСТОВА-СУВОРОВА

Премудро создан я, могу на свет сослаться;
Могу чихнуть, могу зевнуть;
Я просыпаюсь, чтоб заснуть,
И сплю, чтоб вечно просыпаться.

14-го мая 1853 года.
Вологда. Вологодская удельная
контора, квартира г. Гревенса





Dubia

ЛЕВКАД

(Повесть, соч. Парни)

Я родился в Етолии на берегах реки Ахелоя. Мне было шестнадцать лет, когда в первый раз я увидел юную Миртею, увидел прекрасную и сердце отдал ей навеки. С того времени все игры младенчества забыты. Часто ходил я мечтать в рощу, лежащую близ селения; всегда останавливался у подножия статуи Ерота и со вздохом произносил имя Миртеи. Однажды вечером бросил я розу к подножию истукана; поутру нашел ее на том же месте, но к ней была привязана другая роза, еще нераспустившаяся и недавно сорванная. Я затрепетал от радости; тысячи мыслей кружились в голове моей, и надежда освежила сердце, подобно росе, падающей на цветок увядший. Украсив венками подножие статуи, я возвратился в селение. Ночь помрачила лазурь небесную; с нею прилетели сладостные мечты; но я беспокоился, томился, и сны мелькали, не останавливаясь над моим обиталищем. Наступил день; я неоднократно подходил к хижине Миртеи; мне хотелось увидеть ее, упасть к ногам ее, поклясться в вечной любви, в любви достойной ее прелестей; но ах, тщетно! — я увидел женщину холодную; строгой вид ее пугал мою молодость; печально пошел я в рощу, и сам не знаю как очутился подле статуи. Вижу, прекрасная девушка привязывает венки к цветам моим! Тихонько подкрадываюсь, беру за руку; она вскрикнула, оборотила ко мне голову, опустила глаза в землю и закраснелась. Я сказал, упавши к ногам ее: «Люблю тебя, Миртея! давно люблю тебя и клянусь богом, который нас видит и слышит, что любовь моя будет вечная». Миртея полуоткрытыми устами, притая дыхание, голосом, подобным сладостному веянию Зефира, отвечала: «Приемлю твою клятву и взаимно кля-

нусь, клянусь богом, который нас видит и слышит, что единственное желание мое — тебе угождать вечно».

Я с нею виделся на этом месте каждое утро и каждой вечер; говорил ей о любви своей; она слушала; я еще говорил, и она еще слушала, и всегда с новым удовольствием. Я прижимал руку ее к своему сердцу; уста мои иногда касались ее розовых губок; я наслаждался благовонным ее дыханием... Излишняя смелость могла бы оскорбить Миртею; она прогневалась бы, и я умер бы от горести.

Однажды я нашел ее печальною. «Боги мне дали строгую мать,— сказала Миртея,— боюсь, чтоб она не причинила нам несчастия, страшусь...» Поцелуй остановил ее жалобы. «Верь мне, Миртея, предусмотрение горестно и бесполезно! Настоящее наше; будущее покрыто мраком неизвестности: почто поднимать страшную завесу?»

На другой день поутру уведомляюсь, что Миртея вступает в брак с богатым гражданином Фермоса. Удар грома был бы для меня не столько ужасен. Пришед в себя, я все еще не хотел верить моему несчастию. Бегу, лечу к Миртее. Двери ее увешаны цветочными цепями, розы рассыпаны у порога — несомнительный знак торжества брачного! Сердце мое закипело от гнева; срываю цветы, топчу их ногами... Бегу в рощу, свидетельницу наших радостей; разбиваю статую Ерота и удаляюсь от родины, проклиная места ненавистные.

Ни время, ни отдаление не могли погасить любви моей; повсюду образ вероломной преследовал меня! Забуду, забуду ее! — говорил я в отчаянии,— забуду или умру! — и пошел путем, ведущим к Левкадскому мысу.

Прихожу; бесчисленный народ покрывает берег моря. Жрецы совершают обряд излияния, приносят на жертву двух горлиц, взывают к Нептуну и садятся в ладьи, приготовленные для спасения жизни любовников, низвергающихся в пучину.

Один юноша, по имени Миртил, подходит к берегу с челом, поникшим от печали. Прелестная Цефиза идет к берегу же, сопровождаемая хвалами народа. Громкие восклицания в честь красавицы пробуждают Миртила от задумчивости. «Как! — говорит он,— и ты, одаренная такими прелестями, и ты на заре жизни нашла ветреного любовника?» — «Где они верны?» — «Ах, я знаю одного, который постоянен, очень постоянен».— «Редкой пример!» — «Редкой, но возможной; смотри, к чему ведет

меня постоянство!» — «Но разве ты не мог быть осторожнее в своем выборе?» — «А ты?» — «Я обманулась, и бездонные воды меня накажут!» — «И я решился погибнуть в шумной пучине. Но признайся, красавица, что это безрассудно».— «О конечно! Я уверена, что он один, нарушитель клятвы, достоин такой участи».— «Ах, и моя обманщица одна должна бы погибнуть в морской пучине».— «Накажу ли его моею смертию? нет, это новая победа для его тщеславия!» — «Не лучше ли отомстить ему другим образом?» — «Согласна...» — «Угодно ли, чтоб я был участником во мщении?»

Цефиза, не отвечая ни слова, подала руку Миртилу, и оба удалились.

Мы увидели одного жителя Евадии. Смерть похитила у него супругу, прекраснейшую и любимую им страстно. Жизнь была ему бременем несносным, и он кричал сидящим в лодках людям: «Если душа ваша знает сладость сожаления, не спасайте меня. Пусть волны морские соединят меня навеки с моей возлюбленной. Заклинаю вас именем всех богов, не спасайте меня!» Сказал и бросился в море. Но сильная рука его рассекает волны, и он счастливо выплывает на берег.

Место его заступил молодой Афинянин. Он держал в одной руке портрет, а в другой локон волосов каштановых. Золото и перлы блистали на его одежде. Волосы его были опрысканы благовонными мастиками; нега изображалась в походке его и во всей наружности. «Циниска обожает меня; чувствую, что и я любить ее начинаю. Пора, пора ее оставить!» — Сказал и бросил в море портрет и локон. Возвращаясь назад, напевал он вполголоса гимн Вакху и с улыбкою посматривал на женщин.

Являются две женщины из Сиракуз, обе знаменитые своею породою. Румянец стыдливости не играл на их ланитах; взгляды их были смелые, как у атлетов. Они обходят кругом скалу, идут на отлогой песчаной берег; там, скинув богатую обувь свою, слегка погружают ноги в воду и благодарят Нептуна за исцеление. Возвратясь в толпу, одна берет за руку Афинского актера, другая богатого купца из Самоса.

Очи всех зрителей устремились на юную чету любящихся, которые шли, держась за руки и проливая слезы. Они обнимались, как нежные друзья, а между тем все приближались к стремнине мыса. Почтенный старец останавливает их: «Дети! что вы хотите делать? что причиною вашей скорби?» — «Ах, мы любим друг друга, вот все

наше несчастие! Любовь мучит нас день и ночь; одна мысль занимает нас; сон не смыкает очей; улыбка исчезла на устах; нет радости в сердце; тайная горесть снедает его. Разлука нам ужасна; это медленная смерть! беспрестанно ищем друг друга, а увидевшись, еще более страдаем; слезами растворяются наши поцелуи; мы боимся, чего? сами не знаем; ревность мучит нас: одним словом, любовь причина всех наших горестей, и мы хотим вылечиться от этой ужасной болезни». Старец улыбнулся и сказал: «Там на горе видите ли капище? оно посвящено Гименею. Войдите в него, и горести ваши исчезнут».

Чета послушалась старца. На месте ее увидели молодую вдову. Печален был взор ее, печальна была ее одежда. Она вздохнула, приблизилась к скале и — бросила взор на пространное море: «Хвала богам, вечная хвала Нептуну; я *исцелена!*»

Является славная Сафо. Толпы зрителей окружили песнопевицу; громкие похвалы, вопли сострадания раздались по берегу. Она в юности своей оскорбила любовь и природу. Любовь ужасна в своем мщении. Огонь пылал в груди печальной Сафо, но Фаон был хладен, как лед. Лира, усовершенствованная ею, лира, наперсница печали, блистала в руках Лезвийской Музы; лавры и мирты осеняли ее голову; медленно и спокойно она приблизилась, воспевая последнюю песнь любви, подобно величественному лебедю Меандра, и с края мыса бросилась в море... Волны сокрыли несчастную. Одни утверждали, что боги превратили ее в лебедя; другие — что Нереиды приняли ее лилейными своими руками и проводили до дна морского. Как бы то ни было, мы более не видали бессмертной Сафо.

Толпы зрителей редели и наконец рассеялись. Я приблизился к скале. Сердце мое билось, и я не решался... Мог ли я бояться смерти? Нет, я боялся этой хладной нечувствительности, которую мы называем равнодушием. Перестать любить — это ужасно! и я готов был остаться жить и мучиться. Но рассудок побеждает сердце; глаза мои измеряют пространство, и я хотел уже броситься... Но кто-то удерживает меня за полу туники; оборачиваюсь, вижу Миртею, бледную, чуть дышащую. Она в моих объятиях! «О Миртея, ветреная и вечно милая! зачем ты в сих местах?» — Очи ее раскрываются медленно. «Мог ли ты меня подозревать, неблагодарный! ты ушел, не выслушав моего оправдания. В тот день, когда жестокая мать приговорила меня на жертву, в день твоего отъезда,

я искала тебя в роще, искала повсюду, и везде находила следы твоего отчаяния. Я хотела бежать с тобою из дому родителей, жить и умереть вместе. Под благодетельным покровом ночи возвратилась я в селение к твоей хижине. Отец твой сидел у дверей на пороге; он плакал, звал сына своего, возлюбленного сына, и слезы его лились ручьями. Я удалилась, искала тебя тщетно и пришла сюда, влекомая отчаянием, просить Нептуна об излечении меня от сердечной болезни».

Надобно было чувствовать мои мучения, чтоб вообразить себе мое блаженство. Оно длится еще и теперь; оно кончится с жизнию. Я не забыл слов старца, но обещал Ероту никогда не входить в храм Гименея.

ОТРЫВКИ ИЗ САФЫ

1

Блажен, как жители небесны,
Тот, кто всегда с тобой сидит,
Всегда твой слышит глас прелестный,
Всегда усмешки милы зрит,
Улыбки ясным дням подобны!

Они другого восхищают;
Но мне смертельны — рвут мой дух;
А как уста твои вещают:
Нейдет, еще нейдет мой друг;
Тогда едва дышу, немею,

Тогда язык мой цепенеет;
То в жилах тонкий огнь бежит,
То свет в очах моих тускнеет,
Иль под челом туман висит,
Иль в скуке шум глухой жужжит;

То пот холодный выступает,
То дрожь объемлет весь состав;
Бой жил себя позабывает;
Сухой травы бледнее став,
Я вяну, млею, обмираю...

2

Уже вечерняя звезда во тьме блистает
И прочих жителей к работам призывает;
Но мне, любезна мать, никак не можно
прясть;
Лютейшая мое терзает сердце страсть.
Блистающих Плиад уводит
С собой сребристая луна.
Настала полночь,— час проходит;
А я — еще сижу одна...

СРУБЛЕННОЕ ДЕРЕВО

(Подражание Мелендецу)

Долины царь! о древний вяз!
Где слава дней твоих зеленых?
Где листьев густота, где тень, котора в оных
Скрывалась притаясь,
И вдруг потом, дыша прохладой,
Служила в полдень нам отрадой?
Не слышно более, чтоб гордая твоя
Глава от ветров трепетала.
Ты здесь родился, взрос, вода сего ручья,
Охотну дань платя, твой корень орошала;
И зелень нежную лелеяла, питала;
Но вскоре, возгордясь,
Бежал от мягкой ты постели;
Как будто бы земной стыдяся колыбели,
Распространясь
Над всеми в воздухе широко,
Подъял главу высоко!

Когда весна тебя озеленяла вновь
И птички, чувствуя любовь,
Чтоб свить себе гнездо, кустарников искали,
Тогда к тебе они стадами прилетали,
Садились по сучкам
И там
Резвились, прыгали, шумели,
Любви всесильной гимны пели.
Едва с улыбкою румяная заря
Лучами первыми поток живописала,
Как, нетерпением горя,

С подругами к тебе пастушка прибегала.
Они тут пением своим,
Веселым, легким, стройным,
Предметам милым, дорогим
Давали знать, что ждут их с сердцем беспокойным.
Под тенью скромною твоей,
От глаз ревнивых в удаленьи,
Любовники, тая огонь в душе своей,
Делили радость и мученья!..
Ты видел, как иной страдал,
И рок свой проклинал, немилосердный, злобный;
Иной надеялся, страшился и — молчал.
Ты вздохов пламенных свидетель был безмолвный,
И *все* таинственной завесой покрывал.

В полуденный час лета знойный
К тебе же приходил и загорелый жнец,
(Имея на главе из васильков венец)
Вкушать отрадный сон покойный;
И защитив себя от солнечных лучей,
Под густотой твоей,
На время забывал все горести, заботы.
Когда же наступал способный час работы,
С веселием в душе на нивы поспешал
Вязать колосья золотые
(Одни для жизни сей сокровища прямые!)
И пеньем радостным он труд свой услаждал.
. . . .

Увы! небесный огнь лишил тебя навек
Одежды изумрудной,
И вскоре дровосек,
Свершивши подвиг трудной,
С секирой грозною в руках,
На брег низвергнет сей... О страх!
Я чувствую в душе невольно содроганье!..

Величественный, гордый вяз!
Прости, прости в последний раз!
Прости листков твоих приятное шептанье,
И вы простите имена,
На твердой сей коре рукой любви сплетенны.—
Одно мгновение!.. и где остатки тленны?..
Ах! тщетно для тебя настанет вновь весна;
Ты умираешь с тем, чтоб ввек не возрождаться!..

Уж члены все твои разбросаны в траве,
И возносившейся ко облакам главе
Во прахе суждено валяться!..
Теперь твой безобразный пень
Пугает только птиц; все мимо пролетают;
Пастушки с песнями нейдут к тебе под сень,
Но встречи тщательно с тобою избегают!
Лишь горлица одна, в отчаянье, в тоске,
Лишась подруги, сердцу милой,
Здесь сидя на песке,
С печалию твоей сливает глас унылой;
И это вдаль несет ее протяжной тон...
Я сам, величие твое воображая,
И дни счастливые протекши вспоминая,
Со вздохом испускаю стон.

Жестокая тоска мятет меня, сражает;
Мне мнится, будто твой засохший пень вещает:
«Все гибнет! гибнет все!»... Так что ж такое жизнь?
. . . .

ЭПИГРАММА

«Не годен ни к чему Глупницкого журнал».
— Зоилы дерзкие, вы ль это говорите?
Неблагодарные, я разве не видал,
Когда, бывало, вы табак со мной курите,
Когда что завернуть понадобится вам,
Журнал Глупницкого всегда тут пригодится.
Но я вас накажу: ни нумера не дам
Журнала этого, когда вам не заспится.

ПЕСНЯ

Перестану лиру томну
К песням строить навсегда;
Буду грусть питать безмолвну:
Пусть она со мной одна.

Кто живет в разлуке с милой,
Белой свет тому не мил;
Бродит тот с душой унылой
Средь людей, как средь могил.

Нет ее — и льются слезы,
Вид природы всей увял;
С ней — душистей были б розы,
С ней — свободно б я дышал.

Стоит Надиньке прелестной
Улыбнуться и взглянуть;
Ах! один сей взор чудесной
Может жизнь в меня вдохнуть.

Октября 1, 1810

* * *

Кутузов, наш герой, сам бог тебя спасал
В дни мира — от Прелест, в бою — от пуль французских;
Но кто тебя спасет в Беседе от похвал
    И од Славено-Русских?

СРАВНЕНИЕ САНКТПЕТЕРБУРГСКОЙ РОДИМОЙ СЛОВЕСНОСТИ С ИНОЗЕМНОЮ

Кто наши трагики — Грузинцов, Висковатов.
Кто лирик наш? — Мурза Шихматов.
Кто Депрео, Вольтер? — Шуб краденых певец.
Кто Фонтенель, Томас? — Захаров молодец.
Кто наш Фрерон? — Анастасевич.
Гробокопатель Юнг? — Станевич.
Ламотт, Шолье, Лафарг? — Всех перешиб Хвостов!
Кто Мармонтель, Лагарп? — что за вопрос! Шишков!
Кто Сен-Реаль, Вертот? — Гераков, внук Биаса.
Такая честь! увы! для Росского Парнаса!

ВЕСНА

Снова к нам весна с небес,
Как прелестный гость, слетела,
И луга, и спавший лес
В зелень пышную одела.
От оков освободясь,
И покойный, и счастливый,

Побежал ручей игривый,
По долине разрезвясь.

Воздух полн благоуханьем;
Гордо бродит тучный вол;
Овцы, прядая, блеяньем
Оглашают злачный дол.
В рощах слышны птичек трели,
В речках пение Наяд;
Звуки тихие свирели
На луг бархатный манят.
Девы пляшут в хороводе
Иль, сплетясь рука с рукой,
Гимны громкие свободе
И Помоне молодой
Дружным хором воспевают.
И венками из цветов,
Закрасневшися, венчают
Милых сердцу пастухов...

Всюду счастье, всюду радость;
Все из полной чаши пьет
И любви и неги сладость;
Все с природой вновь цветет.
Увядающий, угрюмый,
Я один с тоской брожу
И напрасно хладной думой
Счастье прежнее бужу.
Добужусь ли, безотрадной,
Когда с Лидою вдвоем
Спит оно в могиле хладной
Непробудным, мертвым сном.

* * *

Пускай Фома себе бранится! —
Нам на Фому грешно сердиться!
Он вял, и бестолков, и глуп,
И, как тупая бритва, туп,—
А хочет все остриться.





Комментарии



Настоящее издание сочинений К. Н. Батюшкова представляет читателю все стороны его творчества: стихотворения, прозаические опыты, литературно-критические и историко-литературные статьи, переводы, записные книжки и письма. Единственной попыткой собрать воедино наследие писателя были вышедшие более ста лет назад «Сочинения» в трех томах (СПб., 1885—1887), изданные его младшим братом П. Н. Батюшковым и откомментированные выдающимися филологами Л. Н. Майковым и В. И. Саитовым. Издание это, несмотря на текстологическое несовершенство, и по сей день не утратило своей научной ценности: главным образом, благодаря большой полноте и содержательности комментариев. В однотомниках, подготовленных Д. Д. Благим (М.— Л., 1934), Б. С. Мейлахом (Л., 1941), Б. В. Томашевским (Л., 1948), Н. В. Фридманом (М.— Л., 1964), были разработаны текстологические принципы публикации стихотворного наследия писателя: введены новые тексты, уточнен свод вариантов, предложены новые комментарии. В последнее время появился ряд изданий, в которых представлены проза Батюшкова и его письма: «Опыты в стихах и прозе» в серии «Литературные памятники», подготовленные И. М. Семенко (М., 1977), сб. «Нечто о поэте и поэзии», подготовленный В. А. Кошелевым (М., 1985), «Избранные сочинения», подготовленные А. Л. Зориным и А. М. Песковым (М., 1986) и включившие письма Батюшкова, не вошедшие в «майковское» издание. В ряде научных публикаций (Н. В. Фридмана, В. А. Кошелева, Л. В. Тимофеева, И. Т. Трофимова, С. А. Кибальника, Н. Н. Зубкова и др.) были уточнены отдельные проблемы текстологии и комментирования произведений и писем Батюшкова.

Настоящий том состоит из двух разделов. В первом разделе воспроизводится единственное издание, в работе над которым принял участие сам автор —«Опыты в стихах и прозе» (СПб., 1817). Тексты «Опытов...» печатаются с учетом позднейшей стилистической правки, частично произведенной Батюшковым в 1820—1821 гг. Второй раздел включает произведения, не вошедшие в «Опыты...»; тексты

этого раздела расположены в хронологическом порядке. Особый подраздел — Dubia — составили произведения, которые могут быть включены в состав творческого наследия Батюшкова лишь с большой долей вероятности. Стихотворные вставки в дружеские письма (том 2), в тех случаях, если они не предназначались к публикации самим поэтом, в особый отдел не выделяются и публикуются в составе эпистолярной части.

Все тексты печатаются по последним авторским редакциям (печатным или рукописным). Характер издания не позволяет привести полного свода вариантов — в комментариях отмечены лишь наиболее существенные. В связи с тем, что Батюшков почти никогда не обозначал дату написания своих произведений (датировка многих из них вообще условна), мы не вводим датировку в состав текста, лишь оговаривая ее в комментариях. Исключением являются те немногие случаи, когда дата проставлена самим автором.

Комментарии содержат справки о первых публикациях, краткие историко-литературные и реальные пояснения; в необходимых случаях дана мотивировка даты и атрибуции. Сведения об упоминаемых в тексте исторических лицах вынесены в аннотированный именной указатель (том 2), о мифологических персонажах и названиях — в словарь мифологических имен и названий (наст. том).

Орфография и пунктуация текстов приближены к современным нормам; в необходимых случаях сохранены орфографические и синтаксические архаизмы, отражающие разговорный и литературный язык эпохи, а также индивидуальную манеру Батюшкова-писателя.

СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Амф — «Амфион».

АС — Сочинения (под ред. Д. Д. Благого). М., Academia, 1934.

Арх., 1979 — Сочинения (подг. текста В. В. Гуры и В. А. Кошелева).— Архангельск, Сев.-Зап. кн. изд-во, 1979.

БТ —«Блудовская тетрадь»; авторизованные копии текстов Батюшкова, подготовленные им для Д. Н. Блудова в 1812 г. (*ИРЛИ*, ед. хр. 9654; «первая» *БТ*) и в 1814 г. (*ГПБ*, ф. 50, ед. хр. 11; «вторая» *БТ*).

ВЕ —«Вестник Европы».

ВЛ —«Вопросы литературы».

ГИМ — Отдел письменных источников Государственного исторического музея.

ГПБ — Отдел рукописей Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.

ГБЛ — Отдел рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина.

ДВ —«Драматический вестник».

Ежег. — Ежегодник рукописного отдела Пушкинского дома на 1980 г. Л., 1984.

ЖРС —«Журнал российской словесности».

Изв.— «Известия АН СССР». Серия литературы и языка.

Изд. 1834 — Сочинения в прозе и стихах, ч. 1—2. СПб., 1834.

ИРЛИ — Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР.

ЛС —«Любитель словесности».

М — Сочинения (под ред. Л. Н. Майкова и В. И. Саитова), т. 1—3. СПб., 1885—1887.

Москв. —«Москвитянин».

Нечто — Батюшков К. Н. Нечто о поэте и поэзии. М., 1985.

НРЛ —«Новости русской литературы».

О —«Опыты в стихах и прозе», ч. 1—2. СПб., 1817.

Отчет — Отчет Императорской публичной библиотеки за 1885 год. Пб., 1898.

ПЗ —«Полярная звезда».

ПОМ —«Памятник отечественных муз» на 1827 г. Пб., 1827.

ПРП —«Пантеон русской поэзии», ч. 1—3. СПб., 1814; ч. 4—6. СПб., 1815.

Пр., 1986 —Избранные сочинения (сост. А. Л. Зорина и А. М. Пескова). М., Правда, 1986.

ПССт — Полное собрание стихотворений (под ред. Н. В. Фридмана). М.— Л. Сов. писатель, 1964; Б-ка поэта. Большая серия.

РА —«Русский архив».

РВ —«Русский вестник».

РЛ —«Русская литература».

РМ —«Российский музеум».

РС —«Русская старина».

СВ —«Северный вестник».

СО —«Сын Отечества».

СорП — «Соревнователь просвещения и благотворения».

СОСП — Собрание образцовых русских сочинений и переводов в стихах, ч. 1—3. СПб., 1815; ч. 4—5. СПб., 1816.

С-ПВ — «Санкт-Петербургский вестник».

СРС — Собрание русских стихотворений, ч. 1—5. М., 1810—1811.

СЦ —«Северные цветы».

ТОЛРС —«Труды общества любителей российской словесности».

Цв —«Цветник».

ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства СССР.

ЦГАОР — Центральный государственный архив Октябрьской революции.

ОПЫТЫ В СТИХАХ И ПРОЗЕ

Работу над *О* Батюшков начал в сентябре 1816 г., по предложению Н. И. Гнедича, выступившего издателем книги. Прозаический том был, в основном, подготовлен автором уже к концу сентября (в ноябре был послан для его «наполнения» очерк «Вечер у Кантемира»; в марте 1817 г. — «Гризельда»). Основной корпус стихотворного тома Гнедич получил 27 февраля 1817 г. (в мае были посланы элегии «Умирающий Тасс» и «Беседка муз», в начале июля — «К Никите»). Существует распространенное заблуждение, что второй том *О* был составлен не столько автором, сколько издателем. Основанное на вырванной из контекста фразе Батюшкова о присланных стихах («размещай их, как хочешь»), оно никак не согласуется с многочисленными указаниями Гнедичу, свидетельствующими о глубокой заинтересованности Батюшкова в составе предполагаемого издания и порядке следования произведений. Так, приехав в Петербург в августе 1817 г., поэт заново просмотрел состав уже отпечатанного второго тома: по его распоряжению, из книги были вырезаны стр. 199—200, где содержалось несколько эпиграмм и стихотворение «Отъезд». В первоначальном варианте Батюшков предполагал закончить том стихов сказкой «Странствователь и Домосед»; в результате же переделок завершающими стали три элегии: «Переход через Реин», «Умирающий Тасс» и «Беседка муз». По традиции, это объясняют условиями печатания *О* — но это не соответствует действительности: «Переход через Реин» был послан вместе с основным сборником стихов, а «безделка» «К Никите», отправленная 5 месяцев спустя, оказалась напечатанной в соответствующем месте.

В 1819—1821 гг. (во время пребывания в Италии и Германии) Батюшков, задумав новое издание стихотворений, предпринял правку второго тома *О*, которая свелась к следующему: 1) зачеркнуты 10 стихотворений («Тибуллова элегия III», «Веселый час», «К П<ети>ну», «Сон воинов», «Сон Могольца» и пять эпиграмм: I, II, III, VI и X); 2) введен новый раздел: «Переводы из Антологии», в которой предполагалось включить 13 уже напечатанных переводов и 6 «Подражаний древним», вписанных на чистых страницах книги (с. 232, 242—243); 3) в качестве вступления к сборнику введена «Речь о влиянии легкой поэзии на язык», подвергшаяся значительной стилистической правке; 4) зачеркнута заключительная фраза предисловия от издателя («Издатель надеется...»); 5) в текст стихотворений «Надежда», «На развалинах замка в Швеции», «Элегия из Тибулла», «Тибуллова элегия III» (впоследствии зачеркнутого), «Гезиод и Омир, соперники», «К другу», «Послание к Т<ургене>ву», «К Никите», «Надпись на гробе Пастушки» внесены стилистические исправления; 6) на последней странице (с. 256) вписана «Надпись для гробницы дочери М<алышевой>; вписаны и затем зачеркнуты

названия девяти стихотворений, из которых поддаются прочтению только четыре: «Воспоминания Италии», «Море», «Судьба поэта», «Псалмы»; 7) в стихотворениях «К друзьям», «Воспоминания. Отрывок», «Выздоровление», «Мщение», «Тень друга», «Разлука», «Таврида», «Странствователь и Домосед», «Умирающий Тасс» исправлены типографские ошибки; 8) сняты подзаголовки «Подражание Касти» в стихотворениях «Счастливец» и «Радость»; 9) зачеркнуты примечания к элегии «Гезиод и Омир, соперники» и последний абзац в примечаниях к элегии «Умирающий Тасс» (*ГПБ*, ф. 50, ед. хр. 18). Наиболее последовательно эта авторская правка учтена в *Арх., 1979.* Однако еще Д. Д. Благой отметил, что эту правку «нельзя рассматривать как окончательную редакцию нового издания, а лишь как предварительную наметку к нему; в процессе дальнейшей подготовки воля поэта могла неоднократно меняться» (*АС*, с. 442). Поэтому в настоящем издании учтены лишь стилистические исправления Батюшкова; состав *О*, оформившийся в 1817 г., оставлен без изменения.

ЧАСТЬ I. *ПРОЗА*

Цензурное разрешение (цензор И. Тимковский) — 30 декабря 1816 г. Том вышел в свет в начале июля 1817 г. Эпиграф — из «Опытов» М. Монтеня (кн. II, гл. 18 «Об изобличении во лжи»). *О* открывались следующим предисловием: «В двух сих книжках помещены почти все произведения г. Батюшкова в стихах и прозе, рассеянные по разным периодическим изданиям, и присоединены еще новые, нигде не печатанные. Говорить об них в предисловии я почитаю излишним. Скажу только, что случай, доставивший мне средства предпринять сие издание, я почитаю приятнейшим в жизни, ибо уверен, что удовлетворю желание просвещенных любителей словесности. Н. Гнедич».

Речь о влиянии легкой поэзии на язык, *читанная при вступлении в «Общество любителей российской словесности»* в Москве 17 июля 1816.— Написано в апреле — мае 1816 г. Впервые: *ТОЛРС*, 1816, ч. VI, с. 35—62 (без авторских примечаний). Печатается по тексту *О*, с учетом стилистической правки, сделанной автором в 1820—1821 гг.; правка не была доведена до конца, что выразилось, в частности, в колебаниях Батюшкова относительно примечаний к тексту: согласно одной помете, они зачеркнуты (примечание «А»), согласно другой — оставлены (см.: *ГПБ*, ф. 50, ед. хр. 18). На заседании Общества любителей российской словесности при Московском университете «Речь...» была зачитана Ф. Ф. Кокошкиным 26 мая 1816 г. Дату

«17 июля» автор поставил, вероятно, в память о собственном посещении Общества. К этой «Московской Беседе» Батюшков относился весьма снисходительно, но при вступлении в нее вынужден был соблюдать условные формы литературного этикета («Я истину ослам с улыбкой говорил»,— заметил он в письме к Н. И. Гнедичу от 25 октября 1816 г.).

Греки восхищались Омером и тремя трагиками...— Омер — Гомер; три трагика — Эсхил, Софокл, Еврипид. *...мудрец Феосский...*— Анакреон. *Захарисса* — дочь графа Лейчестера, воспетая в любовных стихах Э. Валлера. *«Мессиада»* — эпическая поэма Ф.-Г. Клопштока. *Державин... любил отдыхать со старцем Феосским.*— Речь идет о сборнике поздней лирики Державина «Анакреонтические песни» (1804). *Полиник... бросается к стопам разгневанного Эдипа?* — Речь идет о трагедии В. А. Озерова «Эдип в Афинах» (1804). *Стихотворная повесть Богдановича.*— «Душенька» (1783), вольное переложение повести Лафонтена «Любовь Психеи и Купидона». *...горацианские оды Капниста...*— «Подражания Горацию» В. В. Капниста (1806). *«Все роды хороши, кроме скучного...»*— Цитата из предисловия Вольтера к пьесе «Блудный сын». *В отважном мальчике грядущего поэта!..*— Стих из «Послания от английского стихотворца Попа к доктору Арбутноту» И. И. Дмитриева (1798). *...в лице славного писателя...*— Имеется в виду Н. М. Карамзин; его «Историю государства Российского» Александр I распорядился печатать на казенный счет. *Ученый Рихтер... в прекрасной речи своей...*— Имеется в виду «Речь при вступлении в обязанности председательствующего в Медико-хирургической академии» профессора В. М. Рихтера, произнесенная 14 декабря 1810 г. *...г. Мерзляков... в предисловии к Вергилиевым Эклогам...*— «Эклоги» Вергилия в пер. А. Ф. Мерзлякова вышли отд. изд. в 1807 г. *...г. Воейков, в послании к Эмилию...*— Имеется в виду «Сатира к С<перанском>у об истинном благородстве» А. Ф. Воейкова (1806). *О Провидение! Роптать я не дерзаю!..*— Цитата из «Стихов на кончину Петра Федоровича Глебова-Стрешнева, генерал-майора и кавалера, воспоследовавшую 23 октября 1807 г.».

Нечто о поэте и поэзии.— Написано осенью 1815 г. Впервые: *ВЕ*, 1816, ч. 87, № 10, с. 93—104, под загл. «О впечатлениях и жизни поэта» (подпись: *Б.*). *...сказал известный стихотворец.*— Г. Р. Державин в «Рассуждении о лирической поэзии» (1811). *...говорил Монтань...*— неточный перевод из предисловия М. Монтеня к «Опытам». *...самые бурные времена Франции...*— эпоха религиозных раздоров между католиками и гугенотами (XVI в.). *...Аристотелевых правил...*— Имеется в виду «Поэтика» Аристотеля. *Речь людей такова...*— Изречение Сенеки из «Писем к Луциллию»

(письмо 114). *...обе фортуны...*— счастье и несчастье. *Подобно Тассу, любить и страдать...*— Имеется в виду легенда о любви Т. Тассо к сестре феррарского герцога Элеоноре д'Эсте, следствием которой явились гонения на поэта. *...подобно Камоэнсу, сражаться за отечество...*— Л. Камоэнс, отправленный солдатом в Индию, потерял руку. *...красноречивая женщина нашего времени...*— Ж. де Сталь; цитируется 2-я часть ее трактата «О Германии». *Тибулл не обманывал...*— Пересказывается 3-я элегия I книги Тибулла; ее вольный перевод — «Элегия из Тибулла» Батюшкова. *...на скалу Воклюзскую...*— Многократно воспетая Ф. Петраркой скала в его поместье Воклюз; далее цитируется 135 канцона Петрарки. *Державин... воспевал...*— Имеются в виду оды «Водопад» и «Бог». *...Жуковский, оторванный Беллоною...*— Речь идет о «Певце во стане русских воинов» (1812). *Утешно вспоминать под старость детски леты...*— Цитата из сказки И. И. Дмитриева «Воздушные башни» (1794). *Руссо помнил начало песни...*— Эпизод описан в 1-й части «Исповеди» Руссо. *...рассказывая битву Мадрикала...*— Имеются в виду строфы LVIII—LXVI из 24 песни поэмы Л. Ариосто «Неистовый Роланд». *...Поэт говорит о своей милой Мантуе...*— «Эклога», IX, ст. 21; «Георгики», II, ст. 198—199; «Энеида», V, ст. 415. *...эрских бардов...*— ирландских (кельтских) певцов. *...бард Морвена...*— Оссиан. *Один Тасс... мог описать... засуху...*— См.: «Освобожденный Иерусалим», IX. *По сему описанию...*— Пересказ фрагмента из 5 тома книги П.-Л. Женгене «История итальянской литературы». *«Закрылись крайние с пучиною леса...»* — Цитата из 2-й песни поэмы Ломоносова «Петр Великий».

О характере Ломоносова.— Написано осенью 1815 г. Впервые: *ВЕ*, 1816, ч. 89, № 17-18, с. 57—63 (подпись: *Б—ов*). *По слогу можно узнать человека...*— Афоризм Ж.-Л. Бюффона: «Стиль — это человек». *...писатель, которого имя равно любезно музам и добродетели...*— М. Н. Муравьев; цитата из его статьи «Заслуги Ломоносова в учености». *Бестужев* — А. П. Бестужев-Рюмин. *...однофамилец Шувалова...*— А. П. Шувалов.

Вечер у Кантемира.— Написано в 1816 г. Впервые в *О* (с. 50—80). Автограф: *ГПБ*, ф. 50, ед. хр. 13. *«Счастлив, кто, довольствуясь малым...»*— Прозаическое переложение и цитата из VI сатиры Кантемира «О истинном блаженстве» (1738). *...подобно мудрецу Сиракуз...*— то есть Архимеду. *С последним вздохом он издаст последний стих...*— Цитата из сатиры П. А. Вяземского «К перу моему» (1816), где под именем «нашего Бавия» высмеивается Д. И. Хвостов. *...Сервантес не покидал пера своего.*—Роман «Странствия Персилеса и Сихизмунды» был закончен Сервантесом во время

его смертельной болезни. *Державин за час пред смертию...*— Имеется в виду последнее стихотворение Державина «Река времен в своем стремленьи...», написанное мелом на грифельной доске 6 июля 1816 г., за несколько дней до смерти. *Аббат В.*— Прототипом этого героя послужил аббат Венути, приятель Монтескье. *...перечитывал начало послания своего...*— Имеется в виду «Письмо I. К князю Никите Юрьевичу Трубецкому» (9 октября 1740). *«Миры» Фонтенелевы...*— Кантемир перевел «Разговоры о множестве миров» Б. Фонтенеля (СПб., 1740). *...я принялся за Персидские письма.*— Перевод Кантемиром «Персидских писем» Монтескье неизвестен. *...гиперборейцы...*— жители Севера. *В земле своей никто пророком не бывал...*— измененная цитата из сказки И. И. Дмитриева «Искатели фортуны» (1794). *Они рубят секирами влажные вина!* — Стих из «Георгик» Вергилия (III, 364). *...я — представитель... всемогущий его монархини...*— Кантемир был отправлен русским послом в Париж при Анне Иоанновне и продолжал оставаться там и при Елизавете. *Паннония, Норик* — римские провинции. *...ученый шотландец* N. N...— Подразумеваются песни Оссиана, литературная мистификация шотландца Д. Макферсона, появившиеся, однако, гораздо позже, в 1760 г. *...на берегах Камы или... Волги возникнут великие умы...*— Подразумеваются Г. Р. Державин и И. И. Дмитриев. *...великий гений...*— М. В. Ломоносов. *...русские взяли приступом Париж...*— Намек на взятие Парижа в 1814 г. *...с утраченными надеждами Астольфа.*— Герой поэмы Л. Ариосто «Неистовый Роланд» Астольфо находит утраченные надежды на Луне. *...как можно быть персиянином?* — Ироническая реплика из «Персидских писем» Монтескье. *Ученый Феофан...*— Феофан Прокопович, литературный соратник Кантемира.

Письмо к И. М. М<уравьеву>-А<постолу>. *О сочинениях г. Муравьева.*— Написано летом 1814 г. Впервые: *СО*, 1814, ч. 16, № 35, с. 87—116. Прилагалось в качестве предисловия к изданной Батюшковым книге М. Н. Муравьева: «Обитатель предместия и Эмилиевы письма» (СПб., 1815) и к I тому «Полного собрания сочинений» М. Н. Муравьева (СПб., 1819). *...сочинения М. Н. Муравьева...*— Имеются в виду «Опыты истории, словесности и нравоучения», изданные Н. М. Карамзиным (ч. 1—2. М., 1810). *В прошлом 1813 году г. Гнедич...*— «Рассуждение о причинах, замедляющих развитие нашей словесности» Н. И. Гнедича было зачитано на открытии Публичной библиотеки 2 января 1814 г. *...г. Уваров, в письме к г. Капнисту...*— Имеется в виду полемика С. С. Уварова с В. В. Капнистом о выборе стиха для перевода «Илиады»; письмо Уварова было опубликовано лишь в 1815 г. и известно Батюшкову по рукописи. *...как замечает Вольтер...*— Вольтер в «Литературной

смеси» (1749) подверг критике «Разговоры в царстве мертвых» Фонтенеля. *...он заставляет разговаривать Игоря и Ольгу... выводит на сцену Карла Великого и Владимира...*— Форма «Разговоров в царстве мертвых» широко использовалась Муравьевым: см.: Полн. собр. соч., т. I, с. 310—316. *Если меня понуждают сказать...*— Цитата из «Опытов» М. Монтеня (кн. I, гл. XXVII). *...Чувствую сердце мое... в объятия старца...* — Цитаты из 3 и 7 писем «Обитателя предместия». *...роскошное царство Михаила...*— Византия. *Мы ходим...*— Цитата из статьи Муравьева «Рассеянные черты из землеописания российского». *Любители истории и словесности ожидают с нетерпением...*— Речь идет об «Истории государства Российского» Карамзина. *Тесное обращение с природою...*— Неточная цитата из статьи Ф. Шиллера «О стихотворениях Маттисона». *...любимец Августов...*— Меценат. *Любовью истины, любовью красоты...*— Цитата из «Эпистолы к его превосходительству Ивану Петровичу Тургеневу» (1774). *«Сего чудесного, столетнего шалбера...»*— Цитата из «Послания о легком стихотворении» (1783). *Дайте лилий...*— Цитата из «Энеиды» Вергилия (VI, 883—884).

Прогулка в Академию Художеств.— Написано во второй половине 1814 г. Впервые: *СО*, 1814, ч. 18, № 49, с. 121—132; № 50, с. 161—176; № 51, с. 201—215 (без подписи). В очерке отражены впечатления от академической выставки 1814 г. *Ализов* — лицо, по-видимому, вымышленное. *За ланью быстрой и рогатой...*— Стихи из драматической поэмы И. И. Дмитриева «Ермак» (1794).*Часто малый желудь...*— Измененная цитата из поэмы Ж. Делиля «Воображение» (VI, 32). *Нюсканц* — Ниешанц, шведская крепость на месте будущего Петербурга. *Обтекай спокойно, плавно...*— Неточная цитата из стихотворения М. Н. Муравьева «Богине Невы» (1794). *Партенон* — Парфенон, храм в древних Афинах. *...мудрец херонейский...*— Плутарх. *Прийдут, прийдут часы те скучны...*— Цитата из стихотворения Державина «К первому соседу» (1780). *Кто манием бровей колеблет неба свод...*— Цитата из стихотворения И. И. Дмитриева «Подражание одам Горация (Книга III, Ода I)» (1794). *Наполнил грудь восторг священный...*— Цитата из стихотворения Державина «Песнь любителю художеств» (1791), посвященного А. С. Строганову. *Я забываю вселенную...*— Цитата из «Истории искусства древности» И. И. Винкельмана. *Я с возвышенною...*— Неточная цитата из послания В. Л. Пушкина «К Д. В. Дашкову» (1811). *...вид окрестностей Шафгаузена...*— Эта картина в настоящее время неизвестна. *...празднование Пасхи в Париже...*— картина М. Н. Воробьева. *...из шуточной поэмы Майкова...*— Поэма В. И. Майкова «Елисей, или раздраженный Вакх» (1771). *«Энеида, вывороченная наизнанку».*— Травестийная поэма Н. П. Осипова. *...триумф государя, наподобие*

Рубенса... — Картина в настоящее время неизвестна. *...изображает святую фамилию...* — Картина итальянского художника Гвидо Рени «Отдых на пути в Египет». *Прямым путем проходит...* — Цитата из поэмы Т. Тассо «Освобожденный Иерусалим» (XIX, с. 59—60). *Наш Фигнер...* — Цитата из «Певца во стане русских воинов» (1812) В. А. Жуковского. *Недостает лишь...* — Цитата из поэмы Т. Тассо «Освобожденный Иерусалим» (XVI, с. 2). *...московские виды...* — работы Ф. Я. Алексеева. *Продвигаюсь вперед...* — Цитата из «Энеиды» Вергилия (Ш, 349—351). *Что матушки Москвы и краше и милее?* — Цитата из стихотворной сказки И. И. Дмитриева «Причудница» (1794). *Боргезский борец* — античная статуя воина, находившаяся в Риме на вилле Боргезе (скульптор Агасиас Эфесский).

Отрывок из писем русского офицера о Финляндии. — Впервые: *ВЕ*, 1810, ч. 50, № 8, с. 247—257, под загл.: «Картина Финляндии. Отрывок из писем русского офицера» (подп.: *К. Б.....ов*). При подготовке *О* текст очерка подвергся существенной переработке. Будучи незнаком с мифологией финнов, Батюшков использует сведения о скандинавской мифологии, почерпнутые им из «Песен Оссиана» Д. Макферсона. Описание финляндской природы частично заимствовано из сочинения французского естествоиспытателя Ф. Ласепеда «Поэма музыки». *...Гиперборейскому морю...* — Северному морю. *...в старой Финляндии...* — Имеется в виду Выборгская губерния. *...руны, которые я видел...* — Буквы древнегреческого алфавита, которыми делались надписи на камнях и т. п. *В полночный час...* — Отрывок из стихотворения Батюшкова «Мечта» (2-я редакция).

Путешествие в замок Сирей. — Под текстом дата посещения замка Сирей. Очерк готовился для печати осенью 1815 г. Впервые: *ВЕ*, 1816, ч. 86, № 6, с. 136—149 (подп.: *NNN*). *...теням Вольтера и его приятельнице...* — маркиза Эмилия дю Шатле, владелица замка Сирей в Лотарингии, в котором жил Вольтер в 1734—1745 гг. *Многобашенный замок...* — Цитата из элегии Маттисона «В развалинах старого горного замка». *...красный колпак...* — головной убор якобинцев. *...королю Прусскому...* — Фридриху II, оказывавшему Вольтеру свое покровительство. *Избыток искусства...* — Цитата из 2-го послания Вольтера к Фридриху II (1738). *...г-же де Семиан...* — племяннице маркизы Э. дю Шатле. *...утомил стогласную Славу...* — Цитата из «Оды Вольтеру» Э. Лебрена. *Бог нам предоставил...* — Стих из I эклоги Вергилия (ст. 6). *«Заира»* — трагедия Вольтера (1732). *Кто б ни был ты...* — Перевод Дмитриевым стихотворения Вольтера «Надпись для статуи Амура в садах Со». *Фернейский мудрец — Вольтер* (от названия его имения Ферне). *...для коронованной сирены...* — Прозвище,

данное Вольтером маркизе Помпадур. *Там, где я обитаю, земной рай...* — Цитата из стихотворения Вольтера «Светский человек». *...чудо во Франции!* — Фраза Вольтера о дю Шатле в стихотворном письме к барону Кайзерлингу (1738). *...певца Фелицы...* — Державина. *С Севера теперь...* — Неточная цитата из стихотворения Вольтера «Императрице России Екатерине II» (1771). *...рукописи и библиотека Фернейские.* — Библиотека Вольтера после его смерти была куплена Екатериной II; ныне находится в *ГПБ*. *Как мореплаватель...* — Неточная цитата из 1-й терцины 8 песни «Чистилища» Данте. *Поздно мы пустились в путь!.. Вот и месяц величавый...* — стихи из баллады Жуковского «Людмила» (1808). *Валленштейнов лагерь...* — Имеется в виду драматическая трилогия Ф. Шиллера «Валленштейн».

Две аллегории. — Написано осенью 1815 г. Впервые: *ВЕ*, 1816, ч. 87, № 12, с. 249—255 (подп.: *NNN*). *Так плакал умирающий Рафаэль!* — По преданию, Рафаэль перед смертью плакал о своих неоконченных картинах.

Похвальное слово сну. — 1-я редакция (в ней отсутствуют письмо редактору и предисловие и имеются разночтения в тексте) помечена 1 мая 1809 г. Впервые: *ВЕ*, 1810, ч. 53, № 18, с. 112—122. Публикуемая нами 2-я редакция создана в 1816 г. и опубл.: *ВЕ*, 1816, ч. 86, № 6, с. 81—102. *...то домик выстроят, то купят деревеньку.* — Цитата из басни И. А. Крылова «Лисица и Сурок». *...эпические поэмы, в честь Петра Великого написанные.* — «Петр Великий» Р. Сладковского (СПб., 1803), «Петр Великий, лирическое песнопение в 8 песнях» С. Ширинского-Шихматова (СПб., 1810), «Петриада» А. Грузинцова (СПб., 1812). *Иссоп* — низкий кустарник. *...Ломоносов... не успел...* — Имеется в виду незавершенная поэма Ломоносова «Петр Великий». *«Аталия»* — трагедия Ж. Расина «Гофолия» («Athalie»). *«Российский феатр»* — собрание театральных сочинений, издававшееся в Петербурге в 1786—1794 гг. *...и все то благо, все добро!* — Цитата из стихотворения Державина «Утро». *...мы хвалили даже блох...* — Речь идет об «Историческом и философическом рассуждении о блохах» А. Н. Нахимова (*ВЕ*, 1810, ч. 50, № 8, с. 317—320). *...двенадцать бедных девушек...* — шутливый намек на балладу Жуковского «Двенадцать спящих дев» (1810—1817). *Сядь, милый гость...* — Цитируется стихотворение Державина «Гостю» (1795). *Эрминия, Эндимион* — персонажи поэмы Т. Тассо «Освобожденный Иерусалим» *...пишет прелестные басни и комедии...* — И. А. Крылов. *...богу лесов Киммеринских...* — Имеется в виду бог сна Морфей. *...сады Армидины, царство Луны и Сильфов...* — Имеются в виду сцены из поэм Тассо «Освобожденный Иерусалим» и Ариосто «Неистовый Роланд».

Цинтия — героиня элегий Проперция. *Зиновия (Зенобия)* — добродетельная царица Пальмиры. *Лаура* — возлюбленная Петрарки, воспетая им в «Канцоньере». *...злодей! ты не будешь спать!* — Неточная цитата из трагедии Шекспира «Макбет» (д. 2, явл. 2). *Ужели страшен рев...* — Цитата из сатиры Персия Флакка (III, 39), направленной против императора Нерона. *...быка Фаларидова...* — Имеется в виду орудие пытки агригентского тирана Фаларида (VI в. до н. э.). *...как говорит Расин...* — Далее следует пересказ монолога из трагедии Ж. Расина «Британик» (д. 5, явл. 6). *Я никогда не буду спать...* — Цитата из басни Лафонтена «Сон жителя Моголии» (переводилась Жуковским и Батюшковым под заглавием «Сон Могольца»). *...досуг без занятий — смерть...* — Цитата из 82-й эпистолы Л.-А. Сенеки. *...Под тенью древесной отдыхаю...* — Цитата из стихотворения И. И. Дмитриева «Элегия. Подражание Тибуллу» (1795, вольное переложение элегии I из I книги Тибулла). *...Дормидон Тихин* — имя рассказчика соотнесено с французским dormir — спать.

Ариост и Тасс.— Написано осенью 1815 г. Впервые: *ВЕ*, 1816, ч. 86, № 6, с. 107—121 (подп.: *NNN*). *Медор, Анжелика, Альцина* — персонажи поэмы Ариосто «Неистовый Роланд». *Ариост писал, что хотел, против пап.* — Имеется в виду II сатира Ариосто. *...поэте Валлакиузском...* — Имеется в виду Петрарка (от названия его имения — Воклюз). *«Призывает обитателей...»* — Имеется в виду стих из поэмы Тассо «Освобожденный Иерусалим» (IV, 3). *«Все места преисполнились убийством...»* — прозаический перевод отрывка из XIX песни «Освобожденного Иерусалима». *«...в столь прекрасном зрелище...»* — Здесь и далее следуют цитаты и прозаические переводы из XX песни «Освобожденного Иерусалима» (ст. 28—29, 50—52). *«Различным образом повержены тела...»* — Цитата из трагедии М. В. Ломоносова «Тамира и Селим» (д. 5, явл. 6). *«Тебя, родитель, тебя, сын...»* — Цитата из «Освобожденного Иерусалима» (XI, 7).

Петрарка.— Написано осенью 1815 г. Впервые: *ВЕ*, 1816, ч. 86, № 7, с. 171—192 (подп.: *NNN*). *Что же я чувствую...* — Первый стих CXXXII сонета Петрарки. *На тебя взирал я...* — Стихи из I элегии I книги Тибулла. *«Она погасла, как лампада...»* — Прозаический пересказ ст. 160—172 из I гл. поэмы Петрарки «Триумф смерти». *«Исчезла твоя слава...»* — Перевод CCLXVIII канцоны Петрарки (ст. 20—77). *«Лаура, славная по качествам души...»* — Перевод не с латинского подлинника, а с французской выписки из книги П.-Л. Женгене «История итальянской литературы». *Я знаю... как непостоянна...* — Перевод стихов из «Триумфа любви» Петрарки

(III, 181—190). *В одном из своих «Триумфов»...* — Имеется в виду «Триумф любви», гл. III. *Я увидел Вергилия...* — сокращенный перевод из IV гл. «Триумфа любви» (ст. 19—81). *Чино-Чино да Пристойя,* итальянский поэт (1260-е — 1336). *Томасс, Сократ, Лелий* — друзья Петрарки. *«Разбита высокая колонна...»* — Начало CCIXIX сонета Петрарки, в котором имена Лауры и покровителя поэта Д. Колонна в результате игры слов слиты с образами разрушившейся колонны и лавра (лавр — lauro). *«Мой ум занят сладкою и горестною мыслию...»* — Перевод из трактата Петрарки «Моя тайна...». *Ода, в которой поэт обращается к Риензи...* — Имеется в виду канцона LIII (ниже приведен перевод стихов 29—42 из нее); в ней Петрарка обращается не к Кола ди Риенцо, вождю антифеодального восстания в 1347 г. в Риме, а к какому-то римскому сенатору. *«Я хотел прославить тебя...»* — Перевод из эпистолы VII Петрарки. *«Если глаза мои остановятся...»* — Перевод стихов 71—84 CXXVII канцоны Петрарки. *«Светлые, свежие и сладкие воды».* — Начало CXXVI канцоны Петрарки; Вольтер подражал ей в «Опыте о нравах». *«Тоску и боль прошедшей жизни»* — 11 стих I канцоны Петрарки; совпадает со ст. 8 из IV строфы III песни «Освобожденного Иерусалима» Тассо. *«Каждое животное любить вновь располагает»* — 8 стих CCCX сонета Петрарки; совпадает со стихом 4 из XVI строфы XVI песни «Освобожденного Иерусалима».

Гризельда. — Перевод из «Декамерона» Боккаччо (последняя новелла 10-го дня) относится к неосуществленному замыслу Батюшкова «Пантеон италианской словесности», книге статей и итальянских переводов, над которой писатель работал в конце 1816 — начале 1817 г. Впервые: *О*, ч. I, с. 276—296.

О лучших свойствах сердца. — Написано осенью 1815 г. Впервые: *СО*, 1816, ч. 29, № 14, с. 14—19 (подп.: *NN*). *Масье Жан* — ученик аббата Сикара, ему принадлежит афоризм: «Благодарность — это память сердца». *...женевский мизантроп...* — Руссо. *Монтань заметил справедливо...* — Имеются в виду «Опыты» Монтеня, кн. II, гл. 16. *В пустынном воздухе теряя запах свой!* — Стих из элегии Жуковского «Сельское кладбище» (1802).

Нечто о морали, *основанной на философии и религии.* — Написано осенью 1815 г. Впервые, независимо друг от друга, напечатано в двух изданиях: *РМ*, 1815, ч. 4, № 12, с. 236—256, и *СО*, 1816, ч. 28, № 9, с. 81—106. В обеих публикациях статья не подписана, но указано, что это «русское сочинение»; в обеих публикациях —

эпиграф из Ж. Лабрюйера: «Quand on ne serait pendant sa vie que l'apôtre d'un seul homme, çe ne serait pas être en vain sur la terre, ni lui être un fardeau inutile» (La Bruyère). («Быть в течение своей жизни апостолом только одного человека — это не значит напрасно жить на земле или тщетно ее обременять».) *...еще новый житель мира сего...*— Неточная цитата из VII сатиры Кантемира (в подлиннике: «новый житель света»). *...палицею железного человека...*— Имеется в виду персонаж романа Л.-С. Мерсье «2440-й год». *...опровержение Монтаня системы Эпиктетовой...*— в «Опытах» М. Монтеня. *...Паскалево опровержение Монтаня и Эпиктета...*— в «Мыслях» Б. Паскаля. *В недавнем времени в Германии воскресили...*— Имеется в виду философия Ф.-В. Шеллинга. *«Наслаждение нас съедает...»* — Слова из «Опытов» Монтеня (кн. II, гл. 20). *Служитель-мальчик...*— начало XXVII стихотворения Катулла. *«В Египте я знал жреца...»* — Отрывок из романа Ж.-Ж. Бартелеми «Путешествие молодого Анахарсиса в Грецию» (гл. 78). *Руссо начал софизмами, кончил ужасною книгою...*— В «Рассуждении об искусствах и науках» (1750) Руссо доказывал вред, причиняемый человечеству искусством и наукой; из последнего произведения Руссо — «Исповедь» (1766—1769) — Батюшков в примечании цитирует отрывок из части I, кн. 6. *Квинтилиан наших времен...*— Ф.-Р. Шатобриан. *«Должно ли еще... напоминать весь ход...»* — измененная цитата из трагедии Ж. Расина «Гофолия» (д. I, явл. I). *Должно ли приводить на память...*— Имеется в виду неудачная попытка Наполеона вернуть былое могущество («Сто дней» и Ватерлоо). *...подобно светильникам эдимбургским...*— По предположению И. М. Семенко, речь, вероятно, идет о «фосфористах», группе шведских писателей-романтиков, издававших в 1810—1813 гг. журнал «Фосфорос» («Светоч»). *Нет в мире царства так пространна...*— Цитата из оды Державина «На рождение великого князя Михаила Павловича» (1798).

ЧАСТЬ II. *СТИХИ*

Вышла в свет в октябре 1817 г. Эпиграф — из «Скорбных элегий» Овидия (I, 1, 3). Второй части было предпослано предисловие, написанное Н. И. Гнедичем: «Мы должны предупредить любителей Словесности, что большая часть сих стихотворений была написана прежде «Опытов в прозе», в разные времена, посреди шума лагерей или в краткие отдохновения воина: но назначать время, когда и где что было написано, мы не почли за нужное. Издатель надеется, что читатели сами легко отличат последние произведения от первых и найдут в них большую зрелость в мыслях и строгость в выборе предметов».

К друзьям.— Написано в феврале 1815 г. Автограф — на первой странице *БТ* (заглавие: «Дмитрию Николаевичу Блудову»). Впервые: *О*, ч. II, с. 5—6. *Дедал* — имя строителя легендарного лабиринта на о. Крит; здесь употреблено в нарицательном значении: «лабиринт», «нагромождение». *Журнал* — здесь: дневник. *Пафос* — город на Кипре, где находился храм Афродиты; здесь: любовь. *Пинд* — горный хребет, обитель Аполлона и муз; здесь: поэзия.

Элегии

Надежда.— Написано в 1815 г. Впервые: *О*, ч. II, с. 9—10. Первые четыре стиха навеяны стих. Жуковского «Певец во стане русских воинов» («...доверенность к Творцу!»— прямая реминисценция из него).

На развалинах замка в Швеции.— Написано в июне — июле 1814 г. Впервые: *ПРП*, ч. 2. СПб., 1814, с. 217—233, с полной подписью. Вольный перевод стихотворения. Ф. Маттисона «Элегия, написанная на развалинах старого горного замка». *Нейстрия* — западная часть средневековой империи франков. *Альбион* — древнее название Англии. *Скальды* — певцы в древней Скандинавии. *...дубы в пламени...*— Ритуальное возжигание дубов у древних скандинавов. *Руны* — древнейшие скандинавские письмена.

Элегия из Тибулла.— Датируется нами 1810—1811 гг. Впервые: *ПРП*, ч. 4. СПб., 1815, с. 204—211, под загл.: «Тибуллова элегия (кн. I, эл. 3)». Стихотворение имеется в рукописных сборниках поэта, составленных в начале 1812 г. («первая» *БТ*). *Мессала! Без меня ты мчишься по волнам...*— Текст Тибулла начинается с сетования о том, что он из-за нездоровья не смог сопровождать в Азию своего покровителя, римского государственного деятеля Мессалу Корвина. *Феакия* — древнее название о. Корфу. *Миро* — благовонное вещество, атрибут похоронного ритуала. *Делия* — поэтическое имя возлюбленной Тибулла. *...день... Сатурну посвященный...*— Сатурналии, ежегодные празднества в древнем Риме. *...фарийских...*— египетских. *Рало* — плуг. *...с Сидонским багрецом...*— Густая красная краска, производившаяся в финикийском городе Сидоне. *Нард* — растение, из которого делали благовонные вещества. *Киннамон* — ароматическое растение (корица). *Адский пес* — Цербер.

Воспоминание.— Написано в 1807—1809 гг. Впервые: *BE*, 1809, ч. 48, № 21, с. 28—31, под загл. «Воспоминания 1807 года» (подп.: К...Б...). В *О* вошло лишь начало стихотворения. Полный текст см. на с. 365—367 наст. изд. *Гейльсбергски поля.*— Под Гейльсбергом, на берегах реки *Аль*, 29 мая 1807 г. произошло сражение, в котором Батюшков был тяжело ранен. *Богиню быстроногу...*— Имеется в виду Немезида.

Воспоминания. *Отрывок.*— Написано в 1815 г. Впервые: *О*, ч. II, с. 30—32. Отрывок из стихотворения «Элегия» (полный текст см. на с. 405—407 наст. изд.). В стихотворении речь идет о любви Батюшкова к А. Ф. Фурман. *Туда влечет меня осиротелый гений...*— то есть в небытие. *...Как лотос силою волшебной врачевали...*— По греч. мифологии отведавший цветов лотоса забывал прошлое. *Жувизи* (Жювизи) — замок близ Парижа. *Сейна* — Сена, река в Париже. *В столице роскоши...*— в Париже. *Ричмон* (Ричмонд) — город вблизи Лондона. *Троллетана* — водопад в Швеции.

Выздоровление.— Впервые: *О*, ч. II, с. 33—34. Условно датируется временем «выздоровления» поэта после раны, полученной в сражении при Гейльсберге (1807—1809 гг.); однако отсутствие стихотворения во всех известных нам рукописных сборниках стихов Батюшкова не исключает возможности более поздней датировки (см.: Зорин А., Немзер А., Зубков Н. Свой подвиг свершив. М., Книга, 1987, с. 349). *Мне сладок будет час и муки роковой...*— перефразировка заключительного стиха из CCCLII сонета Петрарки.

Мщение. *Из Парни.*— Написано предположительно в 1815 г. Впервые: *BE*, 1816, ч. 89, № 19—20, с. 204—206 (подп.: *Б.*). Вольный перевод 9-й элегии из IV книги «Эротических стихотворений» Э. Парни. Вписано в *БТ*, в тексте которой имеется ряд разночтений и дополнений. Ср. стих 34 и след.:

Напрасно! ты была в объятиях моих,
В объятиях любви, на ложе сладострастья,
Покрытая дождем холодного ненастья.
Для новых радостей ты воскресала в них!
О пламенный восторг! О страсти упоенье!
О нега томная! Источник сладких слез!
При блесках молнии разгневанных небес
О сладострастие... себя всего забвенье!..

П р и в и д е н и е. *Из Парни.*— Написано в феврале 1810 г. Впервые: *ВЕ*, 1810, ч. 50, № 6, с. 108—110 (подп.: *К. Б.*). Вольный перевод элегии Парни «Выходец с того света» (10 элегия I книги). *В час полуночных явлений...*— Измененная строка из баллады Жуковского «Людмила» (1808).

Т и б у л л о в а э л е г и я III. *Из III книги.*— Написано осенью 1809 г. Впервые: *ВЕ*, 1809, ч. 48, № 23, с. 198—199 (подп.: *К.*). Вольный перевод элегии из III книги Тибулла (III книга в действительности Тибуллу не принадлежала, а лишь приписывалась, что во времена Батюшкова еще не было установлено). *Тенер* (Тенар) и *Карист* — местности в Греции, где в древности добывался порфир. *...священна тень от кедровых лесов?* — кедр в античности считался священным деревом. *...эритрские жемчужины...*— добытые в Эритрейском море (Персидский залив). *...руны Тирские багрянцем напоенны?* — Шерсть, пропитанная пурпурной краской, выделывавшаяся в финикийском городе Тире. *Пактол* — река в Малой Азии, богатая золотым песком. *...дочь Сатурнова...*— Гера. *...любови мать...*— Афродита.

М о й г е н и й.— Написано в июле — августе 1815 г. Впервые: *СОСП*, ч. V, 1816, с. 228; *ВЕ*, 1816, ч. 88, № 15, с. 176—177 (подп.: *Б—в*). Стихотворение находится в рукописном сборнике В. А. Жуковского (*ГПБ*, ф. 50, ед. хр. 12), где имеется итальянский эпиграф: Spirto beato quale // Se'quando altrui fai tale? (Возвысивший дух ближнего // Становится ли сам блаженным?)

Д р у ж е с т в о.— Написано в 1811—1812 гг. Впервые: *С-ПВ*, 1812, № 2, с. 166, с подзаголовком «Из Биона» (подп.: *К. Н. Б. Т.*). Вольный перевод стихотворения Биона «Дружба», популярного в русской литературе начала XIX в. (переводы П. А. Катенина, 1810; Н. Ф. Кошанского, 1811, и др.). *Атридов сын* — Орест, нашедший в изгнании друга в лице своего двоюродного брата Пилада. *Ахилл, великодушный воин...*— Имеются в виду заключительные эпизоды «Илиады» Гомера: Ахилл отдал Приаму тело убитого Гектора.

Т е н ь д р у г а.— Написано в июне 1814 г. Впервые: *ВЕ*, 1816, ч. 89, № 17—18, с. 3—5. Эпиграф — из элегии Проперция «Тень Цинтии» (кн. IV, эл. 7). Посвящено памяти И. А. Петина, убитого в Лейпцигском сражении. *Я берег покидал туманный Аль-*

биона...— Возвращаясь из Парижа в Петербург, Батюшков посетил Англию, откуда на пакетботе 12 июня 1814 г. отбыл в Швецию. ...*над Плейсскими струями*...— Плейсса, река на равнине под Лейпцигом, где 4—7 октября 1813 г. происходила битва.

Тибуллова элегия XI. *Из I книги*.— Написано в конце 1809 — начале 1810 гг. Впервые: *ВЕ*, 1810, ч. 50, № 8, с. 277—280. Вольный перевод X, а не XI элегии Тибулла. *Брашно* — кушанье. *Скудельный* — глиняный. *Опреснок* — пресный хлеб. *Кошница* — корзина. *Кормчий в челноке* — Харон.

Веселый час.— Раннюю редакцию (под заглавием «Совет друзьям», 1806) см. на с. 353—354 наст. изд. Стихотворение написано, вероятно, в начале 1810 г. Впервые: *ВЕ*, 1810, ч. 49, № 4, с. 280—285, с подзаголовком: «Посвящено друзьям» (подп.: *Констант. Бат.*). Стихотворение под тем же названием и близкое по содержанию есть и у Н. М. Карамзина.

В день рождения N.— Написано в 1809 г. Впервые: *ВЕ*, 1810, ч. 51, № 10, с. 126 (подп.: *К. Б.*). Посвящено, вероятно, М. А. Чеглоковой-Лачиновой (см. коммент. к стих. «Отъезд»).

Пробуждение.—Написано предположительно осенью 1815 г. Впервые: *ВЕ*, 1816, ч. 87, № 11, с. 183 (подп.: *Б.*), с эпиграфом из CCXIX сонета Петрарки: Cosi mi sveglio a salutar l'Aurora («Так пробуждаюсь я, чтобы приветствовать зарю»).

Разлука.— Написано летом 1815 г. Впервые: *О*, ч. II, с. 66—67. *Тирас* — греческое название реки Днестр.

Таврида.— Написано осенью 1815 г. Впервые *О*, ч. II, с. 68—70. В сборнике Жуковского (*ГПБ*, ф. 50, ед. хр. 12) имеется эпиграф из XVII сонета Петрарки: E sol di lei pensando ho qualche pace. («Только думая о ней, обретаю я хоть какой-нибудь покой».) *Таврида* — греческое название Крыма. *Равны несчастием*...— Намек на любовь Батюшкова к А. Ф. Фурман: его возлюбленная, как и он сам, рано лишилась матери. *Пальмира Севера* — Петербург. ...*Иль, урну хладную вращая, Водолей*...— В эмблематике созвездие Водолея изображалось в виде человека, льющего из сосуда воду.

Судьба Одиссея.— Написано во второй половине 1814 г. Впервые: *О*, ч. II, с. 71. Вольный перевод стихотворения Ф. Шиллера «Одиссей», написанного элегическим дистихом. *Стопой бестрепетной сходил Аида в мраки...*— В XI песни «Одиссеи» Гомера герой спускается в преисподнюю. ...*отчизны не познал...*— В XIII песни «Одиссеи» герой, попав на родную Итаку, в тумане не узнает острова.

Последняя весна.— Написано в 1815 г. Впервые: *ВЕ*, 1816, ч. 87, № 11, с. 181—183. Подражание элегии Ш.-Ю. Мильвуа «Падение листьев». *Филомела* — здесь: соловей (см. басню «Филомела и Прогна»). *Эпидавра прорицанье...*— Эпидавр, город в Греции, где был распространен культ бога врачевания Асклепия (Эскулапа).

К Г<неди>чу.— Написано в 1806 г. Впервые: Талия, изд. А. Беницким. СПб., 1807, с. 55—56, под загл. «Послание к Г**чу» (подп.: *К. Б.*). В этой публикации стихотворение заканчивалось четверостишием, опущенным в *О:* Нет, болтаючи с друзьями,//Славы я не соберу;// Чуть не весь ли и с стихами//Вопреки тебе умру.

К Д<ашко>ву.— Написано в марте 1813 г. Впервые: *С-ПВ*, 1812, № 10, с. 26—28, под загл. «К Д. В. Д.» (подп.: *Б.*); номер вышел в мае 1813 г.; *СО*, 1813, № 31, 3 июля, с. 209—210, под загл.: «Послание к Д. В. Дашкову» (подп.: *Б.*). Написано под впечатлением приезда в 1812 г. в разоренную Москву. И. З. Серман указал на связь послания Батюшкова с «Письмами из Москвы в Нижний Новгород» И. М. Муравьева-Апостола (Уч. зап. ЛГУ. Л., 1939, вып. 3, с. 254). *Цевница* — свирель. *Израненный герой* — генерал А. Н. Бахметев, потерявший в Бородинском сражении ногу; Батюшков был в 1813 г. адъютантом Бахметева.

Источник.— Написано в 1809 — начале 1810 г. Впервые: *ВЕ*, 1810, ч. 53, № 17, с. 55—56, с подзаг.: «Персидская идиллия» (подп.: *К—н Б—в*). Переложение одноименной прозаической идиллии Э. Парни. ...*я к тебе прикасался...*— По указанию самого Батюшкова, это выражение взято из Тибулла (элегия VI из I книги Тибулла).

На смерть супруги Ф. Ф. К<окошки>на.— Отклик на раннюю смерть Варвары Ивановны Кокошкиной 25 апреля 1811 г. Впервые: *СОСП*, ч. I. СПб., 1815, с. 138—139. Эпиграф — из CCLXXVIII сонета Петрарки. В элегии использованы мотивы стихотворения Э. Парни «Могила Эшарис» и стихотворения В. В. Капниста «На смерть друга моего» (1803).

Пленный.— Написано в 1814 г. Впервые: *ПРП*, ч. II. СПб., 1814, с. 269—272 (без подп.). По свидетельству Пушкина стихотворение навеяно рассказами друга Батюшкова Л. В. Давыдова: «Лев Васильевич Давыдов в плену у французов говорил одной женщине «Rendez-moi mes frimas» <«Верните мне мои морозы»>. Батюшкову это подало мысль написать своего «Пленного» (Пушкин А. С. Полн. собр. соч., т. 12. М.—Л., 1937—1949, с. 266). В стихотворении использована строфическая форма баллады В. А. Жуковского «Пустынник» (опубл. в 1813 г.).

Гезиод и Омир, соперники.— Написано в конце 1816 — январе 1817 г. Впервые: *О*, ч. II, с. 91—100. Перевод элегии Ш.-Ю. Мильвуа «Бой Гомера и Гесиода». Готовя второе издание *О*, Батюшков вычеркнул примечание к элегии (напечатанное перед текстом стихотворений):

«Эта Элегия переведена из *Мильвуа*, одного из лучших французских стихотворцев нашего времени. Он скончался в прошлом году в цветущей молодости. Французские Музы долго будут оплакивать преждевременную его кончину: истинные таланты ныне редки в отечестве Расина.

Многие писатели утверждали, что Омир и Гезиод были современники. Некоторые сомневаются, а иные и совершенно оспоривают это предположение. Отец Гезиодов, как видно из поэмы «Труды и дни», жил в Кумах, откуда он перешел в Аскрею, город в Беотии, у подошвы горы Геликона. Там родился Гезиод. Музы, говорит он в начале «Феогонии», нашли его на Геликоне и обрекли себе. Он сам упоминает о победе своей в песнопении. Архидамий, царь Эвбейский, умирая, завещал, чтобы в день смерти его ежегодно совершались погребальные игры. Дети исполнили завещание родителя, и Гезиод был победителем в песнопении. Плутарх в сочинении своем «Пир семи мудрецов» заставляет рассказывать Периандра о состязании Омира с Гезиодом. Последний остался победителем и, в знак благодарности Музам, посвятил им треножник, полученный в награду. Жрица Дельфийская предвещала Гезиоду кончину его; предвещание сбылось: молодые люди, полагая, что Гезиод соблазнил сестру их, убили его на берегах Евбеи, посвященных Юпитеру Немейскому.

Кажется, не нужно говорить об Омире. Кто не знает, что первый в мире поэт был слеп и нищий?

Нам Музы дорого таланты продают!»

Халкида — город на острове Эвбея у берегов Беотии и Аттики в Греции. *Ристалище* — здесь: арена. *...орел-громометатель от Мелеса меня играючи унес...*— Одна из античных легенд гласит, что Гомер в дет-

стве был унесен орлом Зевса с берегов реки Мелеса на Олимп, где получил свой поэтический дар. *Темпейские долины* — ущелье в Фессалии, славившееся своим плодородием. *...напиток Гебы рьяный...* — нектар и амврозия. *Тенар* — мыс в Лакедемоне, где, по поверьям древних, был вход в Аид. *Стримон* — река на восточной границе Македонии. *Ольмий* — мыс в Коринфии, славившийся своим медом. *...Народов, гибнущих по прихоти царей...* — Имеется в виду Троянская война; далее упоминаются эпизоды и образы «Илиады». *Самос* — остров в Эгейском море, у берегов Малой Азии. *...убогий сирота...* — Образ из элегии Мильвуа «Гомер-нищий» (примыкающей к элегии «Бой Гомера и Гесиода»), где изображены мытарства Гомера, сопровождаемого в скитаниях «ребенком, вскормленным Самосом».

К другу.— Написано в 1815 г. Впервые: *О*, ч. II, с. 101—105. Стихотворение обращено к П. А. Вяземскому. *...мудрость светская сияющих умов...* — просветительская философия XVIII в. *Ве́спер* — вечерняя звезда, планета Венера. *Богиня неги и прохлады* — Венера. *На крыльях радости...* — Стих из романса Я. Б. Княжнина «Наказанная неверность». *...Сияла Лила красотою?* — Речь идет о В. И. Кокошкиной (см. коммент. к стих. «На смерть супруги Ф. Ф. К<окошки>на»). *Как в воздухе перо...* — Эта и след. строки являются перефразировкой стихов из «Вечернего размышления о божьем величестве» М. В. Ломоносова (1743). *...гений... светильник погашал...* — Образ гения с перевернутым факелом символизировал у древних смерть. *Риза странника...* — слова из песни Жуковского «Путешественник» (1809).

Мечта.— Первая редакция стихотворения (см. на с. 336—338 наст. изд.) относится к 1804—1805 гг. Окончательная редакция подготовлена в 1817 г. для *О* (ч. II, с. 106—118). Многочисленные промежуточные варианты рассмотрены Д. Д. Благим: *АС*, с. 473—486. *Воклюз* — имение Ф. Петрарки на берегу реки Сорги. *Сельмские леса...* — леса вокруг Сельмы, дворца царя древних кельтов Фингала, место действия основных событий «Песен Оссиана». *Оскар* — сын Оссиана, погибший в бою. *Кромла* — священная гора у древних кельтов. *Иснель* — герой поэмы Э. Парни «Иснель и Аслега», навеянной «Оссиановскими» мотивами. *Биармия* — легендарная страна скандинавских саг. *...ленивы маки* — выражение из послания М. Н. Муравьева «К Феоне» (1779). *Любовница Фаона* — Сафо. *Тибур* — город близ Рима, где жил Гораций (теперь Тиволи). *Глицерия* — поэтическое имя возлюбленной Горация.

Мои Пенаты. *Послание к Ж<уковскому> и В<яземскому>*.— Написано в конце 1811 — начале 1812 г. Впервые: *ПРП*, ч. I, 1814, с. 55—69. В автографе (*ГПБ*, ф. 50, ед. хр. 6) зачеркнуто первоначальное название — «К Пенатам» — и имеется эпиграф из стихотворения Ж.-Б. Грессе «La chartreuse» («Обитель»): Calme hereux! loisir solitaire!//Quand on joit de ta douceur,//Quel autre n'a pas de quoi plaire?//Quelle caverne est etrangere//Lorsqu'on y trouve la bonheure? (приводим в подстрочном переводе): «Счастливый покой! Уединенное отдохновение!//Когда наслаждаешься твоей сладостью,// Какая пещера не будет мила?//Какой вертеп будет непривлекателен,// Если в нем находишь счастье?» Помимо указанного стихотворения Грессе, в послании Батюшкова отразились мотивы послания Ж.-Ф. Дюси «К моим Пенатам». В автографе зачеркнуты стихи (после ст. 200), относящиеся к Карамзину:

Всегда внушенный чувством,
Умел он позлатить
Оратора искусством
Повествованья нить
И в слоге плавном слить
Всю силу Робертсона
И сладость Ксенофона;
Аттической пчелы,
Волшебной <нрзб>

Ряд существенных вариантов имеется в копии «первой» *БТ* — см.: *АС*, с. 486—488. *Богини Пермесские, пиериды* — музы. *...рухлая скудель...*— глиняная посуда. *...в жупел и в огни...*— жупел, горящая сера, адское наказание для грешников. *Богиня слепая* — Фортуна. *Аония* — область в Греции, где был расположен Геликон. *Парнасский исполин* — Ломоносов. *Наш Пиндар, наш Гораций...*— Державин. *Суна* — река, на которой находится водопад Кивач, воспетый Державиным в оде «Водопад» (1794). *...повестью прелестной пленяет Карамзин...*— Далее речь идет об очерке Карамзина «Афинская жизнь» (1793), где изображен ужин в «храме наслажденья». *...древню Русь и нравы Владимира времян...*— Речь идет о работе Карамзина над «Историей государства Российского». *...сильф прекрасный...*— И. Ф. Богданович. *Мелецкий* — Ю. А. Нелединский-Мелецкий. *Сложи печалей бремя, Жуковский...*— намек на несчастливую любовь Жуковского к М. А. Протасовой. *Питомец Муз надежный...*— Вяземский; приведенный стих — цитата из «Послания от английского стихотворца Попа к доктору Арбутноту» И. И. Дмитриева. *Наемных ликов глас* — хор церковных певчих.

Послание г<рафу> В<иельгорско>му.— Написано в декабре 1809 г. Впервые: *ПРП*, ч. 4, 1815, с. 193—195, под загл.: «Графу В...» (без подп.). Батюшков познакомился с М. Ю. Виельгорским (Велеурским) в 1807 г. в Риге. *Еще отдай стихам потерянны права...*— Подразумеваются песни Орфея, которые, согласно легенде, могли двигать камни и деревья; Батюшков высказывает пожелание, чтоб адресат положил его стихи на музыку.

Послание к Т<ургене>ву.— Стихотворный экспромт из письма Батюшкова к А. И. Тургеневу от 14 октября 1816 г., в котором содержалась просьба выхлопотать «пенсион» вдове погибшего на войне офицера Попова. Экспромт так понравился адресату, что он, удовлетворив ходатайство, отдал стихотворение в печать. Впервые: *ПРП*, ч. 6, 1815, с. 234—237, под загл.: «К другу».

Ответ Г<неди>чу.— Написано осенью 1809 г. Впервые: *ВЕ*, 1810, ч. 49, № 3, с. 186—187 (подп.: *Констан. Б...в*); напечатано вслед за посланием Н. И. Гнедича «К Б<атюшкову> («Когда придешь в мою ты хату...») (1807), ответом на которое и является. *Сабинский домик* — поместье Горация в Сабинах; в поэтической традиции — обитель, удаленная от шума света.

К Ж<уковско>му.— Написано в июне 1812 г. Впервые: *ПРП*, ч. 2, 1814, с. 201—205, с неточной пометой «1811 г.» (без подп.). Послано при письме к Жуковскому от июня 1812 г. из Петербурга, где стихи 19—51 заменены следующими 10-ю стихами:

Под сению свободы,
Достойные природы
И юныя весны!
Тебе — одна лишь радость,
Мне — горести даны!
Как сон проходит младость
И счастье прежних дней!
Все сердцу изменило:
Здоровье легкокрыло
И друг души моей.

Белев — город в Тульской губ., близ которого жил в то время Жуковский. *Амальтеи рог* — рог изобилия. *«Усопший! мир с тобою!»* — Цитата из баллады Жуковского «Громобой» (1-я часть «Двенадцати спящих дев»). *Свистов* — Д. И. Хвостов. *...певец досужий...*— близкий Хвостову литератор-дилетант Г. П. Ржевский.

Ответ Т<ургене>ву.— Написано предположительно в начале 1812 г. Впервые: *О*, ч. II, с. 153—156. ...*Как Дафна к богу пенья*...— Имеется в виду греч. миф о нимфе Дафне, отвергнувшей любовь Аполлона. *Любовник строгой Лоры*...— Петрарка. ...*Душеньки певец*...— И. Ф. Богданович. *Лесбосская певица* — Сафо.

К П<ети>ну.— Написано в начале 1810 г. Впервые: *О*, ч. II, с. 157—159. *Индесальми* — селение в Финляндии, у которого в ночь на 29 октября 1808 г. произошло сражение русских войск со шведами; в нем отличился И. А. Петин; Батюшков был в это время в резерве.

Послание И. М. М<уравьеву>-А<постолу>.— Написано в 1814—1815 гг. Впервые: *ПРП*, ч. 6, 1815, с. 79—84, под загл.: «К И. М. М. А.». ...*новый мира житель*...— перефразировка выражения А. Кантемира (см. коммент. к статье «Нечто о морали...»). *Мантуа* (Мантуя) — родина Вергилия, город на реке *Минций* (Минчио) в Северной Италии. *Титир* — пастух из I эклоги Вергилия. *Кола* — река на Кольском полуострове. *Наш Пиндар* — Ломоносов. *Мрежи* — сети. *Дрожащий, хладный блеск*...— Стихи навеяны поэмой Ломоносова «Петр Великий». ...*древний град отцов*...— Казань, воспетая Державиным в стих. «Арфа» (1798). ...*струи царицы светлых вод*...— Волги. *Певец сибирского Пизарра*...— И. И. Дмитриев, автор драматической поэмы «Ермак» (Х. Писарро — завоеватель Перу; Ермак — покоритель Сибири).

Смесь

Хор для выпуска благородных девиц Смольного монастыря.— Написано в начале 1812 г. по заказу, для исполнения выпускницами Смольного института. Впервые: *О*, ч. II, с. 169—171. *Виновница счастливых дней!*..— Вдовствующая императрица Мария Федоровна, мать Александра I, покровительница дворянского женского учебного заведения в Смольном монастыре в Петербурге.

Песнь Гаральда Смелого.— Написано в феврале 1816 г. Впервые: *ВЕ*, 1816, ч. 88, № 16, с. 257—258. Вольный перевод с французского песни, приписывавшейся норвежскому королю Харальду Сигуардарсону (XI в.), женатому на дочери Ярослава Мудрого княжне Елизавете. Непосредственным толчком к созданию переложения послужило чтение книги Л.-А. Маршанжи «Поэтическая Галлия» (1814, т. 2). До Батюшкова эту песню переводили

Ф. П. Моисеенко, Н. А. Львов, И. Ф. Богданович; непосредственное воздействие на перевод оказала поэма Э. Парни «Иснель и Аслега», включающая свободное переложение «Песни...».

Вакханка.— Написано в 1809—1811 гг. Впервые: *О*, ч. II, с. 175—176. Входит в «первую» *БТ*, где сопровождено примечанием к 1-му стиху: «Еригона, дочь Икария, которую обольстил Вакх, преобратясь в виноградную кисть» (*ИРЛИ*, ед. хр. 9654). Свободное переложение 9 эпизода из поэмы Э. Парни «Переодевания Венеры». *Эвр* — теплый юго-восточный ветер. *Эвоэ!* — ритуальное восклицание на вакхических празднествах.

Сон воинов. *Из поэмы «Иснель и Аслега».*— Написано в 1809—1811 гг. Впервые: *ВЕ*, 1811, ч. 55, № 3, с. 178—180 (подп.: *Конст. Б.*) под заглавием: «Сон ратников. Вольный перевод из поэмы: «Иснель и Аслега». В первой публикации имела окончание (24 стиха), не вошедшее в *О:*

Все спят у тлеющих костров,
Все спят; один Эрик несчастный
Поет и в мраке гул ужасный
От скал горам передает:
«Сижу на бреге шумных вод,
Все спит кругом: лишь воют рощи,
И Гелы тень во мгле ревет:
Не страшны мне призраки нощи,
Мой меч скользит по влаге вод!
Сижу на бреге ярых вод.
Страшися, враг, беги стрелою!
Ни меч, ни щит уж не спасет
Тебя с восставшею зарею...
Мой меч скользит по влаге вод!
Сижу на бреге ярых вод.
Мне ревность сердце раздирает.
Супруга, бойся! День придет,
И меч отмщенья заблистает!..
Но он скользит по влаге вод.
Сижу на бреге шумных вод.
Все спит кругом; лишь воют рощи,
Лишь Гелы тень во мгле ревет:
Не страшны мне призраки нощи,
Мой меч скользит по влаге вод!»

Отрывок представляет собой вольный перевод из 3-й песни поэмы Э. Парни «Иснель и Аслега, поэма, подражание скандинавам».

Разлука.— Написано предположительно в 1812—1813 гг. Впервые: *ПРП*, ч. II, 1814, с. 121—123 (без подп.).

Ложный страх.— Написано в 1809—1810 гг. Впервые: *ВЕ*, 1810, ч. 51, № 11, с. 213—214 (без подп.). Перевод элегии Э. Парни «Испуг». *И Амуры на часах...*— Стих из послания М. Н. Муравьева «Богине Невы».

Сон Могольца.— Написано в 1807—1808 гг. Впервые: *ДВ*, 1808, ч. 5, с. 78—80 (подп.: *Кон. Бат.*); перепеч.: *ВЕ*, 1810, ч. 49, № 4, с. 286—287 (подп.: *К. Б — в*). Вольный перевод басни Ж. Лафонтена «Сон жителя Моголии», восходящей по сюжету к «Гулистану» Саади. Перевод Батюшкова, вероятно, связан с переводом этой же басни В. А. Жуковского (1806).

Любовь в челноке.— Написано, вероятно, в 1809—1810 гг. Впервые: *ПРП*, ч. 4, 1815, с. 186—188 (без подп.).

Счастливец.— Написано, вероятно, в 1809—1810 гг. Впервые: *ВЕ*, 1810, ч. 53, № 17, с. 52—53 (подп.: *К. Б.*), с подзаголовком: «Подражание Касти: «Odi le rapide ruote sonanti» («Слушай быстрые колеса, звенящие») и дополнительным четверостишием после строфы 10-й:

Сердцем спит и нем душою,
Тратит жизнь на суеты,
Днем не ведает покою,
Ночью — страшные мечты!

Свободное переложение одного из «Анакреонтических стихотворений» Дж. Касти. *Сердце наше кладезь мрачной... Крокодил...*— Сентенция, заимствованная из повести Ф.-Р. Шатобриана «Атала».

Радость.— Написано, вероятно, в 1809—1810 гг. Впервые: *О*, ч. II, с. 196—198. Вольный перевод одноименного стихотворения Касти.

К Н<ките>.— Написано в июле 1817 г. Впервые: *О*, ч. II, с. 199—201. Обращено к Н. М. Муравьеву, будущему декабристу.

Эпиграммы, надписи и пр<очее>

I. «Всегдашний гость, мучитель мой...»— Написано, вероятно, летом 1812 г. Впервые: *О*, ч. II. с. 202. Вольный перевод эпиграммы Э. Лебрена «О, проклятое общество...». Направлено, вероятно, против Г. П. Ржевского, донимавшего Батюшкова чтением своих сочинений.

II. «Как трудно Бибрису...» — Написано в 1809 г. Впервые: *Цв*, 1809, ч. III, № 9, с. 372 (подп.: *К. Б—в*); перепеч.: *ВЕ*, 1810, ч. 51, № 10, с. 127 (подп.: *К. В.*). *Бибрис* — каламбурно-пародийное прозвище С. С. Боброва (от лат.: fiber — бобр и bibere — пить), намекающее на его страсть к спиртному.

III. «Памфил забавен за столом...» — Написано, вероятно, в 1815 г. Впервые: *РМ*, 1815, ч. III, № 9, с. 262.

IV. Совет эпическому стихотворцу.— Написано, вероятно, в 1810 г. Впервые: *О*, ч. II, с. 203. Направлено против поэмы С. А. Ширинского-Шихматова «Петр Великий, лирическое песнопение в 8 песнях» (СПб., 1810).

V. Мадригал новой Сафе.— Написано в 1809 г. Впервые: *Цв*, 1809, ч. III, № 9, ч. 372 (подп.: *К. Б—в*); перепеч.: *ВЕ*, 1810, ч. 50, № 5, с. 32 (подп.: *Б.*). Эпиграмма, по-видимому, высмеивает А. П. Бунину, безнадежно влюбленную в И. И. Дмитриева.

VI. Надпись к портрету Н. Н.— Написано в 1809—1810 гг. Впервые: *СРС*, ч. 5, 1811, с. 216, под загл.: «К портрету —вой». Адресатом является, вероятно, М. А. Чеглокова-Лачинова (см. коммент. к стих. «Отъезд»).

VII. К цветам нашего Горация.— Написано в 1816 г. Впервые: *О*, ч. II, с. 204. Обращено к поэту И. И. Дмитриеву (комплиментарное сопоставление с Горацием основано на любви обоих поэтов к садоводству); было послано адресату вместе с цветочными семенами.

VIII. Надпись к портрету Жуковского.— Написано в начале 1817 г. по заказу М. Т. Каченовского, издателя «Переводов в прозе» Жуковского, в качестве надписи для портрета автора (гравюра А. Флорова с ориг. П. Соколова). Впервые: *ВЕ*, 1817, ч. 91, № 3, с. 183 (подп.: *К. Б.*). *Он храбрым гимны пел...*— Имеются в виду патриотические произведения Жуковского «Певец во стане русских воинов», «Певец в Кремле» и др. *...новый Грей.*— Жуковский испытал заметное влияние поэзии Т. Грея и прославился вольным переводом его элегии «Сельское кладбище».

IX. Надпись к портрету графа Эммануила Сен-При.— Написана в 1815 г. в Каменце-Подольском по просьбе брата погибшего во время похода на Париж Э. Сен-При, подольского губернатора. Впервые: *СО*, 1816, ч. 28, № 12, с. 216 (подп.: *NN*), под загл.: «Надпись к портрету графа Сен-Приеста». *Лилии отцов* — лилии в гербе французских королей (Бурбонов), к роду которых принадлежал Сен-При.

X. Надпись на гробе пастушки.— Написано в 1810 г. Впервые: *ВЕ*, 1810, ч. 52, № 14, с. 125 (подп.: *Б.*) с пояснительным подзаголовком: «Этот гроб находился на лугу, на котором собирались плясать пастухи и пастушки». Навеяно знаменитой картиной Пуссена «Аркадские пастухи».

XI. Мадригал Мелине, которая называла себя Нимфою.— Написано летом 1809. Впервые: *О*, ч. II, с. 207.

XII. На книгу под названием «Смесь».— Написано, вероятно, в 1817 г., специально для *О*, в качестве иронического завершения раздела «Смесь». Впервые: *О*, ч. II, с. 207.

Странствователь и Домосед.— Написано в январе — феврале 1815 г. Впервые: *Амф*, 1815, № 6, с. 75—91 с вариантами стихов.

Вм. ст. 124—125:

...И снова мудрости искать
Меж греков просвещенных!
Сказал и сделал так
Наш ветреный чудак.

Вм. ст. 300—313:

Так точно весь народ толпился и шумел
Пред кафедрой бродяги,
Который в первый раз блеснуть умом хотел,
Но заикнулся, покраснел
И побледнел,
Как белый лист бумаги.

Филалет — с греч.: «Любитель истины»; персонаж известных публицистических писем Карамзина «Мелодор к Филалету. Филалет к Мелодору» (1793). *Гарпагон* — герой комедии Ж.-Б. Мольера «Скупой»; здесь: скупец. *Мина* — мера веса серебра у греков. *Гликерия* —

античная красавица, нарицательное имя для обозначения женской красоты. *Пирей* — порт Афин. *...о чесноке святом...* — Чеснок был священным растением в Древнем Египте. *...о коте большом...* — Древние египтяне считали кошку священным животным, воплощением богини Изиды. *Кротон* — город, в котором жили ученики Пифагора, в частности, *Агатон*. *Лаконски горы* — горы на о. Пелопоннесе. *Илоты* — коренные жители греческой области Мессении, обращенные в рабство спартанцами. *Атараксия* — спокойствие, отречение от страстей. *Тайгет* — лесная гористая гряда в Пелопоннесе. *Керамик* — предместье Афин. *Иллис* — река в Афинах. *...Фонтанку, этот дом...* — Имеется в виду дом Е. Ф. Муравьевой, на углу Фонтанки и Невского проспекта. *...как старика Эней...* — Эпизод из «Энеиды» Вергилия, в котором Эней вынес своего отца из объятой пожаром Трои. *Гимет* — горы в Аттике.

Переход через Рейн. — Написано в конце 1816 — начале 1817 г. Впервые: *РВ*, 1817, № 5-6, с. XXXVIII—XLV. Батюшков был участником этого перехода (совершился 2 января 1814 г.) и придавал ему большое историческое значение. *Герман* — Арминий, древнегерманский вождь. *Здесь Кесарь бился...* — Имеются в виду войны Юлия Цезаря. *...волшебны лики...* — хоры. *Аттила новый* — Наполеон. *Улея* (Улео) — река в Финляндии. *...Где ангел мирный...* — императрица Елизавета Алексеевна (жена Александра I), урожд. баденская принцесса Луиза, происходившая с берегов Рейна. *Маккавеи* — библейские тираноборцы.

Умирающий Тасс. — Написано в феврале — мае 1817 г. Впервые: *О*, ч. II, с. 243—253 с примечаниями (перед текстом книги), из которых Батюшков в 1819—1820 гг. убрал заключительный абзац: «Да не оскорбится тень великого стихотворца, что сын угрюмого Севера, обязанный «Иерусалиму» лучшими, сладостными минутами в жизни, осмелился принесть скудную горсть цветов в ее воспоминание!» При работе над элегией поэт использовал исследование С. де Сисмонди «О литературе Южной Европы» (т. 2) и П.-Л. Женгене «История итальянской литературы» (т. 5). Эпиграф — из финала 5 действия трагедии Тассо «Король Торисмондо». *Капитолий* — священная гора в Древнем Риме; в средние века место торжеств. *Стогны* — площади. *Багряницы* — торжественные одежды. *Квириты* — граждане Древнего Рима. *Сорренто* — город в Италии, родина Тассо. *...как трепетный Асканий...* — герой «Энеиды» Вергилия, в младенчестве вынесенный отцом из горящей Трои. *...Альфонсова дворца...* — дворца феррарского герцога Альфонса II д'Эсте (Тассо был его придворным поэтом). *Сион, берега Иордана, Кедрон, убежища*

Ливана — места в Палестине, где происходит действие поэмы Тассо «Освобожденный Иерусалим». *Готфред и Ринальд* — герои поэмы. *Элеонора* — сестра герцога феррарского, в которую, по преданию, был влюблен Тассо.

Беседка муз.— Написано в мае 1817 г. Впервые: *СО*, 1817, ч. 39, № 28, с. 63—64, со ссылкой на печатавшуюся 2-ю часть *О*. О беседке, убранной им в саду для поэтических занятий, Батюшков писал Гнедичу в мае 1817 г. *...путь за стаею орлов,//Как пчелке, невозможен...* — заимствование из стихотворения В. В. Капниста «Ломоносов» (1805).

ПРОИЗВЕДЕНИЯ, НЕ ВОШЕДШИЕ В «ОПЫТЫ В СТИХАХ И ПРОЗЕ»

Проза

Об искусстве писать. *Почерпнуто из Бюффона.*— Судя по характеру почерка сохранившегося автографа (*ИРЛИ*, ф. 19, ед. хр. 3), относится ко времени ранней юности Батюшкова (1802—1807 гг.). Впервые: *Арх., 1979*, с. 215—217. Настоящая статья (вероятно, незаконченная) является не переводом какой-то конкретной работы Ж.-Л. Бюффона, но оригинальным рассуждением Батюшкова.

Мысли.— Написано в начале 1810 г. Впервые: *ВЕ*, 1810, ч. 52, № 13, с. 67—68 (подп.: *Б...*). Относится к жанру «максим» (афоризмов), распространенных во французской литературе XVII—XVIII вв. Некоторые «мысли» представляют собой переводы высказываний Монтеня, Ж. Масьё, Кондильяка и пр.

Опыты в прозе.— Написано в июле 1810 г. Впервые: *ВЕ*, 1810, ч. 54, № 21, с. 27—37 (подп.: *К. Т. Х.*). Атрибутировано нами Батюшкову (см.: *РЛ*, 1986, № 1, с. 150—155) на том основании, что этот очерк был послан Жуковскому при письме от 26 июля 1810 г. и упомянут в качестве принадлежащего Батюшкову в письме Д. П. Северина к П. А. Вяземскому от 11 декабря 1810 г. (*ЦГАЛИ*, ф. 195, оп. 1, ед. хр. 2727, л. 30—30 об). В собрание сочинений Батюшкова включается впервые. Очерк является откликом на статью Д. П. Северина «Писатель в обществе» (*ВЕ*, 1808, ч. 42, № 22, с. 112—118) и помещенную вслед за ней «антикритику» Жуковского «Несколько

слов о том же предмете» (с. 118—135). Некоторые имена, упоминаемые в очерке, имеют конкретных прототипов: *Бавий* — Д. И. Хвостов; *Мевий* — П. А. Ширинский-Шихматов; *Балдус* — А. А. Шаховской; *Дамон* — П. И. Голенищев-Кутузов (см.: *ВЛ*, 1987, № 6, с. 80—82). *Она идет, завернувшись...* — Цитата из поэмы Т. Тассо «Освобожденный Иерусалим» (II, 18). *...живущими один миг..., ...все печали отдавал ветрам!..* — Указание на основные мотивы поэзии Горация, пересказ оды XX из II книги. *С подзобком на груди...* — Неточная цитата из эпиграммы И. И. Дмитриева на Д. И. Хвостова (1810). *«Ах, я жалею о том человеке...»* — Измененная цитата из очерка Н. М. Карамзина «Мелодор к Филалету» (1795).

Лавиния. *Историческая повесть.* — Написано летом — осенью 1810 г. Опубликовано (по автографу: *ИРЛИ*, ф. 19, ед. хр. 2): *РЛ*, 1986, № 1, с. 156. Продолжения повести, отразившей увлечение Батюшкова античной историей (см. также повесть «Левкад»), не сохранилось.

Предслава и Добрыня. *Старинная повесть.* — Впервые: *СЦ* на 1832 г., с. 1—46, со следующим примечанием: «Повесть сия сочинена Батюшковым в деревне 1810 г. и подарена одному любителю словесности, которому свидетельствуем искреннюю благодарность за сообщение драгоценной сей рукописи и за позволение напечатать оную. Может быть, найдут в этой повести недостаток создания и народности; может быть, скажут, что в ней не видно Древней Руси и двора Владимирова. Как бы то ни было, но поэтическая душа Батюшкова отсвечивается в ней, как и в других его произведениях, и нежные, благородные чувствования выражены прекрасным гармоническим слогом» (примечание атрибутируется либо А. С. Пушкину, либо О. М. Сомову). В автографе (*ИРЛИ*, 19514/CXXX б. 3) имеется следующее зачеркнутое место (после абзаца, кончающегося словами «...таковы и наши любовники»: «Между тем слава о Владимире гремела во всех концах земли русской. Капища упали: лучезарный крест сиял на храмах, в которых мирный фимиам и бескровные жертвы курились пред истинным богом». Повесть писалась под влиянием недавнего общения Батюшкова с Карамзиным: летом 1810 г. поэт три недели жил в Остафьеве по приглашению Вяземского и Карамзина. *Зимцерла* — богиня зари и весны, культ которой упоминается в книге А. С. Кайсарова «Мифология славян» (18). *«Только истинное прекрасно...»* — Стих из 9-й сатиры Буало. *Биармия* — древняя северная область на берегу Белого моря; легендарная страна скандинавских саг. *Болгары были магометанского исповедания...* — Батюшков имеет в виду запись в «Повести временных лет»

под 6366 (858) годом. *Термодон* (Фермодонт) — река, впадавшая в Черное море, в устье которой была расположена столица амазонок. *Иверни* — осколки. *Знич* (слав.) — бог огня. *Насилу досказал!* — заключительный стих из сказки И. И. Дмитриева «Причудница» (1794).

Анекдот о свадьбе Ривароля.— Написано летом — осенью 1810 г. Впервые: *ВЕ*, 1810, ч. 54, № 23, с. 232—235 (подп.: *К. Б.*). Связано с очерком П. А. Вяземского «Нечто о Ривароле» (*ВЕ*, 1810, ч. 52, № 13, с. 35—40). «Анекдот» Батюшкова, как и очерк Вяземского, восходят к многочисленным французским источникам. *Покоясь еще под авторским наметом...*— Стих из «Послания от английского стихотворца Попа к доктору Арбутноту» И. И. Дмитриева.

<Прогулка по Москве.> — Написано во второй половине 1811 г. Впервые: *РА*, 1869, стлб. 1191—1208. Заглавие дано первым публикатором (П. И. Бартеневым); в авторизованной копии (*ГБЛ*, ф. 3619, к. I, ед. хр. 8), содержащей значительную правку рукой Батюшкова, оно отсутствует. *Корнеты, чепчики, мужья и сундуки...*— Измененная цитата из стихотворения И. И. Дмитриева «К А. Г. С<еверино>й» (1791). *...для принятия оков гнуснейшего рабства...*— После войны 1805—1807 гг. германские государства попали в полную зависимость от Наполеона. *Дурачься, смертных род!..*— Стих Батюшкова из перевода отрывка XXXIV песни поэмы Л. Ариосто «Неистовый Роланд». *Секвана* — римское название реки Сены. *Прибавьте немножко вашей бесполезности...*— Цитата из стихотворения Вольтера «Послание к мадам Дени». *Карусель, который стоил столько издержек...*— Имеется в виду народное празднество с театрализованным представлением, устроенное в Москве, у Калужской заставы, в июле 1811 г. *...издатель «Русского вестника»* — С. Н. Глинка; из патриотических соображений он печатал прохладные отзывы об игре на московской сцене знаменитой французской актрисы мадемуазель Жорж. *Хин-Хилла* — увечный капитан, персонаж романа А.-Р. Лесажа «История Жиль Блаза из Сантильяны». *Увы, быстротекущие...*— начальные стихи Горация из оды XIV книги 2-й («К Постуму»).

Воспоминание о Петине.— Написано в 1815 г. («9 ноября»). Впервые: *Моск.*, 1851, ч. 2, № 5, с. 11—20. Публикация этого и следующего отрывка сопровождалась вступительным письмом П. А. Вяземского; см.: Вяземский П. А. Соч., т. 2. М., Худож. лит-ра, 1982, с. 216—219. *...послание «о выгодах умереть в моло-*

дости».— Вероятно, одно из посланий С. С. Уварова, написанных по-французски. *...красноречивый римлянин...*— Цицерон; имеется в виду его трактат «О старости». *Фридланд* — город в Восточной Пруссии, где русские войска были разбиты Наполеоном. *Уже не придут в сонм друзей...*— Цитата из «Певца во стане русских воинов» Жуковского.

Воспоминание мест, сражений и путешествий.— Написано во второй половине 1815 г. в Каменце-Подольском. Впервые: *Москв.*, 1851, ч. 2, № 5, с. 8—11. *Тирас* — греческое название Днестра. *...«мое воображение хозяин в доме»...*— крылатое французское выражение, приписывавшееся Монтеню. *...кусок черствого хлеба*, pazcamensa...— Имеются в виду слова Тацита из «Анналов» (XIII, 16): «propria et parciore mensa» («за столом, по чину умеренным»).

Из книги «Пантеон итальянской словесности»

Над книгой об итальянской литературе эпохи Возрождения Батюшков работал в феврале — марте 1817 г. в Хантоново. В письмах его к Гнедичу сохранилось два варианта проспекта этой книги: в одном (письмо от 7 февраля) и в двух томах (письмо от середины марта). «Однотомный» вариант предполагал включение в книгу прозаических переводов из «Ада» Данте, «Освобожденного Иерусалима» Тассо, «Неистового Роланда» Ариосто, «Декамерона» Боккаччо, из Макиавелли; «двухтомный» вариант предусматривал выделение специального (второго) тома статей и исследование об итальянской литературе «первого периода»; сюда же Батюшков намеревался включить, в дополненном виде, опубликованные уже статьи об Ариосте, Тассо, Петрарке. Судя по указаниям в письмах, к началу марта том «итальянских переводов» был у Батюшкова готов; он намеревался «продать» издание «за две тысячи» Н. И. Гречу, но тот, вероятно, отказался. В марте 1817 г. поэт переслал Гнедичу «для наполнения «Опытов» переводы двух новелл Боккаччо (одна из них —«Гризельда»— вошла в *О*); остальные переводы в июне того же года были посланы М. Т. Каченовскому для публикации в *ВЕ*. Из этих, законченных Батюшковым, переводов до нас не дошли переводы из поэмы Данте, «Путешествие в Луну» и «Альчина» Ариосто, «Пример дружества» Боккаччо и «Отрывок из Макиавелея».

Слава и блаженство Италии. *Из г-жи Сталь.*— Впервые: *ВЕ*, 1817, ч. 94, № 15-16, с. 197—204 (подп.: *N*). Перевод отрывка из романа Ж. де Сталь «Коринна, или Италия» (кн. 2-я, гл. 3: первая часть «Речи Коринны на Капитолии»). Батюшков

намеревался открыть этим переводом 1-й том книги. На принадлежность перевода Батюшкову впервые указала Р. М. Горохова (см.: Эпоха романтизма. Из истории международных связей русской литературы. Л., Наука, 1975, с. 256—263; *РЛ*, 1986, № 1, с. 149—150). В сочинения Батюшкова вводится впервые.

Олинд и Софрония. *Отрывок из II-й песни «Освобожденного Иерусалима».*— Впервые: *ВЕ*, 1817, ч. 95, № 17-18, с. 3—17 (подп.: *Б.*). *Не бледность...*— Стих Петрарки из «Триумфа смерти мадонны Лауры» (ч. I, ст. 168).

Исступление Орланда. *Конец песни XXIII-й и начало XXIV-й.*— Впервые: *ВЕ*, 1817, ч. 95, № 17-18, с. 17—29 (подп.: *Б.*).

Моровая зараза во Флоренции *(Из Боккачьо).*— Впервые: *СорП*, 1819, ч. V, с. 39—50. Перевод начальных страниц «Декамерона» был послан Гнедичу для помещения в *О.*

Письмо Бернарда Тасса к Порции о воспитании детей.— Впервые: *ВЕ*, 1817, ч. 94, № 15-16, с. 165—172 (подп.: *Б.*), со следующим примечанием М. Т. Каченовского: «Любопытно видеть, как родители Торквато пеклись об его воспитании. Бернардо, как известно, был и сам славный стихотворец и писатель, достойный уважения; а из этого письма видно, что он был и добрый человек. Это слова почтеннейшего Б⟨атюшков⟩а, приславшего ко мне перевод свой».

Стихотворения

Послание к стихам моим.— Написано в 1804 г. Впервые: *НРЛ*, 1805, ч. 13, № 1, с. 61—64 с следующим примечанием: «Сии стихи присланы к нам при следующих строках: «C'est un méchant métier que celui de médire [1],— сказал Боало и, несмотря на то, продолжал браниться с несчастным Котеном и с гармоническим Кинольтом. Знаю и я, что брань самое худое ремесло и что

Нет счастия тому, кто в оное вдается;
От брани завсегда лишь брань произведется.

---

[1] Злословить — плохое ремесло *(фр.).*

Но легче знать пороки свои, нежели исправляться от них. В моей сатире нет личности: самолюбием играть опасно». Благодарим г. автора за сию пиесу и помещаем ее с особливым удовольствием. *Издат.*». Входит в авторизованный сборник копий ранних стихотворений Батюшкова, принадлежавший М. Е. Лобанову (*ГПБ*, ф. 777, ед. хр. 1614), где имеет заглавие «Сатира». Эпиграф — из стих. Вольтера «Послание к королю Дании Христиану VII о свободе печати, дарованной в его государстве». Под условными именами литераторов скрыты реальные лица: *Стукодей* — Н. Столыпин, *Плаксивин* — П. Шаликов, *Безрифмин* — А. Обрезков и др. (см.: *ВЛ*, 1987, № 6, с. 61—64). *Иному в ум придет... кругами утверждает!* — Намек на А. С. Шишкова, который в «Рассуждении о старом и новом слоге российского языка» (1803) сравнивал эволюцию значения слова с кругами, расходящимися по воде. В списке Лобанова к этому стиху дано примечание: «Всем известно, что остроумный автор Кругов бранил г. К⟨арамзи⟩на и пр. и советовал писать не по-русски».

Мечта ⟨*Первая редакция*⟩.— Традиционная датировка стихотворения (1802) не представляется убедительной, ибо основана лишь на указании из письма Батюшкова к Гнедичу от декабря 1810 г., что некоторые стихи элегии написаны «назад тому лет семь». Исходя из особенностей творческой эволюции поэта, мы датируем «Мечту» 1804—1805 гг. Впервые: *ЛС*, 1806, № 9, с. 216—219 (подп.: *К. Б—в*). В первой редакции особенно заметно влияние стихотворения М. Н. Муравьева «К Музе».

Бог.— Написано в 1804—1805 гг. Впервые: *М*, т. 1, с. 5—6, по списку, принадлежавшему П. Н. Тиханову (*ГПБ*, ф. 777, ед. хр. 1512). Подражание духовным одам Державина «Бог» и «Величество божие».

Элегия.— Написано в 1804—1805 гг. Впервые: *СВ*, 1805, ч. 5, № 3, с. 338—339 (подп.: *К. Б—в*). Вольный перевод IX элегии IV книги Э. Парни.

Послание к Хлое. *Подражание.*— Написано в 1804—1805 гг. Впервые: *М*, т. 1, с. 10—12. Эта сатира была представлена Батюшковым для вступления в апреле 1805 г. в Вольное общество любителей словесности, наук и художеств. *Брумербас* — тип хвастливого воина, выведенный в сказке И. И. Дмитриева «Причудница» (1794).

П е р е в о д 1-й с а т и р ы Б о а л о.— Написано в 1804—1805 гг. Впервые: *М*, т. 1, с. 19—23. Вольное подражание сатире Н. Буало «Прощание поэта с городом Парижем». В рукописном сборнике ранних стихотворений последние 16 стихов написаны рукой самого Батюшкова. *Таков железный век...*— образ из поэмы Гесиода «Труды и дни», символизирующий падение нравов и культуры.

К Ф и л и с е. *Подражание Грессету.*— Написано в 1804—1805 гг. Впервые: *М*, т. 1, с. 14—18. Раннее подражание стих. Грессе «Обитель» (ср.: «Мои Пенаты»). Эпиграф — из VI послания Буало.

П е р е в о д Л а ф о н т е н о в о й э п и т а ф и и.— Написано в 1804—1805 гг. Впервые: *М*, т. 1, с. 13. Перевод шутливой автоэпитафии Ж. Лафонтена.

П о с л а н и е к Н. И. Г н е д и ч у.— Впервые: *Цв*, 1809, ч. II, № 5, с. 184—192 (подп.: *К. Б.*). На основании упоминания в письме Батюшкова к Гнедичу от октября — ноября 1810 г., датируется 1805 годом; но не исключено, что в этом письме Батюшков вспомнил о каком-нибудь другом написанном им послании. *...в полтавских ты степях?* — Гнедич часто выезжал на родину, в Полтавскую губернию. *Фингалов певец* — Оссиан. *Цитерские узы* — узы любви (на о. Цитера находилось святилище Афродиты). *Рифмин* — возможно А. Ф. Мерзляков, переводивший античных авторов. *В покойном уголке тихонько притаясь...*— Неточная цитата из I сатиры Кантемира «На хулящих учение». *Муфтий* — судья на Востоке. *Друиды* — кельтские жрецы. *Мальвина* — героиня поэм Оссиана. *...поэзия любезна...*— перефразировка стихов Державина из оды «Фелица».

⟨Н а с м е р т ь И. П. П н и н а⟩.— Впервые: *СВ*, 1805, ч. 7, № 9, с. 345—346 (подп.: *Бат.*), под загл.: «На смерть его же» (перед стих. Батюшкова были напечатаны стих. С. Н. Глинки и Н. А. Радищева, также посвященные смерти Пнина). И. П. Пнин умер 17 сентября 1805 г. Эпиграф — из стих. Вольтера «Смерть Лекуврер, знаменитой актрисы».

«Б е з р и ф м и н а с о в е т...» — Впервые: *ЖРС*, ч. III, 1805, № 11, с. 157 (подп.: ***), с измененной первой строкой: «Совет Ликаст дает...». «Безрифмин» появился во второй публикации: *ВЕ*, 1810, ч. 49, № 4, с. 286 (подп.: *К.*); разные исследователи соотносили его с С. С. Бобровым, А. Обрезковым и пр.

Impromptu старой даме...— Впервые: *ЖРС*, ч. III, 1805, № 11, с. 157 (подп.: ***). Атрибутировано нами Батюшкову на том основании, что эта эпиграмма напечатана на той же странице журнала и за той же подписью, что и предыдущая. В сочинения Батюшкова введено впервые.

К Мальвине.— Написано в 1805 г. Впервые: *СВ*, 1805, ч. 8, № 11, с. 167—168 (без подп.), под загл.: «Стихи к М. (с итальянского)» и с эпиграфом: «Amica! tu sei la rosa della primavera» («Подруга! ты весенняя роза»). В новом варианте опубл.: *СРС*, ч. II, М. 1810, с. 196 (без подп.). Итальянский подлинник неизвестен.

Совет друзьям.— Написано в 1806 г. Впервые: Лицей, 1806, ч. I, кн. I, с. 11—13 (подп.: *Бат.*). Первая редакция стих. «Веселый час». Эпиграф: из стих. французской поэтессы Генриетты де Мюра (1670—1716).

Пастух и Соловей.— Написано в начале 1807 г. Впервые: *ДВ*, 1808, ч. III, № 72, с. 145—146 (подп: *К. Б—в*). В стих. использован сюжет одноименной басни Ж.-П. Флориана. Направлено в защиту В. А. Озерова от нападок враждебной критики (отзыв Озерова о басне в письме к А. Н. Оленину от 23 ноября 1808 г. см.: *РА*, 1869, с. 137). *Творец Димитрия.*— Имеется в виду трагедия В. А. Озерова «Димитрий Донской» (1807).

К Тассу.— Написано летом 1808 г. Впервые: *ДВ*, 1808, ч. VI, с. 62—67 (без подп.). Послано при письме Гнедичу от 7 августа 1808 г. Стих. предвосхищает мотивы элегии «Умирающий Тасс». *...авзонская* — итальянская. *Скамандр* — река в древней Трое. *Вертепы* — ущелья, пропасти.

⟨Отрывок из I песни «Освобожденного Иерусалима»⟩.— Написано летом 1808 г. Впервые: *ДВ*, 1808, ч. VI, с. 68—72 (подп.: *NNN*). Перевод XXXII—XLI октав I песни поэмы Тассо. Судя по заметкам в письмах, Батюшков в 1808—1809 гг. полностью перевел I песнь; перевод утрачен. *Поганство буйное...*— язычники. *...хоругвь трех лилий...*— знамя французской королевской фамилии. *Иль-де-Франс, Орангия* (Оранж) — провинции во Франции. *Пуйские стены* — итальянские. *Каринтия* — герцогство на территории современной Австрии.

⟨Отрывок из XVIII песни «Освобожденного Иерусалима»⟩.— Написано в 1808—1809 гг. Впервые: *Цв*, 1809, ч. 2, № 6, с. 342—356 (подп.: *К. Б.*), под ошибочным заглавием: «Отрывок из X песни...» На самом деле перевод соответствует XII—XXXVII октавам XVIII песни (сражение Ринальдо с великаном в очарованном лесу волшебницы Армиды), причем Батюшков далеко отходит от подлинника, отказываясь от какого бы то ни было строфического членения.

Воспоминание ⟨*Полный текст стихотворения*⟩.— Начальную часть текста, вошедшую в *О* (см. на с. 171—172 наст. изд., комментарий на с. 451), Батюшков дополнил еще 13-ю стихами: *СРС*, 1811, ч. V, с. 272—275.

Стихи г. Семеновой.— Написано (в соответствии с авторской пометой) 6 сентября 1809 г.; место написания не соответствует действительности (в это время Батюшков жил в Хантоново). Впервые: *Цв*, 1809, ч. 3, № 9, с. 409—412 (подп.: *К. Б.*). В стих. перечислены роли из трагедий В. А. Озерова, в которых Е. С. Семенова имела блистательный успех: *Антигона* («Эдип в Афинах»). *Моина* («Фингал»), *Ксения* («Димитрий Донской»).

Книги и журналист.— Написано летом 1809 г. Впервые: *Цв*, 1809, ч. 3, № 9, с. 366 (подп.: *К. Б—в*), под загл. «Крот и мышь». Подсказано эпиграммой А. Пирона на журналиста Дефонтена («Послушай, прекрати свои дурацкие писания...»). Направлено против А. В. Лукницкого, издателя журнала «Северный Меркурий».

Эпиграмма на перевод Виргилия.— Написано летом 1809 г. Впервые: *Цв*, 1810, ч. 5, № 1, с. 99. Близкое подражание французской эпиграмме Ж.-Л. Лайа, осмеивающей французский перевод «Энеиды» («Могущественный бог стихов, вдали от священного дола...»). Направлено против А. Ф. Мерзлякова, который в 1807 г. издал переводы «Эклог» Вергилия.

«Пафоса бог, Эрот прекрасной...» — Написано осенью 1809 г. Впервые: Отчет императорской Публичной библиотеки за 1906 г. СПб., 1913, с. 163. Подпись под рисунком Батюшкова, изображающим Эрота, поймавшего бабочку.

Видение на брегах Леты.— Написано осенью 1809 г. Впервые: Русская беседа, т. 1. СПб., 1841, с. 1—10 (особ. нумер.) со следующим примечанием: «Шуточное это произведение принадлежит ко времени юности знаменитого поэта. Список его сохранился у одного из литераторов, и мы решились напечатать его: оно любопытно, как по отношениям, так и по неподдельному юмору. Русские музы редко шутят, хотя по старинному присловию: «смеяться не грешно над всем, что кажется смешно». Надобно только, чтобы шутка была безгрешна». Сатира Батюшкова распространилась в большом количестве списков, из которых Д. Д. Благой (*АС*, с. 527—539) выделил 7, вышедших из «батюшковского» окружения, и привел все основные варианты. Однако признание в качестве основного текста «Видения...» текст «второй» *БТ* не кажется нам удачным: он механически скопирован с текста «первой» *БТ*. «Гротовский» же список сатиры (*ИРЛИ*, 6930, XXXV 6 28), помимо того, что в нем имеются исправления рукой самого Батюшкова, дает и более поздний текст (относится к весне 1813 г.). Поэтому мы, вслед за Б. В. Томашевским и Б. С. Мейлахом, даем «Видение...» по «Гротовскому» списку. Эпиграф — из IX сатиры Буало. *Бобровым утомленный...* — Имеется в виду затрудненность безрифменных стихов С. С. Боброва. *...Певец прелестныя мечты...*— И. Ф. Богданович. *...Отец стихов «Телемахиды»...* — В. К. Тредиаковский. *...И ты, что сотворил обиды//Венере девственной...*— И. С. Барков был известен как автор непристойных произведений. *Маинин сын... Эрмий* — Гермес. *«...Егда приидут...»* — Пародируется стиль поэзии Тредиаковского. *...Поэт-философ-педагог...*— А. Ф. Мерзляков; далее пародируется его стих. «Тень Кукова на острове Овгиги» (1805) и осмеивается поэма «Амур в первые минуты его разлуки с Душенькою» (1809). *...Писать; все прозой, без еров.*— Подразумевается Д. И. Языков, не употреблявший твердых знаков (еров). *...лица новы//Из белокаменной Москвы.*— Имеются в виду последователи эпигонского сентиментализма. *...Поэт присяжный, князь вралей...*— П. И. Шаликов, поэт и издатель журнала «Аглая». *«Я Русский и поэт...»* — С. Н. Глинка, пламенный поклонник Руссо (за что назван *Жан-Жаком*), плодовитый драматург *(Расин)*, переводчик «Юнговых ночей» *(Юнг)*, автор педагогических сочинений *(Локк)*. *...Сафы русские печальны...*— А. П. Бунина, Е. И. Титова и М. Е. Извекова. *Густав* — драма Е. И. Титовой «Густав Ваза, или Торжествующая невинность». *...виноносный гений...*— С. С. Бобров; далее пародируется стиль его произведений. *...бледна тень...*— А. С. Шишков. *«Сочлены юные мои...»* — члены Российской Академии. *...Они Пожарского поют...*— Намек на поэму С. Ширинского-Шихматова «Пожарский, Минин, Гермоген, или Спасенная Россия». *...Кургановым писать учен...*— «Письмовник» Н. Г. Курганова рассматривался в XIX в. как образец литературы для «низкого» читателя. *«Езда в остров любви»* — галантный роман Тредьяковского.

«Деидамия» — его трагедия. *Вкусил бессмертия награду...*— В воспоминаниях М. А. Дмитриева далее указан стих, поясняющий характер «бессмертия» Шишкова: «Поставлен с Тредьяковским к ряду» (во всех основных списках этот стих отсутствует). *«Почта»* — журнал «Почта духов», издававшийся в 1789 г. молодым И. А. Крыловым.

Эпитафия.— Приведена Батюшковым в конце письма к Н. И. Гнедичу от конца ноября 1809 г. Впервые: *ВЕ*, 1810, ч. 51, № 10, с. 126 (подп.: *К. Б.*).

На перевод «Генриады», или Превращение Вольтера.— Написано в начале 1810 г.; послано в письме к А. Е. Измайлову (*М*, т. 3, с. 74). Впервые: *Цв*, 1810, ч. 5, № 2, с. 229—230 (подп.: *Т. Н. Р.*). Эпиграмма, по-видимому, высмеивает перевод поэмы Вольтера «Генриада», выполненный в 1803 г. И. Сиряковым (учителем Батюшкова в пансионе Жакино). *Габриэль* Д'Эстре — возлюбленная французского короля Генриха IV, одна из героинь «Генриады» Вольтера.

Отъезд.— Написано в 1809—1810 гг. Впервые: *О*, ч. II, с. 200; было вырезано из отпечатанной книги и осталось лишь в нескольких экземплярах. В «первой» *БТ* имеет заглавие: «М. Л...вой ...июня». Сохранился черновой автограф стихотворения: *ИРЛИ*, ф. 19, ед. хр. 6, л. 10—10 об., дающий ряд вариантов, из которых наиболее интересен вариант к 9 стиху: «И Марс, высокий и дебелый». По нашему предположению, адресатом этого шутливого стихотворения, а также стихотворений «К Маше», «В день рождения» и «Надпись к портрету Н. Н.» является знакомая семьи Батюшковых Мария Андреевна Лачинова (в замуж. Чеглокова). В 1809—1810 гг. между ней и Батюшковым установились характерные шутливо-дружеские взаимоотношения (см.: *М*, т. 3, с. 31, 33, 43, 46). *Селадон* — имя героя романа О. д'Юрфе «Астрея», ставшее нарицательным для обозначения слезливого любовника.

К Маше.— Написано в 1809—1810 гг. Впервые: *ВЕ*, 1810, ч. 49, № 4, с. 286 (подп.: *К.*). Стихотворение шутливо обыгрывает слова архангела Гавриила деве Марии во время Благовещения. Обращено, вероятно, к М. А. Чеглоковой-Лачиновой (см. предыд. стихотв.).

Ода XIX. К Аристу Фуску.— Написано в 1809—1810 гг., в Хантоново. Печатается впервые по черновому автографу:

ИРЛИ, ф. 19, ед. хр. 6, л. 9 об. (опущены многочисленные варианты-зачеркивания). Представляет собою попытку Батюшкова перевести оду Горация (ода 22 из I книги) размером, близким к подлиннику (сапфическая строфа). Предварительно Батюшков подготовил прозаический перевод той же оды:

«Тот, чья жизнь беспорочна и кто чист от злодеяний, тот не имеет нужды, о Фуск, ни в Маврских дротиках, ни в луке, ни в колчане, обремененном ядовитыми стрелами, хотя бы он был среди Африканских всегда кипящих мелей, хотя бы находился на негостеприимном Кавказе или на берегах, омываемых баснословным Гидаспом. Когда, отложив все попечения и воспевая Лалагу, я бродил по Сабинским лесам и перешел чрез пределы, тогда волк бежал от меня, не имеющего оружия: такого чудовища никогда не производила ни воинственная Дауния в обширных дубравах своих, ни страна Юбы, сие бесплодное отечество львов. Перенеси меня в места, где деревья, растущие на бездейственных полях, никогда не освежаются летним дыханием ветра, в ту страну света, которая угнетена вечным туманом и сгущенным воздухом; перенеси меня под колесницу Солнца, слишком приближенного к земле; в страну, где нет жилищ, я все буду любить Лалагу, коей сладостна улыбка, коей сладостна беседа» (*ИРЛИ*, ф. 19, ед. хр. 4, лл. 2—2 об.).

Арист Фуск — поэт и грамматик, друг Горация. *Гидасп* — река в Индии. ...*в лесу Сабинском*...— в области сабинян, в средней Италии, где находилось поместье Горация.

«У Волги-реченьки сидел...» — Датируется 1809—1810 гг. на том основании, что автограф стихотворения находится на оборотной стороне того листа, на котором написано предыдущее («Ода XIX. К Аристу Фуску»). Впервые, с большими неточностями: *РЛ*, 1958, № 4, с. 175—177 (публ. И. Б. Голуб). Автограф представляет собой черновой набросок, в котором оставлены пустые места для ненаписанных пятистиший (обозначены нами отточиями). Речь в стихотворении идет о пленном иноземном солдате, находящемся в России; оно является ранним вариантом разработки того сюжета, который будет развит в элегии «Пленный» (1814).

Стихи на смерть Даниловой...— Балерина М. Данилова умерла 8 января 1810 г. Впервые: *ВЕ*, 1810, ч. 50, № 7, с. 189 (подп.: *К.*); помета «С.-Петербург» условна: Батюшков в это время находился в Москве.

«Известный откупщик Фадей...» — Написано в 1810 г. Впервые: *ВЕ*, 1810, ч. 51, № 10, с. 127 (подп.: *К. В.*). Была включена

в *О* (ч. II, с. 202), но, как и две следующие эпиграммы, вырезана из уже отпечатанных экземпляров.

«Теперь, сего же дня...» — Написано в 1810 г. Впервые: *ВЕ*, 1810, ч. 51, № 10, с. 126 (подп.: *К. Б.*). Была вырезана из *О*.

Истинный патриот.— Написано в мае 1810 г. Впервые: *Цв*, 1810, № 6, с. 360 (подп.: *Т. Р. К.*), под загл.: «Рыцарь нашего века». Была вырезана из *О*. Списки в «первой» и «второй» *БТ* — под загл.: «Русский витязь». Направлена против С. Н. Глинки и его журнала «Русский вестник». *«О хлеб-соль русская...»* — стихотворное послание Глинки «Русская хлеб-соль. Послание к моему приятелю Ф... А... К...» (*РВ*, 1810, № 5, с. 83—84). *...о прадед Филарет...*— Филарет Романов, государственный и церковный деятель XVII в., отнесенный Глинкой к числу «незабвенных мужей нашего отечества» (*РВ*, 1808, № 1, с. 10). *Ферязь* — старинное женское платье. *Сальмис* — блюдо французской кухни: рагу из дичи с вином и пряностями.

Сравнение.— Написано в 1810 г. Впервые: *ВЕ*, 1810, ч. 52, № 14, с. 124 (подп.: *К.*), под загл.: «Сравнение двух полководцев».

Из антологии.— Написано в 1810 г. Впервые: *ВЕ*, 1810, ч. 52, № 14, с. 124 (подп.: *Б.*). Перевод эпиграммы греч. поэта Антипатра Фессалюникского (IX, 72), сделанный с французского переложения Вольтера «На жертвоприношения Геркулесу», помещенного в статье об эпиграмме в его «Философском словаре».

На смерть Лауры.— Написано предположительно в 1810 г. Впервые: *ВЕ*, 1810, ч. 53, № 17, с. 54 (подп.: *К. Б.*). Вольный перевод 269 сонета Петрарки. *Колонна гордая!..*— См. коммент. на с. 448 наст. изд.

Вечер. *Подражание Петрарке.*— Написано предположительно в 1810 г. Впервые: *ВЕ*, 1810, ч. 54, № 21, с. 37—39 (подп.: *К. Б.*). Вольный перевод 50-й канцоны Ф. Петрарки.

Элизий.— Написано предположительно в 1810 г. Впервые: *Изд. 1834*, ч. II, с. 75—76, под загл.: «Отрывок из элегии», с примеч.

«Начало сей пиесы не отыскано». Название «Элизий» предложено Н. В. Фридманом в соответствии с авторским перечнем самого Батюшкова (см. записную книжку «Разные замечания» — т. 2 наст. изд.); мотивировку заглавия см.: *ПССт*, с. 282.

Мадагаскарская песня.— Написано в 1810 г. Впервые: *ВЕ*, 1811, ч. 55, № 3, с. 177 (подп.: *К.*). Стихотворное переложение песни 8 из прозаического цикла Э. Парни «Мадегасские песни».

Скальд.— Написано в 1810—1811 гг. Впервые: Известия АН СССР. Отд. лит. и языка, 1955, т. 14, вып. 4, с. 364—365, по автографу *ИРЛИ*. Вольное переложение начала поэмы Э. Парни «Иснель и Аслега».

Филомела и Прогна. *Из Лафонтена*.— Написано летом 1811 г. в Хантоново. Впервые: *ВЕ*, 1811, ч. 60, № 23, с. 186—187 (подп.: *К.*). Вольный перевод одноименной басни Лафонтена (15 басня III книги).

Певец, или Певцы в Беседе славено-россов.— Написано в марте 1813 г. Впервые: Современник, 1856, т. 57, № 5, Смесь, с. 10—18, под загл.: «Певец в Беседе славянороссов». Автограф не сохранился. В разл. изданиях использовались разные прижизненные списки сатиры («лонгиновский», «горчаковский», «гротовский» и т. д.). Вслед за О. А. Проскуриным печатаем в качестве основного «оленинский» список сатиры (*ГПБ*, ф. 542, ед. хр. 725, л. 1—6; аргументацию см.: *Пр., 1986*, с. 477). Стих. является травестийным «перепевом» гимна Жуковского «Певец во стане русских воинов». Написано совместно с А. Е. Измайловым; последнему, по его собственному указанию (*ГПБ*, ф. 31, ед. хр. 2, л. 87—89), принадлежит отрывок, начинающийся словами «Хвала, читателей тиран,//Хвостов неистощимый...» и до слов: «...Холуй Анастасевич!». *Славено-россы* — обозначение членов «Беседы любителей русского слова», обыгрывающее попытки А. С. Шишкова доказать наличие единого «славенороссийского» языка. *Балладо-эпико-лиро-комико-эпизодический гимн* — возможно, подзаголовок пародирует название «Гимна лиро-эпического на прогнание французов из Отечества» Державина (1813). *С «Телемахидою» в руке//С Роленем за плечами...*— Подразумевается поэма В. К. Тредиаковского и его перевод многотомных «Древней истории» и «Римской истории» Ш. Роллена. *...Беседы царь//Сумбур...*— Подразумевается либо А. С. Шишков, либо Г. Р. Державин.

И галлицизмы пишет! — Высмеивается отрицательное отношение «славено-россов» к «иностранным речениям». *Славенофил... дед седой* — клички Шишкова. *«Барды»* — драматическая поэма С. П. Жихарева. *...Шихматов безглагольный...* — С. А. Ширинский-Шихматов настаивал на полном отказе от глагольных рифм. *...Холодных шуб родитель...* — Имеется в виду ироикомическая поэма А. А. Шаховского «Расхищенные шубы», содержащая выпады против карамзинистов. *Весталка* — А. П. Бунина. *...протяжный Львов...* — П. Ю. Львов уснащал свои сочинения многокорневыми славянизированными словами. *И Палицын, гроза чтецов...* — Стихи А. А. Палицына отличались языковой шероховатостью. *Обруганный Станевич.* — Имеются в виду резкие выпады против Е. И. Станевича в современных журналах (М. Т. Каченовского, А. Ф. Воейкова и др.). *Холуй Анастасевич* — намек на пристрастие В. Г. Анастасевича к полонизмам (слуг называл «холуями»). *Соколов* — чтец в «Беседе», провиантский чиновник. *Кто пишет так, как говорит...* — формула, отражающая стилистическую программу карамзинистов.

На поэмы Петру Великому. — Написано, вероятно, в 1812—1813 гг. Впервые: *ПРП*, ч. 4, 1815, с. 274 (без подп.). *Наш Пиндар...* — Ломоносов. *...их поэмы мертвы!* — поэмы Р. Сладковского «Петр Великий» (1803), С. А. Ширинского-Шихматова «Петр Великий» (1810), А. Е. Грузинцева «Петриада» (1812).

Переход русских войск через Неман 1 января 1813 года. — Условно датируется 1813 г. (в переходе через Неман Батюшков участия не принимал). Впервые: Славянин, 1830, ч. XIII, с. 209—210. *Задумчивый беглец* — воин разбитой наполеоновской армии. *Царь младой* — Александр I. *Старец-вождь* — М. И. Кутузов.

Сцены четырех возрастов. — Написано для праздника, посвященного возвращению Александра I и устроенного в Павловске 27 июля 1814 г. Впервые: *РА*, 1887, № 7, с. 341—363. На характер «сцен» большое влияние оказали императрица Мария Федоровна (заказчица) и Ю. А. Нелединский-Мелецкий, распорядитель и организатор праздника. Помимо Батюшкова, в написании «Сцен» приняли участие Г. Р. Державин (заключительная «Кантата») и П. А. Корсаков (заключительный «Общий хор»).

Новый род смерти. — Написано летом 1814 г. Впервые: *СО*, 1814, ч. 17, № 41, с. 113 (подп.: *N*). Входит в состав «второй»

БТ. *Бавий* — здесь: бездарный поэт. *Каэна* (Кайенна) — место ссылки в Южной Америке (Французская Гвиана). *Остров Эльба* — место первой ссылки Наполеона.

Элегия.— Полный текст стихотворения «Воспоминания», вошедшего в *О* без последних 32 строк, рассказывающих о любви поэта к А. Ф. Фурман. Впервые в сб.: XXV лет. 1859—1884. Сборник, изданный обществом для пособия нуждающимся литераторам и ученым. СПб., 1884, с. 201—204, где напеч. по тексту в рукописном сборнике В. А. Жуковского (*ГПБ*, ф. 50, ед. хр. 12). В тексте сборника имеются примечания, опущенные при публикации: «а) *Лотус* — растение. Смотри «Одиссею»; в) *Жувизи* — замок близ Парижа; с) *Ричмон* — прекрасный городок в окрестностях Лондона, напротив жилища Попе; путешественники никогда не забудут пленительных видов Ричмона; d) *Троллетана* — водопад близ Готенбурга на западном берегу Швеции». Заключительное четверостишие стихотворения процитировано в письме Батюшкова к Вяземскому от февраля 1815 г.

Эпитафия Вяземскому.— Написано в 1816 г. Подпись: В. Л. Пушкин. Находится в составе первой записной книжки П. А. Вяземского; под четверостишием — позднейшая приписка владельца книжки: «Шутка на меня Батюшкова и рукою его писанная. Переделка стихов Карамзина на смерть К⟨нязя⟩ Хованского» (*ЦГАЛИ*, ф. 195, оп. 1, ед. хр. 1104, л. 17). Впервые: Вяземский П. А. Записные книжки (1813—1848). Изд. подгот. В. С. Нечаева. М. АН СССР, 1963, с. 379. Стихотворение, в шутку подписанное именем В. Л. Пушкина, представляет собой цитату из стихотворения Карамзина «На смерть князя Г. А. Хованского» (1796). Измененный 2-й стих (у Карамзина: «Писал, но зависти не знал») намекает на серьезное обстоятельство в жизни Вяземского, проигравшего в карты большую часть своего состояния; этот стих нацеливает на шутливое восприятие «эпитафии» от «противного». В собрание сочинений Батюшкова вводится впервые.

⟨С. С. Уварову⟩.— Написано во второй половине 1817 г. на экземпляре *О*, подаренном Батюшковым Уварову. Впервые: *СЦ* на 1826 г., с. 4, под загл.: «К NN». *Солим* — Иерусалим. *Аттика* — провинция Греции.

К Творцу «Истории государства Российского».— Написано в начале 1818 г. Впервые: *ПЗ* на 1824 г., с. 21—22.

Отправлено одновременно в письмах к А. И. Тургеневу и Е. А. Карамзиной. Стих. отражает впечатления Батюшкова от чтения первых 8-ми томов «Истории государства Российского», вышедших в 1818 г. В основу стихотворения положен эпизод из «Эмилиевых писем» М. Н. Муравьева, рассказывающий о том, как «отец истории» Геродот читал свою «Историю греко-персидских войн» на Олимпийских играх в присутствии будущего историка Фукидида.

Князю П. И. Шаликову...— Впервые, без ведома автора: *НРЛ*, 1822, кн. 2, № 17, с. 61—62, с примеч. П. И. Шаликова: «Предчувствую, с каким удовольствием читатели сих листков увидят стихи столь давно умолкшего любезного поэта, полученные мною пред отъездом его в Италию». *...книги, им переведенной...*— Шаликов прислал в подарок Батюшкову свой перевод «Новых повестей» С.-Ф. Жанлис (М., 1818). *«В картузе, с козырьком...»* — Буянов, герой поэмы В. Л. Пушкина «Опасный сосед». *Кастраты* — певчие папской капеллы в Риме.

Из греческой антологии.— Впервые: в составе брошюры «О греческой антологии» (СПб., 1820), изданной Д. В. Дашковым в количестве 70 экз. Предположительно датируется 1817—1818 гг. Брошюра открывалась шутливым в духе арзамасских мистификаций предисловием издателя; авторы скрыли себя за арзамасскими кличками: «Ст... и А...» — «Старушка и Ахилл», С. С. Уваров и Батюшков. В «прибавлении» были помещены сделанные Уваровым французские переводы эпиграмм, послужившие источником батюшковских переводов. Антология — собрание греческих эпиграмм, сохранившееся в рукописи XI в. (Codex Palatinus), составившей 16 книг. Авторы греческих подлинников и номера по Палатинской антологии: 1) Мелеагр Гадарский (VII, 476); 2) Асклепиад Самосский (V, 415); 3) Гедил (V, 199); 4) Антипатр Сидонский (IX, 231); 5) он же (IX, 151); 6) анонимный автор (V, 107); 7) Павел Силинциарий (V, 219); 8) он же (V, 250); 9) он же (V, 258); 10) он же (V, 264); 11) он же (V, 262); 12) он же (V, 239); 13) Феодорид Сиракузский (VII, 282).

«Ты пробуждаешься, о Байя, из гробницы...» — Написано летом 1819 г. Впервые: Современник, 1857, т. 62, с. 82, в качестве «отрывка из неизвестного стихотворения», сохранившегося в памяти друзей Батюшкова. *Байя* — небольшой город близ Неаполя, развалины которого частично затоплены морем; Батюшков был в Байе в мае 1819 г.

«Есть наслаждение и в дикости лесов...» — Написано летом 1819 г. Впервые: *СЦ* на 1828 г., с. 23. Вольный перевод 178 строфы IV песни «Странствований Чайльд-Гарольда» Д.-Г. Байрона. В «Современнике» (1857, т. 62, с. 82) было опубликовано начало батюшковского перевода следующей, 179-й строфы (сохранившееся в памяти П. А. Вяземского):

Шуми же ты, шуми, огромный океан!
Развалины на прахе строит
Минутный человек, сей суетный тиран,
Но море чем себе присвоит?
Трудися, созидай громады кораблей...

Надпись для гробницы дочери М⟨алышевой⟩. — Написано в начале 1820 г. по просьбе неаполитанской знакомой поэта. Впервые, без ведома автора: *СО*, 1820, ч. 64, № 35, с. 83, под загл.: «Надгробие русскому младенцу, умершему в Неаполе».

Подражание древним. — Написано в июне 1821 г. в Шафгаузене. Впервые: Русь, 1883, № 23, с. 20—21. Автограф — на авторском экземпляре *О* (*ГПБ*, ф. 50, ед. хр. 18, с. 242, 256); вместе с переводами «Из греческой антологии» эти стихи должны были войти в новое издание книги. По указанию А. А. Карпова, восходят к переводам И. Г. Гердера «Цветы греческой антологии» (1, 5) и «Цветы восточной поэзии» (2, 3, 6).

Подражание Ариосту. — Написано, вероятно, в 1820—1821 гг. Впервые: *СЦ* на 1826 г., с. 63. Вольный перевод 42 октавы 1-й песни «Неистового Роланда» Л. Ариосто. Эпиграф — первая строка подлинника.

⟨Отрывок из Шиллеровой трагедии «Мессинская невеста»⟩. — Написан, по свидетельству Н. А. Мельгунова, в 1821 г. в Дрездене (см.: Кениг Г. Очерки русской литературы. СПб., 1862, с. 94—95). Впервые: Московский телеграф, 1828, ч. 19, № 1, с. 34—35, с примечанием П. А. Вяземского: «Следующий отрывок найден в бумагах поэта, коего долговременное молчание поныне оплакиваемо русскими музами, и потому он драгоценен. Вероятно, отрывок сей еще не совершенно был исправлен и может почесться опытным упражнением в переводе. В нем не видать последней отделки великого мастера, но виден отпечаток руки поэтической и встречается много превосходных мест. Может быть, он не удовлетво-

рителен для славы поэта, уже основанной на других памятниках, более блестящих, но, без сомнения, удовлетворит он любопытству и вниманию читателей; сообщая отрывок сей «Телеграфу», имею их удовольствие в виду». Сокращенный перевод первой сцены трагедии Ф. Шиллера «Мессинская невеста». *Этеокл* и *Полиник* — сыновья фиванского царя Эдипа, убившие друг друга на поединке.

«Жуковский, время все проглотит...» — Вписано Батюшковым в альбом Жуковскому в Дрездене в начале ноября 1821 г. Впервые: *РС*, 1887, т. 54, № 4, с. 240. *Плетаев* — искаженная фамилия П. А. Плетнева, на которого Батюшков был обижен за элегию «Б......в из Рима» (1820).

«Ты знаешь, что изрек...» — Датируется августом 1824 г. (упоминается в письме А. И. Тургенева к П. А. Вяземскому от 21 августа 1824 г.). Впервые: Библиотека для чтения, 1834, т. 2, с. 18, под загл.: «Изречение Мельхиседека». Автограф (датир. 1824 г.): *ГПБ*, ф. 52, ед. хр. 244, л. 91. *Мельхиседек* — библейский священнослужитель; какое-либо изречение его, соотносящееся с текстом стихотворения, неизвестно. По предположению С. А. Кибальника, связано с эпиграммами эллинистического поэта Паллада (Codex Palatinus, X, 58, 84), которые могли быть известны Батюшкову по книге И. Г. Герцена «Цветы греческой антологии».

«Храни ее, святое Провиденье...» — Написано в 1824 г. Впервые: Известия АН СССР, серия лит. и яз., 1967, т. 26, вып. 6, с. 541—543, где опубликовано по автографу: ЦГИА, ф. 1003, оп. 1, д. 90, л. 11. По предположению Н. В. Фридмана, обращено к императрице Елизавете Алексеевне.

Подражание Горацию.— Написано в 1852 г., по просьбе племянницы, А. Г. Гревенц (сохранилось в составе письма Батюшкова к ней, датированном 8 июля). Впервые: *РС*, 1883, т. 39, № 9, с. 551. Частично воспроизводит стихотворение Державина «Памятник» (1795).

Надпись к портрету графа Буксгевдена...— Впервые: *РС*, 1883, т. 39, № 9, с. 552. *Буксгевден* Федор Федорович (1750—1811) — главнокомандующий в войне со шведами в 1808 г. *Хвостов-Суворов* — Д. И. Хвостов, женатый на племяннице А. В. Суворова.

Левкад. *Повесть, соч. Парни.*— Впервые: *ВЕ*, 1811, ч. 59, № 17, с. 3—11 (подп.: *Б.*). На принадлежность перевода Батюшкову указал М. Н. Лонгинов (*РА*, 1863, № 12, ст. 953), но в собрание сочинений под ред. Л. Н. Майкова он не вошел. В 1810—1811 гг. Батюшков увлекался как стихами, так и прозой Э. Парни и активно переводил его (см. *М*, т. 3, с. 79, 99, 105, 116—117 и др.). Кроме того, для стих. и писем поэта был характерен несомненный интерес к «скале Левкада» и к легенде о самоубийстве Сафо.

Отрывки из Сафы.— Впервые: Лицей, 1806, № 2, с. 12 (подп.: *Б.*). Батюшков сотрудничал в этом журнале (в предыдущем номере был напечатан «Совет друзьям»). Данное стихотворение, несомненно, навеяно державинскими переводами из Сафо.

Срубленное дерево. *(Подражание Мелендецу).*— Впервые: *ВЕ*, 1807, ч. 36, № 21, с. 30—33 (подп.: *Б.*). На принадлежность стихотворения Батюшкову указывали М. Н. Лонгинов, П. А. Ефремов, Д. Д. Благой (см.: *АС*, с. 591). Перевод одноименного стихотворения испанского поэта Мелендеса-Вальдеса.

Эпиграмма («Не годен ни к чему Глупницкого журнал...»).— Впервые: *Цв*, 1810, ч. V, № 3, с. 353—354 (подп.: 1—12). Включена в *М*, т. 1, с. 73, на основании фразы из письма Батюшкова к Гнедичу от 19 сентября 1809 г.: «Напрасно говоришь, что я пишу на какого-то издателя Лукницкого. Я этих ослов плетьми сечь не хочу». Д. Д. Благой истолковал эту фразу иначе и исключил эпиграмму из состава сочинений Батюшкова (*АС*, с. 561—562). Между тем фраза оказывается двусмысленной: принадлежащая Батюшкову эпиграмма «Книги и журналист», несомненно, направлена против журнала А. В. Лукницкого «Северный Меркурий». Подпись «1—12» (то есть: «А — Л») заставляет предположить мистификацию: это известная по «Северному Меркурию» подпись самого Лукницкого.

Песня.— Впервые: *ВЕ*, 1811, ч. 56, № 6, с. 102 (подп.: *Б—в*). На принадлежность стихотворения Батюшкову указал М. Н. Лонгинов (*РА*, 1863, № 12, ст. 953).

«Кутузов, наш герой...» — Эпиграмма (датируемая концом 1812 — началом 1813 г.) входит в состав «оленинского» списка

сатиры «Певец, или Певцы в Беседе славено-россов» (*ГПБ*, ф. 542, ед. хр. 725, л. 7).

Сравнение Санктпетербургской родимой словесности с иноземною.— Написано в 1816 г. Впервые: за подписью А. С. Пушкин (?) в *РА*, 1863, вып. 12; за подписью В. Пушкин (?) в сб. «Эпиграмма и сатира из истории литературной борьбы XIX века» (М.— Л., 1931). По автографу *ЦГАЛИ* напечатано в сб. «Поэты-сатирики конца XVIII — начала XIX века» (Л., 1959) как бесспорно принадлежащее В. Л. Пушкину. Но тот факт, что текст стихотворения написан не рукой В. Л. Пушкина, а Батюшкова, заставляет предположить возможное авторство последнего. Подпись под стихотворением может быть объяснена арзамасской традицией в шутку подписывать сочинения чужим именем. Ср. аналогичный случай в «Эпитафии Вяземскому» Батюшкова, подписанной В. Л. Пушкиным (наст. том, с. 407, 480). На обороте автографа текст рукой Батюшкова: «Я изодрал, чтоб ты не вывел Пушкина ⟨В. Л.⟩ на свежую воду». И приписка рукой В. Л. Пушкина: «Каково?» Лист с автографом стихотворения, вероятно, был вложен в коллективное письмо Батюшкова и В. Л. Пушкина к Вяземскому, в котором речь шла о том, что Батюшков порвал написанное ранее письмо В. А. Жуковского (*ЦГАЛИ*, ф. 195, оп. 11, ед. хр. 2611, л. 183—183 об.). (Подготовка текста и коммент. Н. И. Михайловой.)

Весна.— Впервые: *СОСП*, ч. 5. СПб., 1822, с. 169—170 (подп.: *К.*). На принадлежность стихотворения Батюшкову указал М. Н. Лонгинов (*РА*, 1863, № 12, ст. 952).

«Пускай Фома себе бранится!..» — Эпиграмма атрибутирована Батюшкову в списке стихотворений, принадлежавшем К. Д. Кавелину (*ИРЛИ*, ф. 119, оп. 8, ед. хр. 33, л. 15 об.); в составлении сборника принимал участие Д. А. Кавелин, знакомый Батюшкова.





Краткая летопись жизни и творчества К. Н. Батюшкова

1787. *18 мая* * — в Вологде, в семье Николая Львовича Батюшкова (надворного советника, прокурора 2-го департамента верхнего Земского суда) и его жены Александры Григорьевны (урожд. Бердяевой) родился сын Константин.

ок. 1791—1797. Жизнь в родовом имении Батюшковых, селе Даниловское Бежецкого уезда Тверской губернии (вблизи города Устюжны). Первоначальное воспитание под руководством деда, Льва Андреевича Батюшкова.

1795. *21 марта* — в Петербурге умерла мать Батюшкова, за несколько лет до этого лишившаяся рассудка.

1797—1800. Пребывание в петербургском частном пансионе француза О.-П. Жакино (учителя французской словесности в сухопутном шляхетном корпусе).

1801. Переход в пансион итальянца И. А. Триполи (учителя географии в морском кадетском корпусе). Первый литературный опыт — перевод на французский язык Слова митрополита Платона по случаю коронации Александра I. *Осень* — перевод был выпущен отдельной брошюрой П. А. Соколовым, пошехонским помещиком, знакомым Батюшковых.

1802. Окончив пансион Триполи, Батюшков поселяется в доме своего двоюродного дяди, сенатора М. Н. Муравьева. *20 декабря* —

* Все даты приводятся по старому стилю.

определен на службу во вновь организованное министерство народного просвещения, в канцелярию министра графа П. В. Завадовского, «при письменных делах».

1803. Получил первый «табельный» чин коллежского регистратора. Сближение с товарищами по службе, членами «Вольного общества любителей словесности, наук и художеств»: И. П. Пниным, И. И. Мартыновым, Д. И. Языковым, Н. А. Радищевым и др. Начало дружбы с Н. И. Гнедичем (поступившим на службу в министерство 1 марта 1803). Знакомство с семьей А. Н. Оленина, Г. Р. Державиным, В. В. Капнистом, П. А. Ниловым, А. П. Квашниной-Самариной и др.

1804. *20 июня* — уволен «по прошению» из канцелярии Завадовского и вскоре принят на службу «секретарем при попечителе Московского учебного округа тайном советнике Муравьеве».

1805. *Январь* — первое выступление в печати: в журнале «Новости русской литературы» напечатано «Послание к стихам моим». *22 апреля* — предпринял попытку вступить в «Вольное общество...» (представив для вступления сатиру «Послание к Хлое»), однако принят в него не был. Знакомство с Н. П. Брусиловым, И. М. Муравьевым-Апостолом, Н. Ф. Кошанским, А. Ф. Мерзляковым. За год напечатано 6 стихотворений («Элегия», «На смерть И. П. Пнина» и др.).

1806. Знакомство с А. И. Тургеневым, И. А. Крыловым, А. П. Полозовым, П. А. Катениным. Опубликованы «Совет друзьям» и «Мечта» (1 редакция).

1807. *13 января* — Батюшков определяется под начальство А. Н. Оленина письмоводителем в канцелярию генерала Н. А. Татищева, начальника милиционного войска. *22 февраля* — назначен сотенным начальником в Петербургский милиционный баталион и сразу же покидает Петербург, вместе с народным ополчением. *2 марта* находится в Нарве, *19 марта* — в Риге. *Март — май* — участвует в походе в Пруссию против Наполеона. Знакомство с И. А. Петиным. *22—27 мая* участвовал в сражении под Гутштадтом. *29 мая* — ранен в сражении при Гейльсберге. *Июнь — июль* — лечится в Риге, живет в доме негоцианта Мюгеля, увлекается его дочерью, знакомится с М. Ю. Виельгорским. *30 июля* — смерть М. Н. Муравьева. *Август — сентябрь* — поездка в Даниловское, раздоры с отцом из-за его вторичной женитьбы (на устюженской дворянке А. Н. Теглевой). Переселяется с сестрами Александрой и Варварой в родовое имение

матери — село Хантоново Череповецкого уезда Новгородской губернии. *Октябрь* — переводится в лейб-гвардии егерский полк (в чине прапорщика), возвращается в Петербург. Тяжелая болезнь.

1808. *Апрель — июнь* — смерть сестры Анны. Батюшков в Вологде, Череповце, Хантоново: занимается делами по разделу имения покойной матери (раздел произошел *12 июня*). *20 мая* — награжден орденом св. Анны III степени за храбрость в сражении при Гейльсберге. *Конец сентября* — возвращение к действительной службе: уходит в военный поход в Финляндию (в составе баталиона егерей, в качестве адъютанта полковника А. П. Турчанинова), живет в Иденсальми, Гамленикарлеби, Васе (Вазе). Опубликованы 4 стихотворения.

1809. *Март* — принимает участие в ледовом марше на Аландские острова. *Апрель — май* — живет в местечке Надендаль (близ Або). Получает чин подпоручика, но подает (через князя П. И. Багратиона) просьбу об отставке. *Июнь* — получает отставку, приезжает в Петербург. *Июль — середина декабря* — живет в Хантоново, после чего проездом в Вологде. *25 декабря* — по приглашению Е. Ф. Муравьевой приезжает в Москву. Написано «Видение на брегах Леты» и первые прозаические опыты («Отрывок из писем русского офицера о Финляндии», «Похвальное слово сну»). Опубликовано 7 стихотворений («Воспоминания 1807 года», «Тибуллова элегия III», «Стихи Е. С. Семеновой» и др.).

1810. *Январь — конец мая* — живет в Москве, в доме Е. Ф. Муравьевой. Хлопоты о гражданской службе (через князя И. А. Гагарина), не окончившиеся успехом. Знакомство с В. А. Жуковским, П. А. Вяземским, Н. М. Карамзиным, В. Л. и С. Л. Пушкиными, М. Т. Каченовским, С. Н. Глинкой, П. И. Шаликовым и др. *Июнь — июль* — три недели отдыхает в Остафьево с Карамзиными, Вяземским, Жуковским. *Июль — декабрь* — проводит в Хантоново; *после 25 декабря* едет в Вологду, болезнь. За год написано более 20 стихотворений и «груда прозы» (большая часть которой до нас не дошла). Опубликовано 16 стихотворений («Веселый час», «Ложный страх», «Счастливец», «Ответ Гнедичу» и др.) и 5 прозаических опытов («Мысли», «Опыты в прозе», «Анекдот о свадьбе Ривароля» и два, написанные годом ранее).

1811. *Начало февраля* — приезжает из Вологды в Москву, где живет до *июля*. Знакомится с Ю. А. Нелединским-Мелецким, А. М. и Е. Г. Пушкиными, Д. П. Севериным, С. Н. Мариным, В. С. Филимоновым и др. *14 июля* — приезжает в Хантоново, где находится до конца года: читает, переводит итальянских поэтов, занимается хо-

зяйственными делами. Написано послание «Мои Пенаты» и несколько мелких стихотворений, а также очерк «Прогулка по Москве». Опубликовано 4 стихотворения.

1812. *Январь — август* — живет в Петербурге. 8 февраля принят в «Вольное общество», участвует в заседаниях. Знакомится с Д. В. Дашковым, Д. Н. Блудовым, С. С. Уваровым и др. *14 и 18 марта* — инцидент в «Вольном обществе...» между Д. В. Дашковым и Д. И. Хвостовым, после которого Батюшков вышел из общества. *22 апреля* — принят на службу в Публичную библиотеку в должности помощника хранителя манускриптов. *13 июня* — начало войны с Наполеоном; заболевание лихорадкой мешает Батюшкову поступить в армию. *14 августа* — получил отпуск в библиотеке, после чего отправляется в Москву по вызову больной Е. Ф. Муравьевой: сопровождает ее с детьми в Нижний Новгород. *4—7 сентября* — находится во Владимире, встречается с Карамзиными, И. А. Петиным. *Около 10 сентября* — приезжает в Нижний Новгород, где живет до конца года. Знакомится с лечащимся там генералом А. Н. Бахметевым, который выразил готовность взять Батюшкова к себе адъютантом. *Октябрь* — сопровождал А. Н. Оленина из Нижнего Новгорода до Твери (по пути проезжая через разоренную Москву). *Декабрь* — ездил в Вологду для свидания с родными и П. А. Вяземским. *18 декабря* — уволен из Публичной библиотеки в связи с поступлением на военную службу. Написано 12 стихотворений. Опубликовано стихотворение «Дружество».

1813. *Февраль* — приезжает из Нижнего Новгорода в Петербург, где живет до *начала июля.* Увлечение воспитанницей Олениных А. Ф. Фурман. Вместе с А. Е. Измайловым пишет сатиру «Певец, или Певцы в Беседе славено-россов». *29 марта* — принят в военную службу с зачислением в Рыльский пехотный полк штабс-капитаном и с назначением в адъютанты к генералу Бахметеву. *Июль* — Бахметев, приехавший в Петербург, дал разрешение Батюшкову отправиться к действующей армии без него. *24 июля* — Батюшков отправился в армию; *в первой половине августа* доехал до главной квартиры русских войск в Дрездене (через Вильно, Варшаву, Силезию и Прагу), где получил от графа П. Х. Виттенштейна направление к генералу Н. Н. Раевскому; последний оставил его при себе адъютантом. *15 августа* — участвовал в бою близ Теплица. *4—6 октября* — Лейпцигская «битва народов», в которой был убит Петин и ранен Раевский. *Октябрь — ноябрь* — живет с раненым генералом в Веймаре. Затем был во Франкфурте-на-Майне, Мингейме, Фрейбурге, Карлсруэ, Базеле. Встречался с Н. И. Тургеневым. *Декабрь* — вместе с Раевским возвратился к армии. Опубликовано послание «К Д⟨ашко⟩ву».

1814. *Январь* — переход через Рейн и вступление во Францию. *27 января* — награжден орденом св. Анны II степени за сражение под Лейпцигом. *Февраль — середина марта* — боевые действия во Франции (крепость Бельфор, Арсис-сюр-Об, бои за Париж). *26 февраля* — посещение в Лотарингии замка Сирэ (Сирей). *19 марта* — в свите Александра I Батюшков вступает в Париж. Развлечения, посещение Лувра и французской Академии, болезнь. *17 мая* — по приглашению Д. П. Северина выехал в Лондон. *30 мая* — из Гарича на пакетботе «Альбион» отбыл в Готенбург (Швеция), куда прибыл *6 июня. Июнь* — проезд (по суше) в Стокгольм, откуда вместе с Д. Н. Блудовым через Финляндию выехал в Петербург (прибыл *не позднее 10 июля*). *27 июля* — праздник по случаю возвращения Александра I в Розовом павильоне Павловска; для него Батюшков написал «Сцены четырех возрастов». *Осень* — живет у А. И. Тургенева. Работа над изданием «Эмилиевых писем» М. Н. Муравьева. К этому времени, вероятно, относится разрыв с А. Ф. Фурман. Опубликованы стихотворения «Элегия из Тибулла», «Пленный», «На развалинах замка в Швеции» и др. и в прозе: «Письмо к И. М. М⟨уравьеву⟩-А⟨постолу⟩. О сочинениях г. Муравьева» и «Прогулка в Академию Художеств».

1815. *Январь* — болезнь, сильное нервное расстройство. *Середина марта* — поездка в Тихвин на богомолье. *До середины апреля* живет в Петербурге, затем отправляется в Даниловское (навещает отца) и Хантоново. *8 июня* уезжает (через Рыбинск) для продолжения службы в Каменец-Подольский, куда А. Н. Бахметев был назначен губернатором. *Около 10 июля* приехал к месту службы, где жил до *26 декабря*. Ходатайствует через Н. Н. Раевского о переводе в гвардию, но безуспешно. *14 октября* на организационном заседании «Арзамаса» заочно избран в члены общества (кличка «Ахилл»). *4 ноября* подал просьбу об отставке. *26 декабря* выехал в Москву. Написано 15 стихотворений и 8 прозаических сочинений. Опубликованы «Странствователь и Домосед», «Послание к И. М. М⟨уравьеву⟩-А⟨постолу⟩» и др.

1816. *Январь* — приехал в Москву, где остановился у И. М. Муравьева-Апостола. Получает перевод в гвардию, но не хочет продолжать службу, хлопочет об отставке. *26 февраля* — вместе с Жуковским избран в «Общество любителей российской словесности при Московском университете». *26 мая* — на заседании «Общества...» была прочитана (Ф. Ф. Кокошкиным) «Речь о влиянии легкой поэзии на язык». *Около 8 апреля* — получает «невыгодную отставку» (уволен со службы коллежским асессором). *Июнь — август* — болезнь. *Август — сентябрь* — договоры с Н. И. Гнедичем об издании сборника стихов и прозы. *Октябрь* — подготовил к печати и выслал рукопись

I тома «Опытов...». *Конец декабря* — приезжает в Хантоново. За год написано 8 стихотворений («Песнь Гаральда Смелого», «Послание к Т⟨ургене⟩ву» и др.) и, в прозе, «Вечер у Кантемира».

1817. *До конца июля* живет в Хантоново, занимается подготовкой к печати второго (стихотворного) тома «Опытов...». *6 января* — в «Арзамасе» на 17-м заседании прочитан и обсужден «Вечер у Кантемира». *Около 25 июля — 17 августа* — находится у отца в Даниловском, после чего едет в Петербург. *25 августа* — вместе с А. И. Тургеневым навестил в Царском Селе Жуковского. *27 августа* впервые присутствовал на заседании «Арзамаса» (26-м), где произнес «отходную» речь о секретаре Российской Академии П. И. Соколове. *4 сентября* — Батюшков, Жуковский, А. С. Пушкин и А. А. Плещеев проводят день в Царском Селе, сочиняют два экспромта. *18 сентября* — Батюшков присутствовал на прощальном заседании «Арзамаса»; *5 октября* — вместе с А. С. Пушкиным провожал Жуковского в Москву. *Начало октября* — вышли в свет «Опыты в стихах и прозе». *18 ноября* — Батюшков назначен почетным библиотекарем Публичной библиотеки. *Около 20 ноября* — умер Н. Л. Батюшков. *Декабрь* — пребывание в Даниловском и Устюжне, хлопоты по имению отца и по устройству сводных брата и сестры (Помпея и Юлии). За год написано десять стихотворений.

1818. *9 января* — возвращается в Петербург, где живет до *11 мая*. Хлопоты о поступлении в дипломатическую службу. *Апрель* — избран почетным членом «Вольного общества любителей российской словесности». *10 мая* — получает отпуск в библиотеке для поездки в Крым «с целью отыскания рукописей и остатков русских и греческих памятников». *Июнь* — Батюшков в Москве, живет вместе с Н. М. Муравьевым, хлопочет об устройстве в пансион младшего брата Помпея. *Около 20 июня* — выехал через Полтаву в Одессу (вместе с С. И. Муравьевым-Апостолом). *Июль — начало августа* — жизнь в Одессе у графа А. Сен-При. *16 июля* — указ Александра I о пожаловании Батюшкову чина надворного советника и причислении его к неаполитанской миссии. *29 июля* — Батюшков получил известие об этом от А. И. Тургенева; *5 августа* — получил приказ воротиться в Петербург. *25 августа* — прибыл в Москву, *около 15 октября* — в Петербург. Встречи с Жуковским, Карамзиным, Пушкиным и другими петербургскими знакомыми. *19 ноября* — отъезд в Италию. Проводы в Царском Селе, где присутствовали Е. Ф. и Н. М. Муравьевы, Жуковский, А. С. Пушкин, Гнедич, М. С. Лунин, А. И. Тургенев, Е. С. Уварова, П. Л. Шиллинг; обед с шампанским, где Пушкин сочинил экспромт (до нас не дошедший). *18 декабря* — Батюшков находился в Вене, откуда отправился (через Венецию и Рим) в Неаполь. За год написано 17 стихотворений.

1819. *Конец января* — Батюшков в Риме, участвует в праздничных карнавалах, встречается с русскими художниками С. Ф. Щедриным, Ф. М. Матвеевым, О. И. Кипренским, С. И. Гальбергом; посещает мастерскую итальянского скульптора А. Конова. *Конец февраля* — прибыл в Неаполь, к месту службы: причислен к неаполитанской миссии в качестве сверхштатного секретаря при русском посольстве. Посещает Помпею, Везувий, Байю. *Май* — в Неаполь прибыл и поселился вместе с Батюшковым художник С. Ф. Щедрин (жил в Неаполе до сентября 1820). *Конец июля* — переселяется на остров Искию, близ Неаполя, где живет до *начала сентября*. Написаны стихотворения «Ты пробуждаешься, о Байя, из гробницы...» и «Есть наслаждение и в дикости лесов...». Работает над не дошедшим до нас трудом «Описание неаполитанских древностей».

1820. Нарастание депрессии. *Июнь* — поездка на остров Искию. Столкновения с посланником Г. О. Стакельбергом. *Июль* — начало Неаполитанской революции. *Август* — Батюшков подает просьбу об отпуске на воды в Германию и получает отказ. *Август — сентябрь* — в «Сыне Отечества», без ведома поэта, напечатано стихотворение «Надпись для гробницы дочери М⟨алышевой⟩», что вызвало письмо Д. Н. Блудова и ответ А. Ф. Воейкова, косвенно обвиняющий Батюшкова. *Декабрь* — Батюшков выехал из Неаполя в Рим. Опубликована брошюра «О греческой антологии», написанная совместно с С. С. Уваровым.

1821. *До мая* Батюшков живет в Риме (в доме на плацца Пополи). *Февраль* — появление в «Сыне Отечества» элегии П. А. Плетнева «Б.....в из Рима». *26 апреля* — Батюшков получает отпуск для лечения и 500 рублей прибавки к жалованью. *Май — октябрь* — лечение на водах в Теплице (Германия), встречи с Д. Н. Блудовым. *Июнь* — в экземпляр «Опытов...», готовящийся им к переизданию, Батюшков вносит шесть «Подражаний древним». *21 июля* — письмо в редакцию «Сына Отечества» по поводу элегии Плетнева, уведомляющее о том, что Батюшков «навсегда покинул перо автора». *Сентябрь* — трехнедельное пребывание в Праге. *18 сентября* — прошение об увольнении со службы. *Начало ноября* — едет из Теплица в Дрезден, где четыре дня проводит с путешествующим по Европе Жуковским. В припадке депрессии уничтожает произведения, написанные в Италии и Германии. *12 декабря* — второе прошение об отставке.

1822. *Январь — февраль* — пребывание в Дрездене. *20 февраля* — письмо министра иностранных дел К.-В. Нессельроде о том, что император желает, чтобы Батюшков числился на службе, оставаясь в бессрочном отпуске. *14 марта* — приезжает в Петербург, живет в Демутовом трактире. *18 апреля* — просьба разрешить поездку на

Кавказ и в Крым для лечения. *Около 17 мая* уезжает на Кавказские минеральные воды. *Июнь — июль* — живет в Пятигорске. Признаки душевной болезни, отмечаемые в письмах друзей поэта (Д. В. Давыдова, А. С. Пушкина и др.) *Август* — переехал в Симферополь. Развитие болезни. Встречи с М. Ф. Орловым, А. А. Перовским и др. П. И. Шаликов печатает послание к нему Батюшкова (1818).

1823. *Январь — начало апреля* — у Батюшкова в Симферополе усиливаются признаки душевного расстройства: сжигает свою библиотеку, трижды покушается на самоубийство. Хлопоты о нем друзей и родных (Вяземского, Жуковского, Муравьевых). В Симферополь выезжает П. А. Шипилов (муж старшей сестры Елизаветы), пробывший там с 14 по 26 февраля. *Март* — Батюшков пишет завещание (на имя Н. И. Гнедича); уничтожает находившиеся у него книги и рукописи. *4 апреля* — отправлен в Петербург в сопровождении инспектора Таврической врачебной управы П. И. Ланга. *6 мая* привезен в Петербург и помещён в доме Е. Ф. Муравьевой. *Май — июнь* — Батюшкова навещают Тургенев, Блудов, Дашков, Жуковский, Карамзины, Оленины и др. *Середина июня* — перевезен на дачу на реке Карповке. *Осень* — переезжает в Петербург, живет с сестрой Александрой. Элегия «Умирающий Тасс» переведена на французский язык и включена в «Русскую антологию», изданную в Париже Сен-Мором.

1824. *Январь — середина мая* — живет в Петербурге, под наблюдением родственников и друзей. По совету доктора Мюллера, решено отправить больного в Зонненштейн (Саксония), в лечебницу доктора Пирнитца. *Апрель* — прошение Батюшкова царю с просьбой «немедленно удалиться в монастырь на Белоозеро или в Соловецкий» и постричься в монахи. *8 мая* — повеление императора об отправке Батюшкова на лечение за казенный счет. *10 мая* — Жуковский увез Батюшкова в Дерпт, откуда он был отправлен в Зонненштейн и помещен в лечебницу; туда же выехали сестра Александра и Е. Г. Пушкина. В 1824 г. написано стихотворение «Ты знаешь, что изрек...».

1824—1828. Пребывание Батюшкова в лечебнице для душевнобольных в Зонненштейне, где его посещают А. И. и Н. И. Тургеневы, В. В. Ханыков, Д. В. Дашков, В. А. Жуковский. Болезнь Батюшкова на консилиуме немецких психиатров объявлена неизлечимой.

1828. *4 августа* — Батюшков привезен из Зонненштейна в Москву и поселен в специально нанятом для него доме в Грузинах, где живет под наблюдением доктора А. Дитриха. Его навещают Е. Ф. Муравьева, П. А. и В. Ф. Вяземские, Д. В. Дашков, М. П. Погодин и др.

1829. Сошла с ума А. Н. Батюшкова, сестра поэта (умерла в Хантонове в июне 1841).

1830. *22 марта* — на всенощной у Батюшкова присутствовал А. С. Пушкин, пытался заговорить с больным, но Батюшков не узнал его.

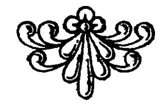
1833. *Март* — Батюшков перевезен из Москвы в Вологду и помещен в семье своего племянника Г. А. Гревенца. *9 декабря* — распоряжение Николая I уволить числящегося в отпуску Батюшкова со службы, назначив ему пожизненную пенсию в 2 тысячи рублей.

1833—1855. Батюшков живет у родственников в Вологде; летом его отправляют в пригородную деревню Авдотьино. В Вологде его посетили А. В. Никитенко (1834), П. Н. Батюшков, М. П. Погодин (1841), С. П. Шевырев и Н. В. Берг (1847) и др.

1834. В издании И. И. Глазунова вышли в свет «Сочинения в прозе и стихах» Батюшкова.

1850. А. Ф. Смирдин выпустил 3-е издание сочинений Батюшкова.

1855. *7 июля, 17 часов* — Батюшков умер от тифозной горячки. *10 июля* — похоронен в Спасо-Прилуцком монастыре близ Вологды.





Словарь мифологических имен и названий

Аврора (р и м.) — богиня утренней зари; в поэзии — утренняя заря.

Адмет (г р е ч.) — фессалийский царь, стада которого пас Аполлон.

Аид (г р е ч.) — подземный мир, царство мертвых.

Актеон (г р е ч.) — охотник, увидевший купающуюся Диану (Артемиду), в наказание за это превращенный ею в оленя и растерзанный собственными собаками.

Алкид (г р е ч.) — одно из имен Геракла (Геркулеса).

Амальтея (г р е ч.) — коза, молоком которой был вскормлен Зевс; ее рог, подаренный нимфам, стал рогом изобилия.

Амврозия (амброзия) (г р е ч.) — пища богов, дарующая бессмертие и вечную юность.

Амур (р и м.) — бог любви, сын Венеры.

Анубис (е г и п.) — бог-покровитель умерших; изображался в виде человека с головой шакала.

Аониды (г р е ч.) — музы, обитавшие в Аонии, на горе Геликон.

Апис (е г и п.) — священный бык; одно из воплощений бога Озириса.

Аполлон (г р е ч.) — бог солнца, покровитель искусств и поэзии.

Аполлонов конь — Пегас, символ поэтического вдохновения.

Арахна (г р е ч.) — девушка, вызвавшая богиню Афину на состязание в ткацком искусстве и за дерзость превращенная в паука.

Аргус (г р е ч.) — многоглазое чудовище, охранявшее возлюбленную Зевса Ио; символ бдительного, всевидящего стража.

Арей (г р е ч.) — бог войны, возлюбленный Афродиты.

Аретуза (г р е ч.) — нимфа, пленившая во время купания речного бога и превращенная в бьющий из земли родник.

Аркадия — горная область в Греции; символ райской невинности и мирного сельского счастья.

Асканий (г р е ч. и р и м.) — сын Энея, герой «Энеиды» Вергилия.

Асмодей (д р . - е в р.) — демоническое существо.

Атлант (г р е ч.) — титан, обреченный Зевсом поддерживать небесный свод.

Атридов сын (г р е ч.) — Орест, сын Агамемнона; его дружба с Пиладом считалась идеалом дружбы.

Афет — см. Сим.

Афина (г р е ч.) — богиня мудрости.

Афродита (г р е ч.) — богиня любви и красоты.

Ахерон (г р е ч.) — одна из подземных рек Аида, «река печали», через которую переправлялись тени умерших.

Ахилл (Ахиллес) (г р е ч.) — герой «Илиады» Гомера, вступивший в бой с троянцами, чтобы отомстить за смерть своего друга Патрокла, хотя знал, что, отомстив, сам будет обречен на гибель.

Беллона (р и м.) — богиня войны.

Биармия (с к а н д.) — легендарная страна на Крайнем Севере.

Борей (г р е ч.) — бог северного ветра; в поэзии — холодный ветер.

Бриарий (г р е ч.) — чудовищное существо с пятьюдесятью головами и сотней рук.

Вакх (г р е ч. и р и м.) — бог вина и веселья, покровитель виноградарства; в его честь устраивались «вакханалии», отличавшиеся необузданностью и разгулом.

Валкалла (Вальхалла) (с к а н д.) — дворец Одена, загробное местопребывание храбрых воинов.

Валкирии (Валькирии) (с к а н д.) — дочери Одена, прекрасные девы-воительницы, подающие мед в Валкалле павшим воинам.

Венера (р и м.) — богиня любви и красоты.

Верданда (с к а н д.) — становление, одна из норн.

Веристы дочери (с к а н д.) — валкирии.

Веста (р и м.) — богиня домашнего очага и уюта.

Вулкан (р и м.) — бог огня и кузнечного ремесла, супруг Венеры.

Галатея (г р е ч.) — морская нимфа, олицетворение спокойного моря.

Гальциона (Алкиона, Галкиона) (г р е ч.) — дочь бога ветров Эола, превращенная Зевсом в чайку, чтобы сопровождать утонувшего мужа.

Гамадриады (г р е ч.) — нимфы, покровительницы деревьев.

Гарм (с к а н д.) — демонский пес, охраняющий вход в царство мертвых.

Гарпии (г р е ч.) — полуженщины, полуптицы, существа-мучительницы.

Геба (г р е ч.) — богиня юности, дочь Зевса; подносила богам на Олимпе нектар и амброзию.

Гела (Хель) (с к а н д.) — богиня смерти, хозяйка царства мертвых.

Гелен (г р е ч. и р и м.) — сын троянского царя Приама, царствовавший в Эпире и устроивший там подобие Трои.

Геликон (г р е ч.) — горный массив в Беотии, место пребывания Аполлона и муз.

Гелиос (г р е ч.) — бог солнца.

Гений (р и м.) — добрый дух, хранитель человека.

Гера (г р е ч.) — супруга Зевса, богиня брака и супружеской любви.

Геркулес (р и м.) — герой, совершивший множество подвигов, образец физической силы и бесстрашия.

Гермес (Эрмий) (г р е ч.) — бог дорог, торговли и воровства; вестник богов, проводник теней усопших в Аид.

Гиады (г р е ч.) — нимфы дождя.

Гименей, Гимен (г р е ч. и р и м.) — бог брака.

Гипербореи (г р е ч.) — обитатели мифической страны на Крайнем Севере.

Грации (р и м.) — три сестры, богини изящества и красоты.

Гурии (а р а б.) — вечно юные девы, обитательницы рая.

Данаиды (г р е ч.) — дочери царя Даная, убившие своих мужей в первую брачную ночь и за это осужденные в Аиде вечно лить воду в бездонную бочку.

Дафна (г р е ч.) — нимфа, спасавшаяся от преследований бога Аполлона и превращенная своей матерью в лавровое дерево.

Дедал (г р е ч.) — имя строителя лабиринта на острове Крит.

Диана (р и м.) — богиня Луны и охоты, покровительница девственности; в поэзии — олицетворение Луны.

Дий (р и м.) — верховное божество, Юпитер.

Дриады (г р е ч.) — лесные нимфы.

Елисейские жилища (г р е ч. и р и м.) — то же, что элизий.

Зевес (Зевс) (г р е ч.) — верховное божество, царь и отец богов и людей.

Зефир (г р е ч.) — западный ветер; в поэзии — приятный легкий ветерок.

Изида (е г и п.) — верховное женское божество, покровительница плодородия и материнства.

Иксион (г р е ч.) — сын царя лапифов, добивавшийся любви богини Геры и в наказание прикованный Зевсом в Аиде к вечно вращающемуся огненному колесу.

Ио (г р е ч.) — нимфа, возлюбленная Зевса, из ревности превращенная его женой Герой в корову.

Иолас (г р е ч.) — племянник и спутник Геркулеса (Геракла).

Ипокрена (г р е ч.) — источник поэтического вдохновения, бьющий на горе Геликон.

Ипполит (г р е ч.) — сын Тезея, отвергший страсть мачехи, Федры, оклеветанный ею перед отцом и погибший из-за отцовского проклятия.

Калипсо (г р е ч.) — нимфа, державшая в плену у себя на острове Одиссея.

Калхас (Калхант) (г р е ч.) — жрец, внук Аполлона, обладавший даром прорицания.

Камены (р и м.) — богини-покровительницы искусств и наук; соответствуют греческим музам.

Кастальский ток, Кастальские воды (г р е ч.) — источник поэтического вдохновения на Парнасе, посвященный Аполлону и музам.

Кастор и Поллукс (г р е ч.) — братья-близнецы, образец неизменной дружбы; покровители мореплавателей.

Киприда (г р е ч.) — одно из имен богини любви Афродиты.

Клия, Клио (г р е ч.) — муза истории.

Коцит (г р е ч.) — одна из рек, окружающих Аид: «река плача и страданий».

Купидон (р и м.) — бог любви, соответствующий греческому Эроту.

Лары (р и м.) — души предков, хранители домашнего очага.

Латона (р и м.) — дочь титанов (в греч. миф. ее имя — Лето), возлюбленная Зевса (Юпитера), родившая от него Аполлона и Артемиду и преследовавшаяся за это Гебой (Юноной).

Леда (г р е ч.) — жена спартанского царя Тиндарея, в которую влюбился Зевс, явившийся к ней в образе Лебедя.

Лета (г р е ч.) — подземная река забвения на пути в Аид.

Лира Тиисская (г р е ч.) — по имени Тийи, возлюбленной Аполлона.

Локи (с к а н д.) — коварный бог, демон разрушения и насмешки, по некоторым интерпретациям виновник конца мира.

Лукк — см. Локи.

Маин сын, Маинин сын — Гермес (Эрмий).

Майя (г р е ч.) — нимфа гор, старшая из семи плеяд; возлюбленная Зевса, от которого родила Гермеса.

Манагармар — см. Гарм.

Марс (р и м.) — бог войны, то же, что Арей.

Марсий (г р е ч.) — сатир, дерзнувший вступить в состязание по игре на флейте с Аполлоном, который в наказание содрал с него кожу.

Мегера (г р е ч.) — одна из трех богинь мщения.

Мельпомена (г р е ч.) — муза трагедии.

Меркурий (р и м.) — то же, что Гермес (Эрмий).

Мидас (г р е ч.) — фригийский царь; во время состязания Аполлона и Марсия отдал предпочтение последнему и в наказание был наделен Аполлоном ослиными ушами.

Мимфлейр — см. Нифльхель.

Минос (г р е ч.) — легендарный царь Крита, судья мертвых в Аиде.

Мнемозина (г р е ч.) — богиня памяти, мать девяти муз.

Мом (г р е ч.) — бог насмешки и злословия.

Морфей (г р е ч.) — бог сна.

Музы (г р е ч.) — девять богинь, покровительниц поэзии, искусств и наук.

Нарцисс (г р е ч.) — юноша, влюбившийся в свое отражение в реке и превращенный в цветок.

Наяды (г р е ч.) — нимфы вод.

Нектар (г р е ч.) — напиток богов, дарующий бессмертие и вечную юность.

Немезида (г р е ч.) — богиня судьбы и возмездия.

Нептун (р и м.) — бог моря.

Нестор (г р е ч.) — один из героев «Илиады» Гомера, царь Пилоса, мудрый старец, пользовавшийся особым уважением за опытность и храбрость.

Нереиды (г р е ч.) — дочери морского божества Нерея.

Нимфы (г р е ч.) — божества, олицетворявшие стихийные силы природы и обитавшие в лесах, горах, водах и т. д.

Ниоба (г р е ч.) — жена фиванского царя, окаменевшая от скорби при виде смерти своих детей.

Нифльхель (с к а н д.) — подземное царство мертвых, ад.

Нормиры (норны) (с к а н д.) — низшие женские божества, олицетворяющие судьбу.

Оден (Один) (с к а н д.) — верховное божество мира.

Оденов дом (с к а н д.) — Валкалла, дворец Одена.

Одиссей (г р е ч.) — царь острова Итаки, персонаж гомеровских поэм.

Озирид (Озирис) (е г и п.) — верховное божество, властитель загробного мира.

Океан (г р е ч.) — титан, сын Урана, отец всех речных божеств.

Океаниды (г р е ч.) — дочери Океана, морские нимфы.

Олимп (г р е ч.) — гора в Греции, местопребывание богов.

Орион (г р е ч.) — великан, знаменитый охотник, наделенный способностью ходить по морю.

Орк (р и м.) — бог смерти, соответствует греческому Плутону.

Орфей (г р е ч.) — певец, своим пением и игрой на лире укрощавший диких зверей и приводивший в движение деревья и камни.

Оры (г р е ч.) — богини времен года и мирового порядка.

Паллада (г р е ч.) — прозвище богини Афины, которая считалась покровительницей наук и искусств.

Пан (г р е ч.) — бог лесов и пастбищ, изобретатель свирели.

Пандора (г р е ч.) — первая женщина, созданная Зевсом в наказание за грех Прометея; из женского любопытства открыла ящик и выпустила на волю все человеческие несчастия и болезни, в нем заключенные.

Парки (р и м.) — богини судьбы, прядущие нить человеческой жизни.

Парнас (г р е ч.) — гора, посвященная Аполлону и музам.

Пафос (г р е ч.) — город на Кипре, любимое местопребывание Афродиты, средоточие культа любви.

Пелей (г р е ч.) — отец Ахилла.

Пенаты (р и м.) — боги, покровители дома и семьи.

Пиериды (г р е ч.) — музы.

Пилад (г р е ч.) — друг Ореста, классический образец дружбы.

Пинд (г р е ч.) — горный хребет в Греции, где находились Геликон и Парнас; символ поэзии.

Пирифой (г р е ч.) — царь лапифов, который вместе с Тезеем пытался похитить богиню Аида Персефону; за это оба друга были прикованы к одной скале в Аиде.

Пифон (г р е ч.) — дракон, убитый стрелами Аполлона.

Плутон (г р е ч.) — подземный бог, владыка Аида и теней.

Полиник (г р е ч.) — сын Эдипа, разгневавший отца и проклятый им.

Поллукс (г р е ч. и р и м.) — покровитель мореплавания.

Посейдон (г р е ч.) — владыка морей и всей водной стихии.

Приам (г р е ч.) — троянский царь в поэмах Гомера.

Приап (г р е ч.) — божество производительных сил природы, мужской силы.

Протей (г р е ч.) — морской старец, способный изменять свой облик.

Психея, Псишея (г р е ч.) — царевна, возлюбленная Эрота (Амура); олицетворение человеческой души; изображалась в виде бабочки.

Сатиры (г р е ч.) — лесные божества, спутники Вакха; изображались в виде людей с рогами, козьими ушами, ногами и хвостом.

Сатурн (р и м.) — бог времени, отец Юпитера; во время его власти на земле царил золотой век.

Сатурнова дочь (р и м.) — Веста, богиня домашнего очага.

Селена (г р е ч.) — богиня луны; луна.

Сивилла (Сибилла) (г р е ч.) — прорицательница, в экстазе предрекающая будущее (обычно бедствия).

Сизиф (г р е ч.) — царь Коринфа, осужденный богами на бесцельный труд.

Сильваны (р и м.) — божества лесов и полей, покровители земледельцев и пастухов.

Сильфы (Сильфиды) (кельт. и герм.) — духи воздуха.

Сим, Хам, Иафет (евр.) — по ветхозаветному преданию, сыновья Ноя, которые спаслись в ковчеге во время потопа.

Сирены (греч.) — полуженщины-полуптицы, заманивавшие и губившие мореплавателей своим чарующим пением.

Скульда (сканд.) — долг, одна из норн.

Стикс (греч.) — подземная река, обтекающая Аид; клятва Стиксом считалась самой страшной.

Сцилла и *Харибда* (греч.) — две скалы-чудовища, которые, сдвигаясь, поглощали все проходившее между ними.

Тайгет (греч.) — горный хребет, на склонах которого Аполлон пас стада Адмета.

Талия (греч.) — муза комедии.

Тантал (греч.) — царь, накормивший богов мясом своего сына и осужденный томиться голодом и жаждой среди обилия воды и плодов.

Тартар (греч.) — подземная бездна, преисподняя.

Тезей (Тесей) (греч.) — главный ионийский герой, создатель и основатель афинского государства; друг Пирифоя (см.); отец Ипполита (см.).

Тенар (греч.) — мыс, где находилась пещера и пропасть — вход в Аид.

Терей (греч.) — фригийский царь, который за измену был накормлен женой мясом убитого ею сына.

Термодон (Фермодонт) (греч.) — река в стране амазонок.

Терпсихора (греч.) — муза танцев и хорового пения.

Тизифона (греч.) — одна из трех эриний, богинь мщения.

Тирс (греч.) — жезл, обвитый плющом и виноградными листьями с сосновой шишкой на верхнем конце; принадлежность Вакха и его спутников.

Титаны (греч.) — гиганты, низложенные Зевсом и заключенные в Тартар.

Тифий (греч.) — титан, заключенный в Аид, где два коршуна терзают его печень за насилие над нимфой Лето (Латоной).

Тритоны (греч.) — божества из свиты Посейдона, олицетворяющие капризную морскую стихию.

Троада (греч.) — страна, управляемая Троей, место действия гомеровских поэм.

Улисс (рим.) — Одиссей, персонаж гомеровских поэм.

Урания (Афродита Урания) (греч.) — богиня чистой, «небесной» любви.

Урда (сканд.) — судьба, одна из норн.

Фавны (р и м.) — низшие лесные божества.

Фавон (р и м.) — южный ветер.

Фаетонт (Фаэтон) (г р е ч.) — сын бога солнца Гелиоса; получив от отца на один день разрешение управлять солнечной колесницей, не сумел с ней справиться, упал и едва не сжег землю.

Феб (г р е ч.) — одно из имен Аполлона.

Феба (г р е ч.) — бабка Аполлона и Артемиды, титанида, в рим. миф. одно из прозвищ Дианы.

Федра (г р е ч.) — жена Тезея, полюбившая своего пасынка Ипполита, отвергнутая им и в отчаянии заколовшаяся.

Фетида (г р е ч.) — мать Ахиллеса, доброе морское божество.

Филемон и Бавкида (г р е ч.) — патриархальная супружеская чета, которой боги в благодарность за гостеприимство послали одновременную смерть.

Филомела (г р е ч.) — афинская царевна, превращенная богами в соловья; в поэзии — соловей.

Флегетон (г р е ч.) — огненная река в Аиде, окружающая Тартар.

Флора (р и м.) — богиня цветов, весны и юности.

Фортуна (р и м.) — богиня счастья, случая и удачи; изображалась с повязкой на глазах.

Фурии (р и м.) — богини мщения, обитательницы подземного царства.

Хариты (г р е ч.) —три богини изящества, спутницы Афродиты.

Харон (г р е ч.) — перевозчик душ умерших через реки подземного царства.

Хронос (г р е ч.) — отец Зевса, олицетворение времени; изображался в виде старца с косой в руках.

Целена — см. Селена.

Цербер (г р е ч.) — трехглавый пес у входа в Аид, впускающий всех и никого не выпускающий.

Церера (р и м.) — богиня земли и плодородия.

Циклопы (г р е ч.) — одноглазые исполины, кузнецы Зевса.

Цинтия (г р е ч.) — одно из имен Артемиды (Дианы); в поэзии — обозначение Луны.

Цирцея (г р е ч.) — волшебница, превратившая Одиссея и его спутников в свиней.

Цитера (г р е ч.) — остров, средоточие культа Афродиты, страна любви.

Эвмениды (г р е ч.) — богини мщения, то же, что фурии.

Эвр (г р е ч.) — теплый юго-восточный ветер.

Эгида (г р е ч.) — грозовая туча, служившая щитом Зевсу.

Эдип (г р е ч.) — царь, совершивший по неведению ряд преступлений; узнав о них, ослепил себя, отрекся от престола и отправился в добровольное изгнание.

Элевзинские таинства (г р е ч.) — тайные обряды, ежегодно проводившиеся в честь богини земледелия Деметры и ее дочери Персефоны.

Элизий (г р е ч. и р и м.) — Елисейские поля, блаженное жилище в загробном мире.

Эндимион (г р е ч.) — прекрасный юноша, очаровавший богиню луны Диану; усыпив Эндимиона, богиня в течение многих лет навещала его в пещере и целовала спящего.

Эней (г р е ч. и р и м.) — троянский герой, спасшийся после пожара Трои и основавший Рим.

Энкелад (г р е ч.) — гигант, заточенный Зевсом под вулканом Этна.

Эпименид (г р е ч.) — жрец, юношей заснувший в зачарованной пещере и проснувшийся только через 57 лет.

Эрато (г р е ч.) — муза любовной поэзии.

Эреб (г р е ч.) — самая мрачная часть Аида, в которой находился дворец Плутона; в поэзии — вечный мрак.

Эригона (г р е ч.) — дочь афинянина Икария, которую Вакх обучил виноделию.

Эрмий (г р е ч.) — вестник богов, Гермес.

Эрот (г р е ч.) — сын Афродиты, бог любви; изображался юношей или мальчиком с золотыми крылышками, с луком, стрелами и колчаном.

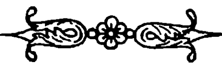
Эскулап (г р е ч.) — бог врачевания.

Ю*дифь* (е в р.) — героиня библейской легенды, отрубившая голову Олоферну.

Юнона (р и м.) — супруга Юпитера, покровительница женщин.

Юпитер (р и м.) — верховное божество, соответствующее греческому Зевсу; его власть принесла на землю «железный век».

Я*нус* (р и м.) — бог, покровитель входов и выходов и вообще каких-либо начинаний.



Содержание

ОПЫТЫ В СТИХАХ И ПРОЗЕ

Часть I. *Проза*

Часть II. *Стихи*

Элегии

Послания

Смесь

ПРОИЗВЕДЕНИЯ, НЕ ВОШЕДШИЕ В «ОПЫТЫ В СТИХАХ И ПРОЗЕ»

Проза

Из книги «Пантеон итальянской словесности»

СТИХОТВОРЕНИЯ

Dubia

Батюшков К. Н.

Б28 Сочинения в 2-х т. Т. 1: Опыты в стихах и прозе. Произведения, не вошедшие в «Опыты...»/Сост., подгот. текста, вступ. статья и коммент. В. Кошелева.— М.: Худож. лит., 1989.— 511 с.

ISBN5-280-00491-X (Т. 1)

ISBN 5-280-00490-1

Первый том представляет полное собрание поэтического и прозаического наследия русского поэта Константина Николаевича Батюшкова (1787—1855).

Б $\frac{4702010106\text{-}172}{028(01)\text{-}89}$ 2-89 ББК 84Р1

Константин Николаевич БАТЮШКОВ

СОЧИНЕНИЯ В ДВУХ ТОМАХ

ТОМ ПЕРВЫЙ



Редактор *Н. Гришкина*
Художественный редактор *Г. Масляненко*
Технический редактор *А. Кашафутдинова*
Корректор *М. Чупрова*

ИБ № 5286

Сдано в набор 03.08.88. Подписано к печати 13.03.89. Формат 84×108 1/32. Бумага кн.-журн. имп. Гарнитура «Академическая». Печать высокая. Усл. печ. л. 26,88+1 вкл.=26,93. Усл. кр.-отт. 27,4. Уч.-изд. л. 29,71+1 вкл.=29,75. Тираж 102 000 экз. Изд. № II—3008. Заказ № 1685. Цена 2 р. 70 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15.